

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ж у р н а л

К Н И Г А

В О С Ь М А Я - Д Е В Я Т А Я

А В Г У С Т - С Е Н Т Я Б Р Ь

М О С К В А
1 • 9 • 2 • 9

Москва, Главлит А. 43643

СТАТ — формат Б/5

Типография им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Изв. ЦИФ СССР и ВЦИК». Москва

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Мих. ПРИШВИН.—Журавлиная родина, <i>повесть, окончание</i>	5
2. АДАЛИС.—Из восточных мотивов, <i>стихотворение</i>	46
3. П. ПАВЛЕНКО.—Всеобщий классик, <i>рассказ</i>	47
4. РЕЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ. — По одной подруге Реквием, <i>стихотворение</i> , перевод Б. Пастернака	63
5. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ.—Елень, <i>повесть</i>	70
6. А. ТОЛСТОЙ.—Петр Первый, <i>повесть</i> , продолжение	112
7. Н. ДЕМЕНТЬЕВ.—Сверстник, <i>фрагмент из поэмы</i>	142
8. Евсей ЭРКИН. — Двор, <i>стихотворение</i>	144
9. Сергей СПАССКИЙ.—На расстоянии, <i>рассказ</i>	145
10. Н. ЗАРУДИН.—Два стихотворения	167

11. Д. ЗАСЛАВСКИЙ.—Второй Интернационал в 1914 году	169
12. Г. БЕШКИН.—И. И. Степанов, как историк и публицист	180

Л Ю Д И И Ф А К Т Ы

13. Дан. КРЕПТЮКОВ.—По степям и буеракам, <i>очерк</i>	195
14. Н. ЛЕБЕДЕВ.—В гостях у хевсуров, <i>очерк</i>	215
15. Е. ВИХРЕВ.—Ножницы, <i>очерк</i> (с иллюстрациями)	224

З А Р У Б Е Ж О М

16. ЭГОН ЭРВИН КИШ. — За кулисами статуи Свободы, <i>окончание</i>	235
17. С. БОРИСОВ.—Прибалтика	242
18. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету, <i>очерки международной политики</i>	255

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

19. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — О читателе и теории «иммунитета»	266
20. А. ЛЕЖНЕВ.—Критика «критиков», <i>статья третья</i>	279
21. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР.—Сестра моя мечта	294
22. Н. ЭЙШИСКИНА.—Из американской литературы	299
23. Ф. РОГИНСКАЯ.—Художественная жизнь Москвы, с иллюстр.	302

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Н. СМ.—А. Новиков-Прибой «Соленая купель»	315
Н. ЗАМОШКИН.—Александр Дроздов «Укравший могилу» . . .	315
Ник. СМИРНОВ.—Александр Алешин «Квартира номер последний»	316
Арк. ГЛАГОЛЕВ.—Михаил Волков «Т. Т.»	317
К. ЛОКС.—Георгий Венус «Последняя ночь Петера Герике» . . .	318
Лев КАТАНСКИЙ.—Б. Е. Еллинский «Сахалин — черная жемчужина Дальнего Востока»	318
Б. КОЗЬМИН.—А. Н. Бах «Записки народовольца»	319
И. СЕРГИЕВСКИЙ.—Д. В. Григорович. «Литературные воспоминания»	320

Журавлиная родина

Повесть

МИХ. ПРИШВИН

(Окончание ¹)

ХV. МАРАЛОВО

Нерль проскакала над брошенным мной кусочком, но во время скачка над хлебом что-то почуяла. Вскоре умная ее голова заработала, она остановилась, задумалась и поняла: с'едобно-пахучее осталось позади. Тихо, непрерывно играя ноздрями, собака вернулась назад и сразу нашла мой кусок. Я повторил еще опыт, Нерль опять проскочила, опять задумалась, но потом потянула в другую сторону и там нашла дрянь, есть которую ей запрещают из опасности заразить ее часто живущими в человеке глистами. Отозвав собаку, я сел на пень отдохнуть; ко мне пришел лесник, и я целый час выспрашивал у него о деревне, где бы много было дичи для янatasки собак. А потом, когда мы с ним разошлись и я сказал, отпуская собаку,—«в п е р е д!», она бросилась к тому месту, где была дрянь, и успела, к моему отвращению, не только от'есть, но и облизнуться. Значит, пока мы с лесником битый час говорили, она все это время мечтала с'есть то, что нам представляется мерзостью. Как тут было не задуматься, — почему им нужно это, а мы часто с такой же страстью ищем аромата цветов. Кроме пчел и шмелей, никаких животных не наблюдал я в природе, чтобы кто-нибудь из них останавливался и обнюхивал цветы. Собаки на траве и в цветах ищут только запаха выделений пробежавшей около птицы или зверька. Мне думается, отвращение к запаху пота и других выделений мы получили именно от пристрастия к аромату цветов, но откуда у нас явилось это пристрастие?

Девственные, трудолюбивые пчелы, имеющие дело вечно с цветами, ненавидят запах животного пота до того сильно, что на источник ненавистного запаха бросаются и погибают, вонзив в него жало. В раннем детстве это пчелиное чувство было у меня так сильно, что я и теперь пчел по себе понимаю. Я рос в саду и к цветам чутье имел до того сильное, что, как собака, на расстоянии мог вычувывать желанный цветок, травинку и находить их. Раз караульщик сада пьяный сказал мне, мальчугану, что сегодня ночью он был с моей няней.

¹) См. «Новый Мир» кн. кн. 4, 5, 6 и 7 с. г.

Я тогда еще в этом ничего не понимал, но он показал мне одну штуку, я смутно почуял какую-то мерзость, невыносимое оскорбление и со всего маху огромным, почти в голову, яблоком хватил по лицу караульщика. Конечно, я жестоко поплатился, но зато на всю жизнь понял по себе, почему пчела, не щадя своей жизни, вонзает жало в источники животного пота. Конечно, возможно, что натуралист и отвергнет в этом случае догадку мою по себе, и это очень хорошо, если у него есть доказательства, но если нет доказательств, то метод мой догадываться о жизни природы по себе может играть роль в науке разведчика. Запах цветов возвращает меня к самой первой любви глубочайшего детства, когда полая любовь была невозможна. Есть, конечно, и среди цветов некоторые возбуждающие животные страсти, но это уроды и доказывают только общность происхождения животного и растительного мира. Может быть, и люди получили радость аромата цветов от каких-нибудь своих уродов, неспособных к производящей любви? У жасмина вовсе порочный запах, и, на мое чутье, обыкновенная наша лесная ночная красавица скрывает в себе животную сущность, особенно под конец, когда исчезнут все признаки весны и начинается лето. Она как-будто и сама знает за собой этот грех и стыдится пахнуть собой при солнечном свете. Но я не раз замечал, что когда ночная красавица потеряет первую свежесть, белый цвет ее потускнеет, становится чуть-чуть даже и желтоватым, то на этих последних днях своей красоты она теряет свой стыд и пахнет даже на солнце. Тогда можно сказать, что весна этого года совсем прошла и такой, как была, никогда не вернется.

Я не плохо себя чувствую, когда проходит последняя тревога весны, страх перед этим концом оказывается совершенно напрасным: мне только хочется остановить свое беспокойное движение, устроиться где-нибудь прочно, не разлучаясь в то же время с природой. Тогда я выбираю себе небольшую деревню в местности, удобной для натаски собак, и селюсь в ней. Иногда и очень далеко отхожу в поисках дичи, но каждый вечер возвращаюсь в ту же избу, ложусь в ту же постель, пишу больше и больше. Весенний аромат цветов гонял меня из стороны в сторону: он делал меня бродягой. Теперь я свой навоз отдаю хозяину двора вместе с его животными. Точно так же, вероятно, и все люди осели из необходимости сохранять свой навоз, и земля оттого потемнела.

Сегодня я вышел для маленькой прогулки с собакой, взял в руку лочную красавицу, понюхал при солнечном свете. Она сильно пахла. Я сказал себе: «Довольно бродить, весна прошла». И стал искать себе постоянное место для углубленного изучения края своей Клавдофоры.

* * *

При всем желании никак невозможно сохранить мне здесь название той деревни, где в это лето я устроил себе оседлость. Пусть все останется, как было, но название деревни я возьму из другого уезда.

Кто знает? Теперь столько грамотных, что книжка моя легко может попасть на место своего происхождения и, если там заметят, что я переставил два дерева или при создании ячейки предвечных характеров привлек двух - трех из другого села, дело мое в этой деревне пропащее, непременно я в ней прослышу т р е п л о м, как бывает со всеми деревенскими поэтами на их родине. Я взял М а р а л о в о из того уезда, где жил один чужак ученый, очень похожий на героя «Пикквикского клуба»: по названию Соболевка он догадывался, что в этом уезде некогда жили соболя, по Хомякову—о хомяках, по Боброву—о бобрах, а в Маралове по его работе выходило, что некогда тут жили благородные олени, маралы. Не помню, в каком это селе мы однажды, направляясь в Маралово, остановились у росгати подумать, по какому развилку нам ехать дальше в Маралово. На дощечке было написано два пути—повыше была дорога в Голоперово, пониже непонятное мне: о в о л а р а м в а г о р о д, и неграмотный ящик об'яснил, что как раз эта нижняя надпись и означает дорогу в Маралово. Конечно, подумав, я и сам бы разгадал эту шараду, но случилось, вместе с окружившим меня народом подошел автор надписи м а л я р, или как, по удобству произношения, в деревнях говорят—м а р а л. Тут сразу я догадался, откуда явилось Маралово, и автор сам об'яснил мне происхождение надписи «дорога в Маралово» с обратными буквами: оваларам в агород. Дорога шла влево, и маляру захотелось, чтобы, расположив буквы налево, указывать тем самым дорогу. Изобретатель, деревенский марало, очень гордился своей надписью, но я не мог удержаться от смеха.

— Здорово пишут,—сказал мне ящик, и мы покатали влево по буквам в Маралово.

Теперь переносу это Маралово оттуда сюда и начинаю в нем устраиваться жить, учить собак и писать. Трудно в первое время тем, кто не живал в приборотных деревнях: мухи, слепни, комары, потыкушки или монахи, всякий гнус. Но за множество лет я к ним приспособился, в жару не выхожу, и то больше потому, что слепней не выносит собака, а комаров—могу выносить. Хуже всего для меня это домашние мухи, особенно к осени, когда они, как пчелы, начинают ж и л я т ь. От домашних мух и комаров жена привезла марли на окна, с хозяйской половины, однако, так и валит мухота, но и тут мы приспособились. Берем обыкновенный большой мешок, сшитый конец его привешиваем за тот крючок, где обыкновенно висит лампа, а открытый свешивается над самым столом с тарелкой простокваши, густо посыпанной сахаром. Чтобы отверстие не сжималось, мы распираем его накрест палочками, и мухи, поев простокваши, садятся спать на внутренние, полутемные стенки мешка. Вечером внизу мешок быстро перехватывается и с целым роем гудящих мух помещается в печь, на освобожденный крючок вешается лампа, и тут я пишу, а жена тоже чем-нибудь занимается у того же стола. Поутру П а п а н я, хозяин наш, высыпает мешок с мертвыми мухами курам, я потом снова приве-

шиваю на место лампы, а хозяйка Анисья Ефимовна затопляет печь и приглашает жену мою вместе хозяйствовать.

У нас с этой семьей знакомство старинное, это я помог Папане, по недоразумению лишенному голоса, восстановить свои права гражданина. Все дело было в том, что в Маралове люди расслоились особенно: на городских и коренных деревенских. Было время, когда самые способные приладились к городу, а в деревне выстроили себе отличные дома и являлись сюда только погулять в годовые праздники. Завидно было смотреть на эти дома коренному деревенскому человеку, кто не смел подняться на лучшую жизнь и оставался в болотах! В революцию счастливые были низвергнуты из столицы в болото и лишились избирательных прав: повар имперского государственного банка, трактирщик, кондитер, красильщик и дамский угодник, скорняк, великий мастер из дохлых баранчиков делать дамам мерлушковые саки. Способные люди быстро оправались, кондитер одно время был даже предвиком. Но Папаня прошел тяжкую долю в мучном лабазе, был робок, до крайности честен и очень слаб на вино. Мне пришлось его выручать, и теперь он восстановлен в правах гражданина. Почти как все крестьяне Московской губернии, Папаня говорит на двух языках,— один чисто деревенский, другой ломаный, газетно-городской. Я упробил его говорить со мной чисто по-деревенски. Он согласился и только в исключительных случаях не выдерживает, хотя всегда спрашивается:

— Разрешите сказать с точки зрения?

Раз было, мы говорили с ним о злоупотреблениях в нашей кооперации. Он взволновался, не выдержал и спросил:

— Разрешите...

— Валите!—ответил я.

И вот как он загнул с точки зрения:

— Моральный человек в наше время вовсе запутался в паутине.

Я спросил:

— А что это значит моральный человек?

— Это вы сами знаете,—ответил Николай Карпыч,—деревенский человек способен только на одно дело, и когда ему дают другое, он путается. Вот у вас собака по бекасу ходит,—умственное дело! Если она по бекасу идет, то можете приучить ее и по грубому делу, по зайцу или по волку. Так ли я говорю, можно птичью собаку приучить по волку ходить?

— Пусть будет так.

— Хорошо, пусть будет, а ведь ту собаку, которая на волка определена, нельзя приучить по бекасу? Вот так и крестьянин—это собака по волку, а торговый человек идет по бекасу и, значит, способен на все.

И стал рассказывать, как мальчиком привели его к хозяину лабазы, и он поступил туда по экзамену.

— В лабаз по экзамену?

— Экзамен был на обеде. Хозяин позвал нас, двух мальчиков, к себе на обед и смотрел, как мы едим. После обеда говорит моему товарищу: «Ступай, ты мне неудобен, вяло ешь».

— Не выдержал экзамена?

— Не сдал. А мне сказал: «Оставайся, ты весело ешь, значит на все способен, ты человек моральный».

Пятнадцать-двадцать рублей, которые оставляю я на охоте в семье Папани, для них большое подспорье. За мной ухаживают, но, люди очень хорошие, все полагают, чтобы скрыть свой интерес. Перед самым отъездом, когда я расплачиваюсь, Папаня непременно исчезает, и деньги отдаются Анисье Ефимовне. Всегда она отказывается от лишнего, потом и возьмет. А везет меня Сережа, их сын, 20-летний паренек, дочка есть у них, девочка Шура, лет пятнадцати, славная, все они очень милые люди. Прощаюсь я по-родственному, но Папани при этом никогда не бывает. Мало-по-малу догадался я, отчего всегда везет меня Сережа и отец при расставании прячется. Папаню нельзя одного с деньгами в город пустить. Семья дружно оберегает его от беды. Конечно, он прячется из опасения, что я дам ему деньги, сын грубо вяжется, жена заплачет.

Так было много раз, но вот случилось, в последнюю мою поездку я пришел к последнему моему обеде, и не Папаня, а все другие спрятались. Он сам доставал из печи горшки, нес тарелки, резал хлеб. После обеда он запрет лошадь, оделся для поездки со мной в город.

«Взбунтовался или исправился? — думаю я. — Если исправился и поедет со мной, то надо деньги теперь же отдать, чтобы избавить его от искушения в городе: он, конечно, оставит их здесь. Но что если я отдам деньги, а он не исправился и лишь взбунтовался?»

После некоторого раздумья, промедления в надежде, что другие придут, а Папаня скроется, я, наконец, деньги отдал. Тогда я стал смотреть в зеркало, будто мне надо перед отъездом оправиться. В зеркале мне было видно, как Папаня открыл ящик комода, вынул оттуда большой кожаный кошелек и, когда открывал кошелек и опускал туда деньги, видно было, что там еще были деньги, и довольно много, вероятно, все деньги семьи. Потом Папаня запер комод и ключик положил на видном месте, чтобы домашние нашли сразу после отъезда.

Я был очень рад, так это редко бывает на свете со слабыми людьми: Папаня, конечно, исправился.

Надолго ли?

Прямо с приезда в Маралово мы не посмели спросить об этом Анисью Ефимовну, она только сказала нам:

— Папаня на мельнице.

Это был почти что ответ для тех кто знает деревенскую жизнь. Нет импымания большего для пьющего мужика, чем поехать с рожью на мельницу. Случается, не только всю рожь сплавляют, но и лошадь уходит неизвестно куда. Нам не оставалось никакого сомнения: если Папаня на мельнице, то уж, конечно, исправился. Вскоре он и сам при-

ехал, очень обрадовался мне и со мной возможности как-нибудь добраться и наговориться на языке людей образованных с точки зрения. После же первых приветствий он так и сказал:

— Все зло в людях от необразования.

Анисья Ефимовна вначале ничего не заметила, но когда внезапно он высказал эту мысль: «Все зло от необразованности», внимательно на него посмотрела, уверилась и сказала:

— А не от пьянства у нас зло?

Тут надо бы помолчать, но Папаня принял неверное решение: скрыть свое состояние согласными с женой словами.

— Да, конечно, — сказал он, — и от пьянства. Надо нашему народу образование дать, пьянство уничтожить, и тогда будем жить мы все хорошо.

Мрачным голосом и махнув рукой на пропашую, Анисья Ефимовна, глядя мужу в упор в глаза, сказала:

— Да, нечего сказать, хорошо!

Папаня ужасно струсил, смешался и стал поправляться:

— Ну, не скажу совсем хорошо, где нам, а средне будем как-нибудь жить.

* * *

Ужасно, что деревенский ток помещается как раз против пятистенки Папани. Вся деревня в одноличку: против каждого дома через дорогу посажено дерево, у одних—липа, у других—просто ветла, дворянская липа, конечно, у прежних патрициев, кто жил в городе, у плебеев—ветла. Деревья кронами сошлись, и эта зеленая стена, я так понимаю, защищает сенные сараи на той стороне от огненной вспышки в деревне. Иначе и понять нельзя, потому что сараи стоят на значительном друг от друга расстоянии, а избы вплотную друг к другу. Налево от нас на веревочке между деревьями висит вместо вечеревого колокола большой пустой стакан от двенадцатидюймового снаряда, по нем председатель бьет, созывая сход, палочкой, и вече, собираясь, рассаживается на бревнах, до блеска отполированных мужицкими штанами. Если открыть окно, мне слышно от слова до слова все, что бывает на вече. Отступя от веча, тоже между деревьями, как раз напротив моего окна—небольшая часовенка с иконой святого князя Владимира. Раз в год в часовенке служат молебен сразу и князю Владимиру и в память избавления от какого-то мора в незапамятные времена, тоже в случае засухи просят дождя, а если дождь—молятся от потопы. В болотах тем хорошо, что почти никогда не бывает засухи и потому тут молятся больше о ведренных днях, растворении воздушных и умножении плодов земных. Сюда же и весь скот собирают и кропят святою водой. Но это бывает раз в год, а каждый день вечером на лесенке и бревнах у часовни собирается деревенский ток.

Нюша Фуфаева в этом деле первая хороводница. В сиротском доме этой девице выпала доля быть старшей в семье, и так сложилось,

что выходить замуж стало невыгодно или, может быть, из сиротского дома никто и не брал. Перешла девица, но зато берет теперь силой своего необыкновенно резкого голоса. Только потемнело, в вечерней прохладе комар на короткое время дал передышку, и мы решились открыть окно, — к часовне пришла Нюша и принялась токовать. В ответ на ее частенькие песенки на другом конце слышались звуки гармони, и скоро все собралось возле часовенки. Все ничего, пока не наскучит петь ребятам однообразные любовные частушки. Вдруг гармонист, резко обрывая мотив, переходит на какой-то другой. Барышни знают, что будет, и продолжают против мотива гармони сильнее и резче свое. Мужской хор сначала тихо, но очень настойчиво и уверенно вместе с гармоньей чего-то добивается, и мало-по-малу через девичьи голоса пробивается невозможно похальная песня.

Окно у нас давно закрыто, затянуто марлей, сверх марли на кнопках прибиты газеты. Но там снаружи все-таки остается надежда найти какую-нибудь дырочку или услышать слова. Туземцы виснут на окнах, слышны дыхание, шопот. Для натаски собаки мне надо вставать в два часа ночи, я пробую уснуть, но вдруг весь ток срывается с места: рев гармони, визжание девиц, ржание ребят...

Ужасна первая ночь. Но потом я сплю отлично или сам сочиняю и даю для тока смешные частушки. И я знаю, в этом гаме ведется один нежнейший роман. Мой хозяин тоже когда-то был на току и под этими самыми ветлами выбрал себе прекрасную женщину Анисью Ефимовну, и Сереже скоро будет конец: начал понашивать единственную в доме, береженую с малых его дней для свадьбы роскошную вещь, городское пальто на лисьем меху. Анисья Ефимовна сегодня жене моей потихоньку сказала:

— Придется нынче женить, а то ведь и вовсе заносит, а по нынешним временам разве сошьешь такое пальто!

* * *

Во сне мне переиначивалась жизнь улицы, представлялось мне, будто это к Синей птице звонили:

— Тиль-тиль-и-митиль!

А это под ветлами, где собирается вече и вместо колокола на веревочке висит стакан от снаряда к орудию, председатель тиликал палочкой в край вечерого цилиндра, созывая сход. Шел мелкий дождь, никому не хотелось вылезать из своей берлоги так рано, а председатель в рыжей верблюжьей куртке был настойчив, как верблюд, не обращал никакого внимания на дождь и звонил. Мой хозяин принес самовар и объявил о великом событии: сход созывают по случаю приезда землемера, сегодня будут нарезать хутора и в скором времени деревня раз'едется.

— Одно хорошо в этом, — сказал я, — что меньше страха будет перед пожарами, а то вы, как на вулкане, живете.

Хозяин мой востепенулся: слово вулкан было из словаря людей образованных и, если я такие слова употреблял, то он принимал это всегда, как разрешение говорить с точки зрения.

— Потому на вулкане, — подхватил он, — что все мы здесь со средним образованием.

— Как так со средним!

— Очень просто, нет у нас высшего образования, чтобы к высшему стремиться, жить друг с другом в ладу, нет у нас и самого низшего, чтобы как дикие звери впиваться друг в друга зубами; того-другого понюхали в Москве, и так получилось ни то, ни се: со средним образованием мы и живем, как на вулкане.

Мы сели за чай. Стало проясняться, председатель звонил веселей, народ на бревнах накапливался.

— Что вы делаете, — сказал я хозяину, — политика круто повернула на коллективы, а вы расходитесь на хутора.

— Вот потому и спешим, — ответил хозяин, — что столичная политика круто повернула. Сами же вы хорошо понимаете деревенскую жизнь: земледелие — не фабрика, у нас по звонку ничего не сработает.

— Неправда, — сказал я, — в помещичьих хозяйствах именно по звонку и работали: утром били в чугунную доску, рабочие поднимались, запрягались до полдня, обедали, отдыхали, и опять сторож бил в чугунную доску... Работали, города были сыты именно этим хлебом от зерновых хозяйств, построенных так же, как фабрики.

— Работать-то, конечно, работали, — согласился хозяин, — дураков работа любит. Последняя бедность, безысходная нужда гнала на эту работу, а мало-мальски самостоятельный человек на эту работу не шел. Вот и мы теперь должны спасать города, выходить по звонку на работу. Говорят: «богатые будете!» Пусть так. А я, может быть, к богатству-то и не стремлюсь. У меня сейчас на огороде есть лук, — я доволен луком не совсем: жду огурца. А когда будет огурец, я буду ждать капусты. Если ж все будет по звонку и с выдачи, то чего же мне ожидать?

Вдумываясь в слова хозяина, я внезапно, как это бывает со всеми, вспомнил свой удивительный сон: будто я запоздал в болоте с натаской собаки, слепни напали на меня, а вокруг болотные люди косили траву и отлично, как лошади, отгоняли слепней хвостами.

— В болоте вы живете, — сказал я хозяину, — по-болотному и думаете.

И рассказал ему свой удивительный сон.

— А что же сделаешь, — ответил он, — вот на что уже я сорок лет в Москве на службе прожил, а все-таки пришлось же вернуться в родное болото, — кто где родился, там тебе и Ерусалим.

Солнце выглянуло. Три кряквы с ночной кормежки деревней полетели к своему дневному присаду на пойме. Я вышел погулять с собаками в ту сторону мимо сходки. Там уже что-то горячо обсу-

ждали, но как только я поровнялся, спорный вопрос был оставлен, мне показали в сторону поймы:

— Сейчас только туда три утки прошли. Вот только что! Вот чуть бы, и захватил.

Поглядывая на легавую собаку, задача которой, известно, при взлете птицы неподвижно стоять, говорили:

— Ну как, ловит?

Я постарался вернуть сходку к горячему вопросу. Дело шло о праздниках. Из экономии, чтобы не звать два раза попа, праздник князю Владимиру давно уже притянул к себе и слил с собой день благодарности за избавление от скотской чумы в какие-то отдаленные времена. Нынче молодые предложили скотский праздник соединить с годовым: в петров день праздновать избавление от падежа скотины и совсем отменить праздник князю Владимиру. Радость о спасении скота, хотя и во времена незапамятные, была все-таки понятна, но действительно трудно было понять жертву рабочего дня князю Владимиру: в кои-то веки какой-то помещик срубил крохотную часовенку, в день своих именин поставил в эту часовню икону своего собственного святого—князя Владимира, а мужики, вероятно, лет уже двести каждый раз в этот день вызывают попа и служат молебны. Трудно было что-нибудь возразить против отмены праздника, но, конечно, поговорили и постановили в предбудущие годы празднование князю Владимиру отменить, а нынче помолиться всем в один день: апостолу Петру и князю Владимиру, Фролу и Лавру — покровителям домашних животных.

После окончания разговора о праздниках Николай Карпыч моргнул мне, потянулся и сказал на ухо:

— Я насчет сна...

Тут я второй раз в это утро вернулся к своему замечательному сну о болотных мужиках с хвостами и гривами. И в который уже раз и все с удивлением отметил я себе мужицкое постоянство в обработке раз полученного впечатления: колом не вышибешь. Так же было и с утками, все, кого я дальше встречал на своем пути, говорили мне о трех утках, пролетевших будто бы очень уж низко: над самой головой.

* * *

Мне нужно было сходить в волость за три версты, показать там свои бумаги, устроиться с почтой, заглянуть, какие продукты можно достать в кооперативе. По-деревенски казалось, мы уже много прожили от восхода солнца и начала рабочего дня, а в волости жизнь только что начиналась: сторож своей обыкновенной березовой метелкой пускал пыль в коридоре. На стенах был Карл Маркс, Ленин, все другие вожди, под Марксом были слова на стене: Страховой агент. Кроме портретов вождей на стенах был целый музей всевозможных полезных плакатов, от Наркомздрава была тут передовая

женщина с цветами в руках и со шлейфом Сикстинской мадонны, за ней тоже с цветами бежали дети и было подписано: Почта и телеграф, но слова, конечно, относились, все равно как и страховой агент, к занимающимся внизу соответствующим должностным лицам. Еще был тут на стене рабочий с огромной мускулатурой, героический человек, и рядом с блаженной улыбкой муж и жена опускали монету в копилку. За большим столом, покрытым чем-то красным, в ранний час сидел только зампред. Я показал ему бумагу от газеты с назначением меня изучать работу экскаватора по осушению дубенских болот.

— Продвигается ли экскаватор?

— Свистит, — ответил зампред.

— Не бреши, Саша, — остановил его старик-сторож, выгоняющий метелкой пыль в открытую дверь. — Экскаватор с неделю сидит на мели и не свистит.

Они горячо заспорили, и я понял из этого: ни зампред, ни сторож ничего не знали верного об экскаваторе, но старику хотелось, чтобы экскаватор сел на мель, а зампреду, — чтобы свистел и продвигался. Конечно, я берегу советскую точку зрения и, желая отдохнуть и провести время на людях, говорю сторожу об индустриализации и необходимости машин в нашем хозяйстве.

— Машина, — говорил я, — спасет крестьянина от бедности, она освободит его рабочие руки для другого дела.

— Это верно, — ответил старик, — руки она освобождает: у нас раньше хозяйством одни бабы занимались, а теперь машина освободила народ, все приехали из городов в деревню и сидят на земле с бабами.

Зампред с улыбкой слушал старика и потом, поглядывая на меня, стал довольно путано излагать ему основы политической экономии: экскаватор управляется пятью рабочими, а надо бы для этой работы сто человек. Освобожденные люди получают для своего труда готовую, осушенную землю.

Тут я не мог удержаться: с тех пор как я понял, что Клавдофора при спуске озера непременно должна погибнуть, внутренняя моя работа была направлена против осушения, сам того не сознавая, я подыскиваю материалы в защиту Клавдофоры.

— Извините, товарищ, — сказал я зампреду.

И вдруг экспромтом сфантазировал так удивительно, что и до сих пор не могу найти человека, кто бы мог мне что-нибудь возразить. Я указал зампреду на моренные холмы, покрытые редким лесом, вереском, брусникой и клюквой. Эти холмы окружены обыкновенно ручьями с залежами торфа: гораздо же дешевле вывести торф, как удобрение, на песчаные холмы, чем приводить в культуру самую трудную болотную землю. А еще я указывал на громадную площадь земли, просто покрытую кустарником, выбитую скотом: здесь довольно только корчевки, и этой земли едва ли меньше, чем

болот. Для чего же нам тратить огромные деньги на осушение болот, спускать озеро, где живет драгоценное растение и так много дичи, что при разумном хозяйстве можно бы от одних уток получать порядочный доход...

Я увлекся, про Клавдофору и уток я напрасно сказал.

— Крупная промышленность в советских условиях, — говорил я, — должна охранять и преобразовать природу, а не разорять...

— Положение не допускает, — ответил зампред. — Когда мыждемся такой промышленности! Мало-мальски вокруг нас сохнет, и то дай сюда.

В доказательство трудного положения он перешел к своей личной жизни, что встает до-свету и работает в своем деревенском хозяйстве, потом идет на службу, потом до ночи опять в своем хозяйстве...

— А где-то восьмичасовой день!

На это я сказал, что с общественной стороны положение действительно трудное, — что делать, надо потерпеть: это временно. Если же не о людях, а о себе только думать, то выход всегда есть. Я лично для себя всегда бы что-нибудь придумал.

— А что бы вы придумали?

— Мало ли что, вот занялся бы натаской собак: одну натаскать стоит сто рублей, а я в лето могу их пять натаскать.

— Пятьсот рублей! — воскликнул зампред. — Вот я и сам часто думаю, нехватает у нас такой науки, чтобы лично на пользу шла, науки-то какие-то все бесполезные...

Зампред, молодой человек в черной, подпоясанной ремешком косоворотке, был мягкий и легкий на слова человек. Долго бы мы с ним болтали без всякого толку, если бы не вошел уже знакомый мне секретарь ячейки, отчего все переменялось в комнате и ожило.

— А вы не оставляете нас, — сказал он мне. — Как дела?

— Хорошие дела, — отвечаю, — поживем еще.

Он всмотрелся в меня и вдруг весело засмеялся:

— Конечно, поживем!

При выходе из вика на лестнице я увидел дремлющего сторожа, при солнечном свете он оказался стариком очень глубоким.

— Вот задремал, — сказал он, узнавая меня, — всю ночь рыбу ловил, карась пошел.

— Рыбак! — обрадовался я своему человеку. — Ну, как, большие караси?

— Есть фунта на два.

— Хорошо тебе?

— Хорошие караси, я тебе дам.

И повел меня в свою избушку возле самого озера. Старуха сразу принялась жарить карасей, и так они на постном масле пришлись мне по вкусу!

— Значит ты совсем доволен? — сказал я, кончая широкого караса. — Не беспокоись, что озеро спустят и останемся мы с тобой на сухом берегу?

— Так что из этого? — удивился он. — С сухого-то берега в омутах нам еще лучше будет рыбу ловить, чай, омута-то останутся.

Я согласился и сказал, что собираются спускать всего на два метра.

— А хотя бы и на три! — воскликнул старик.—Я никогда не поверю, чтобы наши омута осохли, как ни осушай—омута останутся.

На прощанье старуха сказала:

— Ну, пошли тебе бог!

И спохватилась.

— Что это я, дура, вы, может, этого не любите?

— Бога? — удивился я. — Что ты, бабушка, видишь, я человек пожилой.

— Сама вижу, пожилой, — ответила бабушка, — не вы, а, может быть, служба не позволяет...

Я хорошо заплатил. Старик, очень довольный, провожал меня и говорил на пороге:

— А об этом не беспокойся и не сумлевайся, мы на озере этом днюем и ночуем, как ни осушай, как ни спускай,—омута наши бездонные, их никто никогда не осушит.

* * *

В деревне все ругались между собой, когда я возвратился из вика. Никто долго толком не мог мне рассказать, почему землемер вдруг до того рассердился, что бросил работу и верхом ускакал. Только по рассказу Сережи, сына хозяина, бывшего при обмере земли, могу я себе представить эту забавную картину неудачного раздела. Виновником всего был Андрюшка, гармонист, племянник бывшего трактирщика. Все в деревне зовут его комсомолецем, хотя уже года два назад его из комсомола вышибли с позором за то, что на свадьбе был шафером и у родного отца украл и проиграл в карты три копны ржи. Я его знаю: по лицу о таких художествах никогда не догадаешься—красивый, уважительный на словах. Когда стали обмерять лесное урочище Жарье, землемер сказал Андрюшке, что когда он кончит дело с инструментом, то крикнет, и тогда надо ответить и двигаться дальше. Вот землемер установил инструмент, записал цифру и крикнул:

— Алло!

Андрюшка тоже ответил этим же словом, но тут вышло, что лесное эхо слово его повторило, и он туда, лесному эху, послал еще одно алло, но уже с чортовой матерью. И когда эхо тоже не осталось в долгу, то все двадцать деревенских ребят послали алло с чортовой матерью.

Землемер остановил эту ругань, подозвал Андрюшку и сделал выговор.

— Ой - ли! — ответил Андрей.

И обещал не повторять больше алло. Но когда потом землемер записал цифру и крикнул снова свое «алло!», не выдержал, и за ним грянули все двадцать деревенских и двадцать лесных голосов с чортовой матерью. В третий раз землемер, наконец-то, догадался и, когда взял цифру, то не крикнул, а только махнул белым платком. Так было, что, крикни теперь землемер «алло», ребята бы не посмели баловаться, но когда увидели белый платок и поняли, что землемер сдался, крикнули, а лес, конечно, ответил. Тогда землемер, ничего не сказав, не будь плох, сложил инструмент, сел на коня и ускакал.

Да, так вот день и прошел.

— Может быть, к лучшему вышло, — сказал я хозяину вечером, когда унялся слепень, а комар еще не разгулялся и мы вышли с ним посидеть немного на лавочке. — Разрешение разделить у вас есть, всегда успеете.

— Нет, — ответил хозяин, — вы это судите по старому режиму, а в наше время нынче разрешили—завтра отменили, или так повели, что и сам не захочешь решенного, вы не смотрите на старое: в советской власти вечности нет.

И вдруг Николай Карпыч принялся хохотать и долго не было у него сил, чтобы остановиться и об'яснить причину. Оказалось, он это вспомнил мой сон о мужиках с хвостами и с гривами. Когда хозяин немного успокоился, я привел ему в пример соседа его, который мог по своему желанию двигать ушами. Почему не подумать, что это у него остаток далекого прошлого, когда человеку было необходимо двигать ушами. Удивляться надо больше тому, что у болотных людей, постоянно работающих среди слепней и комаров, отпали хвосты.

— Вот бы наработался, — говорил я хозяину, — прилег бы отдохнуть, сам спи, а хвостом обмахивайся.

Николай Карпыч не засмеялся.

— Неловко,—сказал он.—Человек на свете единый, по нем все и равняются.

— Единый, конечно, — ответил я, — да как же все-таки понять, отчего он единым стал: ну, в пригороде хорошо, там нет слепней, а для деревни такое равнение невыгодно, в болотах хвосты очень нужны: вам — косить, мне — собак натаскивать.

— Никак нельзя, — сказал Николай Карпыч, — оно, может, и остались бы хвосты, если бы в город не ездили, а то ведь мы там каждый базар. Сейчас нам и то трудно в городе: то—пустишь, того—не поймешь. Сейчас нас и то за нос водят постоянно, а то бы нас водили и за нос, и за хвост, и за гриву.

XVI. СТАРУХИНА ТРОПА

Прошло время и стул без спинки перестал мучить меня,—спина не болит, несколько не раздражает меня, что по вечерам туземцы, затаив дыхание, висят на окнах и подслушивают, сплю отлично, хотя Ньюша Фуфаева каждый вечер невозможно резко, на всю деревню токует под самым моим окном. И то же с комарами, слепнями, потыкушками и мелким улипчивым гнусом,—вскоре после моего приезда начались дожди, замер слепень, комар, потыкушки и улипчивый гнус. Мало-помалу в болотах складывается особенная привычка ходить; знаешь, что нога между кочками непременно провалится, на кочку же стать,—кочку потопишь, а у основания кочки ногу поставить можно, хотя тоже надо привыкнуть понимать, какое болото и какие кочки. А когда ко всему приспособишься, то и на ходу в болоте сочинять можно, как в кабинете, с удобствами, быть может, труднее, но зато верно: без всякой опасности прослыть плагиатором бери материалы и объявляй их своим личным открытием.

Постоянная перемена ландшафта в связи с движением планеты,— вот что больше всего привлекает мое внимание. Много раз я даже пробовал создавать свой календарь, начиная с весны света. В конце концов, я бросил это дробление, понимая в природе только два времени, отвечающих ритму моего собственного дыхания: планета, весь мир дышит совершенно так же, как и я, весеннее вдыхание — одно время года, осеннее выдыхание — другое. Все дело во времени: планета раз дыхнет и выдыхнет—это год; быть может, существуют мельчайшие организмы, так зависимые от моей собственной жизни, что один мой вздох для них все равно, что для меня годовой вздох планеты. Внутренняя ритмика позволяет даже и птицам от своего обычного птичьего времени переходить к планетному: осенью и весной птицы, отвечая вздохам планеты, совершают свои перелеты. Так искусство у нас, я так понимаю, подчинено той же внутренней ритмике, оно рождается чувством большого мирового времени, баюкая вечность, молодую и древнюю, быструю и неподвижную...

Так понятно становится, прислушиваясь к дыханию планеты, почему в первой поэтической любви молодые люди тоже клянутся любить друг друга вечно: постижение большого времени посредством внутренней ритмики у птиц и у людей, в конце концов, является деятельностью органов, в древние времена считавшихся даже священными.

Творчество Алпатова должно являться продолжением его первой единственной и необычайно сильной любви, а если творчество непременно сопровождается в силу действия внутренней ритмики явлением большого планетного времени, вечности, то вот и встреча с Клавдофорой: эта встреча творческой вечности под водой ледникового озера в виде светящегося изумрудно-зеленого шара может мгновенно нарушить неустойчивое, случайное равновесие слоев действительности и замысла в музыкально-поэтической натуре Алпатова,

и Золотая луговина представится ему наследственно мещанской мечтой конечного блаженства в раю.

Так иду я час и другой, догадываясь в планах большого времени и не спуская глаз с собаки в рубашке березового цвета березовой коры, мелькающей между редкими деревьями. Вокруг меня... как это назвать? ни лес, ни болото, ни поле. В давние времена, конечно, тут был лес, потом его сожгли, и на п а л я х сеяли хлеб, п а к а рожала земля. Потом бросили землю, а лес не вырос и снова ж е з было нечего. Выросли только отдельно стоящие редкие деревья, — это теперь ни лес, ни поле и называется здесь просто п а л я м и.

Лиловый вереск и красная брусника. Дерево от дерева—сосны—очень далеко. И так часами идешь, все так же под ногой мягко и сухо, все тот же ковер с цветами лиловыми и красными, иное дерево—сосна—раскинется на свободе так причудливо, поглядишь и захочется сесть под ним. Вот устроился на обнаженном корне, как на лавочке, и тогда уже совсем близко, вплотную разглядываешь лиловый вереск и красную ягоду бруснику. Вдали еле видны белые, красные, синие, всякие платки ягодниц, чуть слышно изредка гукают друг другу, когда разойдутся. Одна девочка маму звала. Верно, голосок ее мать не слышала, и так мне понятно было, что ужас одиночества в пустыне охватил все маленькое существо. Девочка стала кричать всем надрывом из живота прямо в открытое горло, как-будто медведь уже схватил ее за ногу и потащил к себе на расправу. Мать пришла, раскричалась на нее. Все опять стихло. Женщины больше не нарушали молчания пустыни, паслись на бруснике так же, как глухари и тетерева.

Мне было под сосной как-будто эта п а л ь и есть т о т с в е т и лично мне тут уже больше ничего не надо, как только отдохнуть немного под очень красивой сосной и дальше итти.

Так снова иду я по лиловому вереску, красной бруснике с мелкими листиками цвета зелени вечно-зеленых растений, чувствую, что когда-то жил на земле. И то, что я там жил, страдал, радовался и умер, не соединив между собой смерть и любовь свою, здесь это понимают, как земной загад. Теперь здесь ответ дается без всякого труда, в этом здесь огромный интерес ходить по бесконечным пространствам, что время от времени земная жизнь вспоминается и на все дается ясный ответ. И вот я иду от этого без усталости, под ногой лиловый вереск и красная брусника, так много красного, что совсем закрывает зеленые мелкие листики.

Мне вспомнилось...

* * *

Те, кого я любил не так сильно, вставали в моей памяти до того отчетливо, что каждую женщину я мог бы верно нарисовать карандашом. Но та единственная, которую ни за что любил я без памяти, не показывалась мне сама, а узнавал я ее только по освещенным ею

предметам. Как солнце, она сама по себе мне представлялась безумно сверкающим кругом. При этом свете, однако, в чертах тех, кого я не очень любил, было что-то несовершенное и раздражающее. С отчетливыми фасадами и профилями они вращались вокруг единственной, как погасшие земли вокруг пламенного солнца. Конечно, я мог бы сказать, что глаза у нее были жарие, волосы русые, щеки розовые и вся она в фигуре своей имела склонность к хозяйственной полноте русской женщины. Я мог бы с точностью описать все: кофточки, юбки, платочки, в которых она приходила ко мне на свидания. По одной только ее кофточке с красными и синими шашками я могу вспомнить мельчайшие подробности пейзажа, архитектуры, выражений лиц встреченных в ту пору людей. Мало того, я могу своими глазами представить себе все земли, все страны, в которых я в жизни бывал после того, а если бы хватило опыта, я мог бы весь земной шар нарисовать, как лицо. Но самое лицо ее, от которой исходит вся сила моего зрения, обращается в самое банальное лицо хозяйственной русской женщины, в роде того, как великое наше солнце графически обращается в очень маленький круг. Догадываюсь о причине моего безумия: я не понимал величия света самого по себе, очень похоже было, как если бы слепец, много наслышанный о солнце, прозрел и, глядя в упор, стал искать на солнце это прекрасное. Только уж когда я еще мало понятной мне силой был повернут от горящего солнца к освещенным предметам, стал я чувствовать себя человеком, удивляться, пользоваться иногда своим разумом, а то и просто жить, не обращая внимания, разумно или глупо, только бы жилось как-нибудь...

Мне теперь ничуть не стыдно во всем этом признаться, потому что все это было давно и я не один, многие меня поймут и узнают в этом свое, и что даже это Я, о котором я говорю, есть уже Я сотворенное. Иногда же мне кажется, что особенность моего состояния, для многих совсем чуждого, объясняется почти полной моей неспособностью к математике и астрономии, посредством которых другие с точностью до одной сотой секунды узнают о движении миров. Как слепцу иногда в восполнение зрения дается тончайшее осязание, так и мне вместо математики и астрономии дана способность личного понимания мира.

Разобрать пережитое, очень похоже, что это понимание явилось взамен утраченной женщины во время сильнейшего порыва юношеской любви. Но когда все вспомнишь и углубишься подалее, то оказывается, что эта утрата уже предполагалась при самом возникновении чувства, досадно и обидно оно, если стать на сторону женщины в простенькой кофточке с красными и синими шашками. Как бы там ни было, но из одного источника происходят дети наши кровные и дети нашего сознания. И только потому, верно, мы еще кое-как и понимаем друг друга, что поэт хоть сколько-нибудь верит в созданный им образ, как в личность живую, и живой человек

узнает себя в этих образах. Из всего этого и родилась моя астрономия, в которой солнце стало на место моей утраченной невесты, а на земле, конечно, все через солнце зачатое стало со мною в родство.

* * *

Есть сумасшедшая просека, разделяющая брусничные пали от моховых клюквенных белей в этих местах, она идет такими зигзагами, что если заблудишься в клюквенных белях, никогда не поймешь, в какой же стороне находится просека. А я часто блуждал тут прошлый год в поисках Старухиной тропы, о которой мне с самого приезда много наговорили. Так, рассказывали, одна старуха из деревни Скорынино пошла в это Серково за клюквой и не вернулась совсем с моховой бели. Такая была это древняя старуха, что и не искали. Потом ссылались на нынешнюю нехорошую молодежь, — будто бы молодые сказали: «Чего искать-то, пропала и ладно, а найдем—все одно скоро помрет». Старики тоже хороши: помолчали. А потом стали считать, сколько ей лет и подвели: «Старухе было без трех дней рубль».

Так вот и осталась по старухе одна память в Серкове—тропа, по которой она в последний раз в клюкву ушла. От одного охотника я слышал, что клюквенная бель, к которой приводит Старухина тропа,—золотое дно всякой лесной дичи. Он мне подробно рассказывал, как найти Старухину тропу, но, как обыкновенно у крестьян, сказывал, не представляя себе человека в этом лесу нового. Назовет какую-нибудь тропу и скажет: «Иди по ней все прямо и никуда не сворачивай». Найдешь эту тропу, а с нее букетом во все стороны другие тропы расходятся и все кажется прямо. Много раз я попался на эту удочку, и только вот теперь догадываюсь, откуда это у всех мужиков взялось это неперемное прямо: оттого, что сам он там был, проводит мысленно прямую к цели и забывает, что другой, там не бывший, не зная цели, не может провести и прямую. И сколько же я поблудил в Серкове прошлый год в поисках Старухиной тропы; каждый раз меня только компас спасал от старухиной участи. Не раз в своих поисках и людей встречал,—то пастух ищет корову, то ягодницы собирают бруснику, то болотную траву подкашивают, то диких пчел ищут,—мало ли людей бывает в лесу, и никто из них даже и не слышал о Старухиной тропе. Раз даже я и струсил немножечко. Как же... Иду я раз по какой-то тропе, подозревая в ней Старухину, и вдруг вижу, на самой этой тропе растет густая и высокая, в рост человека, крапива. Подумал я: «Значит пока росла эта крапива,—никто еще по тропе не прошел». И только я это подумал, вдруг из крапивы... Ничего особенного не было: крапива закачалась и вылетела маленькая птичка подкрапивница. Только стало мне от этого вдруг как-то не по себе в болотном лесу, где без тропы в какой-нибудь час выбьешься из сил. Вокруг дерева стояли в черной воде, и Старухина тропа предстала мне неминуемой: «так или

иначе тебе тоже будет такая тропа». Я схватился за компас и обмер: компаса нет. Вдруг запела иволга и мне подумалось так: «Не может золотая птица петь в таком страшном лесу», полез я прямо туда и скоро вышел на суходол.

После многих неудач я встретил, наконец, человека из той деревни, откуда вышла старуха, и он мне указал. Так у нас постоянно, и эту особенность тоже надо знать всякому хорошему бродяге: каждая деревня на краю большого болота, озера или реки знает местность только возле себя, а что дальше—ей дела никакого нет, кончается владение— и все кончается.

По указанию встречного, я пришел к той самой крапиве, от которой когда-то сбежал, и в этот раз заметил обход крапивы скачками по кочкам. Охотник не наврал, дичи на бели оказалось довольно, настрелял я тетеревей, белых куропаток, одного старого глухаря даже посчастливилось убить. После глухаря стало жарко и тяжело нести дичь, и я устроился отдыхать в тени густых можжевельников.

По обыкновению на моей собаке был звонок, чтобы возможно было за ней следить по слуху в густых кустах. На коровах тоже бывают колокольчики, и потому птицы не боятся собаки со звонком, вероятно, принимая ее за корову. И женщины, молчаливо собиравшие ягоду, пока собака была им невидима, тоже принимали ее за корову. Но случилось, моя Кента в своей березового цвета рубашке и с колокольчиком пробежала возле одной бабы и она, испуганная, крикнула:

— Сват!

В ответ ей со всех сторон слышалось:

— Сват, сват, сват!

Бабью затею, конечно, я понимал: услышав тревогу одной, они ее поддерживают, уверяя врага, что они, бабы, тут не одни, с ними мужчина, сват. Они перестарались: голосов было слишком много, чтобы можно было поверить в единственного для всех свата, или что тут у каждой по свату. Желая успокоить баб, я громко позвал собаку. Но бабы еще больше испугались. Это у них часто бывает, потому что каждой бабе хочется перед другой ягоды побольше набрать и жадности своей она предела не знает и забывается. А когда вдруг ее что-нибудь испугает, она хватится, будто нивесть куда зашла и нивесть какие тут живут существа в березовых рубашках и со звонками на шее. А после того, как и сам лесной хозяин голос подал, у баб начался переполох, все кричали без толку:

— Сват, сват, сват!

Многие, наверно, и побежали не в ту сторону, куда надо. Недалеко от меня затрещала можжуха, показалась старуха с бородкой, опоясанная ремнем, с подобранной юбкой, в мужских сапогах и с вытаращенными, неподвижными глазами.

Такая это была страшная старуха, главное, что бородка... признаюсь, я даже чуть-чуть струсил и в голове мелькнуло, что старуху-покойницу - то ведь не нашли...

Она лезла прямо на меня. Была опасность, что, внезапно заметив меня, она повалится и со страху помрет, как Пиковая дама. Я поспешил ей крикнуть:

— Бабушка, я охотник, ничего, не бойся!

Но она ничего не слышала и, видя, не видела. Она шла прямо на меня, потому что все равно везде вокруг была нечистая сила, и лезла она на нее с безумной храбростью, как в атаке, на всю великую эту силу, старуха шла с одной только молитвой.

Безумствуя, все бабы орали, визжали:

— Сват, сват, сват!

Бабушка пролезала так близко возле меня, что даже зацепила корзинкой за шляпу, и ее помертвевшие губы неустанно твердили:

— Свят, свят, свят!

Случилось так, что, задетая корзиной, моя шляпа повисла и пошла вместе с бабушкой. Я вскочил и, не достав рукой до шляпы, схватился за корзинку, а бабушка от этого вдруг...

Бывает же такое мгновенное преобразование: старуха глядела на меня пылающими гневными глазами, стала почти молодая и даже заиграл на щеках румянец. Она крикнула мне:

— У, бессовестный!

Она крикнула именно с тем значением, когда мужчина лезет на-сильно к женщине...

— Шляпу,—сказал я,—бабушка, шляпу мою ты унесла.

Она схватилась, увидела мою шляпу на корзинке, лицо ее покрылось множеством добродушных морщинок, глаза пронизательно и насмешливо заглянули в меня.

Бабушка окончательно пришла в себя и сказала:

— Что, я смотрю на тебя, какой ты, глупенький, что ли... с пыльцой в голове.

Стали сходиться бабы, и началось большое веселье. Так ведь постоянно у баб: пока лесной хозяин не виден,—боятся, а покажись и допусти,—юбку на него наденут. Одна бесстыдница даже пыталась схватить меня за ружье.

* * *

Старухина тропа входит в моховую бель, а оттуда не выходит, она там расходится сначала на множество тропинок, потом каждая тропинка тоже расходится между кочками так, что невозможно отличить человеческий путь от звериных проходов и даже просто глухариных бродков между кочками. В этот раз я вышел без троп сначала на просеку, а потом от нее выбрался скоро на пали и пошел, часто спускаясь между моренами, пересекая внизу торф, сочащийся небольшими ручьями, заросшими черной ольхой. И каждый раз, как лиловый вереск и красная брусника при спуске в черную ольху исчезали у меня из глаз, я из далекого мира с широкими горизонтами возвращался к обязательной мысли повседневности. Переходя торфяные ручьи,

думал я: «Сколько в этих ручьях сама природа заготовила удобрений для песчаных палей, насколько бы дешевле было вывозить торф наверх, чем осушать болота Дубны и вместе с тем губить драгоценный заповедник под самой Москвой». Но чтобы это совсем простое и ясное для себя превратить в могучее средство борьбы за Клавдофору, я должен много собирать материалов, мерить, высчитывать, чертить, для этого я должен забросить рассказ свой о творчестве и, по всей вероятности, больше к нему уже не вернуться. Хорошо знаю по прошлому опыту, что, взявшись за другое, я там, в чем-то другом, по-иному переживу все эти подступившие ко мне темы, в бороде моей и волосах появятся новые серебристые свидетели моего постарения, но когда я приду к старым материалам, они мне тогда покажутся наивными и ненужными; кто-то, вспомнишь тогда, о том же самом сказал гораздо сильней. Так сошлось все, что стало невозможным забросить творимую мной Клавдофору для борьбы за обыкновенную Клавдофору ледниковой, сравнительно недавней, эпохи.

— Позволь, друг мой, — сказал я себе, выбираясь из заросли черной ольхи, — давно ли тебя поразил изумрудно-зеленый шар, живущий на дне ледникового озера, и вот уже стало две Клавдофоры, поэтическая и действительная, все равно как у Дон-Кихота одна и та же девушка разделилась на деревенскую Альдонсу и благородную Дульцинею.

— Друг мой, — говорил я себе, снова окруженный большими пространствами, наполненными только лиловым вереском и красной брусникой, — вспомни, что тебя самого выдвинула с особенным лицом среди обыкновенных литературных талантов только благоговейная твоя связь с материалами. Верь мне, если ты оставишь гибнуть Клавдофору в Заболотском озере, — не создашь ты Клавдофору вечную.

С этой мыслью выбрался я из брусничных палей и клюквенных белей на большую дорогу возле 56-го телеграфного столба у самого каменного мостика, где проезжие непременно в ручье поят лошадей. Сонный обоз медленно приблизился к ручью, вялые люди медленно разнуздали своих лошадей. Но как только люди вместе с лошадьми выпили воды из ручья, вдруг все переменялось, хмель вернулся к мужикам, одни запели, другие стали драться, третьи ругались и обнимались. Потом обоз двинулся вперед с обычным диким пением пьяных людей, непристойной руганью, ревом и гомоном. Все это я хорошо понимал: туземцы, отправляясь домой с городского базара, сильно выпивают, но не закусывают, отчего хмель держится очень долго, а когда проходит, то стоит только напиться простой воды из ручья — и снова становишься пьяным.

Подбодренный водой, претворенной в вино, с ревом промчался обоз мимо меня. Я скоро забыл о нем и вернулся к тревожной своей думе: сочинять мне дальше Клавдофору для воображаемого лица Алпатова, не обращая внимания на гибель ее первообраза, или помериться силами с затейниками осушения болот в борьбе за драгоценный реликт

ледниковой эпохи? Недолго мне пришлось думать об этом: какой-то лежащий поперек дороги темный предмет привлек мое внимание. Скоро я разобрал, что человек это был, и повидимому,—человек мертвый. Он лежал лицом в дорожной пыли, в правой руке у него был кнут. Я хотел было наклониться и попробовать пульс, но в это время сзади кто-то наехал, лошадь фыркнула, остановилась, возница просто спросил меня, как и животные спрашивают в сомнительных случаях друг друга:

Ой-ли?

Я ответил:

— Человек лежит на дороге.

— Не может быть, — сказал он, — человеку тут делать нечего, какой там человек...

Слез с телеги, подошел, взгляделся...

— Ой-ли! — воскликнул он весело. — Так оно и есть: ну, какой же это человек!

И с громким криком — «Иван!» ударил мертвое тело кнутом.

Иван вскакивает, протирает глаза, оглядывает нас и, ругаясь, бежит догнать свой обоз.

Это бывает, сползет сонный человек и останется. Часто бывает, встретишь обоз, на одной подводе поет, на другой спит, на четвертой нет никого,—а как же на третьей? И дальше опять,—кто спит, кто поет. Где же третий? Как же так, исчез человек, а его и не заметили, или один ничего не значит в обозе? Вспомнишь тогда жизнь многих людей, чего они достигали, как умирали, переведешь на себя эту жуть, и тогда вдруг как бы с осеннего дерева весь лист, разом слетит с тебя все творчество, со всеми игрушками, и до того захочется выпить!

В одном селе на большаке, я снова весь обоз этот узнал возле трактира. Лошади стояли против пустого корыта с надетыми на головы мешками — ели овес, против каждой на краю пустых яслей сидела курица в ожидании, не откроется ли современем дырочка в мешке, нельзя ли будет выключить зернышко. Недалеко мне было до деревни, но я вконец изморился и захожу в трактир чаю напиться с колбасой, конфетками и баранками.

Полнехонько. Меня и не заметили. Сажусь в уголку. Кто-то слышу, спросил:

— Да откуда он взялся?

— Мало ли их присылают сюда: крючок. Две собаки у него, пятно в пятно.

— Знаю, это егерь.

— Ничего ты не знаешь. Ты не на собак смотри, а на морду: это партийный.

— С бородой? Это писатель.

Длинный чахоточный, с румянцем на щеках, всех перебил. Он верно знает, это не егерь, не писатель, не подсланный коммунист, это не подписанный англичанин.

Все обернулись к чахоточному, и он стал подробно рассказывать о каком-то англичанине с двумя собаками и большим портновским магазином в Москве. Человек этот обладает большими богатствами, а советская власть взять не может: англичанин неподписанный.

— Врешь! — оборвал чахоточного молодой человек с забинтованной головой. — Советская власть все может. Мне вот ножик в затылок всадили...

— Финский? — спросил кто-то сразу заинтересованный.

— Вершка на полтора в затылок вошло, и никто на месте не мог вытащить. Семь верст бежал до больницы.

— У нас двум всадили, — сказал Федор Федорыч, солидный, хозяйственный, хорошо мне знакомый мужик из Пустого Рождества.

Никто не обратил на его слова никакого внимания, потому что люди бессознательно мстят сильным уравновешанным характерам, когда они во хмелю.

— Что же это по пьянке тебе так попало? — спросил кто-то забинтованного.

— Зачем по пьянке... Ехали лесом, мальчишка лет пятнадцати. У меня гармонья. — Сыграй! — просит мальчишка. Едем двое в лесу. Отчего не сыграть? Я заиграл, а он сзади ножик в меня, спихнул, взял гармонь и ускакал. Вот дурак! Сразу же по гармонье узнали, да и я прибежал, назвал, схватили его враз, а ножик вытащить не могли. Стали было лошадей готовить для меня, а у меня сердце кипит, так чувствую, — лягу в телегу и кончусь, а на ходу ничего: так вот семь верст и бежал. Докторам на удивление: как это мог человек с ножом в затылке семь верст пробежать!

— Разные затылки бывают, — сказал Федор Федорыч, — вот у нас был случай...

Его опять перебили.

— Ну и что же, доктора ножик вытащили?

— Нет, попробовали, покачали и тоже не могли. А я вдруг впал в бессознание, и сколько был, — сказать не могу. Просыпаюсь, братцы мои, товарищи! Постель белая и я сам в нижнем белье, а рядом на стуле «Рабочая Газета». Взял я газету и от нечего делать прочитал о вредителях в шахтинском деле: вредители были инженеры, немцы все неподписанные, и все - таки советская власть их посадила в тюрьму.

— И ты говоришь, — обратился потерпевший к чахоточному, — советская власть не имеет прав взять неподписанного англичанина. Я сам своими глазами читал: может взять, все может советская власть и ни у кого об этом спрашиваться не будет.

— А я разве напротив советской власти говорю? — возразил чахоточный. — Советская власть может брать и подписанных и неподписанных, а все - таки зачем ей без больших причин остужаться с Англией, ведь что ни говори, а все - таки гражданин неподписанный. Но с большого на малое, ниже-ниже, мельче-мельче и опять кинулись на большое: у нас кругом такая нищета, а тут человек с собаками и со

всем своим английским багажом неприступно живет в свое удовольствие. Потасили к допросу и велят: «Хочешь жить у нас—подписывайся!» Этот англичанин тогда не будь дураком, говорит: «Я есть американец Арá, вот мой лист!» А на листе подписи с благодарностью от всех, кого он в голодное время кормил. Советская власть тоже написалá благодарность на листе и отпустила: «За все твои добрые дела можешь по гроб жить неподписанным».

— Ничего нет удивительного,—сказал Федор Федорыч,—кричи против богатого, сколько горла хватит, а трудный час придет,—возле богатого - то и бедному покормиться можно.

И перемигнулся с трактирщиком Иваном Захарычем, понятно, в политическом смысле. Я даже заметил, трактирщик моргнул на меня и вполголоса сказал:

— Вон куманек!

Ой - ли! громко ответил Федор Федорыч. — Да будь тут и сам Ленин, я в глаза прямо скажу: возле богатого всегда можно бедному, а возле бедного и курица не напестя,—за то, что он бедный и у него только удочка.

Тогда голос опять взял чахоточный.

— А я по собакам догадался: это и есть самый он, неподписанный англичанин.

— Не может этого быть, — ответил раненый,—англичанин любит машину, промышленность, зачем ему писать против осушения болот. Тут коммунисты охотятся, вот и подослали своего человека.

Все зашумело в трактире. Чей - то голос был:

— Коммунисты же нас осушают!

— Сухо! — ответил другой.

— Я не к тому, — сказал первый.

И принялся доказывать, что если коммунисты осушают Дубну и озеро спускают, то зачем же коммунисту против осушения писать.

Верно было сказано и просто, но тот упрямый человек наломал себе баранок, наложил их в стакан, налил кипятком, стал парить и все время, пока этим занимался, ничего не слушал и только ругался на весь трактир.

Я давно, с первых слов, догадывался, что речь шла про меня, но только не понимал, с чего же это вдруг взялось и пошло всенародно против меня и, наконец, вспомнил и вдруг все понял: это, наверно, напечатали посланную месяц тому назад статейку в «Известия» о Клавдофоре, статейка попала должно быть в самую точку, взволновала все местное начальство, а потом и пошло все искривленными лучами в население.

— Чего же вы его не утопите? — спросил чей - то голос.

— Попробуй-ка, утопи!—сказал я громко на весь трактир.—Это я написал.

Все стихло.

Мне думалось, вот сейчас схватятся, зашумят, может быть, хмель опять вступит в силу и тогда чего доброго... Впрочем, я сидел возле самого окна и с ружьем.

Никто, однако, не напал на меня и даже никто ничего не сказал. Мужики молча перевернули стаканы и чашки доньшками вверх и пошли к лошадям. Чахоточный встал самым последним и неожиданно с таким участием, с такой ласковой грустью сказал мне:

— Милый мой, зачем же ты это писал, неужли тебе не стыдно заступаться за озеро для потехи: ведь жизнь человеческая дороже всего.

Мужики вполне заели свой хмель, обоз степенно тронулся в путь, и я опять на дороге один со своими художественными и всякими затеями.

ХVII. ДОКТОРА ВОДЫ

К известности надо очень привыкнуть, чтобы она вредно не влияла на труд. Самым благоприятным для себя считаю, когда кругом принимают меня за своего и не обращают никакого внимания. Народ-то уж очень у нас озорной, чуть что походка немного более эффектная, чем это допускает общая неказистая жизнь,—и мальчишки кричат: «Вот король идет!» Не очень это лестно, если понимать, что король у мальчишек,— конечно же!— взят с игральных карт, просто какой-нибудь трефовый или еще хуже бубновый и даже забубенный король. На полсантиметра шляпа в полях шире других — и вот уже заметили, кричат вслед: «Чемпион мира!»

Редко приходит в голову, что наше, как говорят, сильное или мускулистое тело, по правде-то, просто кисель, любой мальчишка может заострить палочку и пропороть брюхо всякому чемпиону атлетики. Наша мысль о сильном теле есть одна из равнодействующих сил нашего общего творчества жизни и употребляется в том самом значении, как могучий язык.

Я завел это рассуждение для того, чтобы сделать понятным необходимость оберегать свое расположение к труду писателя. Мне кажется, в этом расположении к труду искусства слова присутствует тоже какое-то тело, и еще в тысячи раз менее защищенное, чем наше тело чисто физическое. Вот теперь все поймут меня, если скажу, что Журавлиная родина в Берендеевском царстве не менее реальна, чем наше физическое тело, но для защиты своей требующее гораздо более сильного панцыря. А то если бы так легко было сочинять, то почему же остается так немного читаемых книг, почему в значительной горе рукописей, читаемых редактором ежемесячного журнала, с трудом находится для печати две-три тетрадки, почему имена Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского на пути своего становления усеяны тысячами трупных имен людей и образованных, и умных

и отличных в своих намерениях... Задор жизни моей так велик, что пусть сто человек с топорами пойдут на меня плотной стеной,—в крайнем случае не покорюсь я и пойду на них с перочинным ножиком. Но что я сделаю, какое слово могу я сказать и сохранить для людей их действительно существующую, только для масс неоткрытую, невидимую Журавлиную родину, если чья-нибудь рука прямо возьмет меня за тот самый «язык», которым помогают еде: в Журавлиной родине даже нет перочинного ножика, чтобы полоснуть им по чужой руке.

Перед самым моим окном деревенский ток, жалкое подобие птичьему и звериному. Я могу самое большее иметь на току успех с какой-нибудь сочиненной мной любовной частушкой, но с Журавлиной родиной и Берендеевым царством засмеют меня на току, Журавлиная родина придет сюда через сколько-то лет отрывочками в школьных книжках. До поры до времени я непременно должен прятаться.

И вот вдруг во всем краю, в каждой деревне, на каждом сходе, на всяком току я стал человеком и известным как враг народа. Что делать? Ясно теперь, что мой роман о творчестве почему-то превратился в признания или в повесть о разбитом романе, мне теперь остается признаться в самом для себя неприятном: хула так поражает меня, что не к самозащите бросаюсь в первую очередь, а тоже вместе со всеми обращаюсь к себе и, хотя не хулю сам себя, но с болью всматриваюсь в то, за что меня люди хулят, и часто со стыдом от себя отхожу. Так и в этом случае, когда все кругом на полях и дорогах, в лесах, на покосах, в трактирах, везде меня стали ругать за статью в «Известиях», самому же мне стало странным, как мог я писать в защиту какой-то Клавдофоры в переходное время, когда не только трава ледниковой эпохи, но, может быть, в каком-нибудь сарае пропадало от сырости и невежества редчайшее произведение какого-нибудь эллина... больше: просто по досадной ошибке чья-нибудь жизнь, больше чем жизнь,—сама личность творящего жизнь существа.

От брошенного мною слова, однако, побежали потоки, восходящие в центр страны и нисходящие на места. Проспавшие ученые вдруг встрепенулись и зазвонили в защиту Клавдофоры, местные дельцы стали отбирать приговоры крестьян о необходимости спуска озера, начались комиссии, совещания в центре и на местах, вызов местных сил в центр, приезд из центра понимающих лиц. Когда меня вызывали в центр, я по ошибке ехал на места, когда места вызывали, случилось,—выехал в центр, никуда не попал и о всем узнавал только по слухам.

Вот когда, наконец-то, понял я ласточку, летающую над самой землей и водой: если она при своем игривом полете так низится, что пугает кур и оставляет кружок на воде, то это у нее не ошибка, а

нарочно так сделано, чтобы создать захватывающую прелесть близости к себе земли и воды.

В своем литературном полете одно время я так увлекся близостью к себе родной земли, что даже стал было отговаривать молодежь от обычного свойственного юности стремления в далекие края.

— Не нужно ездить в Центральную Африку, — говорил я, — у нас под Москвой вы найдете мир еще менее известный, чем Африка. Надо делать открытия возле самого себя, чем ближе подойдете к себе, тем глубже проникните к сокровищам...

Эти мои слова привлекли школьных учителей, и однажды в знакомой школе я встретил систематические занятия всей молодежи с мухами, и в честь моего посещения школы учитель-натуралист говорил почти моими словами:

— Изучайте, открывайте мир волшебный, таинственный возле себя, со всей страстью юной души изучайте мух, потому что ближе мух ничего нет к человеку.

Вот еще тогда бы надо было понять мне ласточку, — что особенная близость полета к земле предполагает особенно длинные крылья, чтобы сохранить себе возможность взлететь под самые небеса. Как уверен я был до сих пор, что мое Берендеево царство существует в действительности, что стоит мне только выйти на дорогу, догнать человека, разговориться с ним и непременно в самое короткое время неизвестный этот человек откроет мне живущего в нем Берендея и, расставаясь, сам не зная за что, будет горячо благодарить меня и усердно звать меня к своему годовому празднику в гости. На скромной нашей земле, без живописных руин и заботливо охраняемых превосходных памятников прошлого, с одними только нежными березками, грациозными тропинками, кудрявой шелковистой муравой на большаке между колеями, одна была у меня широкая радость — встречать везде и всюду родных. Правда, животные тоже, а иногда и растения, мне открывались, но тем чудеснее было узнавать с пониманием собственную интимнейшую жизнь в человеческом слове из уст существа, до сих пор мне совсем неизвестного...

Бывало, завидев издали идущего навстречу мне берендея, я сажусь на бревно или камень, вынимаю папиросы и, наждав его, говорю, как другу: «Пора покурить!» Теперь, завидев пешехода или подводу, я прыгаю через канаву в лес, становлюсь там в кусты за деревом, пропускаю встречного и торопливо, чтобы не догнал кто-нибудь сзади, иду по дороге вперед. Мне иначе нельзя, потому что даже самый кроткий человек, разговаривая со мной, будет что-то держать в уме, дожидаясь момента, когда можно будет об этом спросить, а дерзкий и особенно пьяный прямо в глаза будет ругать и, не зная даже в чем дело, просто сваливать на меня, как на виновника, всю свою тяготу. Непременно же гораздо легче жить, если враг воплощается в личности — в этом причина быстрого успеха всякой хулы. Даже и у себя в деревне я стараюсь на улице людям

не показываться и хожу на охоту загуменной дорожкой. Но хозяин мой Николай Карпыч весь на моей стороне, он все понимает, собирает все слухи и о всем мне доносит. Какой-то профессор в Москве будто бы сказал: «Озеро надо сделать заповедником, все работы приостановить, а людей из болот переселить на сухие места». Через неделю Николай Карпыч сообщает: «Инженеры переселили профессоров: денег очень уж много затрачено, и у всех крестьян по Дубне отобраны приговора о спуске озера». Случилось под самым моим окном бабы заговорили:

— Трава в нашем озере выросла, как за границей, едут ее доставать.

После того на дороге показались лошади экспедиции гидрологов, и баба, показывая рукой на них, говорила:

— Зачем вам трава, — спрашиваю, — кто вы такие? Они отвечают: «Мы доктора воды».

Так мы встретились с учеными и вместе поехали исследовать приговоренное к смерти озеро. Невеселы доктора воды. Оно и правда, трудненько работать весело, если на озеро смотреть как на редчайший, сложный, неповторимый организм. Солнечный свет был смягчен облаками, в этом задумчивом свете вода лежала осмысленно и тоже, казалось, думала: совсем неожиданно на большой открытой воде высматривала плотная кучка зеленых тростинок...

— Клавдофора, — сказал я, — очень редкий реликт, но все-таки он не может спасти озеро от гибели. Есть ли такой реликт, чтобы мог остановить всякую такую попытку?

Доктора стали думать и называть редчайшие реликты. Из них ценным был О ф и у р а, но лучше всего было бы найти иммигрантов моря: в конце-то концов, опреснение вод — явление последующих эпох, а все живое вышло из моря...

— Назовите же, — прошу я, — мне хотя бы одного иммигранта моря, такого, чтобы он был значительней Клавдофоры.

Долго ученые думают, много редкостных называют иммигрантов, но все они разве немногим интересней Клавдофоры и едва ли могут собой удивить непосвященного и остановить спуск озера.

Неужели же нет ничего! Пусть на самом деле ничего не найдется, мне нужна только возможность, я не могу отстоять озеро, но роман я могу свой написать по возможностям.

— Представьте себе, — сказал я, — наше творчество, как стрельбу из винтовки: прицел из ружья это в творчестве будущее. В творчестве, однако, мало того, чтобы верно прицелиться и попасть, нужно еще, и это самое трудное, почти невозможное: после того как от моего же выстрела будущее сделалось настоящим, узнать его, как свое настоящее. Я знаю по своему опыту, что когда будущее становится моим настоящим, я представляю себе этот момент как совершенно новый взгляд на прошлое, новое, небывалое его пости-

жение. Вот я и прошу вас дать мне этот вечный реликт для преобразования его в нашем современном сознании.

Я это издавна люблю на воде философствовать с натуралистами: болтай, что только вздумается, они все будут слушать с серьезным вниманием. Меня привлекает их застенчивость, выходящая из долга не говорить о самих вещах, а так все устраивать вокруг нас, чтобы сами вещи о себе говорили. У них есть почти физический стыд, когда начинаешь говорить о вещах, выходящих за пределы простого эмпирического обобщения: силясь ответить сочувственно, честные натуралисты часто краснеют. Впрочем, я и сам с ними стыжусь своей философии, и только необходимость добыть от них материал о реликтах заставляет меня высказываться о синтезе прошлого и будущего в настоящем. Заведующий гидростанцией, живой человек из южан, скорей всех нашелся.

— Вечный реликт? — сказал он. — Это все, что у нас за кормой.

— Это я знаю, конечно, — ответил я, — но мне нужно имя ему, мне нужно хотя бы только в романе такое открыть, чтобы немислимо было спустить это озеро.

— По-моему, — ответил ученый, — в науке такого ничего не найдется, это скорее дело художников, откройте русалку.

— Ладно! — сказал я. — Бросайте батометр.

И стал им читать:

— «В море царевич купает коня...»

Опускали батометр на дно озера, доставали пробы для анализа, испытывали прозрачность воды, выслушивали в телефонные трубки электропроводность. Они были настоящие доктора, призванные изучить организм приговоренного к смерти...

Наша экспедиция остановилась в богатом деревенском доме, где гордостью хозяев был филодендрон, такой высокий, что верхушка приходилась в самый потолок и непременно бы под тяжестью верхних ветвей с массивными листьями согнулась дугой, если бы не была привязана к гвоздику, вбитому в потолок заботливым хозяином. Огромный поршок с многолетними корнями помещался на скамейке возле окна. Хозяева приветствовали нас, людей образованных, и предоставили нам эту парадную комнату с драгоценным филодендромом. Так и сказала хозяйка:

— Мы людям образованным рады.

Пришло время обедать, у нас мешки с консервами, селедки смешались с ландрином, печенье подмокло и превратилось в рыженький кисель с ванилью. Неловко было все это хозяйство обнажать в комнате, где сами хозяева смело ходили только в годовые праздники и настоящим хозяином был только почтенный, высокоуважаемый филодендрон. Мы попросили разрешение и перенесли свою шумуру в соседнюю обыкновенную хорошую рабочую комнату.

После продолжительного плавания в дурном настроении захотелось пошутить, посмеяться, выпить по рюмочке. Оживленно мы стали рассаживаться возле стола, и тут оказалось, что одному из нас стула нехватало. Не долго думая, наш быстрый южанин, начальник экспедиции, прошел в парадную комнату и принес ту самую скамейку, на которой стоял филодендрон. Через короткие минуты мы чокались, поздравляя друг друга с выполнением нашего долга просвещенных людей в отношении приговоренного к смерти озера. Вдруг в комнату вошла взволнованная хозяйка и с глубоким возмущением сказала:

— Образованные люди разве так делают!

Мы вскочили. Она повернулась лицом в парадную комнату и показала рукой на филодендрон.

Оказалось, ученый начальник наш не досмотрел второпяж, вынул скамейку, поставил пустой горшок на пол, а привязанный к потолочине филодендрон, повис в воздухе со всеми своими многолетними корнями.

Хозяйка повторила:

— Так образованные люди в порядочных домах не делают!

По-разному сложилось понимание населением моего политического существа: в сознании руководящих инженеров я был вместе с учеными квалифицированным интеллигентом, в силу своего особенного положения несколько оппозиционно настроенным к политике, рассчитанной на сознание масс. Напротив, в широкой среде мужиков я был просто прислужником начальства, я, в их понимании, написал статью, чтобы озеро не спустили и все высшие комиссары могли продолжать охоту на уток. Лучи вражды техников сходились с этими низшими лучами, и так создавалась атмосфера, разрушающая мое Берендеево царство. В этой атмосфере вражды я долго не подозревал, что было много людей, кто понимал меня совсем по-другому. Случилось (однажды, много спустя) после отъезда ученых ночью, когда на улице все смодкло и даже Нюша Фуфаева прекратила свое токование, я вскочил с постели от внезапного воспоминания разговора моего с механиком на экскаваторе: он говорил тогда мне, что экскаватор может утонуть и в этом единственная опасность делу осушения.

— Романа не будет из Золотой луговины, — сказал я себе, — но это первое звено о творчестве Алпатова отлично можно закончить топлением экскаватора.

Я зажег лампу, стал записывать. Случилось именно в тот самый момент, когда я записал свою мысль, с улицы тихонечко кто-то постучал в окно. Не срывая кнопку, припиливающих газету к окну, я шопотом спросил и мне шопотом ответили:

— Откройте, сильно надо!

Я отнял кнопки, открыл тихо окно. При свете луча моей лампы показалось лицо человека, сзади него была серая голова лошади с большим темным возом. Человек был мне совсем незнакомый, но со мной

хотел обращаться, как с другом, подмигивал, стараясь как-будто даже и языком прищелкнуть: «Вот штука - то!»

— Неужели не узнаете?

Я сделал вид, что узнал. Неизвестный страшно обрадовался и очень осторожно, бесшумно влез в мое окно, не расставаясь с кнутом. Потом глаза его уменьшились, над ними во все стороны бросились стрелки, из-под усов явились губы, потянулись к моему уху, и я услышал:

— Большую радость привез вам: утонул экскаватор.

Мне бы уже пора было привыкнуть к совпадениям моих загадок и действительности в этой работе: правда, сколько сложилось всего одно в одно. И все - таки это меня поразило, я вздрогнул.

— Врешь, — сказал я, — врешь!

Неизвестный перекрестился и ответил:

— Провалиться на месте, лопни мои глаза: один флачок над водой.

После того неизвестный опять заморщился и продолжал:

— А разве не понимаем мы, к чему вы шары защищали, мы-то молчали, а дураки болтали. Вы вот теперь послушайте, что в трактирах говорят: «То-то,—говорят,—он писал о шарах, вот оно что! Человек этот видно с шарами».

У меня отнимался язык: неожиданные друзья мои были дальше врагов.

— Что же, — спросил я, — много таких понимающих?

— А все, — ответил он, — как только узнают, что утонул, так и скажут: А он же об этом и писал нам, дуракам!»

XVIII. ВЕЧНАЯ ИГРУШКА

Самоопределение, согласованное с движением планеты, в биологии признается пока следствием внутренней ритмики: так не по часам, не по видимому солнцу, а по самому себе петух узнает полночь и начинает кричать, или вечером с хриплым криком минута в минуту, как по хорошим часам, вальдшнеп начинает кружиться в лесу над поляной с молодой порослью. Это внутреннее сознание поры - времени бывает так велико, так оно повелительно, что часто журавли пускаются в путь на свою родину, несмотря на мороз и метель. Но разве мы - то, люди, на какой - нибудь другой планете живем и не дети ли мы все одного и того же нашего солнца? Часто я тоже, как журавли, вслед за жестокими душевными бурями и метелями с особенной острой радостью лечу на родину, общую с перелетными птицами. Бывает, так душит меня скорбь, что вот вон лезет язык, но я уж не юноша, знаю себя хорошо и ничего не боюсь: язык мой не вылезет, прилетят журавли непременно, и с ними оживут мои Берендеи. Вот эта же самая журавлиная внутренняя ритмика в предрассветный час приводит меня ежедневно после глубокого сна к новому острому сознанию вечности в жизни, я—заутренний человек и вечером о себе могу, как о птице,

сказать клюю носом. Сегодня я проснулся с воспоминанием детства, когда упрашивал мать достать мне такую игрушку, чтобы никогда не ломалась. В следующий момент пробуждения до того отчетливая мысль шевельнулась во мне, что я нащупал карандаш на столе и записал в полумраке: «Пусть рассказы мои только игрушки для детей и для взрослых, но мне кажется, я завожу и пускаю их на веки вечные и в том моя радость».

После того мысль моя вернулась к Алпатову, как-будто для него только она и складывалась: Алпатов на своем творческом пути непременно тоже должен встретиться с вечной игрушкой.

Стало много светлее. Неумытый, неодетый сижу я на своей узенькой походной кровати и работаю, отдаваясь в писании этому птичьему чувству внутренней ритмики: лететь вперед, несмотря на морозы и бури. Да, конечно, если через десятки лет эта просьба у матери вечной игрушки является во сне и входит, как сила, в мой рабочий день, то сила эта большая и сейчас поможет она мне приблизиться к пониманию истоков творчества. Прежде всего, конечно, всякий творец, в том числе и описанный в книге бытия, начинает создавать только себе на забаву, в силу той же самой внутренней ритмики, просто, как ребенок играет. Моя картина творчества должна начаться игрою ребенка и тут же возле него мать, как у Пушкина в сказке: ребенок-богатырь понатужился в бочке, выбил дно и очутился с матерью на пустынном берегу. Начинается стрельба из лука в белую лебедь и, наконец, маленький богатырь просит мать дать ему вечную игрушку. С этой игры можно будет и начать свою книгу бытия, постепенно через вечную игрушку переходя и к сознательному плану творчества: от создания света, разделения воды и суши, постепенно от низших форм жизни к самым высоким.

Мною сделано довольно понятно в прежних книгах, что бывшее в Алпатове сознание среднего интеллигента - материалиста рушилось от соприкосновения с живой материей: вдруг оказалось, что интеллигентская материя насквозь вся выдумана, что ничего нет в ней действительно материального, как тоже очень мало съедобного в той вымытой дождями и обветренной кости, из-за которой животные постоянно все - таки грызутся между собой. Весенняя природа, освобожденная от ледяных оков река способствуют решимости Алпатова разбить свое интеллигентское прошлое и начать творчество не с теории, плана, а просто с игры, с занятого себе самому. Открытие протока дается ему свободной догадкой, возможность превращения болота в Золотую луговину является сама собой после веселой беседы с крестьянином. Старую, брошенную железнодорожную землечерпалку он переделывает, забавляясь, в пловучий экскаватор и до встречи с Клавдофорой работает играя. Пусть открытие Клавдофоры сразу остановит его резвую жизнь. Он, конечно, может съездить в столицу и там постепенно узнавать от ученых и в книгах все значение редчайшего реликта для науки. И вот, наконец, перед ним является росстань: на одной

стороне—благополучие десятка деревень у болот на создаваемой им Золотой луговине, на другой—гибель одного растительного существа, необходимого для понимания отдаленных веков жизни планеты и через них грядущего. Встреча с Клавдифорой для Алпатова делается чем-то в роде иллюзии вечности, необходимой для всякого творца, чтобы создаваемая им вещь делалась прочной. Со стороны при взгляде на вещи, конечно, каждому ясно, что вечны они, но надо же понимать и язык сотворенных вещей. Хорошие вещи все говорят: «Наша прочность ручается за то, что человек, создавая нас, думал о вечности».

Мало есть людей на свете, кто обращал внимание, какое большое время проходит от самого первого света и до восхода солнца, сколько тут всего совершится в природе и сколько всего может мыслей пройти в голове человека и сколько испишешь бумаги, если научишься изображать их быстрый ход. Не скоро заиграет пастух. Мне видно из окна, как с коровьего растопа возле деревенского прудика поднялся длинноносый бекас и после этого своего ночного гуля полетел вниз, в свои болотные основные места. Я видел, как определялись капли росы на траве и вслед за этим той же силой внутренней ритмики улетевшая в небеса моя мысль стала искать себе на земле определения и воплощения. Бывает начнется с того, что просто капля росы засверкает из пазухи листика разными огнями, привлечет к себе внимание, а бывает сверкнет внутри себя. Сколько раз я давал себе слово замечать условия, при которых бывает это сверкание, но я мало достиг: сверкает всегда неожиданно. Я одно только знаю, что это сверкание является от перестановки времени, и новое время в сравнении с нашим обыкновенным кажется вечностью: солнце вот-вот взойдет, и луч мгновенно вырвется, но мне бывает этот луч от солнца в сроках Рамзеса и Ленина. Так случилось в это утро, луч этого вечного солнца упал на маленького, теперь большого человека, проживающего в нашем селе на социальном обеспечении, потому что он честно служил начальником милиции. Кто поверит, что этот необразованный человек переменил свою обыкновенную вековечную фамилию Асленкова на имя одного из самых даровитых людей в Германии. Я, услышав про это, спрашивал местных образованных людей, врача, юрисконсульта, страхового агента, все они улыбались, но никто из них не удивился настолько, чтобы расспросить самого начальника милиции, почему он вздумал в грязном селе вместо ничтожнейшего какого-то Асленкова утвердить одно из самых изысканных в истории культуры имен. А между тем, о другом ничтожнейшем Асленкове, Федоре, везде шел разговор, все высказывали встречному и поперечному, что этот негодяй с коровой, лошадей и десятком овец пролез в бедноту и не платит даже тех совсем ничтожных определенных бедноте налогов. Вступив однажды в село с целью купить себе в кооперативе продуктов, я вдруг потрясен был представшей мне в совершенно особенном значении мысли о поступке начальника милиции, забыл о продуктах, постучался к нему. И смущенный, и обрадованный моим визитом, бывший наш на-

чальник милиции очень охотно рассказал мне, что сам он, избирая себе новое имя, и не подозревал даже о существовании философа - пессимиста, столь мало близкого к учению Карла Маркса. Только недавно уком, и то, наверное, не сам, а наученный кем - нибудь свыше, вызвал инвалида для объяснения, не является ли эта перемена фамилии идеологическим уклоном старого партийца в сторону философского пессимизма, само собой влекущего в пессимизм социальный. Недоразумение раскрылось при первом же вопросе, потому что бодрый марксист совсем даже и не понимал значения слова пессимизм и о Шопенгауере, как философе, тоже никогда ничего не слышал. Вот как все произошло.

Рядовой Иван Асленков был ранен и очутился в германском плену. В лазарете за ним ходила сестра милосердия, девушка прекраснейшая. Молодой человек после разгрома германской армии и последующей революции вернулся на родину, вступил в партию, восставил этим против себя всех Асленковых и, желая в свою очередь стряхнуть с себя весь асленковский прах, переименовал фамилию. Всему наследственному жульничеству Асленковых ему естественно захотелось противопоставить самое возвышенное, самое прекрасное, что только приходилось в жизни встречать, — сестру милосердия фрейлейн Луизу Шопенгауер.

Так в это утро из всех граждан я единственный сделал открытие в сокровенном мире бывшего нашего начальника милиции, как мне кажется, только потому, что один конец рычага,двигающего меня в гражданском мире под солнцем Ленина, упирается и в Рамзесово солнце. Я ничего не могу сделать прочного без опоры на вечное: и пусть другие считают ее за выдумку, ее рабочую ценность они все-таки должны признать, потому что и я, и многие другие мастера только благодаря этой вечности дают людям прочные вещи.

* * *

Видал ли кто - нибудь белую радугу? Это бывает на болотах в самые хорошие дни. Для этого нужно, чтобы в заутренний час поднялись туманы, и солнце, показываясь, лучами пронизало их. Тогда все туманы собираются в одну очень плотную дугу, очень белую, иногда с розовым оттенком, иногда кремовую. Я люблю белую радугу, она мне, как молодая мать с полной грудью молока. Белая радуга в это утро одним концом своим легла в лесистую пойму, перекинулась через наш холм и другим концом своим спустилась в ту болотистую долину, где я сегодня буду натаскивать Нерль.

Рожь бурет. Луговые цветы в этом году благодаря постоянным дождям необыкновенно ярки и пышны. В мокрых, обливающих меня слыховых болотных кустах я скоро нашел тропу в болота и увидел на ней: далеко впереди, утопая в цветах, свесив на грудь мгlistую бороду, спускался в долину простой Берендей. Я залюбовался долиной, над которой с криком носились кроншнепы, и до тех пор не мог стронуться с места, пока Берендей не скрылся в приболотных кустах. Тогда и я сам, как Берендей, утопая в роскошных цветах, среди которых была,

впрочем, и чортова теща, стал спускаться по следам того старого Берендея в приболотицу,—высокий кочкарник, заросший мелкими, корявыми березками. Эта широкая полоса приболотицы, сходящая на-нет возле пойменного луга, казалась мне прекрасным местом для гнездования бекасов и дупелей. Я только собрался было полазить в кочках, как вдруг вдали над серединой зеленой долины услышал желанный крик, похожий на равномерное повизгивание ручки ведра, когда с ним идут за водой: «Ка-чу-ка-чу»... кричал бекас, вилочкой сложив крылья и так спускаясь в долину. Точно заметив место, куда опустился бекас, я с большим волнением веду туда на веревочке Нерль. Трава очень высокая, но там, где спустился бекас, все ниже, ниже и вот, наконец, на топкой, желтоватым мошком покрытой плешине по-моему и должен бы находиться бекас. Ставлю собаку против ветра и даю ей его немного хлебнуть. А мой головной аппарат на это время почему-то занялся темой: «Человек на этом деле собаку с'ел». Мне думается, эта поговорка пошла от егерей: в дрессировке тугой собаки человек до того может себя потерять, что стоит и орет без смысла, без памяти, а безумная собака носится по болоту за птицами, и это значит—собака с'ела охотника. Но бывает, собака не только слышит и понимает слова, но даже если охотник, вспомнив что-то, тяжело вздохнет на ходу, идущая рядом собака остановится и приглашает глазами поделиться с ней этой мыслью, вызвавшей вздох: вот до чего бывает очеловечена собака, и это называется значит—человек на своем деле собаку с'ел. Нерль у меня полудикая, и, пуская ее возле самого бекаса, я волнуюсь, что сегодняшним утром с белой радугой с'ест она во мне доброго и вдумчивого человека, каким стараюсь я быть. И тут же, волнуясь, ласкаю себя надеждой, что не ошибся в выборе собаки, что совершится почти невозможное, собака с первого разу поймет запах бекаса и поведет. Но нет, или она его не чувствует, или вовсе нет его вблизи этой плешинки. Раздумывая об исчезнувшем бекасе, я вспомнил Берендея и подумал, не он ли это тогда поднял бекаса. В то же время слышу, кто-то кричит:

— Эй, ты, борода!

Вижу, Берендей, свесив на грудь мглистую бороду, одной рукой опирается на косу, а другой показывает мне куда-то на мысок, поросший мелкими корявыми березками. Теперь все вдруг мне стало понятно: проходя мыском, Берендей спугнул самку бекаса, она, бросив пасти своих молодых, высоко взлетела, спустилась и тут на спуске я ее увидел. А в то время как я подходил, пустилась бежать между кочками, как между высокими небоскребами, невидимая мне, в ту сторону, где оставила своих молодых. Все эти проделки я наблюдал множество раз и теперь не ошибся: только я стал на березовый мысок,—бекасиха с криком «ка-чу-ка-чу!» взлетела и неподалеку, как в воду, канула в болотную траву. Внизу в невидимых глазу темных таинственных коридорах кочкарника бекасиха бежит свободно, взлетает, когда ей вздумается на нас посмотреть, опять садится близехонько и сигнализирует детям.

Там в осоке есть небольшой плес, и к нему лучами сходятся среди обыкновенной болотной травы темнозеленые полосы: это бегут невидимые ручьи под травой. У самой воды редет осока, и плес окружает драгоценная для ночной жизни бекасов открытая грязь, в нее они запускают длинные свои носы и этими пинцетами отлично достают себе червячков. На середине воды — кувшинки, их стволы, свернутые кольцами, охотники называют б а т ы ш к а м и,—тут, на этих батышках, дневной утиный присадок. Около плеса мы и нашли сразу весь выводок молодых, их всех было четыре, в матку ростом, но вялые на полете. Взяв Нерль на веревочку, я направил ее к месту, где опустился замеченный мною молодой бекас. И много же мы помяли травы, но найти не могли даже и молодого бекаса. Потом я перешел на другую сторону плеса, где опустился второй из выводка, много и тут намесил, но разыскать не мог и второго. Утомленный долгой бесплодной работой, вынул я папиросы, стал закуривать, а веревочку бросил. В тот момент, когда я все свое внимание сосредоточил на конце папироски и горящей спичке, чтобы одно пришлось верно к другому, я вдруг почувствовал, что там, вне поля моего ясного зрения, что-то произошло. Взглянув, я увидел: бекасенок тряпочкой летит в десяти шагах от меня, а Нерль, крайне удивленная, смотрит на него из травы. Я еще не догадывался, почему же именно бекас нашелся в то время, когда я пустил свободно веревку и занялся своей папироской. Звено моей мысли, соответствующее нарастающему сознанию собаки, выпало, и потому дальнейшее мне явилось в д р у г...

...В данный момент я не иду по болоту, а записываю звенья своей, осмелюсь сказать, творческой мысли. И как же не творческой, если хотя бы одну охотничью собаку я прибавляю к общему нашему богатству. Я видел, на стороне Берендей во время моей долгой работы с собакой косил траву и; отдыхая, иногда глядел на меня. Я уважал его дело: он тоже творил, его материал была трава. А Нерль? Сейчас я покажу—она была тоже творцом, ее материалом был бекас. А у того тоже свое творчество, свои червячки, и так без конца в глубину биосферы смерть одного на одной стороне являлась созиданием на другой. Вот вдали слышится свисток пловучего экскаватора, — подняли его, — там эта землечерпательная машина, мало-по-малу продвигаясь руслом речки вверх, приближалась к нашим болотам, чтобы спустить из них воду и осушить и сделать ненужной, бессмысленной, мою артистическую работу в этих местах.

Я был утомлен, свисток машины был готов переключить мое жизнеощущение творца, уверенно и радостно поглощающего свои материалы, на унылое чувство самому рано или поздно отдаться необходимости для кого-то стать материалом. А человек, по колено в воде подсекающий осоку для зимнего корма своей единственной коровы, мне казалось, с насмешкой смотрел на мое бесполезное дело...

И вдруг... вот в том-то и дело, что никакого в д р у г и не было вовсе. Это произошло только потому, что я, желая закурить, предо-

ставил Нерли свободу. Множество лет предки породистой Нерли были в руках человека, который естественное стремление собаки подкрадываться к добыче и останавливаться, чтобы сделать прыжок и схватить, разделил: она останавливается—это ее стойка, а прыжок человек взял себе: этот прыжок—его выстрел, достигающий цели гораздо вернее собаки. За множество лет культуры это вошло в кровь легавой собаки стоять по найденной дичи, выполнение стойки стало ее свободой, а дело дрессировщика только умело напомнить о живущем в ней ее назначении. Но я не напомнил своей Нерли, а только сбивал, потягивая веревочку. И когда я бросил веревку, она осталась на свободе и сразу нашла бекасенку, — это действие чувства свободы, необходимое и для собачьего творчества, и было пропущенным мною звеном. Теперь я все восстанавливаю. Причуяв на свободе бекасенку, она не сразу нашлась в наследственных навыках, потянулась, спугнула. Она подняла голову высоко из травы, чтобы поглядеть в сторону улетающего, но ветерок принес ей такой-то новый запах с другой стороны, она поиграла ноздрями, на мгновение взглянула на меня и что-то вспомнила... Совершенно так же, как в жмурках бывало мы, ребята, шли с завязанными глазами, так и она переступала с лапки на лапку в направлении плеса. Там на грязи было множество ночных следов. Я бы рад был, если бы она верхним чутьем подвела к ночным следам улетевших на рассвете бекасов. Довольно мне, чтобы она остановилась по ним с подогнутой лапой и так замерла. Но она, кроме того, повернула ко мне голову и просила глазами:

— Дело какое-то очень серьезное, такого еще не бывало, иди помогать, только не торопись, не шлепай, я же все равно почему-то дальше не могу тронуться.

А когда я к ней, наконец, подошел совсем близко, дрогнула, заволновалась, как бы стыдись, стесняясь:

— Так ли я все это делаю?

Я огладил ее, взгляделся своим охотничьим глазом и такое заметил, чего ей бы никогда и не разглядеть: шагах в десяти от нас из-под травы густой и темной выбивался в плес небольшой ручеек, между рукавами его был ржавого цвета круглый, не больше сиденья венского стула, остров и тут на нем я сразу обратил внимание на две золотистые округло по бутылочке к горлышку сходящие линии, все кончалось длинным носом, отчетливым на фоне дальнейшей воды, — это был маленький гаршнеп, только по золотистым сходящимся линиям и носу различимый от окружающей его ржавчины, согласной с остальным его оперением.

А Нерль все стояла. Как хорошо мне было! Я посмотрел в ту сторону, где Берендей косил осоку. Опираясь на косу, этот другой творец внимательно смотрел на меня. Я показал ему рукой на собаку, передавая слова:

— Смотри, не напрасно я трудился все утро, смотри, стоит!

Берендей бросил косу, развел руками, передавая слова:

— Удивляюсь, егерь, удивляюсь, больших денег теперь стоит собака!

Потом опять был свисток экскаватора, но какое мне теперь дело было до того, что когда-то болото осохнет, если я в это утро понял секрет всякого творчества. Пусть все болота осушат, Клавдофора со мной, я создам в природе небывалое охотничье угодые и напушу туда множество птиц с длинными носами и прекрасными ночными глазами.

* * *

Берендей ожидает меня вместе отдохнуть, побеседовать. Не торопясь, я к нему приближаюсь, смотрю на него, он на меня, и оба ничего не видим, у него борода знаменитая, да и я тоже почти всего себя спрятал в бороду. Так почему бы теперь о себе не говорить мне, как о егере?

Берендей и егерь сразу друг другу очень понравились. Егерь вынул папироску и предложил старику покурить. Он отмахнулся и ответил:

— Это, друг мой, непробудное пьянство.

— Старообрядец? — спросил егерь.

— Нет...

Замялся.

— Но зато, — сказал егерь, — дети мои вышли некурящими. Я им сказал: «Простите мою слабость и не берите дурного примера». Они обрадовались случаю сделать мне удовольствие и не курят. Вот видишь, я — курящий, а сделал людей некурящими, это заслуга больше чем своим примером, потому что с примером надо поэкономнее, на все в мире своего примера не хватит.

Дед Григорий — так звали его — после этих слов чему-то очень обрадовался, весь просиял, преображаясь, и вся деревенская тягота с лица его спала совсем...

...Хлеб эти темные люди создают подневольно, потому что не по своему желанию берет он себе земледелие, а по рождению в земледельческой почти-что касте. Есть счастливые, кто занимается этим с любовью, их процесс творчества хлеба непременно сопровождается жестоким чувством собственности, как любовь к женщине ревностью, как сама жизнь явлением личности. У кого из-за этого чувства собственности, у кого из скудости и подневолья труд этот сопровождается постоянным ворчанием, ссорами, ненужной жестокостью, грязью, вонью, болезнями, legionами кусающих насекомых, мух, слепней, комаров, потыкушек, мелкого влипчивого гнуса. В этих условиях труда человек замирает совершенно, скрывается так глубоко, что и сам не помнит себя, как существо всепобеждающее и милосердное. Из прямых слов правды тут никогда не узнаешь, часто люди даже говорят обратное тому, во что они верят, что любят и жалеют. Но когда случается все это сбросить и обнажить нетронутую

середины человека, там оказывается чистое дитя, которому предстоит начинать долгую, новую, неведомую нынешнему человечеству жизнь. Я и у других народов встречал это дитя, оно везде, но в своем родном народе это дитя мне доступнее, и встречи гораздо чаще случаются...

— Сам ты немолод, — сказал Берендей, — а походка твоя легкая, как у вьюноши, чем ты занимаешься?

— Учу собак, — ответил егерь, — приходится много ходить в трудных болотах, проваливаться, мокнуть, зябнуть, вот и согреваешься скорой ходьбой, привык и не уморяюсь.

На эти слова Берендей спросил:

— Как же тебе досталась эта легкая жизнь?

Удивил.

— Кто тебе сказал, что она легкая?

— Не поднимал все-таки тяжелого? Не работал с камнями, канавы не рыл?

— Рыл и канавы, и камень дробил, только по своей охоте, я так положил: умру, а достигну, чтобы делать все по охоте. Это было не легко, а у тебя есть к чему-нибудь охота?

— К пчелам.

— Почему же не пошел этим путем?

— Родился в крестьянстве: жена была, росли четыре девочки, мальчишка.

Помолчав, старик спросил:

— А тебе на легком ходу не приходит такое в голову...

Старик смутился.

— Что? — спросил егерь.

— Ег е н, — ответил старик.

И насупился.

Не сразу егерь догадался, что старик так называл по-своему геену огненную, где будет плач и скрежет зубов.

— Нет, не боюсь, — ответил егерь, — и тебе тоже не надо бояться: это было и прошло, больше нет геены огненной.

— Ой-ли! — повеселел старик. — Я сам начинаю мало-мальски догадываться. Вот было со мной, сын мой собирался в монахи итти, да вдруг и в церковь перестал вовсе ходить, дальше — больше, и говорит: «Отец, я хочу в партию поступить». — «Что же, — говорю, — сыночка, ты не маленький, у меня средств таких нет, чтобы тебя понуждать». Сам же сходил в церковь, помолился о сыне и так порешил: если есть бог на небе, то он не допустит сына до партии, а если примут...! Вскоре сын приходит из города: в партию его приняли. Так тебя вовсе ег е н не пугает?

— В детстве пугали очень сильно гееной огненной, но я от нее потом освободился и стал думать, что бог должен быть милосердным.

— А как же слепень, комар, муха и улипчивый гнус тоже не пытка, неужто милость?

— Не будь слепней и комаров, — ответил егерь, — тут бы дачники жили, перевели бы дичь и собак натаскивать мне бы тут было нельзя, эти слепни мне помощники, в роде как бы на службе у меня состоят.

От этих слов старик так принялся радоваться, будто страшный егень действительно пропал навсегда, и в полном любовном согласии с егерем, освобождая слепня из своей бороды, сказал:

— Хлеб, соль, да милость и разбойника покоряют.

Потом Берендей стал собираться, прощаться, вынул у егеря и отпустил на свободу одного слепня, похвалил его бороду.

— Дедушка, — сказал егерь, — был я богат и брился, теперь, когда придут за долгами, я только ладонью по бороде проведу: вот для чего борода.

— Для всего хороша борода, — сказал Берендей, освобождая одного большого жука, — другой норовит тебе плюнуть в глаза, а попадет в бороду.

И, взвалив огромную вязанку травы на плечи, окруженный непобедимым воющим войском своих слепней, Берендей стал подниматься вверх своей тропой.

* * *

Наверху сошла с кустов роса и внизу под кустами блестит только в пазухе такого листика, где никогда и не просыхает. Коровы наелись и грудой стояли у болотного бочага. Подпасок Ванюшка лежал на кочках дугой. Не сразу и догадаешься, как вышла дуга, он, должно быть, лег на кочку головой, но, пока спал, кочка умялась, голова опустилась, получился высокий живот, а голова и ноги внизу.

Я его давно знаю: ярко-рыжая голова и на лице крупные веснушки одна к одной, глаза блестящие, чистые, как обсосанный леденец. Я давно его принял в Берендеево царство и, когда вижу, мимо ни за что не пройду. Мне сегодня удача, хочу с ним побыть, и бужу маленького Берендея. Он открыл один глаз на мгновение, вынул немного начатую полбутылку, протянул мне и опять уснул. Я стал трясти его и хохотать.

— Пей! — сказал он. — Вчера гулял на празднике, тебе захватил.

Когда он совсем пришел в себя, опохмелился, я вынул из сумки последний номер «О х о т н и к а» с моим рассказом и дал ему:

— Прочитай, Ваня, это я написал.

Он принялся читать. А я закурил папироску и занялся своей записной книжкой на пятнадцать минут, так уже замечено, что курится у меня ровно пятнадцать минут. Когда кончилась папироска, а пастух все читал, я перебил его вопросом:

— Покажи, много прочел?

Он указал: за четверть часа он прочитал две с половиной строки, а всего было триста.

— Дай сюда журнал, — сказал я, — мне надо итти, не стоит читать.

Он охотно отдал журнал со словами:

— Правда, не стоит читать.

Я удивился, таких откровенных и добродушных читателей как-то не приходилось встречать даже среди крестьян. Чуть ущетило, но больше понравилось. Он же зевнул и сказал:

— Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверно, все выдумал?

— Не все, — ответил я, — но есть немного.

— Вот я бы, так написал!

— Все бы по правде?

— Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.

— Ну, как же?

— А вот как. Ночь. Куст большой-большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята — свись, свись, свись.

Остановился. Я подумал — он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул жалеюку и стал просверливать на ней седьмую дырочку.

— Ну, а дальше-то что? — спросил я. — Ты же по правде хотел ночь представить.

— А я же и представил, — ответил он, — все по правде. Куст большой-большой. Я сижу под ним, а утята всю ночь — свись, свись, свись.

— Очень уж коротко.

— Что ты коротко, — удивился подпасок, — всю-то ночь напролет: свись, свись, свись.

Соображая этот рассказ С о ч и н и т е л ь, я сказал:

— Как хорошо!

— Неуж плохо, — ответил он.

И заиграл на дудочке, сделанной из волчьего дерева, тростника и коровьего рога.

* * *

Это было какое-то особенно счастливое утро свободы, я освободил Нерль от веревочки, и она в благодарность за это сделала мне отличную стойку, потом освободил старого Берендея от егена, пастуха от чтения... И в это же самое утро маленькая дикая утка, чирок-свистунок, решила, наконец-то, перевести своих утят из леса в обход деревни в озеро на свободу. Весной это озеро далеко разливалось, и прочное место для гнезда можно было найти только версты за три на кочке в болотном лесу. А когда вода спала, пришлось все три версты путешествовать к озеру. В местах, закрытых от глаз человека, лисицы и ястреба, мать шла назад, чтобы не выпускать утят ни на минуту из вида. И около кузницы при переходе через

дорогу она, конечно, пустила их впереди. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались сбить шапками мать и поймать ее, как утят, но тут я подошел, ослеслаивленный удачной натаской и мыслью о великой творческой силе и чувства свободы для каждого живого существа.

— Что вы будете делать с утятами? — спросил я строго ребят.

Они струсили и ответили:

— Пустим.

— Вот то-то «пустим!»—сказал я очень сердито. — Зачем вам надо было их ловить. Где теперь мать?

— А вон сидит! — хором ответили ребята.

И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела с раскрытым от волнения ртом.

-- Живо! — приказал я ребятам, — идите и возвратите ей всех утят.

Они как-будто даже и обрадовались моему приказанию, прямо и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. За ней побежали утята, пять штук. И так по овсяному полю в обход деревни семья продолжала свое путешествие к озеру.

Радостно снял я шляпу и, помахав ею, крикнул:

-- Счастливый путь, утята!

Ребята надо мной засмеялись.

— Что вы смеетесь, глупыши, — сказал я ребятам, — думаете так-то легко попасть утятам в озеро, вот погодите, дождетесь экзамена в вуз. Снимайте живо все шапки, кричите: «До свиданья!»

И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух, все разом закричали ребята:

— До свиданья, утята!

ИЗ ВОСТОЧНЫХ МОТИВОВ

А Д А Л И С

Целый день на кошмах, на коврах, на восточных пирах бедняков, на дворах,
Между тихо помешанных, но величавых верблюдов, которых
Удивляет мой вежливый взгляд; целый день за размахом размах
Мусульманского говора в горьких и страстных укорах...

Целый день на полу, на дрожащей земле бедняков, и покой
Возле чашек с горячей шурпой, меж об'едков и розовых роз, — и в конце
глинобитных столетий,

Приодевшись и вымыв глаза, выхожу азиатской тропой, —
Поразительно! Падает тутовый сбор на палас, как вода, и становится тихо на
свете.

Здесь прохлада на длинных щеках бедняков и на спинах верблюжей четы,

Здесь деревья! слезами дыша, зарываться в атласную стужу!

Здесь прохлада, — она, как прощенье помех и прощанье с гостями на ты, —

Сколько звезд у нее на душе, сколько раз эти звезды выходят наружу!..



Всеобщий классик

Рассказ

П. ПАВЛЕНКО

1

Впредначалии вечеров, сбегаящихся трамваями на московские площади, когда лезвия антенны над крышами города косят синие травы заката, и синие стога их встают за домами и на домах, громоздясь на них развесисто и удобно, как на широких вьзах, когда сутулится остожненное небо и распухают огнями первые фонари, — тогда в редакциях толстых журналов начинается час речевого смятения и судорог. В этот час все звонят в Главлит, в Бумтрест, в типографии, в этот час доспевают литературные кризисы, все рушится, писатели оказываются не теми, что утром, издатели же не с теми, что утром, и с темой вечернего часа приходят в редакции поэты и прозаики, — поговорить об искусстве.

День их всегда в бегах, в суете, в передрыгах, день их всегда оскорблен и унижен тарифами, цензорами и критиками и им надо закончить дневное мудрыми разговорами о прекрасной неощутимости своего ремесла, питающегося бездельем.

Они приходят в редакции и скучно и терпеливо глядят, как ведут здесь погоню за убежавшими ото дня начинаниями, как учиняют допросы подозрительным делам, пойманым в тесных ночлежках шкапов. Писатели сидят, как понятые, очевидцы или обвинители, потому что дела все знакомые, свои же, родственные.

И в этот час заводятся веретена телефонов, и редактор, как опытный ткач, гибко покачиваясь между тремя телефонными веретенами, пускает в работу кудель разговоров, он вьет из кудели нить для журнальной пряжи.

Для журнала важные разговоры. Их острая соль и металлы нужны, чтобы сдабривать ими рукописи. И в предначалии вечера в редакцию толстого журнала пришел невысокий человек с коричневым лицом, небрежно утыканном волосинками на бородавочных шишечках, немного горбящийся, худой. Он прошел через комнаты большими ша-

гами, на каждом шагу вздергивая вверх туловище и мерно отсчитывая свой ход маятниками мерно летающих рук. Редактор обстывало работал на трех телефонах, механически суча разговор. Он говорил покровительственно, но нервно, никак не вникая в то, что ему говорят. Если приходил писатель с делом, с вещами, — он горячился и нервничал. Редактор знал, что интересен лишь тот писатель, которого он — редактор. — ищет, и всякий иной, пришедший со стороны, не может быть интересен, раз его не искали, не выхаживали и не тренировали для литературных турниров в приемах определенных школ.

Писатель должен быть вычислен, вымерен, взвешен; надо знать, каких он кровей и каких капризов, какой подготовки, с кем его можно пускать, на какие дистанции.

Коричневый человек вошел в кабинет редактора походкой своего человека, сказал на ходу: «Вот накурили!» и скромно уселся на стул в дальнем углу. Посидев, он нагнулся, подобрал с полу окурки, отшаркнул под стул несколько мятых бумажек, закинул на затылок кепи и, погладив большим пальцем руки черносedeющие усища, замер.

В комнате говорили об искусстве.

— Вы посмотрите, что делается на улице, — говорил молодой писатель. — Вы замечаете, как наша улица расцвела геранью чиновных фуражек? Это украшение сухих мозгов, — это ж вредительство. И вы посмотрите, — волновался писатель, — какие лица у этих уважаемых значковистов, творожные какие-то лица, прямо отбивные с глазами. За ними, облизываясь на чиновный блеск, тянется молодежь. Вас не рвет от этого глупого и пошлого реставраторства?

— Это вы верно, — сказал редактор, взглянув на писателя.

Коричневый осторожно кашлянул и сказал из угла, улыбаясь недоверчиво.

— Чего ж тут верного! Это ж сплошная спорнография.

— Это вы верно, — так же спокойно и сильно сказал редактор, кивнув коричневому, и вдруг раздраженно переспросил. — Что? Спорнография? От «спорность?» — и непонимающе уставился на коричневого. — А статья о Чехове дослана? — спросил он его. — Спросите-ка у Семенова: дослана ли?

Коричневый вышел за дверь, покричал Семенова.

— Еще вчера, говорит, дослана, — сообщил он, возвратясь.

Редактор недружелюбно взглянул на него, тиснул зубами и промолвил негромко:

— Ладно. А вы бы занялись, в свою очередь, делом.

Коричневый смущенно передвинулся на стуле и ответил, оправдываясь:

— Я ж не могу сигать через других.

За окном кабинета видны были крыши, проросшие худенькими антеннами, как ростками зимние луковички. Небо было густо и плотно

остожено, и слабенький кривоногий месяц смешно и беспомощно полз по синим стогам.

— Не будь фуражки с кокардой, как же узнать — спец или нет? Шутки шутками, — как же узнать? Надо бы по уму, конечно...

— Я выявляю единство энергий, — говорил в стороне поэт. — Еще Ницше сказал: «Ненависть, гнев, половой инстинкт можно с успехом приставить к машине или заставить производить другую полезную работу, — колоть дрова, разносить письма, или ходить за плугом».

— Это вы верно, — сказал редактор, отдыхая от телефонной гонки, и тому, что говорил о вредителях, и поэту, пересказавшему Ницше, и с неудовольствием остановил взор на коричневом. — А вы вот позвоните-ка, ну-ка, в типографию, — желчно сказал он. — Скажите, что на сегодня ничего больше не будет. Что послано — послано.

И поглядел с внимательной укоризненностью тому в глаза. Не нравился ему этот новый и не мог он вспомнить, когда его приняли и на какую должность, а судя по всему, — расхлябанный, неделовой человек. Коричневый вышел, прибрал по пути окурки, распорядился и вновь устроился в углу.

— А столы, небось, еще не обсмотрены? — сейчас же озабоченно спросил его редактор. — Все надо обсматривать, имейте в виду. У нас со столов каждый день крадут, ничего оставить нельзя.

— Чорт тебя знает, товарищ, — сказал тогда человек, пожимая плечами. — Кто тебя знает, чего ты от меня хочешь! — и встал.

Потом он засмеялся в нос и отчаянно покрутил головой.

Посмеявшись, сказал:

— То ты мне говоришь, — займись в свою очередь делом... Только подвинусь к очереди, ты мне опять другое, — Чехова забыл или еще что, в столах пошарить. Отпусти ты меня, уважения ради!

— Да вы разве не служащий? — удивленно спросил редактор. Он знал, что вчера уволили старого курьера и считал, что коричневый человек занял сегодня его место.

— На-ка, держи пакет, — сказал человек. — Хотел я с тобой поговорить, да, не стану теперь. Тебе бы только кульеров побольше.

Писатели встали. Житейское дело ворвалось в философический водопад и разрушило его музыкальность.

Писатели встали и, быстро прощаясь, ушли. Коричневый стоял с пакетом в руке. Телефоны рвались на цепях звонков, редактор приводил их в порядок, осаживал их, разделял, вновь вводил в деловую растерянность.

— Вот безделюи! — сказал коричневый и раздраженно бросил пакет на стол. — Аж на дыбки встали, подумаешь!

— Ну, говорите, — сказал редактор, — откуда пакет?

— Так вот ты и живешь? — зло и не отвечая редактору, спросил коричневый. — Ну, видал я твой кругозор быта, видал, — нараспев про-

изнес он и добавил строго: — Вот что я тебе скажу, — ты пореже живи. Густо стелешь.

Он прошел по комнате до дивана и, чтобы закончить мысль, присел на его уголок. Он был очень взволнован, и криво вогнутые щеки его играли.

— Так в чем же дело? — спросил редактор. — Время дорого.

— Вижу, какая такая у тебя время, — сказал коричневый. — Сейчас я тебе расскажу, не крутись. В том мое дело, редактор, что надо нам тебя обязательно видеть. Читали мы, редактор, твою статью о Чехове и всем миром в склоку загрузили. Производство только мутишь! — добавил он.

— Что вы за ерунду говорите, — сказал редактор. — Какое производство? Да вы сами - то кто?

— Я сам с заводу, токарь, а к тебе пришел от кружка, как писатель, — сказал коричневый. — В бумаге, что я принес, все прописано, что и откуда, и подпись под ею — моя. А производство ты верно мутишь, не крути глазами, это я не зря говорю. За такую работу, знаешь...

— Вот ерунда, — сказал редактор. — О каком таком производстве....

— А-а, не знаешь! — насмешливо перебил его посетитель. — Про единство энергий ты знаешь, а производство забыл. Ловкач ты, я вижу. Ну, подожди, стой, не крутись, — сейчас объясню.

И стал объяснять:

— Есть такой на нашем заводе Коська, слесарь. Прочитал он твою статью, — а он у нас Чехова разучивает, — и сразу головой об стенку. Мы к нему. А он: «Дайте, говорит, мне горячее оружие, убью, говорит, эту стерву», т. е. тебя. Что, за что, почему? — стали спрашивать. Не может человек мысли своей выразить, одним матом исходит, матерно объясняется. Потом обмяк, вышел на работу, только успел рукой мотнуть, — брак, записали штраф, — он еще, хоть со станка снимай! «Не могу, — объясняет, — руки бьются одна об другую». Ну, отпустили домой, раз такие нервы у него открылись. Куда ж тут! Прихожу домой, а жена говорит: «К тебе, Максим Никанорыч, библиотекарь приходил». Пошел к нему. «Надо, говорит, протест писать. Это что ж такое, говорит? Столько лет был Чехов как Чехов, а теперь если каждый безделью перештуковывать его начнет, — что ж от него останется!» и тоже на работу не выходит. Собрались мы экстренно, прочитали твою статью, выступил Коська с содокладом и действительно все как есть у тебя спорнография. Приходи, честным словом тебя прошу, приходи и объясни нам все по прямому, откуда твои достижения.

Редактор, хмурясь, вскрыл пакет. В пакете лежало приглашение посетить творческий рабочий кружок «Энергия».

— Заходи как-нибудь, не бойся, — примирительно сказал коричневый. — Это дело надо обговорить, без обговору не спрячешь.

— Зайду, — сказал редактор. — Точно не знаю когда, но зайду. Буду рад всякому совету. Ошибки всегда бывают.

— Рад, не рад, а таиться не будем, — сказал коричневый. — Тебя бы еще за Коськин брак содрать надо б, да ладно! Так приходи, значит. Спроси там Сысоева, это я.

2

Искусство, подобно беговому коню, требовало за собой больших забот и ухода. Надо было во-время его кормить и поить, выводить на прогулку и тренировку и пускать на бега в манежах журналов. Редактору надо было ездить на заседания, распространяться о пользе словесности и изучать на досуге ее породы, методы распространения и законы евгеники. Вся его работа была, как сплошной бег. Он знал тысячи дел и умел тысячами способов пробовать кровь искусства, определяя его ценнейшие линии. Он выводил потомков классиков и выращивал метисов, скрещивая новые породы, тренировал их и брал на них призы или проигрывал, ломая писателям шеи, и потом с болью в душе посылал их в извоз, как сошедших с арены больших возможностей. Всю свою жизнь он играл на искусстве, и запах редакции и студий определял его жизнь. Рука его была легка и опытна. Когда он исправлял рукопись, — писатель чувствовал шкоду. Он выезжал начинающих мудро и старательно, как наездник. В его журнале нельзя было печататься просто, так себе, только потому, чтобы печататься. Все было введено им в систему и все было рассчитано. Месяцами он бился, развивая дыхание, умеряя горячность, воспитывая чутье и выносливость, удесятерять врожденную резвость работой, трудом и упрямством.

Он выиграл состояния почестей и терял еще большие состояния в игре своего журнала. Он не знал страсти более мощной и нервной, чем искусство, хотя — не любя — понимал он пороки лошадиников, не одобряя, ощущал истерию тотализатора. Тут было что-то родственное. Он любил рассказывать, как Гордей Пивоваров, первый московский наездник выиграл двести тысяч у сиамского короля. Бегали в Париже. У Гордея был трехлетний английский жеребец «Изабелл», поразительной резвости и сверхклассных статей, только с одной погрешинкой, с одной единственной — чуть-чуть коротким дыханием. И этот незаметный, почти не существующий изъян, мог определить поражение.

Гордей увез жеребца к морю и два месяца, как один день, заставлял его плавать. Конь шнырял по воде, как мальчишка, конь догонял двухвесельную шлюпку, дачники, захлебываясь завистью, говорили о русских причудах привезти жеребца на Ривьеру и купать в общей воде с миллиардерами и бессмертными, а Гордей упрямо гонял жеребца по воде, добывая в нем широкий дых. А осенью вернулся в Париж, записал «Изабелла» на бега и взял, не сморгнув глазом, сто тысяч франков первого приза, а еще за сто тысяч продал жеребца сиамскому королю. И у редактора было свое любимое выражение:

«поплавать». Его уже знали. Не принимая почти отличной рукописи, он говорил со значением: «поплавайте месяца два в быту» или: «вам надо еще с недельку поплавать в сюжете». И тогда чувствовал автор, что хочет редактор выиграть на нем ближайший призовой бег, привести его первым и с радостной покорностью забирал отвергнутую рукопись.

Но бег и спорт были лишь внешностью его труда. За бегом журналов, за тренировкой фаворитов лежала душевнейшая сторона его дела — философическая. Спортивный бег был внешней функцией его искусства. Это было упрощенное сведение к жизни тончайших мысленных определений, предвидений и установлений, сработанных в сложнейшей лаборатории. Так врач, познавший сердце в плане множественных наук, выучивший его анатомию, запомнивший его морфологию и физиологию, в конце концов ограничивается отпуском валерианы, известной еще, вероятно, до начала медицины. В сущности, он имел дело не с людьми, но с безличной материей искусства, делатели которой были разными участками образующих организм клеток. Он никогда не прочел целиком ни одного из своих фаворитов. Он просто, знал, что они могут написать. Читал он целиком лишь первые вещи, чтобы сейчас же разобрать их на волокна, препарировать сложнейшие и разложить на основные элементы, и уже не сущность вещи, не ее функции, но ткань, формулу горения искал он, и, находя, записывал. А о чем шла речь, хорошо или дурно кончали герои, его не интересовало.

Время от времени он брал пробы от тех, на кого надеялся. Щупом своего чутья он проникал вглубь материала, пробегая страничку рассказа, или две-три главы романа, и обязательно не в порядке, а немного с начала, потом из середины, потом из конца, и извлеченное взвешивал и определял, стараясь обнажить слово, открыть его скрытую флуоресценцию, решить философическую мысль, начерченную этим излучением, все для того, чтобы проникнуть еще глубже и определить сумасшедшую, внутриатомную, внутрисловную, надумную энергию материала. Факты и события, показанные произведением, имели для него значение постольку, поскольку рука художника улавливала через них то, что за ними кроется.

Ему хотелось бы довести точность своих наблюдений до точности измерительных приборов Иогансена, чтобы записать в историю искусства, им задуманную, что в тысяче печатных знаков Льва Толстого найдено:

иронического натурализма	0,039781
экспрессионистских вольностей	1,002194
христианской философии	3,979108
мизантропии	9,33104
энтузиазма	0
воли	0
непротивления злу	0

Методика его исследований была сложна, как новейший прибор, и многоформульна, но несомненно гораздо более твердо научно, чем те способы разгадывания слов и лечения сознания подсознанием, которые сделали такую известность профессору Зигмунду Фрейду.

Впрочем, редактор почти ничего не заимствовал от Фрейда и, что особенно важно, ни в коей мере не был оболещен знаменитым все-вездесущим «либидо», покрывающим все грехи исследовательской логики.

Так проходило время редактора.

Уже моль солнца побила шерстяные снежные полосы, и небо, скошенное за зиму, протянулось просторным лугом, коротко скошенным под самую тонкоцветистую голубизну.

Небо вдруг стало проезжим, как незасеянный клин, и по нему разминались: птицы — на север, тучи — на юг.

Как тяжелы, как нервны русские весны! В дождливой истерике их такая жеманность и самоуничтожение, какие есть только в русских романах, выросших тоже в белизне стародавних весен славянофильства. От русской весны ездят лечиться покоем и медленной важностью до-красна раскаленных дней юга, чтобы выпарить из себя всю заразную сырость норовистых московских апрелей.

Весна, подсмотренная рассказом, была норовиста, как молодая кобылица.

Вечера, как всегда, набегали на город трамвайными стаями, но настоящих вечеров все-таки не было, хороших вечеров не получалось, — ночь прямо ложилась на незакатившийся еще день и ворочалась на нем в бессоннице, чтобы вдруг сняться и уйти без всяких рассветов.

Но от весны у Сысоева прибавилось работы. Теперь «Энергия» собиралась раньше, не с восьми, а с шести, и заседала вплоть до полуночи. В кружок приходили прямо с работы, в угольном и железном поту, вынимали из карманов тетрадки рукописей, с серыми, протертыми маслом листами. На листах занесены были кровопролитные восстания букв и строчек. Взрывы чернильной шрапнели зияли среди текста, они изламывали слова и кидали слово на слово, как тело на тело, дырявили самую землю страницы, возносили вокруг искры разорванных мыслей, осколки и щепы пробитых и сломанных начертаний. Цепи строк шли волнообразно и нервно, как в бою, не связанные в точные взводы слов, между живыми буквами торчали трупы погибших, зачеркнутых боем. По трупам, увязая ногами в их бесформенной мякоти, взбирались вторые резервы и прятались за прикрытием братских могил. Кучки каких-то героических слов неслись по полям, огибая сраженья страницы, норовя обойти и замкнуть район борьбы, отрезать заглавие, возносящееся укреплением. Другие спешили в тыл, не то дезертиры, не то выполняющие хитрый маневр командующего рассказом. Кругом были наспех возведены редуты зачеркнутостей и вставок. Абзацы полков перепутались. Формы полков

были разные, многих родов оружия, иные были одеты в серые карандашные блузы, другие в ализариновые мундиры, третьи пестрели красным одеянием третьеочередных пополнений.

Сражения всегда были долгими. Карандашные блузы, начинавшие бой, обычно погибали почти все буквально, на их трупах валялись скошенные шеренги ализариновых мундиров. Они удерживались еще кое-где по опушкам страницы, но в середине страничного боя, в редутах зачерков, зачисток и выносок, в разрывах клякс действовало пополнение в красных карандашных шинелях.

Ребята сходились и пересказывали сражения в стихах и в прозе, навоевавшись, брались за теорию, погружались в тактику и стратегию речевых и ритмических революций, открывали Плеханова, ссылались на Меринга, на Пастернака, на Толстого, на слесаря Оську, на память разучившего Чехова. Все было сражением и все было опытом, — и опыт строителя многих романов и опыт человека, прочитавшего первый роман.

Будто был разбит толпою восставших склад всяческих ценностей, и толпа торжествующе волокла по домам штуки неразрезанных мыслей, вязанки образов, кухонный инвентарь и пустяковину редких любителей, все, что попало под руку, только бы не оставить, не бросить, а прибрать все к рукам. Трещали несгораемые кассы философий, падали стены укромных кладовых, где хранилось фамильное словарное серебро, слесаря и фабзайцы врывались в дворянские особняки романов и шныряли по залам, сдергивая с их стен дорогие шелковые обшивы стилей, дробя заматерелую мебель вымыслов, чтобы заставить служить рояли для кухонь и люстры — для раздевален как вешалки, и бронзу французских имен — как прессы для творога.

Рассказы кружковцев одеты были пестро, — на них были трофеи и от Толстого, и от Тургенева, и от Марлинского, от многих, имен не упомнишь. И о том, откуда их литературное одеяние, каких традиций и каких имен, они не знали, не помнили, да и не пытались узнать, не собирались припомнить.

Разве важно, чей именно громить особняк?..

Разве помнишь, у кого собираешь вещи в день помощи голодающим?..

Важно — одеться. И никогда не задавались они целью проследить свою литературную кровь, установить связь с эпохами, стилями, группами, потому что в бою не важна генеалогия лошади, важно лишь то, что она существует. В бою нет и не может быть ответственности перед прошлым, есть другая ответственность — перед будущим. В бою хороши те кони, которые крепче. И если б можно было взять под пехоту в сражении все конные статуи с площадей — надо бы взять.

И если б возможно было раздеть все искусство вчерашних дней, чтобы одеть в него слесарей, полюбивших чеканку рассказов, — надо бы раздеть.

Вещи пахнут обычно тем, кто их носит, а не тем, кто их шьет.

3

Почти собравшись в отпуск, редактор вспомнил о кружке и в первый же вторник поехал за город, дав на завод телеграмму. День лежал навзничь, низко, над самой землею, солнечная голова его упиралась в край полей. Реденький лес, окружавший станцию, снизу был рыжим, дневным, а в верховьях еще не облиственных крон, — вечерним, лилово-дымчатым. Земля, загаженная дождями, пузырилась. У станции, распустив по бокам мятые крылья, стоял низкий тарантас, похожий на галку с перебитыми и разведенными в стороны крыльями; колес его не было видно, похоже было, что он поползет на лопастях крыльев. Встретил редактора человек в старом кожане, с мешком, как с зюйд-вестом на голове, очень неопределимый в таком костюме. На руках у встречавшего торчал ребяенок. Человек в кожане был ласков и суетливо потащил редактора к тарантасу.

— Садись, товарищ редактор, — пригласил человек в мешке. — Ехать нам недолго, из кулака да в рот.

— Поедем! — бодро ответил редактор, которому все нравилось такое приключенческое, новое. В пути он спросил:

— А где этот ваш, такой высокий, вот забыл, он еще ко мне заходил...

— Сысоев, что ли?

— Вот-вот!

— Зачем же он высокий. Он вполне посредственный человек, я скажу. В роде меня, — ответил провожатый.

Помолчал, потом хлопнул редактора по колену и сказал с великодушной незлобивостью:

— А Сысоев-то и есть, как раз. Не признал ведь?

И тут же сам оправдал гостя:

— Мальчонок, наверное, мне очень меняет фигуру. Не к лицу он мне, это правильно.

Тарантас не шибко, но рискованно преодолевал грязь.

Городишко был реденький, его многоветвистые, как старое корневище, улицы расползались по пустырям и садикам.

— Так значит вы тот самый Сысоев и есть, — поправился редактор.

— Ага.

— Ну, извините, не узнал. Значит рассказывайте, что у вас?

— А что у нас, — неохотно и скучно отозвался Сысоев, — смятение у нас, как я тебе говорил. Ты вот черкнул налегке про синюю курочку, а у нас хлебестом, и расхлебать невозможно.

— Уладим, уладим, — стараясь быть внимательным, ответил редактор. — Что это вас так развезло? Что же, Чехова значит рабочий читает все-таки?

— Не очень, — пожался Сысоев и обратился к вознице: — Пото-рапливай, Василей!

Потом он обернулся к гостю и веско сказал:

— Нет, что же, читают так или иначе. Чаще для практики, возьмешь иной раз, проглянешь, да и все... Сам я попросту, если в сужете неувязка, я к Мопассану бросаюсь, ну а есть и такие, что у Чехова научаются. Взять хоть бы Коську.

— А что он? — спросил редактор.

— А он тебе сегодня содоклад сделает, вот что, — нелюбезно засмеялся в ответ Сысоев.

Тарантас с'ехал с покато́й улочки и облокотился на серый одноэтажный дом.

В комнате, куда вошли, было светло и жарко, на лавках сидело несколько человек, разговаривая вполголоса.

— Гоняю я по памяти четыре рассказа, — сокрушенно пожаловался один из них Сысоеву, — а вот загнать никак не могу.

— Пошибче гоняй, — сказал Сысоев. — Чтобы изморило в башке рассказ. Как голубей гоняй!

На подоконниках и на полках по стенам лежали книги, стопками синели тетрадки. Между полками и пониже их теснились плакаты, выставка плакатов, суровое собрание революционных заповедей. Поверх плакатов наколоты были портреты вождей, расписания и объявления «Энергии», рекомендуемые списки книг, несколько газетных и журнальных писательских лиц, обложки «Красной Нивы».

От наклеек, слоями одевающих стену, комната казалась растрепанной, в рваной, небрежно подшитой одежде. Нижнее белье сгоревших от солнца, будто давно нестиранных плакатов, вылезало наружу.

На самодельных угольничках покоились рыжие кирпичики старух в кожаных переплетах книг. В канцелярских папках были завернуты листы петровских указов и митрополичьих посланий. Года два тому назад московский антиквар поручил Сысоеву поискать в уездах книжку Соколовского и обещал за нее отличную библиотечку, рублей этак на 15 — 20, по самообразованию. Книжку Сысоев нашел, разменял на библиотеку, получил заказ разыскать другую, обернулся соколом и за два года создал у себя при кружке известную до самой Москвы библиотеку 20-х и 30-х годов. Говорили, что он облазил все школы, все усадьбы, выколачивал волостные архивы, ревизовал церковные полки, ночевал на барских чердаках, перевидал всех уездных попов, — и в записной своей книжке, распухшей от имен и адресов, создал настоящую карту книжных богатств уезда. Теперь к нему за книжками приезжают представители лучших антикваристов и виднейшие исследователи литературы.

— Вот выкачаем из-под народу старую книжку — мемуар качать зачем, — говорит Сысоев. — У нас в уезде многие, я знаю, дневник вели. Все подберу — пригодится. Песни зачем собирать. Некоторые с Грозного царя пооставались — подберем.

Слесарь Оська у него собирает деревенский анекдот. Собрал 18 тысяч штук и бросил. «Не могу, — говорит, — одними выражения-

ми только и объясняюсь». Сейчас этот сборник покупает у них какой-то институт, обещает большие деньги. Из-за этих денег возник было спор, и едва не передрались ребята. Одни предлагают построить дом рабочего писателя, другие журнал издавать хотели бы, но Сысоев крепко держит свою дружину, говорит, закажут себе автофургон — бродить по уезду, читать рассказы, сбывать новую книгу. Кредит где-то им обещали.

— Вот тут я и есть со своею дружиною, — с гордостью, любовно охватывая руками комнату, сказал Сысоев. Он был действительно горд и умел показать свою гордость. В приятном волнении он поглаживал мякоть большого пальца усица.

Из сеней заглянула в комнату женщина.

— Где это ты, окаянный, мотался-то с ребенком? — спросила она тихо, любопытствующе. — Вот я скажу, ей богу, Фрузе.

— Ладно, слышал, — отмахнулся от нее Сысоев. — Подремай пойдй, мягче станешь.

Народ собирался быстро. Стали усаживаться. И Сысоев и редактор устроились рядом за ломберным столиком красного дерева. Мальчишка Сысоева зажался в коленях и то грыз, как мышь, обхрустаный уголок стола, то поднимался к отцовскому рту, перелистывал ему губы и копался ручонками в деснах.

— Вот, хренок, — бурчал отец. — Подожди, не слышать ни черта из-за тебя.

Сысоев хотел показать редактору свою мастерскую рассказов. Он торопился открыть вечер. Не ожидая полного сбора, он начал читку.

В первой очереди был типографщик, молодых и крепких лет. Он прочел стихи о гражданской войне и о трамваях, бегущих газетчиках, распродающих свежие новости пространства. Когда он кончил, Сысоев нарочито равнодушно, стараясь недохвалить товар перед гостем, сказал:

— Трехстопный ямб, и ничего боле.

Помолчал, отмахнулся от рук мальчишки, царапавшихся по подбородку, и добавил:

— Идеология есть, спорить нечего, а в остальном — никакой фигурации мысли.

— То-есть, как же нет? — встрепенулся какой-то седой и грустный старичок, такой могильный сторож по виду.

Возник спор, образ трамвая был забракован, как вычурность, слова Сысоева оказались решающими. Потом попросились читать трое: Васькин с железной дороги и две девушки из детсада.

— Начинай ты, Васькин, — распорядился Сысоев. — У тебя кругозор хитрости как-то ловчее.

Мальчишка, метко нацелившись, сунул ему в это время¹ свой кулачок за щеку.

— Я тебя, идола, по задку вот сейчас набью. Или зубы ты мне повыдергивать хочешь? — сокрушенно шепнул отец, стыдясь перед гостем.

И чтобы еще устыдить себя, но и объяснить обстановку, сообщил редактору:

— Жена у меня лежмя лежит, с ей, знаете, мальчишку никак нельзя оставить, взмучает мамку. Один раз у меня самого через его смешки прямо сердечный приступ случился. Как дербанет это он меня по усам ручонкой, — я как огонь сделался, будто огнем мне рот опалило. Откачнулся назад и чуть ли не об землю. Прикасающийся ко всему, чертенок!

Редактор сидел и слушал. Васькин читал о заводе, о буднях, о том, как безвольно и жутко изживаются люди. Рассказ его мужественно боролся за новую жизнь, за волю к большим устремлениям. Здесь не бега, но уличный бой развертывался, завоевывались понятия, образы, брались в плен и посылались в строй хорошие работающие мысли, разрушались крепости многих встречных книг, и по листикам, как по камушкам, разносились в окопы рассказа.

Старики рядом с юнцами окружали рассказ и испытывали его на сердце. Сысоев вертелся на стуле, командовал рассказом, в коленях его пищал ребяенок, глаза Сысоева блестели увлеченно и он часто гладил мякотью пальца раскидывающиеся усы.

— А ну-ка, критиканты! — ободрял он выступающих.

Стали спорить. Взял слово молотобоец Гаврилов, человек лет сорока шести, и сказал, что стихи нежностью от Есенина, но заверчены по-своему, радостно и мужественно, и что надо автору почитать теперь новых поэтов, чтобы уйти на собственный путь.

Редактор сидел и слушал, как говорили об Есенине, о Пастернаке, о Фете, о Тютчеве. Он видел своеобычную осведомленность во всем, что привык считать своим, наглухо замкнутым миром. Так изучают штабисты силы противника, учитывают экономику, климат, неврозы, состояние тыла, плодовитость вражеских женщин и склоки в правительстве, ибо все это, как мозаичные кубарики, шло для общей карты войны, а удачность такой разработки — победа. Здесь побеждали поэтов и романистов. Не прочитать, не воспоследствовать, но победить.

Тут рассказы расценивались как донесения с боя:

«В таком-то часу рассказом таким-то взят Бабель. Продвигаемся дальше».

И был уже Бабель пленным, растворялся в победившем рассказе.

— Нет, хороши у меня ребята, — говорил редактору Сысоев. — Здорово сочиняют.

Тогда встал фельдшер Ушастов с замечаниями о прочтенном рассказе. Он заверил, прижав руку к сердцу, что рассказ очень ярко и что Васькин и вправду пишет, как Бабель — горящими фразами. — Но Бабель, — сказал он, — хитрюга. Очень хитрый писатель. Не обхитрил бы он Васькина.

О Васькине говорил Ушастов как об охотнике, берущем редкого зверя.

А о стихах заметил Ушастов, что от головы они, модные, мало понятные сердцу, но приятно читаются, хотя и по-мальчишески звучны.

— Брось — брось — брось! — скороговоркой сказал Сысоев, качая коленом, на котором улыбался и пел себе под нос мальчишка. — Я, брат, восемь лет стихи пишу, ты меня послушай. А слово мое такое — плохие стихи. Слова-то все покутные, встречные, а своей заготовки — нету. Васькин, видать, одного Пастернака и читал-то. Ты, брат, против всех за себя воюй! Ты в стихах, брат, ни с кем не мирись! Круши что ни попало, как Мамай.

— Не резон твои восемь лет, — сказал кто-то. — Нашел тоже, чем поймать.

— Ты не читай, чего нет. Ты читай, что написано, — поддержал другой.

— Критик должен иметь дело с тем, что есть, а не с тем, что он хотел бы прочесть, — взволнованно-книжно сказал еще один, прячась в толпе.

Заглушая все голоса, закричал Васькин:

— Угрызите меня на факте, — закричал он. — Где ваш факт? Я Пастернака даже плохо знаю. Это ж определено.

Тут еще указал кто-то, что «мерять надо поестественнее», сославшись на Подхалюзина.

Тогда, упомянув Глеба Успенского, ответил бойко Сысоев, что иногда неврдно определить, что с чего первоначал взяло.

— Ерундофилы вы! — закончил, вопя, Сысоев. — Раз берешь — бери, чтоб навек твое стало. Кредит дело портит, знаешь!

— Угрызите меня на факте, — закричал опять Васькин. — Общими фразами тень наводите...

— Твое бы слово, да тебе же в уши, — сурово отозвался Сысоев. — Вы, автор, не сильно залупайтесь, — прибавил он председательски.

— Вы будете иметь свою очередь, автор.

— Видал? — довольно обернулся Сысоев к редактору. — От одного слова, да навек ссора. Образцовые словорезы они у меня, ей-богу!

— А вы что, кто тут у них, руковод? — спросил редактор.

— Я тут заместо всеобщего классика, — веско ответил Сысоев. — В роде как ты у себя, — и заулыбался довольно.

Потом пришла очередь редактора. Он рассказывал о своей новой работе о Чехове, и слесарь Коська в содокладе крыл его, угрызал на факте, что взгляд редактора на Чехова несерьезен и что в работе есть много грубых ошибок и путаницы. Коська, в подтверждение своих слов, открывал многие книги, ссылаясь на многих исследователей и, громя безответственность редакторской статьи, требовал жесткой резолюции.

— Видал, какой хлебостон? — жутко шептал Сысоев редактору. — Ты, брат, оправдывайся изо всех сил, не гордись.

Мальчишка, много раз засыпавший за вечер, вдруг проснулся и завизжал.

— Вот не во-время заскудел, хренок окаянный! — заботливо сказал Сысоев.

Из сѐней вышла женщина и взяла мальчишку. Освободив руки, Сысоев стал еще подвижнее. Он подмигивал глазом редактору и горячил обессиливших спорщиков.

Решили, что редактор особым письмом признает ошибки, но что взгляд его на Чехова пусть так и будет, каждый может иметь свою точку зрения. На том разошлись.

4

Улицы блуждали в ночи безнадзорным, заночевавшим в поле стадом. В темноту улиц сипло урчала колоколами худая лохматая церковка.

Тарантас плыл по грязи. Грязь относила его своими волнами к стенам домов. Тарантас был загружен людьми и, как лодка, касался гребней грязи.

— Нельзя вам сердиться, что я вас матом огрел, — воодушевленно извинялся Коська.

— Никто и не думает, — резонно, достойным тоном отвечал за редактора Сысоев. — В таком деле сматеришь воленс не воленс...

Мертвая зыбь грязи ввергала их вниз и вздымала вверх, тарантас качало в скрипе и в судорогах.

— Ну, а как твои? — спросил Сысоев. — В страхе держишь?

Редактор не мог ответить. Было темно, тряско, речь вышла бы перебойной. Он просто качнул головой.

— Нет, — сказал опять Сысоев, — я на своих не могу пожалиться. Прямо землю роют. Тут у меня один имеется, жаль сегодня его не было, вот посмотреть бы тебе, лучше Наумова пишет, честное мое слово.

— Лучше кого?

— Да Наумова. Вот и не знаешь, ага! А был такой Наумов, — зря не читал. Ты вот все на генералах ездешь, а я скажу тебе, остальные не хуже писали. Ты прочитай, что Венгеров... Ваш же, можно сказать, спец. Ты прочитай, что он говорит.

— Нет такого Наумова, — сказал редактор.

— Есть, — ответил Коська. — Мартов о нем еще отзывался. Наумов о деревенско-заводских людях все писал, знаете. В шестидесятых годах. Пионер, знаете. Все наши корни обнаружил человек.

— То, чем вы занимаетесь, просто глупо. Какой-то Наумов, Успенский... Я вынужден буду позвонить в райком и категорически заявить

о вреде и ненужности ваших занятий. Кто руководит вами? Это же глупо, что товарищ Сысоев... Чорт знает...

— Ты бывай добрый, когда тебя бьют, — сказал Сысоев. — Ты сердчай, когда сам бьешь. Ты у себя, — я у себя. А закон нам один — надо узнать об чем пишешь. А ты что, монополь себе открываешь! Я тебе, редактор, определенно скажу, я могу тебя на борьбу вытащить. Показывай, что ты знаешь. Вставил палец в историю и думаешь, ни у кого глаз больше нету! Показывай, откуда твои достижения. Ты вот про Чехова и про того и про другого мастер объяснять, а я начал на твой показ. Ты бы вот научил, как хорошие рассказы писать, раз ты всеобщий классик. А я учу.

Миролюбивое настроение Сысоева порвалось, хозяйское радушие забылось.

— Извиняюсь, извиняюсь, — задиристо говорил Сысоев, ерзая на карачках по днищу тарантаса: — Я, редактор, тридцать человек научил писать. И пишут. У меня, брат, каждый на все руки мастер. У меня нет этого, чтобы один по психологии, а другой по мордологии, — у меня все зараз пишут. Ты прочитай Венгерова. Коська, как это там Венгеров говорит об этих большаках? И маленькие, говорит, отлично действуют.

— Брось, Сысой, — учтиво сказал Коська. — Всеобщие классики, да подрались между собой. Ну чего там Венгеров говорит? Так и говорит, что, дескать, большие писатели ни черта нового не прокладывают. В общем, так сказать, все равно, какие они. Большие, дескать, на готовое только приучены.

— Это же правильно, я извиняюсь, — перебивал Сысоев, ерзая, как заведенный, по тарантасу. — Кто такой Мольер? Плагиатор. А байронизм, я вас предупреждаю, байронизм же был и до Байрона. Общеизвестно.

Из-за косого разворота улицы выглянула очередь фонарей у вокзала. Паровоз был уже впряжен в поезд. Редактор поднялся в вагон, молча кивнув провожающим.

Поезд, хрустнув костями сцеплений, двинулся. Уходя, он убрал с собой последние огни вокруг вокзала, будто потушил их силой своего хода.

В вагоне было темно и скучно. Редактор представил, как сейчас выйдут на крылечко вокзала Сысоев с дружиною, как сядут они в валкий тарантас и поплывут искать свои улочки и дома, или вернуться в кружок, в комнату, укутанную рубищем выцветших бумажных лоскутов, и будут пить чай, откроют историю шестидесятых или позднейших годов и станут долго и терпеливо искать в ней затерянные писательские имена, еще не вычерпанные, не пройденные. А потом соберутся походом на имя, обложенное, как медведь в логове, и будут жарко охотиться за его рассказами, чтобы, освежая их, братски разделить между собой.

Уснув, он увидел сон, как Сысоев с дружиною, — а дружина была велика, как народ, — гонял голубей и будто сам редактор был такой голубь. Он задыхался от взлетов и беспокойства, юлил мимо сеток, а Сысоев все норовил его поймать живьем и посадить в голубятню — писать ему рассказы.

Ночь, подсохла с краев, как хлебная корка, и отстала краями от земли. В трещину глядела серая мякоть еще недоспевшего утра.

Редактор проснулся от неудобной позы. Тело болело. Москва заглядывала в окна.

А казалось, — мелькнуло у него, — будто проезжены тысячи верст, и что за этими тысячами верст — война.

По одной подруге Реквием

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

Перевод Б. ПАСТЕРНАКА

Я чту умерших, и всегда, где мог,
давал им волю и дивился их
уживчивости в мертвых, вопреки
дурной молве. Лишь ты, ты рвешься вспять.
Ты льнешь ко мне, ты вертишься кругом
и норовишь за что-нибудь задеть,
чтоб выдать свой приход. Не отнимай,
что я обрел с трудом. Я прав. Кой прок
в тоске о том, что трогало? Оно
претворено тобой; его здесь нет.
Мы всё, как свет, отбрасываем внутрь
из бытия, когда мы познаем.

Я думал, ты зрелей. Я поражен,
что это бродишь ты, отдавши жизнь
на большее, чем женщине дано.
Что нас сразил испугом твой конец
и оглушил и, прерывая, лег
зияньем меж текущим и былым,
так это наше дело. Эту часть
наладим мы. Но то, что ты сама
перепугалась, и еще сейчас
в испуге, где испуг утратил смысл,
что ты теряешь вечности кусок
на вылазки сюда, мой друг, где всё —
в зачатке; что впервые пред лицом
вселенной, растерявшись, ты не вдруг
вникаешь в новость бесконечных свойств,
как тут во всё; что из таких кругов
тяжелый гнет каких-то беспокойств
тебя магнитом стаскивает вниз

к отсчитанным часам: вот что, как вор,
меня неожиданно будит по ночам.
Добро бы мысль, что ты благоволишь
к нам жаловать от милостей избытка,
и до того уверена в себе,
что, как ребенок, бродишь, не чураясь
опасных мест, где могут сделать вред.
Но нет. Ты просишь. Это так ужасно,
что, как пила, вонзается мне в кость.
Упрек, которым, ночью мне привидясь,
ты шаг за шагом стала бы, грозя,
теснить меня из легких вглубь брюшины,
отсюда в сердца крайнюю нору,
упрек подобный не был бы жесточе
такой мольбы. О чем же просишь ты?

Скажи, не с'ездить мне куда? Быть может,
ты что забыла где, и эта вещь
тоскует по тебе? Не край ли это
тобой непосещенный, но всю жизнь
родной тебе, как чувств твоих двойчатка?

Я похожу по рекам, распрошу
о старине, пойду водить беседы
с хозяйками у притолок дверных
и перейму, как те детей сзывают.
Я подгляжу, как там земную даль
облапливают в поле за работой,
и к властелину края на прием
найду пути. Я подкуплю дарами
священников, чтобы меня ввели
в глухой тайник с заветною святыней,
и удалились и замкнули храм.
А вслед затем, уже немало зная,
я вволю присмотрюсь к зверям, и часть
повадок их вростет в мои суставы.
Я погощу в зрачках у них и прочь
отпущен буду, сонно, без сужденья.
Я попрошу садовников назвать
сорта цветов и затвержу названья,
чтобы в осколках собственных имен
увезть осадок их благоуханья,
и фруктов накуплю, в которых край
еще раз оживает весь до неба.

К тому же в них ты знала толк, в плодах.
Перед собой их разложив по чашкам,
Ты взвешивала красками их груз.
Так ты смотрела на детей и женщин,
любясь, как в плодах, наливом их
наличья. Так же точно ты смотрела
и на себя, как полуголый плод
вся в зеркало уйдя по созерцанье,
оно ж по росту не влезало внутрь,
и сторонясь, оно не говорило
о видимом — я есмь, но: это есть.
И так нелюбопытно было это
воззренье, что не жаждало тебя:
так чуждо было зависти, так свято.

Таким бы я хотел сберечь твой образ
в глуби зеркальной, прочь ото всего.
Зачем же ты приходишь по другому?
Зачем клеветешь на себя? Зачем
внушить мне хочешь, что в янтарных бусах
на шее у тебя остался след
той тяжести, которой не бывает
в потустороннем отдыхе картин?
Зачем осанке придаешь обличье
печального предвестья? Что тебя
неволит толковать свое сложенье,
как линии руки, так что и мне
нельзя глядеть, не думая о роке?

Приблизься к свечке. Мне не страшен вид
покойников. Когда они приходят,
то вправе притязать на уголок
у нас в глазах, как прочие предметы.

Поди сюда. Побудем миг в тиши.
Взгляни на розу над моим бюваром.
Скажи, не так же ль робко рыщет свет
вокруг нее, как вкруг тебя? Ей тоже
не место здесь. Не смешанной со мной
внизу в саду ей лучше б оставаться
или прейти. Теперь же вот как длит
она часы. Что ей мое сознание?

Не содрогнись, коль мысль во мне блеснет.
Понять — мой долг, хотя б он жизни стоил.

Так создан я. Не бойся; дай понять,
зачем ты здесь. Я ослеплен. Я понял.
Я, как слепой, держу твою судьбу
в руках, и горю имени не знаю.
Оплачем же, что кто-то взял тебя
из зеркала. Умеешь ли ты плакать?
Не можешь. Знаю. Крепость слез давно
ты превратила в крепость наблюдений
и шла к тому, чтоб всякий сок в себе
преобразить в слепое равновесье
кружащего столбами бытия.
Как вдруг почти у цели некий случай
рванул тебя с передовых путей
обратно в мир, где соки вождедеют.
Рванул не всю, сперва урвал кусок,
когда ж он вспух и вырос в вероятьи,
то ты себе понадобилась вся
и принялась, как за разбор постройки,
за кропотливый снос своих надежд
и срыла грунт и подняла из теплой
подпочвы сердца семена в ростках,
где смерть твоя готовилась ко всходу,
особенная и своя, как жизнь.
Ты стала грызть их. Сладость этих зерен
вязала губы и была нова, —
не разумелась, не входила в виды
той сладости, что мысль твоя несла.
Потужим же. Как нехотя рассталась
с своим раздольем кровь твоя, когда
ты вдруг отозвала ее обратно.
Как страшно было ей очнуться вновь
за малым кругом тела; как, не веря
своим глазам, вошла она в послед
и тут замаялась, утомясь с дороги.
Ты ж силой стала гнать ее вперед,
как к жертвеннику тащат скот убойный,
сердясь, что та не рада очагу,
и преуспела: радуясь и ластясь,
она сдалась. Привыкнувши к другим
мерилам, ты почла, что эта сделка
ненадолго, забыв, что уж и ты
во времени, а время ненасытно,

и с ним тоска и канитель, и с ним
возня, как с ходом затяжной болезни.

Как мало ты жила, когда сравнишь
с годами те часы, что ты сидела
клоня, как ветку, будущность свою
к зародышу в утробе, — ко вторично
начавшейся судьбе! О труд сверх сил!
О горькая работа! Дни за днями
вставала ты, чуть ноги волоча,
и, сев за стан, живой челнок гоняла
наперекор основе. И при всем
о празднестве еще мечтала. Ибо
как дело было сделано, тебе
награды стало жаждать, как детям
в возместку за противное питье,
что в пользу им. Так ты и рассчиталась
с собою; потому что от других
ты слишком далека была и ныне,
как раньше, и никто б не мог сказать,
чем можно наградить тебя по вкусу.
Ты ж знала. Пред кроватью в дни родин
стояло зеркало и отражало
предметы. Явность их была тобой,
все ж прочее — самообманом; милым
самообманом женщины, легко
до украшений падкой и шиньонов.

Так ты и умерла, как в старину
кончались женщины, по старой моде,
в жилом тепле, испытанным концом
родильницы, что хочет и не может
сомкнуться, потому что темнота,
рожденная в довес к младенцу, входит,
теснит, торопит и собирает в путь.

Не следовало плакальщиц, однако б,
набрать по найму, — мастериц вопить
за плату? Можно б мздой не поскупиться,
и бабы выли б, глоток не щадя.
Обрядов нам! У нас нужда в юбрядях.
Все гибнет, все исходит в болтовне.
И, — мертвая, еще должна ты бегать
за жалобой задолженной ко мне!

Ты слышишь ли, я жалуюсь. Свой голос
я бросил бы, как плат, во всю длину
твоих останков, и кромсал, покамест
не измочалил, и мои слова
как оборванцы, зябли бы, слоняясь,
в отребьях этих, еслиб все свелось
лишь к жалобам. Но нет, я обвиняю.
И не того, отдельного, кто вспять
повел тебя (его не доискаться
и он, как все), — я обвиняю всех,
всех разом обвиняю в нем: в мужчине.

И пусть бы даль младенчества когда
мне вспомнилась, былую детскость детства
уликой озаряя, — не хочу
про это ведать. Ангела, не глядя,
слеплю я из нее и зашвырну
в передний ряд орущих серафимов,
напоминаьем рвущихся к творцу.

Затем, что мука эта стала слишком
не в мочь. Уже давно несносна ложь
любви, что, зиждясь на седой привычке,
зовется правом и срамит права.
Кто вправе обладать из нас? Как может
владеться то, что и само себя
лишь на мгновение ловит, и, ликуя,
бросает в воздух, точно детский мяч?
Как флагману не привязать победы
к форштевню судна, если в существе
богини есть таинственная легкость
и рвет неволью в море; так и мы
не властны кликать женщину, коль скоро,
не видя нас, она уходит прочь
по жерди жизни, чудом неврейдима;
неравно, что самих нас манит зло.

Ведь вот он грех, коль есть какой на свете:
не умножать чужой свободы всей
своей свободой. Вся любви премудрость —
давать друг другу волю. А держать
не трудно и дается без ученья.

Ты тут еще? В каком ты месте? Ах,
как это все жило в тебе, как много
умела ты, когда угасла, вся

раскрывшись, как заря. Терпеть — дар женщин.
Любить же, значит жить наедине.
Порой еще художники провидят:
в преображеньи долг и смысл любви.
Здесь ты была сильна, и даже слава
теперь бессильна это исказить.
Ты так ее чуждалась. Ты старалась
прожить в тени. Ты вобрала в себя
свою красу, как серым утром будней
спускают флаг, и только и жила
что мыслью о труде, который все же
незавершен; увы, — не завершен.

Но если ты все тут еще, и где-то
в потемках этих место есть, где дух
твой зыблется на плоских волнах звука,
которые мой голос катит в ночь
из комнаты, то слушай: помоги мне.
Ты видишь, как, не уследя, когда,
мы падаем с своих высот во что-то,
чего и в мыслях не держали, где
запутываемся, как в сновиденьи
и засыпаем вечным сном. Никто
не просыпался. С каждым подымавшим
кровь сердца своего в надежный труд.
случалось, что она по перекачке
срывалась вниз несобойщей струей.
Есть между жизнью и большой работой
старинная какая-то вражда.
Так вот: найти ее и дать ей имя
и помоги мне. Не ходи назад.
Будь между мертвых. Мертвые не праздны.
И помощь дай, не отвлекаясь; так,
как самое далекое, порою,
мне помощь подает. Во мне самом.

Е л е н ь

П о в е с т ь

И. СОКОЛОВ - МИКИТОВ

Старый Бездон

Место, где спокон веку жили и гнездовались волки, звалось на деревне Старым Бездоном. Это было большое, на тысячу десятин, крепкое моховое болото, сплошь заросшее мелким сквозным, похожим на доисторический лес тугорослым сосонником. Летом над болотом тучами толклись комары и, пламенея, поднималось и падало солнце. Все зимы на болоте лежали густые синеватые недвижные снега, а ночами жутко-холодные рассыпались по небу звезды.

Волки выбрали широкую сквозную поляну, покрытую мягким, скрывавшим шаги мохом. Они строго и неизменно блюли свои волчьи неписанные законы: вёсну, лето и осень молодые не покидали болота, лаем и воем встречая стариков, возвращавшихся к ним с добычей, дрались и играли, а зимою стаей и в одиночку уходили в поля перехватывать на корму зайцев, выманивать на огороды деревенских собак. И вся поляна была усеяна тетеревиными, бараными и заячьими выбеленными солнцем костями; на кочках, на старых обомшелых пнях, на деревьях, на выбитых во мху тропах были видны следы когтей и молодых зубов. На самой середине, округ высокой и голостволой сосны, молодыми и переряками был выбит круглый ток, и от тока во все стороны — в лес, к водопою, в зеленый густой хмызник — разбегались звериные тропы: это и был волчий давнишний город. Здесь из года в год жил, рос и кормился волчий выводок, и здесь же в прежние времена устраивал облавы владелец леса, богач, лесопромышленник и охотник, Дмитрий Яковлевич Хлудов.

Обычно за две недели до приезда охотников прибывали в Елень окладчики-псковичи. Это были черные, похожие на цыган, рукастые и легкие на ногу матершинники-мужики. Две недели они пропадали в лесу, выслеживая зверя, за гроши скупали у мужиков и резали

на приводе голоробрых и покорных деревенских одров, ведрами глушили водку и гоняли по деревне девок и баб, из последнего терпения выводя кудластых еленёвских мужиков, под горячую руку не раз хватавшихся за кольё. Охотники приезжали позже, из города, и тогда, забывши обиду на день, на два, ломала себе голову бедовая деревенька Елень.

Охотники приезжали со станции на тройках, гремя бубенцами, в длинных, до пят, оленьих дохах, в круглых меховых шапочках с козырьками. Миновав деревню, где, захлебываясь лаем, их провожали тощие рябые кобели, всею ватагою останавливались они у лесника Фрола, жившего в лесу в новой сторожке, уютно пахнувшей хлебом и деревом, окруженной синим еловым лесом, и лесникова жена Марья, веселая и бойкая баба, вынимала из сундучка полотенца, чтобы застлать для гостей новый липовый стол и скамейки.

Гости привозили в плетеных корзинках бутылки, покрывавшиеся холодным налетом, сами раскладывали на столе закуску, шутили и говорили возбужденными, осипшими с морозу голосами, пили из серебряных дорожных стаканчиков, приятно возбуждаясь тем, что округ был лес, тишина и простое опрятное мужицкое житьё-бытьё. Случалось, с охотниками приезжали из города женщины. Они со смехом входили в сторожку, не снимая легких меховых шубок, пряча в мех молодые, хорошевшие от морозу лица, и сочувственно им улыбаясь, во все сияющие жизнью и любопытством глаза смотрела на них и приветливо улыбалась им молодая лесникова жена Марья. До прихода окладчиков охотники пили, закусывали, рассказывали анекдоты и курили длинные папиросы, от которых, колыхаясь по избе, плывал синий душистый дым. Всё это время лесник Фрол, невысокий, густоволосый молчаливый мужик, неподвижно стоял у дверей и спокойно смотрел на господ своими зеленоватыми, поставленными глубокими лесовыми глазами. Он стоял молча, изредка оправляя подол свежей рубахи и переглядываясь с женою, кормившею за положком ребенка.

Гостей было много, и сидели они, наполняя сторожку непривычными речами и смехом, и Марья, неприметно переглядываясь с мужем, жадно слушала, запоминала и давилась смехом, глядя на маленького, сидевшего в углу за столом старичка с крашеной бородой, частенько жевавшего вставными зубами и сморкавшегося в надушенный платок, смешно выговаривавшего слова. «Зубы каменные!» — говорила она, глядя на жевавшего старичка, и как девчонка, стараясь удержать давивший ее смех, низко наклонялась над ребенком круглой своею, покрытой платком головою; Фрол строго и неодобрительно поглядывал на нее от своего места, и только им двоим был приметен и понятен их немой разговор. Гости оставались в сторожке, пока окладчики делали круг по глубокому, белому, оседавшему под лыжами снегу. Через час-другой окладчики прибегали с сизыми от морозу щеками, обсыпанные сухим инеем, громко обивали в сенях намерзшие валенки и вваливались в сторожку вместе с клубами пара и густым запахом

мороза и елового леса. Им подносили по стакану водки, и, обобрав сосульки с усов, сняв лисьи шапки с облипших мокрых волос, они неспеша выпивали, утирались полами полушубков, и, стоя среди хаты, скупо докладывали о зверях:

— Восемь штук в кругу... На Черемуховой дороге стрелков поставим... По лесу шастко... — говорил, по-разбойничьи смотря в сторону, старший, похожий на цыгана, окладчик Семен.

Шумно разбирая ружья и пригибаясь непривычно в дверях, стучась головами, охотники выходили на волю, на ослепительно искрившийся снег, перерезаемый синеватыми тенями деревьев. У крыльца их поджидали собравшиеся из деревни загонщики-крикуны: лохматые, с обмерзшими бородами мужики и безбородые, румяные от морозу ребятишки в овчинных шапках, в обшарканных шубейках, с трещетками и засунутыми за пояса блестящими топорами. В ожидании господ загонщики курили, толклись и, чтобы согреться, боролись в снегу, переругивались и покашливали зябко. Завидев выходящих охотников, они поспешно бросали окурки и, переступая по утопанному снегу обмотанными онучами ногами, окружали их пахнущей овчиною и дымом толпой, жадно засматривая в лица. Хлудов осматривал их быстро (он был на голову выше, и резко отличалось своею нежною белизною, чернотой выхоленной бороды его крупное горбоносое лицо от сероватых и мелких лиц мужиков, обраставших за зиму и серевших), хозяйственно пересчитывал, здороваясь со знакомыми и, потоптавшись, скрипя снегом, охота трогалась в лес. Дорогу торили окладчики, — они бойко шли передом, высокими валенками мешая сухой рассыпавшийся снег, не останавливаясь, а за ними длинным гуськом тянулись стрелки в белых коленкорových балахонах и крикуны в рваных шапках. В лесу было бело и тихо, падал с еловых лап снег; случалось, вспыхивал позади придушенный смех; чахоточный долговязый мужик, увязавшийся в облаву, боясь разгневать господ, валился животом в сугроб и кашляя в шапку. Иногда передовой молча показывал рукавицей в сторону под деревья, где перемахивал и пропадал волчий свежий след.

Охота начиналась и шла по всем правилам строгого облавного устава. Придя на место, чернобородый пскович срывал с запотелой головы шапку и, кося глазками, тряс жеребья. Соблюдая тишину, почти торжественно, стрелки снимали с рук меховые перчатки и по череду вынимали номера (последний номер, сверх очереди, всякий раз безропотно брал примазывавшийся к охоте местный захудалый помещик Розанов, тянувшийся изо всех сил за богачами). По уставу же охотники расходились по своим номерам, которые отмечали на снегу псковичи, и уж не сходили с них до конца. Каждый, занимая номер, оглядывался, стараясь угадать лаз; оглядевшись и проваливаясь в снегу по пояс, отходил в сторону и отаптывал место, обламывал мешавшие стрельбе стеклянню ломавшиеся на морозе сучки, натывал перед собою лапок, заряжал ружье и терпеливо оставался ждать. Лес стоял тихо. Чуть

хряпал, ломая сучки, сосед. В последний раз, расставив стрелков и загонщиков, растянув флажки, словно перед решительным боем, пробежал, проверяя оклад, запотелый пскович и одобрительно кивал рыжей шапкой.

С а п у н о к

Волки обычно ложились в густом, заваленном снегами хмызнике-подседе. Они лежали в обледеных глубоких лежках, свернувшись желтыми клубками, строго наставив уши и чутко прислушиваясь к знакомым лесовым звукам. Вот застучал по сухому дереву дятел, смолк и, погромыхивая крыльями, мелькнув красным гузном, перепорхнул на новое место. Уронила обглоданную шишку и громко зачокала белка. Стайка краснозобых клестов-еловиков, осыпая иней, весело опустилась на закачавшийся белый куст. Где-то два раза прогремел и смолк рябчик. Свалилась с высокой густой елки, цепляясь по сучьям, рассыпаясь снежною пылью, белая шапка, и сама собою долго колыхалась над снегом задетая лапка. Далекie, едва уловимые, похожие на щорох звуки иногда долетали до слуха, и волки поднимали головы, вслушивались, зевали, открывая черно-синие пасти, и опять уютно подбирались в пригретых лежках.

Первый звук начинавшейся облавы долетал слабо: казалось, что далеко за лесом, в деревне, загомонили ребята. Потом сухо и колко, словно хряпнуло на корню сухое дерево, хлопал в загоне сигнальный стрел. И тотчас, наполняя, глуша и тревожа лес, начинали гукать и шуметь голоса, трубить рог, бить трещетки. Казалось, стала над лесом волна страшной, невиданной еще звериной страсти. Волки вскакивали с лежек, прислушивались и, неспеша, соблюдая звериную осторожность, осыпая на спины пушистый иней и по уши завязая в рыхлом снегу, вприпрыжку шли туда, где было беззвучно, где лес стоял знакомо и тихо, — на цепь замерших, пристально вглядывавшихся в прикрытую снегом чащу стрелков, державших наготове ружья... Охотнику, на которого шел первый зверь, было видно сквозь чащу, как, осыпая с кустов иней, переваливаясь и оседая, тихонько шурша, мотнулась черно-желтая спина и мелькнул светлый бок зверя, как разом из-за куста, прижатого снегом, вывалил на видню зверь, лобастая его, низко опущенная, с тесно прижатыми ушами и вываленным языком голова, черно-рыжая холка, — он напускал и, поднявши ружье, метил прямо в широкий опущенный звериный лоб... Второго зверя охотник клал на скаку за большой, покрытой снегом макушей, и было видно, как, зло рывкнув, метанулся назад головой смертельно раненый волк, яростно щелкал зубами, лоя невидимого врага, и задом оседал в снег, держась на передних лапах...

Чем чаще стучали сухие выстрелы, — горластее и звончее кричали загонщики, теснее сходилса круг. Раненые и оставшиеся в кругу звери, обезумев, метались по кругу с широко открытыми пастьями, наскикивали в упор на охотников и крикунов, поднимавших вой и визг, их

били наверняка, напуская на удар плети. После облавы мокрые, возбужденные и усталые загонщики, выбиравшиеся из лесной чащи, с криком и смехом за хвосты выволакивали из ельника убитых зверей и клали рядом на утопанную дорогу. Раненый старый седой волк сидел в снегу, откинув хвост и скаля страшные зубы в розовых деснах, смотрел на людей своими зверино-ясными, выразившими жестокую и непримиримую ненависть, глазами. Над ним толпились запотевшие загонщики, смеялись, поглядывая на стоявших в стороне, щелкавших портсигарами стрелков, откалывали шуточки:

— Смотри, глядит!.. — испуганно кричали и пихались над волком робевшие ребяташки.

— Полно овечек наших лупить!..

Длинный и тощий, с красным зазябшим носом на безбровом рябом лице, безбородый и белесый мужик Максименок, притворно смеясь и оглядываясь на охотников, совал осиновый кол в пасть зверю, и волк страшно рванул, как лучинку расщепляя зубами белое дерево.

— Ах ты чорт, дьявол! — одобрительно ругались мужики.

Приканчивали его выстрелом в упор. Он ложился, пачкая снег кровью и черным пометом, судорожно дергаясь хвостом. Даже после смерти страшно и непримиримо смотрели зеленовато-желтые открытые глаза его. Мужики злобно били обмерзлыми лаптями по его мертвой, стукавшейся об утопанный снег лобастой голове, а рябой длинный мужик задирали его заднюю, обросшую изнутри светлую шерстью и еще теплую ногу и объявлял, радостно хохоча:

— Кобель, чорт!..

— Вот бы на тебе такой вывалил, чай бы ты портки потерял...

— Жирные, черти...

— Гляди, гляди, Сапунок лезет! — тонкими голосами кричали ребята, завидев вылезавшего из лесу засыпанного снегом рыжего рукастого мужика. Увидав рыжего и всё поглядывая на охотников, мужики примолкли, ожидая от Сапунка смешной штуки. А Сапунок, не торопясь, волоча лапти, даже не взглянув на лежавших в растяжку убитых зверей, подходил прямо к охотникам, сдергивал с путаных волос шапку и, нагло смотря прозрачными косившими глазками, говорил, скалясь:

— На водочку с вашей милости!..

Откинув полу романовского полушубка, Хлудов, довольный удачею, жмурясь от папиросы, белыми узкими руками доставал кошелек и протягивал ему красненькую. Рыжий принимал деньги, бровь его поднималась хитро, он лукаво кому-то подмигивал и, выказывая щербатые обкуренные зубы, не отходил, продолжал держать в вытянутой руке бумажку.

— Маловато, ваша светлость, весь лес излазили!..

Кто-то тянул рыжего за рукав, а он отмахивался головою и под сдержанный поощряющий смех упирался.

— Самый большой шельма из вся деревня, — шопотом говорил Хлудову стоявший обочь управляющий-немец, грузный и краснолицый, с выпученными голубыми глазами и большим животом, вылезавшим из распахнутой шубы. — Их вся деревня вор, вор на вор и вор погоняй...

— А ты, Карля Карляч, помалкивай, держи язык за зубами! — дерзко поблескивая глазками, уловив шопот немца, говорил рыжий. — Твоя хата с краю...

После облавы (волков несли на колебавшихся шестах мужики) опять сидели в сторожке, пили коньяк, шумели, и опять молчаливо и почтительно стоял у дверей лесник Фрол; горланили на дороге, укладывая в сани убитых зверей, мужики; размахивал руками, метался над всеми, сплетал чепуху рябой Максимепок.

После охоты

Бывало, что после удачной охоты господа задерживались на деревне, в лучшей просторной избе. Убитые звери лежали у крыльца на розвальнях; фыркали, чуя звериный дух, позвякивали бубенцами продрогшие застоявшиеся лошади. Зверей окружали бабы и малые ребята, трогали и шутили. Бабы и девки толпились в избе, где гуляли охотники. Они спервоначалу робко толклись у дверей, хихикали и шептались, подталкивали друг дружку. Потом самая смелая и разбитная выкрикивала задорно:

— Бабам поднесть надо! Бабы, чай, тоже старались...

Пили бабы неловко, твердыми пальцами беря серебряный стаканчик, расплескивая и смеясь до слез, утираясь рукавами рубах. Молодой, белобрысый, с подстриженными щеточкой белесыми усиками и уже плешивый конфетный фабрикант Абрикосов угощал их из большого бумажного мешка карамелью. Бабы смелели, запускали в мешок руки, шутили с белобрысым, говорили, хохоча звонко:

— Наскучили барышни-то городские? Погуляй, барин, с бабами! Мы веселые...

Вечером в избе было душно и шумно, моргала под закопченным пузырем лампочка, плясали, лихо отстукивая полсапожками, подгульвавшие бабы, и никак нельзя было признать в них тех закутанных унылых и серолицых женщин, что поутру стояли у порогов хат и у колодцев, робко сторонясь пролетающих троек, так были они полны шальной ведьмовской жизнью, так носились по тесной, не вмещавшей всего шума избе, обдавая гостей горячими ведьмачьими взглядами. Первый не выдерживал пьяненький Розанов (бабы, хорошо его знавшие, обращались с ним бесцеремонно и в глаза кликали «штопаным») и, всплеснувши руками, топнув ногою, обнявшись с самою бойкой и зубастой солдаткой Санькой, как под мельничное колесо, кидался в бабий горячий круг. И бабы подхватывали, как колесо подхватывает свалившуюся соринку, тискали, мяли, и Розанов нескоро выплывал из

их круга, валился на лавку обессиленный и мокрый, как парное лычко...

В такие разы уезжали гости далеко за полночь, к курьерскому. После шума и пляски, бабьих разгоряченных лиц, блестящих зубов, после отчаянных песен и коньячного хмеля, после пьяного Сапунка, все валившегося с улицы в избу и шумевшего в сенях с уговаривавшими его хозяевами, необыкновенным и прекрасным показывалось высокое, запорошенное частыми звездами небо; крепко перехватывал дыхание мороз. Гости запахивались в шубы, глубоко усаживались в сани, и застоявшиеся кони, свистя подрезами, бросаясь снегом, выносили их в поля за деревню, где колдовски сверкали в звездном свете снега и волками набегали из темноты вешки. Через час-другой охотники входили в теплый вагон, укладывали в сетки ружейные футляры и раздевались, весь вагон наполняя свежим запахом мороза и холодных шуб, громким шумом, на который удивленно поднимали головы заспанные пассажиры. С платформы, где пронзительно свистел пробежавший в тулупе кондуктор, и неведомо для чего стоял под фонарем и мерз длинный мужик в армяке, с об'иневевшей бородою, в настывшее морозными цветами, тускло светившееся вагонное окно все стучал уже забытый охотниками, чувствовавший себя покинутым, отрезвевший от мороза и злой нахлынувшей тоски увязавшийся провожать их Розанов. Потом охотники ужинали в освещенном ярко вагон-ресторане, мягко стучавшем на мерзлых рельсах, пили шампанское. В вагоне было светло и тепло, покачивались живые цветы на столах, на порожних столиках острыми колпачками стояли накрахмаленные салфетки. Охотники ели, пили и, как далекое и в то же время близкое, вспоминали Елень, облаву, бойких еленёвских баб. В самое это время Розанов, проводивший поезд со стоявшими на подножках кондукторами, слепившими глаза своими фонариками, последний вагон, седой от снежной пыли, с двумя рубиновыми, убежавшими в ночь, глазами, совсем упав духом, сидел на станции у мещанина Рукасуя, сонно раздиравшего и крестившего волосатый рот, ипил с кучером Тихоном теплую водку. Рукасуй, — в жилетке и теплой бумазейной рубахе со скатавшимся воротом, — после каждого зевка оправлявший рачьи свои усы, медленно рассказывал о прохожих коновалах, сложивших и испортивших его боровка (было слышно, как на дворе в хлеву визжит этот испорченный боровок), об убийстве рядчика-богача в соседнем уезде, о ценах на сено и на корьё... В помещении было мутно и холодно, воняло пелёнками и угаром, за оклеенной перегородкой с царями и тикавшими часиками кто-то тяжело храпел и стонал. Розанов, в черной поддевке и с башлыком на шее, сидел на сундуке, повалившись на стол под лампу русоволосой своей, детски курчавившейся головою, и жестоко мучился рвотою.

Тихон — трезвый, тихий, похожий на монастырского послушника, белолицый и безбородый, давным давно прибравший к рукам барина, тишком его спаивавший и живший с его женою, — молча крошил на краешке стола сало и, слушая Рукасуя, равнодушно смотрел круг-

лыми своими галочьими глазками, как дергается затылком, плачет и мучительно давится вконец захмелевший барин. Потом, дожевав сало, сложив ножичек и перекрестившись, попрощавшись с мещанином, светившим лампою и чесавшим под мышкою, отыскав в углу кнут и валявшуюся под столом шапку, грубо нахлобучив ее на мертвую голову барина, подпоясавшись, он взваливал его на спину и нес на улицу в сани, запряженные гуськом парой запалённо дышавших, обозначавшихся в темноте об'иневелыми спинами одров...

А в это же время бродила по Бездону, нюхая волчьи и человечьи следы, жалобно выла молодая волчица, одна уцелевшая от облавы; мирно спала в глубоких снегах, точно и нет ее, деревенька Елень. В поисках стаи волчица подходила близко и, остановившись у занесенных сугробами деревенских овинов, стоя на державшем ее алмазно блестящем снегу, выла жалобно, ероша на холке шерсть, дрожа и поджимая хвост. В ответ ей заскулила и тотчас примолкла забившаяся в сарай от мороза деревенская собачонка. Волчица проходила деревней, улицей, из края в край, между мертвых, тускло отсвечивавших оконцами черных хат и колодцев с горками обледенелого снега (ночью все это волчице казалось своим и нестрашным). По дороге за деревню от станции кто-то ехал. Волчица остановилась и откидывалась в снег. Лежа в снегу, западая, она видела, как проходили по дороге понурые лошади, волоча скрипевшие полозьями сани. Потом шла целиною в лес, опять на Бездон, мимо лесной, мерцавшей снежной крышей сторожки...

Х л у д о в

Когда-то начинались леса под Белой и шли грядюю на юг по двум тихим и рыбным рекам: Гордоте и Елени. Лет полсотни назад, на памяти живых людей, еще сплошною стеной стояли леса, и много велось в них дремучего красного зверя: медведей, лося, рысей, куниц.

В далекие времена перешли леса крепкому мужичку из староверов — Никите Игнатьичу Хлудову, деду Димитрия Яковлевича, приезжавшего в Елень на охоту. Приобрел он их у прежнего барина и владельца графа Олсуфьева, бывшего царским послом в Царсграде, человека государственного и занятого, в делах житейских остававшегося малым ребенком. Сказывали, что старый Хлудов чуть не пешком, с лыковой кошелкой за плечами (в кошелке лежали черные сухари и радужные ассигнации) явился к нему на Босфор в Константинополь и так околдовал барина благочестивым своим обхождением и умною выдержкою, что графское имение — земля и тысячи десятин векового дремучего леса — досталось Хлудову почти даром. Из Цареграда вернулся старый Хлудов полным хозяином над землею и тотчас, в сотрудничестве с Яковом, сыном, круто повернул дело. С того времени и зашатался, загудел под топорами дремучий еленёвский лес: резали лес на шпалы для проводившейся новой дороги, пережигали в угольё, — а больше шел лес плотами, вниз к Белгороду, где строилась хлудовская первая

фабрика. И каждую весну тесно было на реке от плотов, шумно от мужичьих перекликавшихся голосов: по первой большой воде шли плотами дрова, за ними — лес, ровный, красный и гонкий.

Еще задолго до японской войны скончался сын старого Хлудова Яков, оставил дело и весь умножившийся капитал Димитрию Яковлевичу, похожему на деда разве шириной плеч, черною рассыпистою бородою и вспыхивавшим блеском карих глаз, глядевших не по-хлудовски болезненно и тревожно. Характером Димитрий выдался в мать, женщину тихую, богомольную, целиком подчинявшуюся мужу, жившую в вечном ожидании грозных и небывалых бед, которым якобы суждено было неизбежно разразиться над хлудовским домом. Всю свою жизнь она провела взаперти в городе, в каменном доме на берегу светлой и широкой реки. И от раннего детства запомнился Мите шелест ее черного, пошитого на монашеский покрой платья, запах воска в образной, треск свечей перед черными ликами старинных, в тяжелых окладах, икон; прикосновения материнских рук, сухих и пахнувших ладоню, блеск ее глаз, темных, впалых, не имеющих дна. (Потом уже, вырастая, много раз содрогался он от страшных предчувствий и болезненно думал, что причину материнского страдания была, быть может, страшная, сокрытая от него, тайна.) Мальчиком она часто возила его в монастырь, лежавший неподалеку от города, и на всю жизнь запомнил он высокие стволы сосен, окружавшие монастырь, уродов, лежавших и плевавшихся на монастырском дворе, вымощенном круглым и горячим от солнца булыжником, с туго пробивавшейся зеленой травой, двух монастырских ручных журавлей; холодок храма, тусклый и страшный блеск серебряной раки, у которой неведомо почему крупно и ужасно билось его маленькое сердце, черные тени стоявших у стен монахов. Страхом и ужасом наполнилось его сердце, когда однажды над источником, в небольшой дощатой купальне, покрывавшей «святой колодец» с темной, студеной, как лед, водою, окруженная чужими, мать его вдруг упала, забилась испуганно на руках женщин, и он, крупно дрожа, широко открывши высушенные ужасом глаза, забившись в сырой дощатый угол, смотрел, как судорожно бьется на чужих руках ее белое восковое тело. Запомнил он ласковые прозрачные руки и редкую бороду знаменитого старца, к которому водила его мать, черную его рясу, узкий диванчик у стены, запах богородичной травы, висевшей пучками под потолком, слабый шелест его слов:

— Эка, дружок, волосики-то у тебя, как пух. Ходи, ходи, не бойся.

Оставшись хозяином, молодой Хлудов растерялся. Чуждым, почти жутким,—как монастырские детские впечатления,—неведомым казалось отцовское дело. Отец умирал тяжело, туго, до последнего вздоха борясь с наваливавшейся смертью. И так же, как в детстве над святым колодцем, с ужасом, широкими сухими глазами смотрел он из угла на умиравшего отца, на его большие грузные руки с набухлыми жилами и крепкими старческими ногтями, заскребавшими одеяло; на его все открывавшийся и закрывавшийся глаз, на открывшуюся под серой

свальявшейся бородой шею, в которой что-то судорожно билось и клочкотало. Отец гнал попа и мать, стоявшую у окна в черном, не желал брать свечу, которую насильно вставляла в его деревянные, с опухшими суставами пальцы сестра его—рослая, громогласная и строгая женщина, правившая те дни хлудовским домом. Иногда он поднимался на постели, опираясь на руки, клохча грудью, задыхаясь, страшный, как из гроба мертвец, глядел куда-то открытыми невидящими глазами и, захлебываясь харкотинной, начинал браниться кощунственно и страшно. Мать падала черным комочком на пол и недвижно лежала, прикрытая складками монашьяго черного платья. Умер отец Хлудова без покаяния, не сдаваясь, точно насильно задушенный железной рукою, на шее его, под бородою, после смерти выступили синие рубцы, будто от чьих-то железных пальцев.

Как бы ни умирал старый Хлудов, — после его смерти все пошло своим чередом и с такою верной и быстрой налаженностью, точно все было готово давным давно и заждалось, и нужно было только открыть всему этому дверь. Мать лежала без памяти в своей половине: Димитрий сидел неподвижно, растерявшись, не притрагиваясь ни к чему, а все шло своим чередом. Внешне всем заправляла сестра умершего, не потерявшая присутствия духа, а кто знает, не будь сестры — распорядительной женщины — все шло бы так же, само собою, как река течет. Чьи-то руки обмыли и убрали покойника, уложили в угловой, за время выстуженной комнате под образа. И он лежал, как все покойники, умнротворенный, тихий, с запавшими глубоко глазами, с облитыми восковою кожею костями хлудовского широкого лица. И молодой Хлудов, подойдя ближе, вместо страха и отвращения впервые почувствовал в себе острую жалость; что-то остро и больно обожгло его далеким воспоминанием, и он заплакал, конфузливо скрывая слезы.

Шло так, точно совсем не в покойнике было дело, а было что-то более важное. Покойник лежал холодный, чуждый всем и всему, дожидаясь, когда его возьмут и отнесут и зароят в холодную землю. Округ ходили, жили, переговаривались, оправляли наплывавшие свечи; черные монашенки, похожие на сундучных мышей, неслышно сменялись над закапанной воском книгой. Делали они свое с видимым удовольствием, ни с кем не мешаясь; с удовольствием в передышках пили в маленькой отведенной для них комнатке чай, держа белыми пухлыми пальцами чайные блюдечки, опустив над дымившимся чаем острые мышинные носики; с удовольствием закусывали икрой и балычком, которые им подкладывала сестра усопшего, успевавшая во все концы: и плакать, и хозяйничать, и считать серебряную посуду...

От тех дней молодой Хлудов запомнил: множество людей, лиц знакомых и незнакомых, носивших одно и то же выражение озабоченности о чем-то, что несравнимо важнее холодного покойника, ожидавшегося в нетопленной комнате отправки в могилу. Это самое важное слышалось в том, как заботливо и тщательно готовился в доме

поминальный обед, как торжественно, с особым выражением вибрирующего тонкого голоса служил и кадил знакомый священник с подобранными под лиловую ризу гладко причесанными волосами, в почтительном старании певчих, сдержанно и охрипло покашливавших в кулаки. Молодой Хлудов сперва не понимал и не пытался понять, что есть это самое важное, пока сама тетушка, сестрица покойного, остановив его в холодной, с закапанным полом, пахнувшей сосновой водою комнате, сказала просто, со свойственной ей решимостью и прямоотой, прямо глядя своими выпуклыми серыми глазами:

— Что ты, как Сысой, ходишь?.. Умер батюшка, и царство небесное, вечный покой. Чай ты теперь хозяин (на ты она сделала особое ударение и подняла густую бровь), дело не упусти. Пойдем-ка обдумаем... Слезы слезами, а дело делом. Мать-то твоя без ума.

Она строго, взяв под локоть, повела его в пустые комнаты покойного, где пахло печами и бились о белый потолок тяжелые зимние мухи. А он покорно и туманно слушал тетушкины строгие наставления, глядел на ее блестящие руки, не понимая, читал синие, тугие в сгибах, пахнувшие сургучем гербовые бумаги.

Этот деловой разговор с тетушкой запомнился ему отчетливо, как и многое другое из тех дней: как он с толпою провожавших шел за гробом по скрипевшему, наезженному до лоска снегу, зимнее, слепившее глаза солнце, как покачивался впереди открытый гроб с восковой головою покойника-отца, как выбежали из ворот и залаяли на толпу две молодые и очень веселые собаки. В церкви он стоял, прислонясь к холодной стене, и все время чувствовал сладковатый, приторный, набегавший по холодку нетопленной церкви дух; смотрел на покойника, ожидавшего могилы. Поразило его, когда стоявший у гроба великан Крючин, приказчик отца по лесному делу, его правая рука и ровесник, вдруг рухнул на каменный пол, содрогаясь всем своим десятипудовым, затянутым в лисью поддевку телом. Кто мог думать, что Крючин, — Крючин, этот полуграмотный тяжелый человек, жестокий со сгонщиками, верный хозяйский пёс, берегший хозяйское добро, за что прощались ему вольные и невольные грехи и грешки, может плакать так безнадежно, по-бабьему причитая...

Похоронили отца молодого Хлудова в большом и богатом монастыре, на видном месте, обочь с дедом, заплатив немалые деньги, и во всем тетушка распоряжалась сама, пугая монахов своим архангелотрубным голосом, привычкою переспрашивать грозно:

— А? Что говоришь?

И памятник был поставлен по ее личному выбору: стопудовый, тесаного камня с золотыми литерами, похожий на огромный сундук; тяжело угибалась под ним земля, будто для того и ставили, чтобы покрепче припечатать в могиле покойника, чтобы невзначай не вылез покойничек на свет...

С ы н

То, о чем говорила старая тетка, очень скоро и неизбежно стало молодому Хлудову самым главным, решившим его жизнь.

Наследство ему досталось огромное, вложенное в большое и сложное дело, требовавшее и ума, и глаза, и умелых рук. Под городом шла новая фабрика, вверху, на реке, попрежнему заготовлялся лес. И молодой хозяин сперва во всем старался подражать отцу: справил такой же, как у отца, короткополый сюртук, носил — по-купчески — глубокий картуз, на пристаня и на фабрику ездил в отцовском тряском шарабанчике, сам правя вороной лошадкой, спускавшей осторожно под гору к реке; в трактире, где собирались купцы, в подражание отцу и знаменитому деду пил чай в прикуску из белых пузатых чайников, водку требовал подешевле, по-дедовски приказывая половому: «Ту, ту, братец, в высокой бутылке, перцовочку, нам, брат, коньяки не по карману!..» Потом все это — сюртук с короткими полами и шарабанчик, бутылка с перцовкой, — как водится, сорвалось, полетело вверх тормашками к дьяволу, к чорту. Не по молодой голове пришлось дедова просторная шапка! И Хлудов забросил дела, передав на руки лебезивших перед ним и нещадно воровавших приказчиков и подручных, возненавидел и приказал беспощадно изводить отцовские и дедовские порядки; шумно загулял, запил, шарабанчик сменил на караковых рысаков и резиновые шины, перцовочку — на шампанское; тяжесть отцовских миллионов была велика, не по молодым плечам... Да и времена были не те, не дедовские, когда наживались эти миллионы, не те люди. Крючин, последний отцовский слуга, наколачивавший хлудовские миллионы на костлявых спинах еленёвских мужиков, стал больше ни к чему, знал это сам и, получая до последнего своего дня прежнее жалованье (по распоряжению старого Хлудова, кроме обычного жалованья, выдавалась особо значительная сумма на крючинское неумное чрево, требовавшее большого и сытого харча), поспешил отправиться за хозяином, над гробом которого так потерянно плакал. Умерла вскорости и неугомонная тетушка, — не гадано, словно разбившись с налету.

Окончательно погубила Хлудова несчастная его женитьба.

Женился он на молодой и пышной красавице, дочери прогоревшего помещика-дворянина, пользовавшегося незавидною славой, откровенно надеявшегося погреть руки у хлудовских миллионов. И, точно сорвавшись с последней зарубки, покатила, сломя голову, уже подсеченная, испорченная жизнь Хлудова после женитьбы. В старом хлудовском крепостенном доме, с укладом, устоявшимся многими годами, все пошло по-другому со дня переезда молодой. Перебрался с нею в хлудовский дом — и в хлудовские дела — и отец ее, короткопалый, неприятно обрюзгший и нечистоплотный плешивый человечек с крашеной сединою вокруг желтой лысины. И жизнь в хлудовском старом доме, почти с первого же дня свадьбы, стала похожа на кромешный ад. Так

говорили люди, обвиняя то молодую в жестокости сердца, то самого Хлудова, не умевшего взять в руки жену, — его тяжелый, ревнивый и подозрительный характер. И, обвиняя Хлудова и его жену, те же люди чуть не с первого месяца начали каркать, что такое не кончается ладно, что пахнет в хлудовском доме скорою бедой.

Люди говорили, что молодые живут ужасно, что кто-то не раз видел ее в сорочке, с распущенными волосами, бегущую ночью от хлудовского дома к реке; пересказывали шопотком, будто молодая хотела отравить Хлудова по подговору отца, что спасся Хлудов случайно, уронив стакан с ядом... Таковы были слухи. А на виду у всех молодая красавица Хлудова сорила деньгами, раз'езжала по городу на сытых караковых рысаках, кружила головы городской молодежи, ослепляя всех своей красотой, туалетами. Хлудов волочилсЯ за нею молчаливою и огромною тенью; его она точно не видела. Уступая её настойчивому желанию, он продал подвернувшемуся немцу построенную отцом фабрику и купил имение на юге, в Крыму, с садами и табачными плантациями, заплатив бешеные деньги (имение надоело очень скоро); много раз они ездили за границу, откуда всякий раз возвращались врозь в страшной ссоре... И детей у них не было по ее желанию; по ее же требованию две трети года проводили они в утомительных и дорогих раз'ездах. За это время была ликвидирована б'ольшая часть лесных имений и заложено оказавшееся убыточным крымское, с плантациями и садами. Так жили они, жестоко мучая себя, разрывая и сходясь (на деревне, куда наезжал Хлудов, почти ничего не знали об этой несчастной жизни его, а если бы и знали, понять было трудно: так далека, так чужда была эта жизнь жизни деревенской), все теснее затягивая роковой, связывавший их узел, не имея сил уйти от того, что нависло над ними как неизбежность, чего с такою болезненною уверенностью всю свою жизнь ожидала мать, предчувствовавшая страшную неотвратимую над хлудовским домом беду.

Е л е н ь

В те, не так уж и дальние, времена, когда наезжал на охоту Хлудов, не велика и не мала была лесовая деревенька Елень: двадцать шесть дворов. И может, потому, что неродима была моховая болотная земля, что спокон веку одолевали мужиков леса и болота, жили мужики в лесу худо, хат'енки были дырявые. И прошлое помнили люди мало. Слышали старики, — водился в лесах золоторогий зверь-олень, наезжали в незапамятные времена ловцы ловить того золоторогого быстрого зверя, а по имени зверя названа деревенька. Слышали, будто в кои-то веки сидел над Еленью грозный барин Топтыгин, будто барин спал в большой детской люльке, а колыхали люльку, играли над баринном песни деревенские молодухи; был у барина верный слуга Жигарь, лютей лютого зверя, и будто завели того господского слугу обманом елен'евские мужики в лес на Бездон, продели в рукава длинный шест, распяли по шесту руки и пустили путаться так с шестом

по густому темному лесу, а задрал Жигаря в лесу медведь... И будто в те же незапамятные времена стоял во мхах на Бездоне удалой разбойничек Кышь, а теперь осталось место, Станки,—видать, заросшие богунном и дедовником валы и ямы, растет по ямам дикий чеснок, торчит из земли древний сосновый сруб, и не раз, ковыряя колоды, находили мужики деньги, отмывала река в берегах горшки с серебром... А уж на памяти людей живых, на месте захудалой розановской усадьбы стоял над рекою на селе большой крепостной дом дворян Пенских, с высокими зарадужелыми окнами, с черным дремучим парком, с прудами и садом; помнят старые старики как сами ходили на пригон к барину, как вешали жницы на господских кудрявых березах люльки; помнят и самого барина, мухростого человечка («как гриб-сморчок был» — рассказывал о нем старичок Митечка, служивший у барина в казачках), — построил барин на селе новую белую церковь, ходил всякое утро бить поклоны на берег под великий дуб, и будто, спускаясь к мельнице на реку, четыре версты делали тогда мужики крюку, об'езжая тот черный косматый дуб, помнят барыню Пенчиху, много любившую повеселиться, — всякий год гостили у барыни музыканты-тальянцы, чумазые, как дьяволы, немало попортили девок и баб, и не даром под селом вся улица и теперь черная, как жуки, — много, много всяких кровей влилось в черную мужицкую кровь! Много с того времени уплыло воды; много свалилось и потлело на деревенском, что над рекою, зеленом кладбище деревянных тоненьких крестиков, еще больше сравнялось с землею бескрестных могил; давно перемешались в земле мужицкие и господские кости...

От старого осталась высокая белая на берегу церковь; затянуло у алтаря в ограде лопухом и крапивою белый обсыпавшийся склеп дворян Пенских; повалились каменные и чугунные на могилах кресты; доживает беспутный свой век, спит в старой бане, курит на мужиков самогонку последний из помещиков, одичавший дворянин Розанов Петька...

И далеким, отжитым кажется память о еленёвском мужичке Роде. Лет пятьдесят-сорок назад жил-был мужичок Родя, садилось у Роди всякий день за стол сорок едоков, лежало на столе сорок ложек, на сорок ломтей перед завтраком и обедом резла хлеб старший в семействе хозяин-брат. Полны, глубоки были у Роди амбары; кучерявы, веселы сыны-богатыри; веселы, круглы бабы-невестки, а дробные ребята, как за воротами конопля...

А уж всем хорошо памятно, когда стояла на большаке волость, сидел в волости, царевал писарь Егорыч, таскали огородом Егорычу мужики четвертя с водкой, как, ворочаясь со свадьбы, утонул под мельницей пьяный волостной старшина Фетисыч—набрались в старшинину длинную бороду раки. И помнят еленёвские мужики, как наезжало в волость начальство рядить и судить, расправлялся на мельничной плотине усатый урядник Нилыч. Помнят кабак на дороге, — всякое лето на ярмарку ревели, хватались у кабака за кольё мужики, быком ходил, крушил налево и направо бурмакинский страшный мужик

Рябой Николай, шумел, разжигал мужиков Сапунок. Помнят розановский сад и дом, молодого барина Розанова, — как спускал отцовское добришко, спаивали его, прибирали к рукам батюшка отец Василий и тихий мужичок Тихон, и будто тараканы на хлебную корку, обсели розановскую усадьбу соломенные мужицкие крыши. Помнят хлудовскую лесную контору, управляющего Карлу, — как наезжал на охоту, гостил сам богач и купец Хлудов.

К о н т о р а

Контору в лесу поставил еще отец Хлудова. При отце выкопали мужики пруд, напустили в пруд карасей и лещей, поставили высокий с балконом и светлыми окнам сосновый сруб. При Дмитриии Яковлевиче в конторе жил немец-лесничий Карла. Немец поставил при конторе лесопилку, порядки в лесу завел строгие. При нем всякую зиму возили мужики на лесопилку лес, и с каждым годом росла под конторой гора желтых опилок. Немец с презрением глядел на елѐневских кудластых мужиков, с ворами расправлялся самолично. И может, потому, что был немец чужой и непонятный, ненавидели и боялись его мужики, как лютого зверя. Раз, после пятого дымного года захватили в лесу мужики Карлу, и уж кое-кое-как ушел от топоров, отстрелялся из ружья от мужиков немец. То лето прислали в контору из губернии для охраны лесов черкесов. Жили черкесы в конторе, жарили на кинжалах баранов, пели дикие свои песни. И, как черных дьяволѐв, боялись черкесов бабы и мужики. А и впрямь похожи они были на чертей, когда раз'езжали по просекам в черным мохнатых, стоявших колом, бурках, с кинжалами поперек перетянутых животов, и, глядя, бывало, на них, на их черные крючконосые заросшие синей щетиной лица, торопились старухи креститься, а молодухи, как при татарах, прятались по загуменьям...

Еще в те времена чаще стал наезжать Хлудов в Елень — последнее его и незаложенное имение. Должно быть, была мила молодому Хлудову Елень своею тишиной, непроницаемой дикостью лесных тихих речек, где, как деготь, черна и густа вода. И останавливался он последние годы не в просторной своей конторе у управляющего-немца (презирал немец и самого Хлудова за нераспорядительность и русскую халатность), — а ближе к охоте, в новой сторожке у лесника Фрола, жившего в лесу с семьей.

Лесник Фрол был на год моложе хозяина, но и сравнивать их было невозможно, настолько казался Фрол моложе и легче носила его земля. Был он невысок ростом, легок, холщевая серая рубаха ладно лежала на его покатых нешироких плечах, ладно сидел на нем серый, туго подпоясанный домотканый пиджак. Ходить он мог неутомимо, не меняя легкого шага, почти безотдышно. Лес знал зверино, видеть и слышать мог замечательно: за полдесятины примечали глаза его сгорнившегося в еловой чаще рябчика, за два квартала слышал он играющего глухаря. Громоздским и тяжелым, каким-то на земле лишним казался с ним рядом широкий и черный Хлудов.

Характером был Фрол молчалив, сдержан, казалось, суров. Было в нем что-то, отличавшее его от других мужиков. Даже внешне отличался от других Фрол необычайной опрятностью своей одежи, чистотой новой сторожки, еще светившей стругаными белыми стенами со слезинками выступавшей смолы, с широкою чистою печью и новым покрытым суровою скатертью липовым столом, с высокой, пристроенной у стены постелью, с особым запахом опрятного человеческого жилья — смешанным запахом дыма и хлеба, сосновых стен и чего-то такого, чем пахнет здоровый, ничем не вреждённый человек (О чистоте их житья недобро говорили на деревне завидовавшие Марье бабы: «Пожди, пожди, обсыпишься детьми, как мы, позабудешь наводить чистоту, это тебе не на господском готовеньком!..»). А еще больше привлекала Хлудова счастливая, по-первобытному простая и ясная, такая не похожая на его личную, семейная жизнь Фрола. Он с удовольствием, сам того не замечая, не раздеваясь и не скидывая патронташей,—огромный и черный,—часами просиживал в сторожке, поглядывая на копающуюся у печи, мотающую подолом, уже привыкшую к хозяйским наездам молодуху, на маленькие ее крепкие ноги, на ее руки, которыми она брала из дежи тесто, клала на высланную кленовым лиством лопату и, ополоснувши пальцы, быстро и сильно, размахивая подолом, начинала вымазывать ковригу. Хлудов смотрел на ее локти, на открытое запотевшее лицо, смотрел в ее оборачивавшиеся на него сиявшие жизнью глаза, из которых лилось, волнуя тоской о неиспытанном, человеческое полное счастье... С удовольствием оставался Хлудов ночевать весною в болоте, на глухариных токах, куда водил его Фрол; Фрол разводил огонь и натаскивал к огню суши, набрасывал лапок на сырой мох, под которым еще чувствовалась твердая промерзшая земля, и так целую ночь — хозяин и лесник — лежали они у жарко трещавшего огня, смотря на погасавшие в дыму искры, слушая, как за Бездоном гудит отколовшийся волк, как глухо шумят на плотях на реке голося.

По приказу хозяина зиму и лето Фрол следил за стадом лосей, ежегодно зимовавших в еленёвских густых лесах. Летом лоси кочевали, топча и сбивая молодой липник-подсед, зимами забирались в густой черный хмызник, жевали побеги. Фрол знал точно, где останавливаются на зимовье лоси, где и когда проходят на водопой. Не раз, подкравшись, он видел в лесу их бурые спины, поднимавшиеся над кустарником рога, случалось, подолгу наблюдал, как паслись они на лесных закрайках, как играли телята и часовым стоял, стерег стадо высокий и бурый рогаль. По приказанию Хлудова, всякое лето косил он и заготавливал в лесу для лосей сено, вёснами, когда шли по реке плоты и прилетала на Елень пролетная птица, ходил проверять следы.

И всякую вёсну толпились у хлудовской лесной конторы, горланили на реке, спорили с немцем Карлой, плотили лес и дрова еленёвские и осовенские мужики,—поднимала река и несла плоты.

П л о т ы

Плоты шли весной, когда широко, будто море, затопляя кусты и привольные заливные луга, разливалась тихая речка Елень. Плоты шли гужом, длинными плёнками, с белыми стругаными веслами на голове и хвосту. На плотках желтели соломенные крыши шалашей, и синими паутинками вились дымки горевших под чугунками с грешневой кашей огней. Река шла кружась, по-весеннему мутная, неся белые с желтизной охлопья пены, сор, вырванные деревья, а случалось—целые крыши смытых половодьем построек. Над рекою летали, свистя крыльями, садились на темную воду и опять поднимались дикие утки; кликали, кружась в пустом и глубоком весеннем небе, журавли: «чьи вы? чьи вы?»; кричали и падали над плотами долгокрылые чибисы.

Сгонщики на плотках жили особою, водяною, привычною жизнью. Плоты шли днем по сизой, извивно лежавшей, широко разливавшейся реке и встречу плыли по-весеннему изжелта-темные пологие берега с отражавшимися в разливе белыми церковушками, чернели мокрые крыши, и над ними по утрам розовыми столбами поднимались дымки. На берегах, уточками, нагнувшись и поматывая подолами, били вальками бабы. Плотогоны кричали им с реки соленые занозистые словечки, и бабы, поднявшись, упирая в бока зазябшие руки, отвечали им еще занозистее и солонее.

А древнее, вековечное было во всем этом: в том, как шли-плыли по сизой реке плоты, как всякий день вставало над рекой и опускалось тихое солнце, в человечьих перекликавшихся над рекою голосах, в свисте крыльев бесчисленных пролетающих над весенней землею птичьих стай. Когда-то, во времена незапамятные, лежал по реке великий путь, соединявший два далеких мира, и на ладьях шли по реке люди, насыпали на берегах высокие городища и курганы (и теперь стоят эти городища и курганы безыменными памятниками далекого прошлого, когда широка и многоводна была речка Елень, просторны и темны леса), строили города и поселки, воевали, спорили, побеждали, гибли и зарастали травой, и все так же над курганами и зелеными городищами вставало и падало, золотом отражаясь в реке, солнце. И, должно быть, от тех незапамятных никому времен сохранили ельчане привязанность к реке большую, чем к худо кормившей земле: сухой, неродимой, засыпанной кремением, заросшей непроходимыми болотами и лесами.

Были на реке места, где много требовалось сноровки и глаза, чтобы благополучно, не сделав за грома, провести плоты. В таких местах день и ночь дежурили на берегу в прежние времена хозяйские приказчики-м а т ю ш н и к и (кликали их м а т ю ш н и к а м и за то, что ходили они с аршинами в карманах, и главная обязанность их состояла покрепче обкладывать матом, подгонять сгонщиков-мужиков), а на берегу стоял ушат с водкой. А бывало на крутом повороте, на быстром перекате станет головной плот дыбом,—на него другой,

третий и пойдет рушить, крутить. Называлось такое загром, и гудела в такие часы река от кромешного несусветного мата: с берега, подбадривая закаляневших от ледяной воды мужиков, орали приказчики-матюшники, с плотов отвечали в три яруса мужики. Вот тут-то и пригождалась хозяйская запасенная водочка: выпив по ковшику, закусив хлебом-сольцей, лезли мужики, очертя темную голову, в ледяную воду выручать хозяйские тысячи. А бывало не раз: затирало в загромах, уносила река живых людей.

Так по реке, вместе с бородатыми «водохлёбами»-мужиками, с кашными закопченными чугунками, с кромешным всея Руси матом наплывали, капля по капле, купеческие миллионы. А бывало на разливе, под городом, встречая благополучно приплывший лес, с крутого берега орал на реку в сложенные ладони на плоты радовавшийся удаче купец:

— Лес-от че-ей?!.

— Архаровска-а-а... — доносилось с плотов тонко.

— Че-ей лес? — повторял, будто не дослышав, купец.

— Архаро-вска-а-ай!.. — докатывалось громче и отчетливее с плотов.

И, поворотив круглое брюхо, затянутое в жилетку, перепоясанное часовой цепочкой, поскребывая в бороде, тихо говаривал купец Архаров слушавшим его присным:

— Мой, ребяташки, лесок-от идет...

Теперь странно слушать рассказы живых людей о тех — не так уж и отдаленных—временах, когда гремела на реке громкая купеческая слава, гулял-царевал над еленёвскими кудлатыми мужиками хлудовский приказчик, правая хозяйская рука, десятипудовый Крючин...

Живы людишки, ходившие с купеческим лесом и дровами не одну весну. Живы людишки, но каким дальним — как эти курганы и городища — кажется прежняя жизнь... Странно слушать, что сорок-пятьдесят лет назад зарабатывал человек на лесной рубке и возке, работая от темна до темна, десять-пятнадцать целковых за всю долгую зиму, что за подвозку бревен на пристань платили с лошадьёю человеку на своем хлебе-овсе по четвертаку в день, что за плотку и сгон, за доставку прутья, за полтора месяца труднейшей работы, нередко по шею в ледяной весенней воде, получали мужики по семи целковых на рыло, да по полфунту табаку полукрупки...

Серые идолы

Должно быть, в те времена и окликали еленёвских мужиков-сгонщиков в городе, куда приходили плоты, в насмешку «серыми идолами» и кое-чем посолонее... Весною, когда приплывали плоты, наполняли они город серой беспорядочной кудластой толпой; в ожидании расчёта бродили по улицам, всегда серединою, не понимая городских панелей,

задирая на верхние этажи кудластые головы, рассматривая (впрочем, без особого удивления и почета) проезжавшее в колясках начальство, «чагокая» и «кагокая» так громко и безбоязненно, точно были не в городе, у губернаторского белого дома с полосатыми будками, а на реке, на плотках; серой угрюмой гурьбою стояли под окнами губернской гимназии, и гимназисты, смеясь, кидали им из окон клочки ненужной бумаги на цыгарки. И такой же беспорядочной, упорной, топтавшей все, что попадало под ноги, всех расталкивавшей толпой бродили они по базару, выводя из последнего терпения торговцев, — подолгу и кропотливо, перекидываясь замечаниями, копались в разложенных товарах, звонили о лотки косами, пробовали на зуб подошвы, лизали и дули на каменные косные бруски. Разгневанные торговцы кричали им вслед:

— Черти, серые идола, водохлёбы...

Но и на ругань не обращали они ни малейшего внимания.

Так продолжали они заполнять город, сердить торговцев, пока, наконец, получивши расчет по семи целковых на душу и зашив деньги в шапки, закинув лапти за плечи, с гостинцами — по фунтику сахарку, по красненькому платочку в кошелях — отправлялись пешком на Елень, — триста верст откалывать голыми пятками...

Рассказывать о тех временах почти нечего: худое забылось, и доброе затерялось, и все стало очень похоже на сказку. Коротка у русского человека память: помнят старики, как гуляли в те времена в городе купцы, как шумел после сплава, на дыбки становился от их гулянья весь город. Помнят своего же еленёвского мужичка-богатыря Оську, — будто жил-был Оська, ростом мал и копыляст, а сила в нем была медведячья. И вся сила была в Оськином брюхе. Будто мог он, подпоясавшись натуго и надувшись, рвать на своем брюхе новые пенковые вожжи. И будто за самое это уменье таскали его купцы после сплава по отдельным кабинетам, напаявали коньяком, чтобы похвастать, какова, мол, сила у «серого идола», а будто там он и надорвался, стараясь перед купцами: лопнула от натуги в животе главная жила, и оттого помер Оська на месте...

Сказочным кажется теперь самый Крючин. Запомнили о нем, что был непомерно толст, в три обхвата, с'едал за присест окорок, водку глушил четвертями, что ездил по пристаням на беговых дрожках, на яблочистом сером жеребце, и дрожки для него были особые, по заказу, а делал дрожки жулевский кузнец Максим, большой этого дела мастер. Запомнили, что был Крючин из своего же брата, из серых посконных мужиков, что такие-то, из «своих» — из грязи князи — всегда бывают лишее... Что и не было у Крючина для мужиков слова иного: «змеи» да «дьяволы» и, приезжая на пристань, поставив жеребчика и сплосши с дрожек, имел он обыкновение, здороваясь с мужиками, плотившими на берегу лес, в ответ на их приветствия и поклоны поворачиваться к ним широким своим задом и, приседая во все стороны, отвечать:

— Здравствуйте, дьяволы! Здравствуйте, черти мазаные! Здравствуйте, серые идолаы!..

Бывало, поймавши за рукав робевшего приказчика из молодых, указывая толстым перстом на стоявшего перед ним мужика без шапки, просившего Христа ради деньжонок за давно отработанное, тыча в худую мужичью бороденку, говаривал Крючин едким, тонким, никак не идущим к огромному его росту и толщине скрипучим голоском:

— Гляди, гляди, у него глаза змеинные, глаза змеинные!.. Ты думаешь, ему деньги нужны? Они, дьяволы, трухой питаются, как мыши, их, чертей, ежели хлебом кормить, — все передохнут, как тараканы от французского порошку... Что надо, змея полосатая? — обращался он к понуро стоявшему, теребившему в руках лохматую шапку мужику.—Денег? Я денег не кую. Да ты стой, стой, стой,—тебе Корешком кличут, прутьё где? Ты мне за прошедшее не отработал. Нет, брат, нету тебе денег, потерпишь! Год терпел, еще потерпишь, не сдохнешь!..

— Сделай божецкую милость, Кузьма Игнатьич... — безнадежно настаивал мужик, вертя шапку, с испугом и ненавистью разглядывая огромный, напивший на него живот Крючина.

— Цел, цел будешь...

И, проведив мужика, отходившего по берегу своей жалкой приседающей походкой, с гадливым презрением глядя ему вслед, — будто и в самом деле уползала змея, — бывало учил Крючин молодого приказчика уму-разуму:

— Первым делом им, серым чертям, не верь на ломаный грош. Она, как змея (из особого призрения он кликал мужиков в женском роде — она). Говорит тебе: «жрать хочу» — брешет. Говорит: «ой, батюшки, помираю!» — врет, подлец. Она — жиловатая, терпеть любит, полгода на лебеде проживет. Мужик с порожним брюхом на работу злее...

И, тяжело взбираясь на дрожки, разбирая толстыми пальцами синие, привязанные к козырьку вожжи, усаживаясь, продолжал Крючин наставлять неопытного своего подручного:

— Дело делом, службу служи, а свой карман помнить надо. У хозяина миллионы, — у нас мелкие рублики. Хозяин на нас, как земля на китах... У меня вот загром на реке. Приезжаю так-то, жеребчика бросил, сам бегу. Гляжу: светопереставление!.. А они, дьяволы, на берегу стоят, сопли распутивши, под ними хоть земля трясись. Вижу, наковыряет на большие тысячи. «Что вы, раз'этакие такие, сукины сыны, подошли?..» Выискался один ходовой, с бороденкой: «Полезай, говорит, сам, а мы нипочем не полезем, хоть все плоты переверни!..» — «Как не полезете?..» — «А так, говорит, так...» — «Эге,—сам себе, -- сокол, а быть тебе мелкою пташкою, видывали и таких!..» — «Так и так, говорю, братцы, выручайте, все вам будет, айда за мною...»

Хлебагнули мужички по целому ковщигу на пустое брюхо, и пошла писать губерния. Без погонялки сами в воду полезли. Дал я на рыло по двугривенному, а в книгу пишу: случился, мол, превеликий загром, двести поденщиков по целковому... Хозяин вытерпит, и тысячи целы. Так-то вот, это я к тому,—договаривал он, трогая жеребчика и отъезжая по мокрому, засыпанному корьём полю, — со мною жить — из одного ручья воду пить. Не сумеешь — перушко в зад!

К р ю ч и н

А помнят и до наших дней, как стряслась было над Крючиным большая беда, как чуть не отправили его еленёвские тихие мужички на тот свет.

Рассказывают об этом старики так:

Случился на реке как-то большой загром. Погода — не доведи бог: рвет, мечет, над рекой беляки бегают. Причалил один мужичок к берегу, соскочил в воду по пояс, канат ухватил, чтобы причалить, закрепить к берегу плот. А вода прёт по-весеннему. Увидал тот мужичок на берегу деревцо, худую олешеньку, конец округ дерева обмотал, ногами уперся, положил конец на плечо... Олешенка — хрясь! Канат потянуло, а у того мужичка, как держал конец, от плеча до пальцев, как ножом срезало — содрало с руки мясо. Кровь льет, присел он, опустил руку в воду — вода в реке стала красная...

Самое это время и налетел Крючин. Жеребенка бросил, бежит, трясет брюхом — орет на всю реку: «Туды вашу, растуды, — такие, сьякие, намазанные!..».

Наскочил на мужичка.

Поднялся мужик — из руки кровь ручьем льет, лицо белей мелу, на руке кость видна. Поднялся и за топоренок.

Горой на него Крючин.

А мужик ближе, в здоровой руке топоренок:

— Бочка ты сорокаведерная, попила ты нашей кровушки, и когда ты, бочка, лопнешь!..

Задом, задом от него Крючин. Задом, задом, да на дрожки, да и был таков.

А кругом мужики стоят, глаза у мужиков волчьи...

Теперь это, как старинная сказка. Давным давно нет Крючина и его подручных матюшников со складными аршинами в глубоких карманах, и ни единая не укажет душа, где, в каких краях гниет в земле неумное его чрево, на которое особо отпускал старый Хлудов сумму, чтобы воровал меньше... Нет—быльем поросло—еленёвского богатыря Оськи, живот свой положившего на потеху купцам. Нет старого Хлудова и больших его дел, и давно уж свели, просветлили людешки непроходимые еленёвские леса, где запросто встречали бабы медведя.

На чужом добром

Отца Фрола — кликали его на деревне за маленький рост и торопливость Окуньком — убило в лесу деревом. Флор был тогда семилетним сопляком-мальчишкой, и смерть отца осталась ему, как давнишний и страшный сон. Запомнил Фрол падавший тихо снег, черную, с обчищенным комлем, лежавшую в глубоком снегу макушу, всю в лиловых шишках (он был с отцом и старшим братом в лесу, с лошадьё), таявшие на провислой спине меринка, ложившиеся на седелку, медленно крутившиеся на воздухе снежинки. Балуюсь, он срывал с макуши налитые смолой тяжелые шишки, пулял ими в пустую белочью гаюшку, застрявшую промеж двух сестер-елок. В лесу было разорено и неприятно, как всегда после рубки: валялось сучьё и макуши, торчали из раз'езженного снега пни и, как богатыри после побоища, лежали под снегом черные опиленные бревна. Было слышно как в лесу — там и там — стучат топоры, как ухают, падая, подрубленные деревья, как загомонили, зашумели вдруг в одной стороне мужики.

Длинный мужик в подпоясанной короткой шубейке и армяке ходко сигал через пни и сучьё. На мужике была косматая шапка, под шапкой краснела рыжая борода, и по борзде Фрол признал дядьку Архипа. Архип подбежал близко и, не останавливаясь, пересигнув через лежавшее на снегу бревно, на ходу крикнул:

— Тятку твоего притиснуло! Бяги скорей...

Чувствуя, как закатилось сердце и захватило дух, точно подброшенный, себя не помня и падая, спотыкаясь намерзшими лаптями о запорошенные сучья и пни, побежал Фрол туда, откуда появился дядька Архип и всё еще гудели тревожные голоса.

Отца он увидел на снегу за деревьями. Округ стояли мужики без шапок, с топорами за поясами. Отец лежал навзничь, откинув голову, и судорожно, хрипло набирая грудью воздух, дышал. Тут же оседало на снегу и шевелило густыми темно-зелеными сучьями большое поваленное дерево. Лицо у отца было синее и чужое. На его лицо, на шубейку, на поднятую коленку в суконной поргочине, на оседавшее шевелившееся дерево и открытые головы мужиков медленно узорными звездочками садился снег. Открытые глаза отца смотрели чудно, — пусто над лесом и над людьми, в мутно-молочное, низко нависшее небо, в котором всё рождался и сыпал пушистый и белый снег.

Фрол подбежал, остановился, переводя дух и расталкивая мужиков. Белобородый, востроглазый, обсыпанный снегом мужик в замерзших скрюченных рукавицах сказал ему строго:

— Шапку скинь, вишь, батька отходит.

Фрол снял шапку с торчавших на затылке волос и стал смотреть. Отцовская рука в овчинном продранном рукаве медленно сгибалась и дрожала. Струйка черной крови сползала изо рта под редкую бороду. Окунек вздрагивал, сисясь оторвать от груди руку, тужился и хрипел.

Фрол видел, как судорожно и беспомощно задвигались, царапая полушубок, толстые пальцы, как он, наконец, оторвал руку и поднял грудь — страшно, блеснув белками, закатились под лоб глаза его — и погаснул. Остановившиеся глаза смотрели в небо: снежинки, кружась, садились и уж не таяли, — на лицо, на редкую бороду, на открытые синие губы, на смотревшие в мутное небо остекляневшие глаза. И показалось Фролу, что лежавший на снегу непохожий на отца человечек в разодранной шубейке стал еще меньше.

— Кончился! — сказал тот востроглазый белый мужик, что заставлял Фрола скинуть шапку.

— На чужом добром, — сказал другой, длинный, в лаптях и черных суконных онучах.

— Отдерут подковки...

Фрол стоял молча, не понимая, ничего не чувствуя к лежавшему на снегу неподвижному человеку. Понял он, когда прибежал из леса его старший брат Федор и, запыхавшись, с открытой мокрой головою, с поднятыми плечами остановился над отцом. Посмотревши на брата, заплакал вдруг громко и жалобно, по-заячьему, Фрол.

Потом, ооченевший и маленький, засыпанный пушистым снегом, отец лежал на узких дровнях, на еловых, пахнущих смолою вешках. Брат шел обочь, придерживая на раскатах дровни; Фрол сидел в ногах покойника, скорчившись и дрожа. Чалый, почерневший от таявшего снега меринок шел привычно, опустив костлявую голову и распустив уши. Все гуще, все белее валил из низко насунувшегося неба снег.

На росстанях, под деревнею, их встретила мать. Она бежала навстречу под падавшим снегом, странно кидаясь из стороны в сторону, как черная на ветру птица. Подбежав к дровням, она схлестнула над головой руки и повалилась на покойника, закрывая его собою, цепляясь скрюченными пальцами, и заголосила. Брат стоял молча, держа вожжи; понуро, насторожив ухо, остановился и опустил голову меринок. Видя, как воеет и убивается мать, опять по-заячьему заплакал и закричал маленький Фрол.

Потом шло так, как шло и повторялось несчетные миллионы раз. Покойника обмыли и положили под образа на лавку, накрыли чистой холстиной. И по обычаю выла и причитала мать, — уговаривали мать, толпились в избе деревенские любопытные бабы.

Могилу отцу рыл брат. За эти дни он изменился, точно состарился, возмужал, молчал упорно и о чем-то думал. Похоронили отца на своем деревенском кладбище, над замерзшей рекою под старыми соснами, где спокон веку лежали деда, — вся топтавшая когда-то землю, терпевшая нужду, ходившая с плотами Елень. И крест над могилой поставили наскоро, кое-как сбитый, точно для того, чтобы поскорее затерялся на земле последний Окуньков след.

И как много миллионов раз, своим неизбежным кругом пошла в бедовом Окуньковом дворе сиротская и вдовья жизнь.

Хозяином во дворе остался семнадцатилетний Федор. Он стал еще молчаливее, по-отцовски подсох, из подражания мужикам начал ходить в развалку, покончил играть с ребятами в бабки, завел сшитый из цветных лоскутков кисет. И на сходку, где решались мужицкие мирские дела, стал ходить, как взрослый, замещая отца; как взрослый сидел и слушал, сплевывал и слюнил верченки. Мать сжалась, примолкла, теснее слиплись и суше стали ее тонкие губы, запали глубже, тревожнее глядели ее глаза. Всех во дворе оставалось четверо: мать, Федор, Фрол и маленький брат Степка, ползавший под лавками на голом заду.

По вековечному нерушимому кругу шла жизнь деревни. Круг этот установило, кажется, само солнце. День — ночью, лето — зимою, жизнь сменялась смертью. А не было такой судьбы, такого несчастья-горя, чтобы выпало из этого круга. Горе и удача, сиротство и сытость, здоровье и болезнь — всё накрепко было заключено в нерушимый круг, все давно пережито, обдуманно, запечатлено. По нерушимому кругу шла и сама деревенская каждодневная жизнь: весной и осенью поднимали землю (по обычаю, собираясь на пахоту в поле, одевались женщины как на самый веселый праздник); летом блестели на лугах косы, гнулись на нивах жницы; гудели зимами за окнами прялки, ездили мужики в лес; гуляли свадьбы, с'езжались на ярмарки, весной и летом водили хороводы, играли песни девки и бабы. Менялись времена и порядки, навсегда забывались старинные прежние песни, давно побросали мужики деревянные сохи, — а все так же вставало и садилось, грело землю и человека, ходило по вековечному кругу своему солнцу.

А в д е й

Люди им не помогли, а без людей пришлось бы погибнуть неминуче. И тою же зимой, постом, когда под'ели последний хлеб, впервые пошел с матерью Фрол по миру. Мать пошла из суровой холстины длинные сумки и, надевши их, поплакав, попрощавшись с Федором, остававшимся во дворе за хозяина, поручив соседям несмысля Степку, крестясь, неторопливо вышли они за деревню на потемневшую, убегающую по снегам дорогу. День, когда они вышли, был первый предвесенний: яркое светило над ними солнце, глазам было больно от нестерпимо блестящих снегов, прозрачное высокое небо широко покрывало блистающий белизной и светом просторный мир. Мать, согнувшаяся еще круче, с закутанной в платок головою, шла тихо, забегая вперед, глядя на снега, на обтопанные собаками перезимовавшие вешки, все оглядывался на нее, на ее круглую голову, на большие переступавшие по снегу лапти маленький Фрол. А на всю жизнь запомнил он, как первый раз брались они за холодную скобку чужой двери, за которою шумели чужие веселые голоса. Как вошли в полную людьми избу и на минуту примолкли люди, разглядывая

вошедших, а нарядная молодуха, продолжая смеяться, неторопливо поднявшись и отодвинув прялку, раскачивая висевшие в ушах пуховки, подошла к столу и, приложив к мягкой груди хлеб, ловко ворочая ковригой, отрезала большой ломоть и подала матери. Как, сморгая зазябшим носом, непохожая на себя, худую трясущейся рукою неловко приняла и опустила мать этот первый ломоть в сумку, как вышли они из избы, благодаря и крестясь, оставив за собою чужое довольство и смех...

Потом стало обычно. Они просто заходили в чужие избы, останавливались, крестясь, у порога, а им подавали молча, как подавали всем, кого водила по чужим порогам нужда, как подавали когда-то и они сами. Случалось, их сажали с собою, и они садились за чужой стол просто, как за свой. Мать просто рассказывала о своем горе, и, ее слушая, вздыхали и покачивали головами бабы. Так ходили они до весны, пока держали дороги, пока стояла река.

Летом Фрол пошел в подпаски к деревенскому пастуху Авдею. Все лето ходил он за деревенским стадом, волоча за собою длинный кнут, из всех сил крича на отбивавшихся от стада коров. Наставник его Авдей был лохмат, легок и худ, неизменно весел и хрипуч. Всякий день поднимались они до солнца, когда еще стлался над рекою туман и сивая от росы дымилась в лугах трава; по-утреннему звонко кричали и хлопали крыльями петухи, хрипели из тумана коростели-дергачи: «тпрусь-тпрусь! тпрусь-тпрусь!..» Заспанные бабы скрипели воротами, с хворостинами в руках, с деревянными подойниками, в подоткнутых паневах перебегали через дорогу. И всякое утро видели, как играет-встает над туманящейся землей солнце, как просыпается, идет в лугах и лесу зеленая звонкая жизнь. И до последнего кустика знал он лес и луга, знал норы каждой скотины в стаде. И опять, ходя по ряду, всякий день садились они к чужому столу, спали под чужой, будто под своей, крышей, всякий день, по заведенному давнишнему обычаю, надевали в поле мирскую одежду. Пастух — спокон веку мирской на деревне человек, и, ходя в пастухах, сам о том не помышляя, со всею силою чувствовал над собою Фрол власть и родство широкого человеческого круга — мира. Раз пять в лето, на большие праздники — в Егорье, Никольщину, Петровки, Заговеты и Успенье — деревня делала пастухам вынос. Мать ходила по избам с мешком, собирала за сына сало и хлеб; в эти дни загуливал и шумел по деревне Авдей, — плясал, весело вскидывая лохматую седеющую голову, вывертывал лаптями и выкрикивал свое словечко:

— Живой я, братцы, уродился!

— А ну, повесели народ! — говорили Авдею смеявшиеся над ним ребята и девки. И, шлепая лаптями, тряся портками, вприсядку пускался на девок Авдей. В такие дни до поздней ночи слышен был на улице Авдеев хрипучий голос:

— И-эх, нищий гуляет, — господь радуется!..

От Авдея перенял Фрол умение трубить в длинную берестяную трубу, кричать на коров, плесть лапти. А было в нем и свое: был он молчаливее, как-то прочнее и строже, со строгой внимательностью глядели на людей его карие блестящие глаза. Не было в нем Авдеевой беспечной легкости и веселья, открытой веселости Авдеевых детских глаз, не было легких Авдеевых словечек.

Жизнь Фрола

Так же, как и Хлудов, многие качества свои унаследовал Фрол от матери. Ко времени женитьбы Фрола это была еще сильная маленькая, черная от работы и загара женщина. Трех сыновей выходила она сама. Сама же, по первым годам, несла всю мужицкую работу: работала в поле, ездила с топором и пилою в лес, на ряду с мужиками возила на пристаня бревна и—будь силы больше—пошла бы на плотках вниз, как всякую весну ходил Окунек. После смерти мужа она подсохла, глубже провалились ее глаза и точно ушел, скрылся внутри их прежний жизненный блеск. Головной платок, покрывавший ее бабьи роги, стала она опускать на глаза ниже; тоньше и уже стала, ссутулилась ее спина; вместе с блеском глаз ушло, скрылось внутри женское, молодое, что еще оставалось в ней. Реже стала она смеяться, а все так же—еще быстрее—двигались ее сухие тонкие руки, быстрее ступали ноги, суше и грубее стал голос. И редко, редко, в легкую минуту, возвращалось к ней прежнее и тогда прежнюю силою жизни светились глаза ее, свежел и изменялся голос, несчетное количество вспоминала она песен... По деревенскому свычаю, ей почти никто не помог: деревня сурово глядит на свалившееся над ближним несчастье и, зная это, приняла она свое покорно, наперед чуя, сколько доведется хлебнуть горя и, может, потому так по первому разу горьки были ее слезы, так истошно она причитала. Но и в самые тяжкие дни не теряла она головы, а еще в то время, когда Окунек—маленький, легкий, с далеким и чужим лицом—лежал под богами, скотина была накормлена-напоена (тут помогли и соседи), накормлен был и ползавший под мертвым отцом пачкун Степка.

Когда женился старший брат Федор,—Фрол еще ходил в подпасаках. Женившись, Федор еще теснее замкнулся, учернел, стал еще упорнее смотреть в землю. Веснами ходил Федор на плотках, приносил из города жене подарки, потом поступил в лесники к Хлудову, надел знак и ружье, упорнее стал глядеть в землю под ноги. Хозяином во двору остался Фрол.

Женила его мать на Марье из соседней деревни. Мать сама ездила сватать, сама сговаривалась о приданом и, как полагается, свадьба была честь честью. В день свадьбы, после венца, молодые рядком сидели за длинным столом—раз в жизни князь и княгиня,—их обыгрывали, шально блестя глазами, скинув платки с запотевших лбов, веселые бабы. Мать, в новых вязовых лаптях, в беленых онучах,

раздомила над их головами ковригу и, по обычаю, молодая, сидевшая за столом с опущенным на лицо платком, зубами выдернула торчавшую в хлебной корке серебряную денежку. Широкобородый сват-крёсный, пригубив из чашки и вытирая бороду, морщась хитро, первый сказал молодым:

— Хороша бражка, да горьковата!..

И первый раз, привстав, неловко поцеловались за столом молодые князь и княгиня...

А в скорости забрили Фрола в солдаты. На призыв он ходил в город с ребятами, с гармоньей. В городе ребята шумели, играли песни, слонялись по улицам, притворяясь хмельными и веселыми, отпускали занозистые словечки. Прощаясь с женою и матерью, плакал Фрол по-ребячьи и по-ребячьи катились по безу́сому лицу его слезы. Провожая его, Марья в первый раз обняла его с такой, еще неизвестной ему, лаской, что помутилась у него от тоски и любви к ней голова и долго потом сидел он, не понимая, не видя окружавших его, кричавших и смеявшихся людей, не слыша, как стучит, погромыхивает на стрелках, трясется набитый новобранцами товарный вагон.

С л у ж б а

Служить службу довелось Фролу в большом, чистом, белом приморском городе, залитом солнцем и обдутом морскими ветрами. Удивительным, после деревни, показывалось синее море, блеск южного солнца, дымившие сизые корабли, мертвая неподвижность листвы на незнакомых деревьях.

И, как полагается, через месяц-другой пригляделся, обтерся, стал Фрол своим, солдатом, ладно носил форменную с погонами белую рубаху, лихо надвигал на ухо бескозырку, лихо отбивал на ученье шаг и с непоколебимым терпеньем нес свое солдатское горенужду, переносил издевательства взводного, требовавшего гостинцев.

Раз, два раза в год приходили письма из деревни (жена бегала в волость, где за пятак письма ей писал волостной писарь Егорыч, короткопалый, протухший табаком и сивухою человек). Письма были длинные, написанные писарски, с хвостами и росчерками, со множеством поклонов и пожеланий, с кратким сообщением о главном в конце. Так из первого, полученного на святках, письма, из самого конца его узнал Фрол, что родился у него и вскорости погас первенький его сын Павел. В другом письме, год спустя, кратко сообщалось, что старший брат Федор задумал отделяться и требует долю, что, дожидаясь, давно она выплакала глазыньки и — «будь востры крылушки слетала бы сама повидать милого хоть малый разочек...» По тому, что было сказано в этом письме, а еще больше по тому, чего в письме сказано не было и о чем нужно было догадываться, понял Фрол, что дома не все ладно, что нужно ехать самому налаживать пошатнувшееся счастье...

А так и не довелось ему тот год побывать дома. Началась война, и Фрол остался в казармах дожидаться отправки в далекую и чужую Манчжурию.

Полк их погнали нескоро. А когда погнали, кругом уже шло неладом. Их долго трясли в телячьих вагонах по Сибири, томили на захолустных таежных станциях и полустанках, где низко стояло над тайгой сизое от мороза солнце и глазели на них сибирские мужики в собачьих тулупах. Война была далеко, знали о ней мало, а что знали — казалось солдатам чудным, почти сказочным; сказочными казались и самые японцы, на которых их гнали; всё мутнее и тревожнее ходили о войне слухи. Так и не довелось Фролу видеть войну: скоро побежал слух о мире русского царя с царем японским, о продавшихся министрах и генералах, о злой англичанке, замутившей дело и порешившей сгубить Россию, о поджигателях-бунтовщиках, о каких-то страшных бунтах и смуте. Их полк воротили с дороги и отправили назад в белый город, в прежние стены, где уж во-всю бродил новый тревожный дух...

Летом воротился Фрол в деревню. То, что видел он в белом городе и Сибири, чего слышался дорогой в вагонах, докатилось и на Елень. Мутнее и непонятнее толковали мужики о министрах, об англичанке, о пойманных где-то студентах, о жидках, поджигавших Москву, о какой-то дальней деревне, где прикончили и сожгли мужики барина. Все громче шумел на сходках, размахивая длинными руками, неведомо что собирал Сапунок. И сами собой наладили мужики ездить в Хлудов и казенный лес, стали постукивать в лесу топоры. То лето прижали мужики в лесу управляющего Карлу, сгорел у помещика Розанова (тогда только начинавшего мотать отцовское наследство) сарай с клевером и черкесы забрали с деревни трех мужиков, заподозренных в поджоге и покушении на управляющего-немца: горластого и рыжего Сапунка, больше всех шумевшего по деревне, кучерявого гармониста и шахтера Кузьку, только воротившегося на деревню и форсившего синим своим картузом и лаковыми голенищами, и Халамея, — горького пьяницу, чудака, век свой не обидевшего мухи. Летом приезжал на Елень следователь, пил с Розановым водку, а, отъезжая, оставил бумажку: Сапунок, Кузьку и Халамея погнали в город, в тюрьму. Зиму просидели мужики в тюрьге и воротились заросшие бородами, — Сапунок еще более угрюмый и раздраженный, Кузька — без кудрей и без франтовской фуражки, Халамей — все такой же кудластый и непутевый. Ежели бы не затаенный в глазах мужиков недобрый взгляд, можно было думать, что ничего не переменилось, так быстро пошло всё по-старому: попрежнему шумел на деревне, горланил, размахивал ручищами и сплетал чепуху Сапунок, прежние отрастил кудри, укатил на шахты гармонист Кузька, а всё так же бродил по селу, валялся по канавам у волости чудака старик Халамей. После тюрьмы повадился Халамей пьяный ходить на розановскую усадьбу. Приходил он растерзанный, со страшно перекошен-

ным, заплывшим слезами и грязью лицом, лез к амбару, к цепным лохматым собакам, неведомо почему радостно кидавшимся ему на грудь, махавшим косматыми свалявшимися хвостами. С собаками беседовал он по-человечьи, жалился на лихую свою обиду, обливался слезами и, точно жалея его, стояли над ним, лизали лицо и руки, тихонько повизгивали, слушая его причитания, страшные розановские псы.

В о л о с т ь

Волость стояла на берегу реки, за розановской старой усадьбой. Был это невеселый, с облезлой вывеской над крыльцом, с тощей, обгрызенной под окном березой, крытый щепой, потемневший от непогоды и старости дом. И лето и зиму, в праздники и будни толклись у волости мужики, понуро стояли прикрытые армяками, сеном трусили мужицкие пузатые лошаденки.

В волости было мутно и грязно, на черных, блестевших от копоти стенах с незапятнанных времен висели пожелтевшие приклеенные хлебом приказы и объявления с оторванными на курево углами, стояли засаленные шкапы, в углу над окованным железом сундуком висела засиженная мухами, затянутая паутиной, закопченная до черноты икона уж неведомо какого святого. За деревянной, зацопанной до блеска решеткой, за прикрытым рваным сукном, залитым чернилами, исписанным витиеватыми росчерками волостным столом, подобравши под стул смазные сапоги, склонивши лохматую, на гусиной шее, головку, крутя над бумагой верчёнки, сидел, писал в книгах, начальственно разговаривал с мужиками волостной писарь Егорыч. Был Егорыч туг на ухо, по-рыбьи костляв, с особенным выражением презрения и всезнайства поглядывали на толпившихся у решетки, сморкавшихся на пол, чесавших в косматых затылках, хлопотавших о делах своих мужиков опухшие лисьи его глазки, на восседавшего рядом белобрысого, узкого по-бабьи в плечах, тупо моргавшего белёсыми веками, неумело державшего в толстых негнувшихся пальцах перо старшину Конюча.

Всею волостью неприметно правил писарь Егорыч. К нему ползли с заднего хода просители-мужички, несли подношение — сметанку и поросят, а он писал, отписывал, решал и делал. Раз в месяц собирался в волости волостной суд: за придвинутым к самой решетке, покрытым сукном столом сидели, распустив бороды и нацепив под бородами медали, старики-судьи; толклись у решетки, бранились и божились, клали кресты, руками размахивали спорившие бабы и мужики; допрашивал мужиков, чесал в бороде и быстро записывал в книгу, ехидные жмурил глазки Егорыч. А волокли опородами через тын судившиеся мужики в суд четвертя с водкой; позднюю ночью, тыкаясь бородами в грязь, на карачках, раками расползались из волости праведные судьи, и всю ночь было слышно, как разоряется в темной кутузке, грохочет в подпертую коликом дверь, кроет направо и налево,

собирает над волостным начальством всех чертей за буянство посаженный Сапунок...

Раз, два раза в лето наезжало из города большое начальство судить и рядить. В такие разы, мотая подолами, белеясь икрами, выбегая на двор с грязными шайками, начисто выскабливали бабы-поденщицы в волости полы, застилались полы свежей чистой соломой; расчесывал бороду, смачивал голову квасом, нацеплял медаль старшина. Начальство приезжало тройкой, с кучером, с колокольцом под дугою. Останавливалось начальство у Розанова, жило три дня, наслаждаясь деревенской природой, пило настоечку и кушало уху из ершей, всякое утро и вечер купалось для здоровья в заросшем травую и кувшинками розановском старом пруду. А бывало, скинувши шапки с густых путаных волос, почтительно дожидались на берегу ходоки-мужички, вытягивался с медалью на шее перед вылезавшим из воды голым начальством сам волостной старшина Коньч.

— Что скажете, землячки?—ласково спрашивало бывало начальство, вытираясь мохнатым полотенцем, поворачиваясь к мужикам господской своей, розовевшей от купанья, спиною. — Что, землячки, скажите?

— К вашей милости,— отвечали ходоки-мужички, косясь на сытый начальнический зад, на белое мохнатое полотенце. — К вашему благородию, — говорили мужички, — потому как есть мы безземельные и второй год ожидаем окончания нашего дела насчет земельного положения, потому есть мы нуждающие...

— Повремените, повремените, землячки, обсудим, — перебивало мужиков начальство, приятно фыркая и отдуваясь, натягивая на белые ляжки панталоны...

Позавтракав и отдышавшись, проходило начальство на экзамены в школу, где ожидал и готовился учитель Ананьич, волосатый и черный, как из лесу медведь (медведём и пахло от Ананьича), сидел в уголку о. Василий, веселый и круглый, в праздничной лиловой рясе, с большим ногтями на коричневых от табака быстрых пальцах. Начальство важно садилось за стол, и подходили к столу, поднимаясь с длинных изрезанных парт, ступали по вымытому полу лаптями ясноглазые вихрастые, пахнувшие хлебом и овчиною ребятишки, а начальство, косясь и сопя, спрашивало строго: когда начинался потоп? в какой день бог сотворил небо и землю? Окончив экзамены, распределив похвальные листы, вместе с о. Василием, частьеньке ступавшим под рясою быстрыми сапожками, возвращалось начальство в розановский старый дом отдохнуть, выпить под закуску зубровочки, перекинуться вечером в преферансик...

Веселая ярмарка

А бывали на селе веселые праздники. Два раза в год — на Вознесенье и в Кирики — съезжалась на село ярмарка, приезжали из города купцы-торговцы; белыми, хлопающими на ветру палатками, возами

с задранными в небо оглоблями, красной расписанной каруселью расцветчивался и веселел перед белою церковью зеленый, покатый на реку луг. От деревень по укатанным, мягким от пыли дорогам, среди полей и цветущих лугов, подходили люди, гремели, трясась и пыля, телеги с сидевшими мужиками и бабами, с белоголовыми ребятишками; со всех сторон, краснея нарядами, тянулись на ярмарку бабы и девки в цветистых ярких платках, сарафанах, в вышитых с белыми рукавами рубахах. Бабы и девки переходили в брод речку, задирая высоко сарафаны, неся в руках полсапожки, перебредя, садились на лугу обуваться. По дороге над берегом, заросшим старыми, похожими на зеленые облака вётрами, по тенистой мельничной плотине толпою проходили ребята с гармоньей, частушками, с потухшими папиросками в белых зубах. Ярмарка гудела, шевелилась, половодьем разливалась по зеленому, покатуму, освещенному солнцем лугу:

У высокой церкви, наполовину прикрытой парком, с зеленой крышей и высоко блестящим на солнце золотым крестом, белели палатки, изукрашенные разноцветным товаром: кумачом, ситцами, бусами, красными, зелеными, розовыми развевающимися на ветру лентами. Густой, пахнущей кумачом, летним зноем толпою стояли перед палатками бабы, трогали загорелыми твердыми пальцами разложенный на прилавках товар, лускали из платков семечки. Молодежь толпилась за церковью у карусели, где на всю ярмарку ухал и гудел барабан, выкидывал фортели косою, похожий на беса, вор и гармонист Васька. Карусель вертелась шибко, и за отдувавшейся на ветру кумачовой занавеской было видно, как бегают по подмосткам, смешно трясась задами, крутившие карусель мальчишки. На деревянных, разрисованных желтыми яблоками конях и в расписанных зеленою краскою лодках, держась за железные прутья, раздувая юбки, неслись, сливаясь в одну розово-белую полосу, каменные дела лица, деревенские невесты и женихи. И весело покрикивал обочь, разливая над боченком квас, рыжий, как огонь, весь в красных веснушках горластый худой мещанин:

— Подходи, подходи, девки-бабы, красавицы, во-от кваском угощу!..

Внизу, подле белой кирпичной ограды, на самом припеке, развалив на траве товар—желтые, черные горшки и двойняшки,—торговали, щелкали ногтями, вертели в руках товар горшечники-бизюки; грудями лежали новые, облитые дегтем колеса; на возах с поднятыми оглоблями, с лошадиными спокойно жующими головами сидели, выпивали, закусывали баранками, громко разговаривали мужики, бабы; свистели в глиняные свистульки, сосали баранки и пряники белоголовые несмысленыши-ребятишки. Над ярмаркой—над лугом, над толпою, над белою колокольней—в высоком прозрачно-голубом небе падали, чертя воздух, громко вскрикивали стрижи, жарко пекло солнце и пахло от ярмарки пылью, дегтем, теплым конским навозцем.

Хороводы водили внизу под мельницей, на ровном заливному лугу.

Веселым цветником-праздником рассыпались по лугу бабы и девки (бегали девки и бабы за мельницу оправляться, и в кустах над рекою мелькали розовые и красные их сарафаны), — широко раздвигался по зеленому лугу пестрый и голосистый круг, стояли взявшись за руки и ходили в кругу пары, помахивая платочками, конфузливо глядя под ноги, накрест целовались с девками женихи и парни, скинув фуражки и вытерев губы, звенела песня:

Между двух белых берез
Вода протекала —
Вода ключевая,
Нельзя, нельзя воду пить,
Нельзя почерпнуть...

Как водится, сползались и сходились на ярмарку от всех дорог и сторон нищие калеки, — слепые, безногие, дурачки: настырно ползали под ногами, задирали на притихавший, ужасавшийся их убожеству и безобразию народ безглазые свои, безносые, гноящие, черные от загара и несмываемой грязи лица, жуткими голосами пели сулившие людям великие страсти-несчастья стихи. Гоголем ходил по ярмарке, засунув руки в карманы синих штанов, грозно покрикивал на мужиков и баб усатый урядник Нидыч; на паре мотавших завязанными хвостами вороных, звоня колокольчиком под белой дугой, пролетал затянутый в белый китель, блистающий лаковыми сапожками пристав Душак; под руку с белыми барышнями гордо ходили, разглядывая мужиков, пощелкивая желтыми стеками и говоря по-французски, сыновья барыни Кужалихи, — гвардейские офицеры, изредка наезжавшие в имение на деревню.

А всякий раз неизбежно оканчивалась ярмарка дракой. Подле казенки, крайнего домика с новой железной крышей, с зеленой вывеской над обитой клеенкой дверью, с усатым сидельцем Иваном Андреичем, с утра гудели, как растревоженные шершни, мужики-бородачи, сладко побулькивала в блестящих на солнце, пахнувших сургучом шкаликах и бутылках зеленая водка, шумел, опять поспевал всюду, всех громче кричал, из себя выходил Сапунок...

Начинали драку осовенские рыжие мужики. Закинув на затылок шапку, расстегнувши рубаху на странно белой, могучей, с болтавшимся на шнурке медным крестиком, заросшей курчавыми редкими волосами груди, страшно сверкая черными глазками на широком попорченном оспой лице и жутко скрежеща зубами, проходил из края в край ярмарки страшный мужик Рябой Николай. От него разбегались как от чумного; бабы и девки, подобрав сарафаны, падая и визжа, шарахались в стороны, падали в пыль, плакали, забирались на самые высокие деревья малые ребятишки. (Так бывало: зайдет синяя тучка, забрызжет вдруг над ярмаркой и хороводом, над утоптаным людьми дугом грибной золотой дождь и, задравши на головы сарафаны, смеясь и визжа, кинутся из хоровода девки и бабы в розановский парк, прятаться под старые разлапые липы.) И, точно пух на ветру,

разлетался по-мужичьим черным рукам подле кабака забор на кольё, а с горы было видно, как гоняются друг за дружкой по освещенному ярким солнцем, притоптанному народом, засыпанному добела семечками опроставшемуся лугу осовенские и еленёвские мужики, далеко слышно, как ухают по мужицким косточкам увесистые колья, как хрипит, зубами скрежешет, быком ревет Рябой Николай. Остановить не могла разбушевавшихся мужиков ни старшина большая медаль, ни грозный урядник Нилыч, ни сам пристав Душак, спешивший в такие разы поскорее смыться... До поздней темной ночи шумели и горланили драчуны, развозили по деревням бабы глухо, мычавших, колотившихся о тележные грядки пробитыми головами своими, прибитых, залитых рудой мужиков; раз'езжалась, складывалась на длинные возы, увязывалась веселая отгулявшая ярмарка. А всю ночь до утра опять бушевал в кутузке за волостью, колотил в дверь, нивесть что сплетал Сапунок; бессонно бродил по селу, забредал в розановскую усадьбу, забирался к цепным розановским псам, радостно лизавшим его лицо и руки, скулил и плакал, громко жалился на судьбу Халамей... В розановском старом доме с провалившейся крышей, с большими отсвечивавшими окнами, в прихожей на сундуке мертвецки спал пьяненький Розанов, а на балконе с разрушившейся лестницей, выходящем в густой черный сад, укрытом недвижимой в ночи сиренью, пристав Душак целовал кокетничавшую с ним завитую, похожую на подростка-девчонку молодую жену Розанова — Зиночку; круглыми орешками рассыпался из гостиной довольный батюшкин голос:

— Пики пикиндрысы!.. Семь без козыря!..

Р о з а н о в

В те времена, когда на ярмарку, на Кирики-и-Улиты, сгорел розановский сарай с клевером, еще была жива мать Розанова — старая Розаниха. Сам Розанов только-только бросил ученье (выгнали его из гимназии, из губернского города, за громкое поведение и тихие успехи). Был он худ, не по годам длинен, костляв, дружил и водился с работниками, жившими в старой людской за двором, ел и спал с ними, ночами через речку лазил на деревню к бабам-солдаткам. Мать еще любила шикнуть, держала кучеров, красилась и одевалась, ездила по гостям. Пьяный, возвращаясь с попойки, помер в дороге отец Розанова (так и приехал отец мертвый в санях, привезла ко двору лошадь и до утра с мертвым, закутанным в шубу седоком простояла у конюшни)... Мать, мало занимавшаяся домом, избалованная и молодившаяся не по годам, сквозь пальцы глядела на воспитание единственного своего сына. Не долго и нажила она: после пожара пришиб ее первый удар, долгие годы, почти не двигаясь, шепча молитвы, лежала она с отнявшимся языком в спальне под большими иконами. Оставшись хозяином, почувяв волю, пуще прежнего загулял молодой Розанов, сдружился к кучером Тихоном — тишайшим, похожим на монаха-

скопца человечком, набивавшим для него патроны, таскавшимся с ним все лето по тетеревиным выводкам, приводившим из деревни смешливых, сквозь пальцы глядевших на грех, пахнувших сеном и парным молоком, просто завязывавших в платочки рублевки солдаток. Женил Розанова батюшка о. Василий, тишком его обиравший, на племяннице-сироте Зиночке, уж имевшей с кем-то роман, чуть не с первого дня начавшей изменять мужу. И после женитьбы пуще прежнего загулял Розанов, опустился; неприятно глядел розановский старый дом с провалившейся крышей, с пустынными окнами, отражавшими по вечерам зарю, с давно развалившимся, выходящим в дико разросшийся сад балконом, с кучами размытого кирпича, с голодными, хлопавшими об'еденными мухами ушами гончими, жившими в саду под балконом. Хитро и привычно, радуясь слабости барина, относились к Розанову соседи-мужики, давным-давно подбиравшиеся к господской легкой землице. И мало-по-малу, за клоком клок, переплывало к людям розановское последнее добришко. Молчком набивал сундуки, жил с легкомысленной Зиночкой, спаивал и забирал в руки жалкого барина похожий на скопца Тихон. Неведомо как перешла о. Василию в собственность розановская усадебная землица, а всё ближе и плотнее подбирались к уцелевшему розановскому парку мужицкие соломенные крыши. К началу войны — громом грянула над деревней война! — был Розанов почти нищий и, как на нищего, чудака, смотрели на него люди, увивались подле розановских тощих остатков мелкие жулики.

В о й н а

Немного утекло воды, а, ежели спросить теперь человека: как началась война? — не сразу и ответит человек, точно уж скована так человечья память, что скоро забывается тяжкое, а будь память крепче,— жить людям стало б невмочь.

Болтают бабы, что тяжкое было перед войной лето, много было знаков и предзнаменований, видели в небе крест, встретили мужики в лесу за рекою человека: шел человек по лесу, а голова качалась под облаками... А уж памятно всем, как начиналась мобилизация, как погнали молодых из деревни и раз'езжало по волостям начальство в золотых погонах, как враз прихлопнули на селе казенку,— вдруг примолкли, затаились, притихли люди и, точно по сговору, погасли по деревням веселые песни, перестала играть гармонь, угомонился — и слышно не стало — сам Сапунок.

Переменилось, казалось, само начальство. Присмирел, терпеливее стал с мужиками Нилыч, урядник; учернел, запустил бороду, мрачнее стал старшина Коныч; служил, занимался хозяйством, молился о даровании победы, попрежнему неведомо чему продолжал радоваться веселый и круглый о. Василий.

И точно перед грозной бедою примолкла, темнее стала деревенька Елень.

Фрола взяли в первый же год войны. В то время уж приходили с войны слухи, видели люди в городе раненых, слали солдаты письма. Опять — деловито и молчаливо — собирался на службу Фрол. Прощаясь, был он в конторе у немца Карлы, — тоже вдруг оробевшего, забоявшегося мужиков, — получил расчет. Марья сама повезла его в город. Прощаясь на станции, попрежнему был Фрол молчалив, спокоен, ни единым не выдал себя словом — и только, когда тронулся товарный, набитый людьми поезд и завывала, запричитала на засыпанной снегом, затоптанной сапогами платформе, в голос заплакала Марья, смахнул с бороды слезу. Поезд уходил быстрее, мимо плыли знакомые-незнакомые места: снега, холмы, перелески, темневшие в снегах деревеньки, — такие же, как темневшая в полях и лесах деревенька Елень.

Первое время, пока не отсылали в окопы на фронт, жил Фрол в городе в больших казармах, вместе с такими же бородами, в землю глядевшими, думавшими теми же думами мужиками-запасными. Из казарм написал Фрол первое письмо хозяину Хлудову и перед отправкой получил с почты десятку.

Отправляли Фрола на фронт весной. В городе уже было сухо, дул ветер и яркое грело солнце. На вокзале, на запасных путях, где готовился эшелон, прыгали под вагонами, яростно, по-весеннему, чирикали воробьи. Солдаты бросали воробьям крошки, бегали за кипятком, ныряли под вагоны. В полях, когда тронулся эшелон, жирно чернела земля, перелетали грачи, ходили за плугами крошечными казавшиеся люди. Солдаты сидели у отодвинутой двери вагона, свесивши ноги, и до боли в глазах смотрели на проплывавшие, наполовину вспаханные, блестящие поднятою землею поля, на весеннее, глубокое, с высокими холодными облаками небо. И думы и разговоры были — о брошенной, уже готовой к севу, запустовавшей земле...

На последней большой станции, где уже чуялась и страшным дыханием своим дышала близко война, битком набитой солдатами, офицерами в солдатских, с покоробленными погонами шинелях, белыми, пропахшими карболкою санитарными поездами с глядевшими в окна сестрами в белых косынках, с генералами и штабным начальством, подкатывавших к вокзалу на автомобилях, жившим в ярко освещенных, охраняемых часовыми, вагонах, — Фрол, подойдя к почтовому оконцу, доставши завернутые в платок лежавшие за пазухой деньги, — двадцать шесть целковых, — двадцать три рубля отправил жене в деревню и себе оставил тройак, на последнюю нужду, опять завернув в платок деньги...

И так же, как многие тысячи других, такими же думами думавших, обросших, горевавших о покинутом труде, оторванных от привычной, казавшейся недосыгаемо далекою жизни, людей, — кротом засел Фрол в окопы, рыл и топтал глину, стрелял в показывавшихся над желтой полоской неприятельских окопов немцев, ходил в атаки, сутками лежал в земле и, лежа, думая о своем, изредка писал жене на деревню письма, где после поклонов и скупых слов о солдатской нужде, деловито

сообщалось, чтобы продавала Марья корову и заготовляла лес, что, как только кончится война, начнут они устраивать свою жизнь...

Осенью, ходя в разведку, был Фрол ранен в ногу. Он долго лежал в густых, еще не кошенных, мокрых от росы овсах, над которыми взлетали беззвучно, останавливались в ночном небе и таяли немецкие мертвенно-белые ракеты. При свете ракет серебристо-белым показывался высокий, с густыми метелками овес, шуршали и пели над овсом пули; Фрол полз по мокрой, густой, пахнувшей землею траве, западал и крича своим. Утром подняли его мокрого от росы и крови, уложили в носилки и понесли. На перевязочном, в темной, с роями мух, с широкой холодной печью халупе, он лежал обочь с мальчиком-немцем, вместе с ним подобранным ночью в овсах, раненым в живот и умиравшим (быть может, в ночной перестрелке смертельно ранил его Фрол). Поддерживая больную ногу, цепляясь за стену, Фрол помогал умиравшему немцу пить, глядел на его синевевшее, с запавшими висками, со сквозившей на детском подбородке мягко курчавившейся русой бородкой лицо, на окровавленную, облепленную живой кашицей мух шинель, говорил:

— Эх, война-то, война чего делает... Помрет человек, и мать родная знать не будет...

Конец осени пролежал Фрол в лазарете, в губернском городе. Марья по-первости приезжала навещать его, и он, прыгавший на костылях, в халате и туфлях, с коротко обстриженной круглой головой спервоначалу показался ей чужим и страшным (страшными показались ей длинные коридоры с высокими окнами, сестры и доктора, тяжкий и спертый больничный дух, — неловкая, в платке и полушубке, робко взглядывая на пожелтевшее, обросшее щетиной лицо мужа, стояла она). Днем сидели они на лестнице, а потом, как все в лазарете, устраивались в больничной часовне, под шумевшими березами, где всякий день санитары проносили длинные, прикрытые белою простыней страшно качавшиеся носилки...

В о з в р а щ е н и е

Что обо всем этом мог бы рассказать сам Фрол?

Смутно и тяжело запомнил он первые дни, смёртвный, одолевавший людей страх. Как гнили в окопах, привыкали к смерти, мучились, умирали, как раненый полз по овсам, лежал на перевязочном с мальчиком-немцем, как вместе с другими (весною выписали Фрола из команды выздоравливающих и опять отправили на фронт) попал к немцам в плен, и высокий с голым затылком допрашивавший их офицер, сидя под деревом, смеясь, угощал из коробочки папиросами с золочеными мундштучками, и целые потом сутки, не пивши и не евши, сидели в темном погребе, а немецкие часовые заставляли стаскивать сапоги, — как гнали в телячьих вагонах, а мимо проплывала Германия: белые ленты дорог, дома с красными крышами, луга и поля, похожие

на развернутую чистую скатерть. А жизнь в плену осталась худым сном: огороженные проволокой бараки, голод, песок и сосны, чужие упрямые люди, с непоколебимой твердостью державшие свой порядок. Как рубили на немцев дрова, воровали кур и гусей, околпачивали хозяев веселые российские землячки, учили воровать немцев. Запомнилось бегство из плена: сутками лежали в канавах, копали в полях картошку, жевали траву, скрывались в лесах в землянке, как, наконец, пробрались через фронт к своим...

Ко времени возвращения Фрола многое переменилось на Елени. Пришел он в самую смутолоху, неждано-негадано, страшно обросший бородою, лицом черней цыгана, в худой обтрепанной одежонке, в штанах с широкими коричневыми лампасами. Был он похож на пройдоху-бродягу, и не разом (уж в те времена опасались на деревне бандитов-воров) признали его на деревне, не сразу, точно и не сообразив, обрадовалась жена...

И в первые же дни был Фрол по делам в волости. Там было набито битком, как пчелы в разворошенном улье, шумели и горланили мужики. Длинный солдат в грязной шинели в накидку, в развернутой лопухом шапке, стоя на белых, как сахар, березовых дровах, сводя черные глазки, раздирая рот, кричал и махал рукавами над слушавшими, молчавшими мужиками. Мужики стояли насупившись, смотри на солдата, раздиравшего рот, на сбитые, переступавшие по белым дровам сапоги, ловили еще несслыханные слова.

В волости, набитой до отказа народом (там уже не было старшины Кобыча, неповоротливыми пальцами подписывавшего волостные бумаги, расчесывавшего бороду, — как затравленная под кустом лиса, сидел, поблескивая лисьими глазками, приглядывался писарь Егорыч), — припертый глядевшими ненавистно, дышавшими в лицо мужиками, держась руками за стол, стоял хлудовский управляющий немец Карла. Мужики стояли живой, непроницаемо плотной, ненавистью дышавшей стеной. На Карлу наседали, брызгали слюною, размахивали перед лицом тяжелыми, с растопыренными черными пальцами руками, яростно кричал Сапунок.

Немец стоял молча, крепко держась за стол, стиснув зубы, и криво усмехался. По его белым, дрожавшим, с большими синими жилами рукам, с золотым обручальным кольцом на широком пальце, по мертвенной бледности похудевшего, обрюзгшего, точно давно немьтого, лица, по дрожавшей золотой гирьке на часовой цепочке под расстегнутым летним пиджаком можно было понять, что мучился немец смертным страхом.

— Живоеды!.. Попили кровушки!.. — наседали, гудели стеной мужики, не замечавшие положения немца.

— Чего зря глядеть? — кричал, брызгаясь, маша руками, матерно бранясь, Сапунок. — Попили, попиrowали, теперя наш черед!.. Ты нам за прошедшее отработанное заплати...

Немец Карла стоял, жмурясь как от яркого света, пусто смотря поверх голов бушевавших, толпившихся мужиков.

-- Змей, как есть змей смотрит! — яростно взвизгнула пробравшаяся с мужиками закутанная в платок баба-солдатка.

Молодой, красивый, хлопотававший о порядке приехавший с фронта гвардейский солдат в шинели с белыми клеенчатыми петлицами, смущенно оглядываясь, старался уговорить разбушевавшихся мужиков. Солдата не слушали, плотнее наваливались на немца, ненавистно глядели — точно это и был главный предмет ненависти — на белые немецкие руки, на золотое кольцо, на толстый, перепоясанный золотой цепочкой немецкий живот... Спас от расправы Карлу старый цыган Лекса. Цыгана привели в волость соседние бурнакинские мужики. Они ввалились в волость толпою, распихивая народ и яростно крича. Цыган Лекса, без шапки, со смоляно-седыми, жесткими, как конская грива, высокой шапкой стоявшими волосами, на голову был выше окружающих его, кричавших и матершинивших мужиков. Он стоял в толпе, высоко подняв черную свою, отсвечивавшую сединой голову, в расстегнутой на груди рубахе, с запекшейся черной кровью на смуглой сухой щеке. Коротконогий, похожий на барсука мужик в лаптях, в распахнутом армяке, выкатывая глаза, тряс за грудки стоявшего перед ним цыгана, слезами плакал и тонко кричал:

— Он у мене коня увел в третьем годе чалого, на Сборную перегнал!.. Я цельный год за конем гонялся, хозяйство все спустил!.. Первый он враг наш оказывается!..

Старый цыган стоял один в толпе против маленького кричавшего мужика. В глубоких иссиня-черных цыганских глазах играл зеленый злой огонь. Он в упор ненавистно глядел в глаза и лица мужиков, открывал сплошные, белые, как репа, чистые зубы, говорил отдельно и зло:

— Ты видал, как цыган Лекса твоего коня брал?.. Видал?..

Мужики оставили Карлу и оборотились все на цыгана. Застоявшаяся, накипевшая ненависть нашла себе выход. Цыган один посреди всех стоял с высоко поднятой головой, смотрел гордо и дерзко. Мужики ревели, кричали, яростно размахивали руками.

— Конокрад!

— Мир грабил!

— Через них терпим!..

Цыган попрежнему один стоял посреди всех.

Короткопалый, заплаканный, похожий на барсука мужик первый ударил и толкнул в грудь Лексу.

— Чего глядеть, бей его! — на всю волость завопил его тонкий плачущий голос.

Цыган вдруг отчно очнулся от сна. Он сорвал с шеи красный платок, разодрал на себе рубаху и, выставляя темную, с запавшим под ребрами животом, заросшую седыми курчавыми волосами грудь, покрывая мужиков голосом, агакая по-цыгански, грозно крикнул:

— Бейте, мать вашу так!.. Сволочь!.. Цыган Лекса вас не боится!..

Фрол не видел всего, как били в волости цыгана Лексу. Он воротился в деревню и, не отдыхая, не откладывая, с первого же дня взялся устраивать и собирать разоренное за войну гнездо свое.

Г о л о д н ы й г о д

Жила Кажалиха в городе, в имени наезжала с поварами и горничными, с гостями и гостынями, катавшими по большаку в высоких, на желтых колесах, шарабанах-колясках, на гладких, с подрубленными хвостами, с резиновыми на ногах кольцами заводских лошадей. В войну бывали в деревне Кужалихины сыновья — гвардейские офицеры, прогуливались по деревням, бросали на воротцах деревенским ребятишкам гостинцы. Была Кужалиха—жох, сама торговалась с бабами, приносившими под балкон в лубяных лукошках ягоды, тряслась над каждой копейкой, и, уходя, завязывая в узелки деньги, клятвём кляли ее бабы,—ежелетно судилась с соседями-мужиками за землю, за потравы господских лугов, и как огня боялось Кужалихи волостное и уездное начальство; зиму и лето жил в кужалихиной усадьбе, сладко чаёвничал, наливал бока стражник Трошкин...

Сожгли Кужалиху под самую троицу. Три дня развозили по деревням мужики и бабы кужалихино богатое добро, делили скот, выламывали в Кужалихином большом доме двери и вьюшки, прятали в лесу и в реке, зарывали в навоз. К тому времени не осталось на деревне никакого начальства: неведомо куда пропал, как корова слизнула, урядник Нилыч, пропал — точно и не знали — грозный пристав Душак. Жестоко расправлялась в те дни деревня с душегубами и ворами, с нарушителями привычного мира и тишины. Неделю водили по деревням кривую бабу-бобылку Пукалку, уворовавшую у богатого мужика Нефеда меру картошки. Пукалку привязали руками к грядке телеги, заголили бесстыдно и, вода за телегой по деревням, били в заслонки, орали песни. Высеклы бабы-солдатки распутную вдову Феклу за то, что путалась с мужиками: сидели в ювине бабы на голове и ногах Феклы, а жены гулявших с Феклою мужиков секли лозою по голому Феклиному заду. Летом, под троицу же, расправились окрестные мужики с шайкой разбойников, зарезавших под городом человека. Разбойников закопали живьём в землю, а на расправу, как на веселую ярмарку (слух прошумел быстро), с'ехалось глядеть полуезда, на версту, задравши оглобли, стояли по дороге подводы.

А чем дальше катилось, — удивительнее и страшнее ходили по деревням слухи.

Говорили ездившие в город за солью люди, что видели на базаре барыню Кужалиху, будто погрозила барыня мужикам клюкою, — прилетали на большом аэроплане с германцами-офицерами, ночью опускались осматривать землицу Кужалихины сыны-буган, — будто ходит по лесу, прохладается, считает пни черный неведомый человек... И всё

лето ездили мужики в лес, валили под ряд высокие ели и сосны, бросали в лесу макуши и сушь. А жутко тот год глядело лесное порубище: пни, пни и простертые в небо сучья-руки!..

И летом же сожгли осовенские рыжие мужики хлудовскую лесную контору и самого управляющего Карлу. Окружили контору мужики ночью, подперли колыями дверь и запалили снаружи, натаскав соломы и дров. Страшно подыхал среди леса высокий сосновый сруб! Рассказывали потом люди, что ошалевший от страха, в белье, с охотничьим ружьем в руках, кидался от окна к окну в загоравшемся доме человек, стрелял и бил стекла, а молчаливо стояли у окон освещенные пожаром мужики с длинными в руках слегами, терпеливо отпихивали от окон Карлу. До основания, как сноп соломы, сгорела контора, а на утро ловили в спущенном хлудовском пруду осовенские мужики карасей, дымились черные головешки, варили мужики уху и опять разорлся, кричал руководивший разгромом конторы, тряс бородой Сапунок...

Весь тот год лихо голодовала деревня, пухли с голоду мужики. Ездили мужики в степь и Сибирь за хлебом, вóрочались пустыми. Мололи на муку льняное семя, пекли блины, похожие на ссохлый конский колтых, мешали в хлеб лебеду и корьё. Шатались по дорогам, скрывались в лесах голодные дезертиры. Крепче стали запирать люди двери, недобро оглядывал человек человека. Гуляла по деревням, катала людей болезнь испанка (от испанки помер летом — точно свалился дубовый кряж—бурмакинский богатырь Рябой Николай: сходил больной попариться в баню—скрутило в одну ночь Николая). А много, много в тот год забелелось новых тонких крестов на деревенских зеленых кладбищах...

Осенью помер на деревне пастух Авдей. Почти до самой смерти ходил Авдей за деревенским стадом, плел на мужиков лапти. В старости стал Авдей еще легче: уже и костлявее сдвинулись Авдеевы плечи; ссохлись и запеклись руки. А попрежнему — чуть мутнее — глядели детские глаза его, курчавилась серая борода; попрежнему на весь лес разливался по заре его голос и так же, в веселую минуту, «толконувши» самогоночки (гнать самогонку научили мужиков латыши-хуторяне), тряс он портками, подмигивал и хрипел:

— Живой я уродился!..

Умирать Авдей ушел от людей в старую над рекой баню. Он один лежал на черном полку, глядел в нависший закопченный потолок, мутно бредил. Бабы приносили ему картох и воды, стояли, покачивая головами. Умер Авдей неслышно, по-звериному, — мертвым нашли его под полком бабы. И схоронили Авдея в тот же день, наспех сколотивши гроб; на погост несли головами вперед, по указанию колдунов: чтобы не ворочалась с погосту болезнь.

Закапывал Авдея, крест поставил над желтевшей в осенней траве могилой Фрол. Тот год, вместе со всеми, упорно боролся Фрол с голодом, ездил в степь за хлебом, неделями валялся по вагонным крышам,

упорно отстаивал жизнь. А зима пришла голоднее лютото лето: волками смотрели друг на дружку люди, жутким заревом догорала над Россией война...

В е с н а

О барине Хлудове тот год не было слышать на деревне. Поговаривали люди, что сидит Хлудов в тюрьме, знали, что в другие — крепкие — руки перекачилось перед концом последнее хлудовское богатство, что полным хозяином засел в лесу Карла. Зимой добывали мужики в хлудовском лесу лосей. Лосей гоняли облавою, многими деревнями, стреляли из солдатских, принесенных с фронта, винтовок, по фунтам делили мясо, пропивали на самогон шкуры.

Объявился Хлудов негадано перед весною. Подняли его мужики на дороге под станцией. Он лежал в снегу полуживой, с отмороженными ногами, занесенный метелью. Полуживого привезли его на деревню, положили на печь. А видимо мало оставалось в Хлудове жизни, помер он, не приходя в себя, на деревенской печи, в той самой хате, где некогда устраивали хлудовские гости веселые свои гульбища. Не сразу и признали его люди — так изменился он, посивел, так страшно учернели отмороженные его руки и ноги. И так же, как старика Авдея, на деревенском погосте похоронил Хлудова бывший лесник Фрол. И могилы были рядом — на краю тесного, изрытого, заваленного снегом погоста, под редкими соснами, над рекою.

О приходе и гибели Хлудова поговорили на деревне, всяческие ходили по людям слухи (сказывали на деревне, что сидел Хлудов в тюрьме за убийство жены, что выпустили его солдаты вместе с ворами, что приходил он на Елень спастись от голоду) — и забыли так же, как забыли тот год Авдееву и Николаеву смерть.

В день похорон Хлудова ночевал у Фрола раз'езжавший по деревням, торговавший солью и кожами бувальский мужик Комок — спекулянт. Он сидел за столом, широко раскинувши локти, пил липовый чай и, поблескивая цыганскими черными глазками, весело хвастал. На маленьком, точно подкопченном лице его капельками выступал пот, конопатые, черные от дегтю и табаку пальцы плотно держали полное дымившееся блюдечко. Фрол сидел у окна и молчаливо слушал, оправлял горевшую в светце над корытом лучину, горько дымившую, ронявшую в воду шипевшие угольки, — держа на коленях колодку, постукивая кочатыгом, плел лапоть. Напившись чаю и наговорившись, неторопливо закатав в полотенце драгоценные соль и хлеб, снявши с гвоздя шапку, Комок вышел на двор. На дворе было темно, смутно белела, сливаясь с небом, снежная крыша, невидная хрустела и фыркала под навесом лошадь. Комок подложил сена, погладил пахнущую потом и навозцем, сладко хрустевшую клевером, тепло дышавшую лошадь и вышел за ворота. Небо было беззвездно и темно, с запада дул пахучий и влажный ветер, глухо мычала в хлеву корова. По мутя-

щему запаху, что приносил с собою ночной ветер, по особенному шуму стоявшей над дорогой голой березы, по беспокойному мычанию коровы человек живоотно почувствовал, что идет и уже началась весна. Вернувшись, застилая в головах полушубок, шерстью наружу, он бодро и весело сказал стоявшему у печи Фролу:

— Жги сено, хозяин: весна на дворе, на паску будем на колесах ездить...

Весна пришла, как приходила прежде, как приходила всегда. В марте яркое светило солнце, высоко стояли белые облака, крепко прихватывал снега, настом сковывал по ночам мороз. На сороки ходили по дорогам грачи, дрались с воробьями, по-человечьи насвистывали на березах бронзово-черные скворцы. Река пошла на шестой. И, как в прежние времена, Фрол ходил в лес под глухарей, ночевал в лесу у костра. Попрежнему заунывно дудукал в лесу алдотик — полночная птица, гудели на Старом Бездоне волки. Волков было много, — голоса их приближались и удалялись и, как прежде, им откликался, гудел за рекою матерой старый волк...

На страстной в пятницу Фрол ходил на погост ставить над Хлудовым крест. На погосте было сухо, пригревало сквозь редкие сучья апрельское солнце, по бурой, оттаявшей, засыпанной зимней хвоей земле шустро бегали проснувшиеся муравьи, ползали сцепившиеся козявки. Земля под хвоей еще была сырая, комьями налипала на лопату. Внизу под погостом, за розоватыми стволами сосен, широко по-весеннему неся клочья пены, просторно блистая, кругами катилась - шла, качала лозовые кустья, дугою огибала погост река. Река за деревьями шла кругами, черно синевал за рекою лес, бурели за деревнею освободившиеся от снегов поля. Внизу за распорванными желтевшими картофельными ямами, за серевшим снегом нависшим обрывом, за громко игравшим водою овражком, над розовыми кустами ольшанника поднимался синею струйкой дымок. Там, над рекою в кустах, за старою баней, гнал самогонку, возился у обмазанного глиною чугунка, колол дрова выживший, помилованный мужиками последний из помещиков — Розанов Петька.

Петр Первый

Повесть
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение¹)

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Пошумели. Истребили бояр: братьев царицы, Ивана и Афанасия Нарышкиных, Юрия и Михайлу Долгоруких, Григория и Андрея Ромадановских, Михайлу Черкасского, Матвеева, Петра и Федора Салтыковых, Языкова и других — похуже родом. Получили стрелецкое жалованье, — двести сорок тысяч рублей, и еще по десяти, сверх того рублей каждому стрельцу наградных. (Со всех городов пришлось собирать золотую и серебряную посуду, переливать ее в деньги, чтобы уплатить стрельцам.) На Красной площади поставили столб, где с четырех сторон написали имена убитых бояр, их вины и злодеяния. Полки потребовали жалованные грамоты, где бояре клялись ни ныне, ни впредь никакими поносными словами, бунтовщиками и изменниками стрельцов не называть, напрасно не казнить и в ссылки не ссылать.

Приев и выпив кремлевские запасы, стрельцы разошлись по слободам, посадские — по посадкам. И пошло все по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, над сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки, — нищета, холопство, бездолье.

Мужик с поротым задом ковырял кое-как постылую, не свою землю. Выл от нестерпимых даней и поборов обовшивевший посадский. Стонало все мелкое купечество, торгуя лыком да банными вениками. Худел мелкопоместный дворянин. Истощалась земля: урожай сам-три, — слава те, господи. Кряхтели даже бояре и именитые купцы. Боярину в дедовские времена много ли было нужно? — шуба на соболях да шапка горлатная, — вот и честь. А дома хлебал те же щи с солониной, спал да молился богу. Нынче глаза стали голоднее: захотелось жить не хуже польских панов или лифляндцев, или немцев, — наслышались, повидали многое. Сердце разгоралось жадностью. Стали бояре заводить дворню по тысяче душ. А их обушь, одеть в гербовые кафтаны, прокормить ненасытную ораву, — нужны не прежние деньги. В деревянных избах жить стало неприлично. Прежде боярин или боярыня выезжали

¹) См. „Новый Мир“ кн. 6, с. г.

со двора на одной лошади в саях, в роде гроба, с высоким передком, холоп сидел верхом позади дупи. На хомут, на уздечку, на шлею навешивали соболиных и лисьих хвостов, чтобы люди завидовали. Теперь — выписывай из Данцига золоченую карету, запрягай ее четверней, — иначе нет чести. А где деньги? Туго, весьма туго.

Денег нет. Торговать нечем и не с кем. Есть, конечно, кое-какой товар, — лен, кожи, воск, шелк из Персии. Но ведь и людей распространилось, — товару не хватает, и деньги дремать не любят. Своему не продашь, свой — гол. За границу не повезешь, — не на чем, своих морей нет. Все торги с заграницей прибрали к рукам иноземцы. А слушаешь, как торгуют в иных землях, — Голландия, Англия, — голову бы разбил с досады. Скучно, тесно. Что за Россия, заклятая страна, — когда же ты с места сдвинешься?

В Москве стало два царя — Иван и Петр, и выше их — правительница царевна Софья. Одних бояр променяли на других. Эти пока еще побаивались скалить зубы, но надолго ли? У памятного столба на Красной площади стоял одно время часовой стрелец с бердышем, да куда-то ушел. Простой народ кругом столба навалил всякого. Скука. Время остановилось. Ждать нечего. И опять зароптали на базарах люди, пошло шептанье. Стали стрельцы сомневаться: не до конца тогда довели дело, шуму было много, а толку никакого. Не довершить ли, пока не поздно? Но что требовать? Из-за чего опять кидать полковников с колокольни, бояр — на копьа?

Старики рассказывали, — хорошо было в старину: дешевле, сытнее, благообразнее. По деревням мужики с бабами водили хороводы.

На посадах народ заплывал жиром от лени. О разбоях не слыхивали. Эх, где такие были времена! Вот бы...

В стрелецкие слободы пришли шесть человек раскольников, — начетчики, высохшие, как кость, непоколебимые мужики. «Одно спасение, — сказали они стрельцам, — одно ваше спасение — скинуть патриарха-никонианина и весь боярский синклит, ониконианившийся и ополячившийся, и вернуться к богобоязненной вере, к старой жизни». Раскольники читали соловецкие тетради — о том, как избежать прелести никонианской и спасти души и животы свои. Стрельцы плакали, вздыхали. «Я, братия моя, видал антихриста, право, видал, — дрожа от ярости, читал раскольник по соловецкой тетради, — некогда я, печален бывши, помышляючи, как придет антихрист, молитвы говорил да и забылся, окаянный. И вот на поле многое множество людей вижу. И подле меня некто стоит. Я ему говорю: чего людей много? Он же отвечает: антихрист грядет, стой, не ужасайся. Я подперся посохом двоерогим, стою бодро. Ан, ведут нагого человека, — плоть-то у него вся смрад и зело дурна, огнем дышит, из рта, из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит. За ним царь наш последует, и власти, и бояре, и окольнічьи, и думные дворяне... И плюнул я на него, дурно мне стало, ужасно... Знаю по писанию — скоро ему быть».

Теперь понятно стало, что требовать. Стрельцы кинулись в Кремль. Начальник стрелецкого приказа, Иван Андреевич Хованский, встал за раскол. В Кремле податься было некуда. Шесть костяных раскольников, три дня не евших ни крошки, не пивших ни капли, принесли в Грановитую палату аналой, деревянные кресты и старые книги, и перед глазами Софьи и сестер ее, сидевших вокруг трона, лаяли и срамили патриарха и духовенство. Разгорячась, стрельцы кричали: «Хотим старой веры, хотим старины». А иные говорили и тверже: «Пора, государыня, тебе в монастырь, полно царством-то мутить». Оставалось одно средство, и Софья гневно пригрозила:

— Хотите променять нас и все российское государство на шестерых чернецов, мужиков-невежд? В таком разе нам, царям, жить здесь нельзя, уйдем в другие города, возвестим всему народу о нашем разорении, о вашей измене...

Стрельцы поняли, чем пригрозила Софья, — испугались. «Как бы она, ребята, не двинула дворянское ополчение на Москву?..» Попятились, стали договариваться. А уж по приказу Василия Васильевича Голицына выносили из царских погребов на площадь ушаты с водкой и пивом. Дрогнули стрельцы, закружились головы. Кто-то крикнул: «Чорт ли нам в старой вере, то дело поповское, бей раскольников». Одному костяному мужику тут же отсекли голову, двоих задавили, остальные едва унесли ноги.

Опоили проклятые бояре простых людей, вывернулись. Москва шумела, как улей. Каждый кричал про свое. Не нашлось тогда одной головы, — бушевали вразброд. Разбивали царские кабаки. Ловили подьячих из приказов, рвали на части. По Москве — ни проходу, ни проезду. Ходили осаждать боярские дворы, но холопы стойко обороняли господское сытое житье, отстреливались, — великие в те дни бывали побоища. Пылали целые порядки изб. Неубранные трупы валялись на улицах и базарах. Прошел слух, что бояре стянули пол Москвой ополчение: разом хотят истребить бунт. И еще раз пошли стрельцы с тучами народа в Кремль, прибив на копье челобитную о выдаче на суд и расправу всех бояр поголовно. Софья вышла на Красное крыльцо, белая от гнева: — Лгут на нас, и в мыслях того не было, крест в том целую, — закричала она, рвя с себя сверкающий алмазами наперсный крест, — знаю, то лжет на нас Матвейка-царевич. — И с крыльца выкинули на стрелецкие копья всего лишь одного захудалого татарского царевича Матвейку: подавитесь.

Матвейку разорвали на мелкие клочья, — насытили ярость, и опять стрельцы ушли ни с чем... Три дня и три ночи бушевала Москва, вороньи стаи над ней взлетали высоко от набатного звона. И тогда же родилось у самых отчаянных решение: отрубить самую головку, убить обоих царей и Софью. Но, когда Москва пробудилась на четвертый день, Кремль был уже пуст: ни царей, ни царевны, бежали вместе с боярами. Ужас охватил стрельцов.

Софья уехала в село Коломенское и послала бирючей по уездам — созывать дворянское ополчение. Весь август кружила она около Москвы по селам и монастырям, плакалась на папертях, жаловалась на обиды и разорение. В Кремле со стрельцами остался Иван Андреевич Хованский. Стали думать: уж не крикнуть ли его царем, — человек любезный, обходительный, древнейшего рода. Будет свой царь для простого народа.

Ожидая богатых милостей, дворяне бойко садились на коней. Огромное, в двести тысяч, ополчение сходилась к Троице-Сергиеву. А Софья, как птица, все кружила около Москвы. В сентябре посланный ею конный отряд, со Степкой Одоевским во главе, налетел на рассвете на село Пушкино. Там, об'езжая со стрельцами подмосковные, ночевал на пригорке в персидском шатре Иван Андреевич Хованский. Стрельцы спали, не беспокоясь. Их, сонных, всех порубили саблями. Иван Андреевич в исподнем белье выскочил из шатра, размахивая бердышем. Михайла Тыртов прямо с коня кинулся ему на плечи. Прикрутив Ивана Андреевича к седлу, повезли в село Воздвиженское, где Софья справляла свои именины. У околицы села на вынесенных скамьях сидели бояре, одетые по военному времени — в катах, в шлемах, в епанчах. Михайла Тыртов сбросил с седла Хованского, и тот, от горя и стыда, раздетый, стал на колени на траву и заплакал. Думный дьяк Шакловитый прочел сказку о его винах. Иван Андреевич закричал с яростью: «Ложь! Не будь меня, — давно бы вы в Москве по колена в крови ходили...» Трудно было боярам решиться пролить кровь столь древнего рода. Василий Васильевич сидел белее снега. И он и Хованский были Гедиминовичами, и Гедиминовича судили сейчас худородные, недавние выскочки. Видя такое шатание, Иван Михайлович Милославский, тряся рябыми щеками, отошел к верхоконным и шепнул Степке Одоевскому. Тот во весь конский мах поскакал через село к шелковому шатру царевны Софьи, и тем же махом, топча кур и малых ребят, вернулся. «Правительница-де приказала не сомневаться, кончать князя». Василий Васильевич торопливо отошел, закрыл глаза вышитым платочком. Дико закричал Хованский, когда Михайла Тыртов схватил его за волосы, таща в пыль на дорогу. Здесь же, у околицы отрубили Хованскому голову.

Остались без головы стрельцы. Узнав о казни, в ужасе кинулись в Кремль, затворили ворота, зарядили пушки, приготовились к осаде, совсем как поляки сто лет тому назад, когда Москву обложили войска новгородского купечества.

Софья поспешила в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен. Начальствовать ополчением поручила Василию Васильевичу. И так стояли, грозясь, обе стороны, ожидая, кто первый испугается. Испугались стрельцы и послали в Троицу челобитчиков. Принесли повинную. Тем и кончилась их воля. Столб на Красной площади снесли. Вольные грамоты взяты были назад. Начальником стрелецкого приказа назначили Шакловитова, скорого на расправу. Многие полки разо-

слали по городам. Народ стал тише воды, ниже травы. И опять над Москвой, над всей землей повисла безысходная тишина. Потянулись годы.

2

В сумерках по улице мимо высоких заборов бежал Алексашка. Сердце резало, пот застилал глаза. Вдалеке горящая пламенем изба мрачно озаряла лужи в колеях после недавней грозы. Шагах в двадцати от Алексашки, бухая сапогами, бежал пьяный Данило Меньшиков. Не плеть на этот раз была в руке у него, — сверкал кривой нож. «Остановись! — вскрикивал Данило страшным голосом. — Убью!..» Алешка давно остался позади, где-то залез на липу.

Больше года Алексашка не видел отца, и вот — встретил у разбитого и подожженного кабака, и Данило сразу погнался за сыном. Все это время Алексашка с Алешкой жили хотя и впроголодь, но весело. В слободах мальчиков знали хорошо, приветливо пускали ночевать. Лето они прошатались кругом Москвы по рощам и речкам. Ловили певчих птиц на клей и волосяную паклю, продавали их купцам, тем кормились. Воровали из огородов ягоды и овощи. Все думали поймать и обучить ломаться медведя, но медведь легко в руки не давался. Удили рыбу.

Однажды, закинув удочки в тихую и светлую Язу, что вытекала из дремучих лесов Лосинова острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно, — в белых чулках и в зеленом нерусском кафтанчике, с красными отверстиями и ясными пуговицами. Невдалеке на пригорке из липовых куст и яблонового сада поднимались пестрые луковицы, шары и гребнистые кровли Преображенского дворца. Когда-то он весь был виден, нарядный отражался в реке, — теперь зарос листвой, приходил в запустение.

У ворот и по лугу бегали женщины, крича кого-то, — должно быть искали мальчика. Но он, сердито сидя за лопухами, и ухом не вел. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку:

— Эй, нашу рыбу пугать... Смотри, портки снимем, переплывем, — мы тебя...

Мальчик только шмыгнул. Алексашка — опять:

— Ты кто, чей? Мальчик...

— А вот велю тебе голову отрубить, — проговорил мальчик глуховатым голосом, — тогда узнаешь...

Сейчас же Алешка шепнул Алексашке:

— Что ты, ведь это царь! — и бросил удилище, чтобы бежать без оглядки. У Алексашки в синих глазах засветилось баловство:

— Погоди, убежим, успеем. — Закинул удочку, смеясь, стал глядеть на мальчика: — Очень тебя испугались, отрубил голову один такой... А чего ты сидишь? Тебя ищут...

— Сижу, от баб прячусь.

— Я смотрю — ты не наш ли царь? А?

Мальчик ответил не сразу, — видимо, удивился, что говоря смело.

— Ну — царь. А тебе что?

— Как — что... А вот ты взял бы да принес нам сахарных пряников. (Петр глядел на Алексашку пристально, не улыбаясь.) Ей-богу, сбегай. Принесешь, — одну хитрость тебе покажу. — Алексашка снял шапку, из-за подкладки вытащил иглу. — Гляди—игла, али нет?.. Хочешь, — иглу сквозь щеку протащу с ниткой, и ничего не будет...

— Врешь? — спросил Петр.

— Вот — перекрещусь. А хочешь, ногой перекрещусь? — Алексашка живо присел, схватил босую ногу и ногой перекрестился. Петр удивился еще больше.

— Еще бы тебе царь бегал за пряниками... — ворчливо сказал он. — А за деньги иглу протащишь?

— За серебряную деньгу три раза протащу, и ничего не будет.

— Врешь? — Петр начал мигать от любопытства. Привстал, поглядел из-за лопухов в сторону дворца, где все еще суетились, звали, аюкали его какие-то женщины, и побежал с той стороны по берегу к мосткам.

Дойдя до конца мостков, он очутился шагах в трех от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы. Отражались облака и разбитая молнией плакучая ива. Стоя под ивой, Алексашка показал Петру хитрость: три раза протащил сквозь щеку иглу с черной ниткой, и ничего не было, ни капли крови, только три грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами:

— Дай-ка иглу, — сказал нетерпеливо.

— А ты что же — деньги-то?

— На...

Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протыкать ее сквозь щеку. Проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову:— Не хуже тебя, не хуже тебя! Забыв о мальчиках, побежал к дворцу, — должно быть учить бояр протаскивать иголки.

Рубль был новенький: на одной стороне — двуглавый орел, на другой — правительница Софья. Сроду Алексашка с Алешкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы, но Петра видели только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхами толстые дядьки, то шагал с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны, с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая рукавами пропревших шуб.

— Пустяками занимается, — говорил Алексашка, сидя под ивой.

В конце лета он ухитрился все-таки купить у цыган за полтинник худого, с горбом, как у свиньи, медвежонка. Алешка стал его водить за кольцо; Алексашка пел, плясал, боролся с медведем. Но настала осень, от дождей взмесило грязь по колена на московских улицах и

площадях. Плясать негде. В избы со зверем не пускают. Да и медведь до того жрал много, — все проедал, да еще и норовил завалиться спать на зиму. Пришлось его продать с убытком. Зимой Алешка, одевшись как можно жалостнее, просил милостыню. Алексашка у церкви Фрола и Лавра трясся по пояс голый на морозе, — будто немой, параличный и дурачок, — много выжалывал денег. Бога гневить нечего — зиму прожили неплохо.

И опять — просохла земля, зазеленели рощи, запели птицы. Делл по горло: на утренней заре в туманной реке ловить рыбу, днем — шататься по базарам, вечером — в рощу, ставить силки. Алексашке много раз говорили люди: «Смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозитя убить». Алексашка только сплевывал сквозь зубы на три сажени. И нежданно-негаданно — наскочил.

Всю старую Басманную пробежал Алексашка, — начало сводить ноги. Больше уже не оглядывался, слышал: все ближе за спиной топали сапожищи, со свистом дышал Данила. Ну — конец! «Карауул!» — пискляво закричал Алексашка...

В это время из переулка на Разгуляй, где стоял известный кабак, вывернула, покачиваясь, высокая карета. Два коня, запряженные гусем, шли крупной рысью. На переднем сидел верхом немец в чулках и широкополой шляпе. Алексашка сейчас же вильнул к задним колесам, повис на оси, вскарабкался на запятки кареты. Увидев это, Данила заревел: «Стой!..» Но немец наотмашь стегнул его кнутом, и Данила, задыхаясь руганью, упал в грязь. Карета проехала.

Алексашка отдыхивался, сидя на запятках, — надо было уехать как можно дальше от этого места. За Покровскими воротами карета свернула на гладкую дорогу, пошла быстрее, и скоро под'ехали к высокому частоколу. От ворот отделился иноземный человек, спросил что-то. Из кареты высунулась голова, как у попа — с длинными кудрями, но лицо — бритое. «Франц Лефорт» — ответила голова. Ворота раскрылись, и Алексашка очутился на Кукуе, в немецкой слободе. Колеса шуршали по песку. Приветливый свет из окошек небольших домов падал на низенькие ограды, на подстриженные деревца, на стеклянные шары, стоявшие на столбах среди песчаных дорожек. В огородах перед домиками белели и чудно пахли цветы. Кое-где на лавках и на крылечках сидели немцы в вязаных колпаках, держали длинные трубки. В послегрозовой прохладе слышались веселые голоса, и то пела флейта, то скрипка.

«Мать честная, вот живут чисто» — подумал Алексашка, вертя головой сзади кареты. В глазах зарябили огоньки. Проехали мимо четырехугольного пруда; по краям его стояли круглые деревца в зеленых кадках, и между ними горели плошки, освещая несколько лодок, где, задрав верхние юбки, чтобы не мять их, сидели женщины с голыми по локоть руками, с открытой грудью, в шляпах с перьями, — смеялись и пели. Здесь же, под ветряной мельницей, у освещенной двери

аустерии, или ихнего кабака, плясали, сцепившись, парами девки с мужиками, без стыда.

Повсюду ходили мушкетеры-немцы, — в Кремле суровые и молчаливые, здесь — в расстегнутых кафтанах, без оружия, под руку друг с другом, распевали песни, хохотали — без злобы, мирно. Все было мирное здесь, приветливое: будто и не на земле, — глаза впору протереть...

Вдруг в'ехали на широкий двор, посреди его из круглого озера била вода. В глубине виднелся красный, крашенный под кирпич дом с прилепленными к нему белыми столбами. Карета остановилась. Человек с длинными волосами вылез из нее и увидел соскочившего с запяток Алексашку.

— Ты кто, ты зачем, ты откуда здесь? — спросил человек, смешно выговаривая слова. — А? Я тебя спрашиваю, мальчик. Ты — вор?

— Это я — вор? Тогда бей меня до смерти, если вор. — Алексашка весело глядел ему в бритое лицо со вздернутым носом и маленьким смеющимся ртом. — Видел, как на Разгуляе отец за мной бежал с ножом?

— А! Да, видел... Я засмеялся: большой за маленьким...

— Отец меня все равно зарежет... Возьми, пожалуйста, меня на службу... Дяденька...

— На службу? А что ты умеешь делать?

— Все умею. Первое — петь какие хошь песни... На дудках играю, на рожках, на ложках. Смешить могу, — сколько раз люди лопались, вот как насмешу. Плясать, — на заре начну, на заре кончу, и не вспотею... Что мне скажешь, — то и могу...

Франц Лефорт взял Алексашку за острый подбородок. Мальчик, видимо, ему понравился.

— О, ты изрядный мальчик... Возьмешь мыло и вымоешься, ибо ты зело грязный... И тогда я тебе дам платье... Ты будешь служить... Но, если будешь воровать...

— Этим не занимаемся, у нас, чай, ум-то есть, али нет? — сказал Алексашка так уверенно, что Франц Лефорт поверил. Крикнув что-то про Алексашку конюху-немцу, он пошел к дому, насвистывая, выворачивая ступни ног и на ходу будто подплясывая, должно быть оттого, что неподалеку на озере играла музыка и задорно визжали немки.

3

— Да уж будет тебе, Никита Моисеевич, как бы головка у ребенка не заболела...

Едва проговорила это Наталья Кирилловна, царь бросил на полуслове читать Апостола, торопливо перекрестился чернильными пальцами и, не дожидаясь, покуда учитель и дядька, Никита Моисеев Зотов по уставу поклонится ему в ноги, поцеловал маленькую руку, беспомощно затрепетавшую, чтобы схватить, удержать на минутку

сына, -- и по скрипучим половицам и ступеням бесчисленных переходов и лестниц нетерпеливо понесли его косолапые шаги, пугая прижильных старух в темных углах Преображенского дворца.

— Шапку-то, шапку, головку напечет! — слабо крикнула вслед царица.

Никита Зотов стоял перед ней истово и прямо, как в церкви, — расчесанный, чистый, в мягких сапожках, в темной, из тонкого сукна ферязи, — воротник сзади торчал выше головы. Благообразное лицо с мягкими губами и кудрявой головой запрокинуто от истовости. Благостный человек — и говорить нечего, — лишь в изломанных бровях да в углах сощуренных глаз не то слабость какая-то природная, не то азиатчина со всячинкой. Скажи ему: кинься, Никита, на нож, — кинется. Предан больше собачьего, но уж больно светел, легок духом. Не таков бы нужен был дядька норовистому мальчику.

-- Ты, Никита Моисеевич, побольше с ним божественное читай. А то он и на царя-то не похож... Ведь не оглянешься — скоро уж женить... До сих пор не научится стопами шествовать, — все бегаёт, как простой... Ну — вон, гляди...

Смотря в окно, царица слабо всплеснула ладонями. По двору бежал Петр, спотыкаясь от торопливости. За ним — долговязые парни из дворовой челяди с мушкетами и топориками на длинных древках. На земляном валу, — потешной крепостце, построенной перед дворцом, — за частоколом стояли согнанные с деревни мужики в широких немецких шляпах. Велено было им также держать во рту трубки с табаком. Испуганно глядя на бегущего вприскок царя, они забыли, как нужно играть. Петр гневно закричал петушиным голосом. Наталья Кирилловна с содроганием увидела Петенькины бешеные круглые глаза. Он вскарабкался на верх крепостцы и, сердясь, ударил несколько раз мушкетиком одного из потешных мужиков, втянувшего голову в плечи.

— Не по его—так и убьет,—проговорила Наталья Кирилловна,— в кого только нрав у него горячий такой?

Игра пошла сызнова. Выстраивая долговязых парней с топориками, Петр опять рассердился, что его плохо понимают. Это была беда: горячась, он начинал говорить неразборчиво, захлебывался торопливостью, точно хотел сказать много больше того, чем было слов в голове.

— Что головка у него стала как дергаться? — сказала Наталья Кирилловна, со страхом глядя на сына. И вдруг заткнула уши. Мужики в крепостце выкатили дубовую пушку, которую по строгому приказу царицы заряжали чем помягче — пареной репой или яблоками, — и выстрелили. И тотчас, побросав оружие, воздели руки, — в знак того, что сдаются.

— Нельзя сдаваться! Биться должны! — кричал Петр, крутя и тряся головой. — Дурачье! Дьяволы линивые! Сначала! Все сначала!..

— Никита Моисеевич, затвори-ка окошко, очень шумят, голова разболелась, — проговорила царица.

Закрылось цветное окошко. Наталья Кирилловна склонила голову и чуть шевелила пальцами, перебирая афонские четки, святые раковинки. Тоскливо. От горя и слез за эти года Наталья Кирилловна постарела, только брови да когда-то огненные темные глаза остались от ее красоты. Всегда в черном, покрыта черным платом. Так в Угличе когда-то жила царица Марья Нагая с несчастным Димитрием... Не стряслось бы и здесь такой же беды... Правительница Софья спит и видит обвенчаться с Голицыным и царствовать. Уж и корону заказала для себя немецким мастерам.

В Преображенском дворце пустынно, только челядь бегаёт на цыпочках, да по темным углам шепчутся старухи, — мамки, няньки. Петр вырос из пеленок, духу старушечьего не переносит: увидит, как нянька какая-нибудь, закапанная воском, пробирается вдоль стены, так цыкнет, — старушечка едва без памяти доползет до угла.

Бояре не бывают, — здесь ни чести, ни прибитка. Все толпятся в Кремле, поближе к солнцу. Чтобы не совсем было зазорно, Софья приказала быть при дворе царя Петра четырьмя боярам: князю Михайле Алегуковичу Черкасскому, князю Лыкову, князю Троекурову и князю Борису Алексеевичу Голицыну. А велик ли прок от них? Лениво слезут с коней у крыльца, подойдут к царицыной ручке, сядут в шубах, в аршинных шапках и молчат, вздыхают. Говорить мало о чем найдется с опальной царицей. Вбежит в горницу Петр, — бояре, поклонясь нецарствующему царю, справятся о его государевом здоровье, опять взденут шапки и сидят, качают головами: уж больно прыток становится царь-то, — гляди, царापина на щеке, руки в цыпках. Сие неприлично.

— Никита Моисеевич, сказывали мне, в Мытищах баба есть, Воробьиха, на квасной гуще гадаёт так-то верно, — все исполняется, — проговорила царица. — Послать бы за ней?.. Да что-то боюсь... Не нагадала бы худого...

— Матушка государыня, чего же худого нагадать вам может подлая баба Воробьиха? — нараспев, приятным гласом ответил Зотов. — В таком разе Воробьиху в клочья растерзать мало...

Наталья Кирилловна подняла пальчик, поманила. Зотов подбежал неслышно в мягких сапожках.

— Моисеич... Давеча в поварне стрелецкая вдова решето ягод приносила, сказывала: Софья-де во дворце кричала наемни, и все слышали: жалко, говорит, стрельцы тогда волченка не задушили с волчицей...

У Натальи Кирилловны затряслись губы, задрожал охваченный черным платком двойной подбородок, большие глаза налились слезами.

Что ей ответить? Чем утешить? Все видели: у Софьи стрелецкие полки, за Софью — все дворянское ополчение, а у Петра — три десятка потешных дураков-переростков да деревянная пушка, заряженная

репой. Никита Зотов развел ладони, закинул голову, покуда не уперся затылком в жесткий воротник...

— Пошли за Воробьихой, — прошептала царица, — пусть уж скажет правду, а то так-то страшнее.

Долог, скучен летний день. Белые облака плывут и не плывут над Яузой. Знойно. Мухи. Сквозь марево видны кудрявые сады, бесчисленные купола Москвы, верхушки крепостных башен. Поближе — игла немецкой кирпичи, ветряные мельницы на Кукуе. Стонут куры, навевая дремоту. В поварне стучат ножами.

Бывало при Алексее Михайловиче смех и шум в Преображенском, толпится народ, ржут кони. Всегда потеха какая-нибудь, — охота или медвежья травля, конские гонки. Пиры. Комедии в театре. А теперь — глядишь — кругом лопухи да крапива. Театр заколочен, конюшни пусты. Прошла жизнь. Сиди — перебирай четки у окна.

В стекло чем-то бросили. Зотов открыл окошко. Петр позвал, стоя под липой, — весь в пыли, в земле, потный, как мужичонок.

— Никита, напиши указ... Мужики мои никуда не годятся, понеже старые, глупые... Скорее...

— О чем указ прикажешь писать, твое царское величество? — спросил Никита.

— Нужно мне сто мужиков добрых, молодых... Скорее...

— А написать, для чего мужики сии надобны?

— Для воинской потехи... Мушкетеров прислали бы неломанных и огневого зелья к ним... Да две чугунных пушки, чтобы стрелять... Скорей, скорей... Я подпишу, пошлем нарочного...

Царица, отогнув ветвь липы, склонилась в окошко:

— Петенька, свет мой, будет тебе все воевать... Отдохнул бы, посиди около меня...

— Мамадя, некогда, мамадя, потом...

Он убежал. Царица долгим вздохом проводила сына. Зотов, сотворив крестное знамение, вынул из кармана гусиное перо и ножичек и со тщанием перо очистил, попробовал на ноготь. Еще раз перекрестясь с молитвой, отогнул рукав и сел писать полууставом: «Божею милостью, мы, пресветлейший и державнейший великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец...»

Царица от скуки взяла почитать Петрушину учебную тетрадь. Арифметика. Тетрадь в чернильных пятнах, написано — вкривь и вкось, неразборчиво: «Пример адиции... Долгу много, а денех у меня меньше тово долгу, и надобает вычесть — много ли езчо платить. И то ставитя так: долг выше, а под ним денги, и вынимают всякое исподнее слово ис верхнева. Например: один ис двух осталось один. А писать сверху два, ниже ево единица, а под единицей ставь смекальную линию, под смекальной линией — число кое получится, или смекальное число...»

Царица зевнула, — не то есть хочется, не то еще чего-то...

— Никита Моисеевич, забыла я — полдничали сегодня мы али нет?

— Государыня матушка, Наталья Кирилловна, — Зотов, отложив перо, встал и поклонился. — Как отобедали, — изволили вы почивать и, встав, полдничали, — подавали вам ягоды с усливками, грушевый взвар и мед монастырский...

— И то... Уж вечерню скоро стоять...

Царица лениво поднялась и пошла в опочивальню. Там при свете лампад (окно было занавешено) у стены на покрытых сундуках сидели злющие старухи-приживалки и поминали шопотом друг другу обиды. Разом встав, как тряпичные, без костей, поклонились царице. Она села под образами на венецейский, с высокою спинкою стул. Из-за кровати выползла карлица с гноящимися глазами, по-ребячьи всхлипывая, прикурнула у государынинных ножек, — приживалки ее чем-то обидели.

— Сны, что ли рассказываете, дуры-бабы, — сказала Наталья Кирилловна. — Единорога никто не видел?

Оканчивая день, медленно ударил колокол на вышке дворцовой церкви. В сенях, на лестницах появились, шатаясь спросонья, протирая опухшие глаза, боярские дети из мелкопоместных, худородных, — стольники, приписанные Софьей к Петрову двору. Был здесь и Василий Волков, — отец его расшиб лоб о пороги, добился для сына чести. Житье было сытное, легкое, жалованье—шестьдесят рублей в год. Но — скучно. Стольники спали почитай что круглые сутки без просыпу.

Колокол звонил к вечерне. Царя нигде не было. Стольники побрели его искать на двор, в огороды, на луг к речке. На подмогу им царица послала десятка два мамок поголосистее. Обшарили, об'аукали всю местность, — нет царя нигде. Батюшки, уж не утонул ли? У стольников дремоту как рукой сняло. Повскакали на неоседланных коней, рассыпались по вечернему полю, крича, зовя. Во дворце поднялся переполох. Старушонки торопливо зашептали по всем углам: «Непременно это ее рук дело, — Соньки... Давеча какой-то человек ходил круг дворца... И нож у него видели за голенищем... И лежит теперь наш батюшка кормилец с перерезанным горлышком...» Наталью Кирилловну довели этим шопотом зловещим до того, что, обезумев, выбежал она на крыльцо. Из темных полей тянуло дымком, тыркали дергачи в сырых ложбинах. Вдали над черным Соколничьим бором появилась звезда водянистым алмазом. Пронзилось тоской сердце Натальи Кирилловны, заломив руки, она закричала:

— Петенька, сын мой!

Василий Волков, гоня на коне вдоль реки, наскочил на рыбачий костер, — рыбаки повскакали с испугом, чугунок с ершами опрокинулся в огонь, Волков спросил, задыхаясь:

— Мужики, царя не видали?

— Давеча не он ли проплыл в лодке? Кажись, гребли прямо на Кукуй... У немцев его ищите...

Ворота в слободе были еще не заперты. Волков, блеснув глазами на привратника, помчался по улице туда, где толпились немцы. Сверху он увидел царя и, рядом с ним, длинноволосого, среднего роста человека с растопыренными, как у индюка, лапами короткого кафтана. В одной руке — на отлете — он держал шляпу, в другой — трость, и, смеясь вольно, — сукин сын, — говорил с царем. Петр слушал, грыз ноготь на большом пальце. И все немцы кругом стояли бесстыдно вольно. Волков соскочил с коныя, протолкался к царю и стал на колени:

— Милостивый государь, царица-матушка изволит по вас убиваться: уж бог знает что про вас думали... Извольте итти домой — вечерню стоять...

Петр нетерпеливо дернул головой вбок, — к плечу:

— Не хочу... Убирайся отсюда. — И, так как Волков продолжал истово глядеть на него с колен, царь загорелся бешеной краской, ударил его ногой в бок: — Прочь пошел, холоп!

Волков поклонился низко и, хмуро, не глядя на засмеявшихся немцев, степенной рысью поехал докладывать царице. Благодушный немец с двойным розовым подбородком, в жилете, в вязаном колпаке, в вышитых туфлях, — виноторговец Иван Монс, вышедший из аустерии, чтобы взглянуть на молодого царя, вынул изо рта фарфоровую трубку:

— Царскому величеству у нас приятнее, нежели дома, у нас веселее...

Стоявшие кругом немцы, вынув трубки, закачали головами, подтвердили с добродушными улыбками:

— О да, у нас веселее...

И ближе придвинулись — слушать, что говорил длинному, с длинной детской шеей царю нарядный человек в пышно завитом парике — капитан Франц Лефорт, швейцарец. Петр встретил его на Яузе: плыли в тяжелом струге, челядинцы нескладно гребли, стучаясь уключинами. Петр сидел на носу, поджав ноги. Озаренные закатом, медленно приближались черепичные кровли, острые шпили, верхушки подстриженных деревьев, мельницы с флюгерками, голубятни. С Кукуя доносилась странная музыка. Будто наяву виделся город из тридевятого царства тридевятого государства, про который Петру еще в колыбели бормотали няньки. Кругом луга в закатном свете горели цыплячьей желтизной.

На берегу, на куче мусора появился человек в растопыренном на боках бархатном кафтане, при шпаге и в черной шляпе с завороченными с трех сторон краями, — капитан Франц Лефорт. Петр видал его в Кремле, когда принимали иноземных послов. Отнеся вбок левую руку с тростью, он снял шляпу, отступил на шаг и поклонился, — завитые космы каракового парика закрыли ему лицо. Столь же бойко он выпрямился и, улыбаясь приподнятыми уголками рта, проговорил ломано по-русски:

— К услугам вашего царского величества...

Петр смотрел на него, вытянув шею, как на чудо, — до того этот человек был ловкий, веселый, ни на кого не похожий. Лефорт говорил, потряхивая кудрями:

— Я могу показать водяную мельницу, которая трет нюхательный табак, толчет просо, трясет ткацкий стан и поднимает воду в преогромную бочку. Могу также показать мельничное колесо, в коём бегают собака и вертит его. В доме виноторговца Монса есть музыкальный ящик, с двенадцатью кавалерами и дамами на крышке и также двумя птицами, вполне согласными натуре, но величиной с ноготь. Птицы поют посоловьиному и трясут хвостами и крыльями, хотя все сие не что иное, как прехитрые законы механики. Покажу зрительную трубку, через кою смотрят на месяц и видят на нем землю и горы. У аптекаря можно поглядеть на младенца женского пола, живущего в спирту, — лицо поперек полторы четверти, тело в шерсти, на руках, ногах по два пальца...

У Петра все шире округлялись глаза любопытством. Но он молчал, сжав маленький рот. Почему-то казалось, что, если он вылезет на берег, — длиннорукий, длинный, как оглобля, Лефорт засмеется над ним. От застенчивости он сердито сопел и не решался вылезти, хотя лодка уже ткнулась о берег. Тогда Лефорт сбегал к воде, — веселый, красивый, добродушный, — схватил исцарапанную, с изгрызенными ногтями руку Петра и прижал к сердцу:

— О, наши добрые немцы будут сердечно счастливы увидеть ваше величество... Они покажут вам весьма забавные кундштюки...

Ловок, хитер был Лефорт. Петр и не опомнился, как уже, размахивая руками, шагал рядом с ним к воротам слободы. Здесь их окружили сытые, краснощекие добрые немцы, и каждый захотел показать свой дом, свою мельницу, где в колесе бегала собака, свой огород с песчаными дорожками, подстриженными кустиками и ни одной лишней травинкой. Показали все умственные штуки, о которых говорил Лефорт.

Петр удивлялся и все спрашивал: «А это зачем? А это для чего? А это как устроено?...» Немцы качали круглыми головами и говорили одобрительно: «О, молодой Петр Алексеевич хочет все знать, это похвально...» Наконец, подошли к четырехугольному пруду. Было уже темно. На воду падал свет из отворенной двери аустерии. Петр увидел маленькую лодочку с маленьким, повисшим без ветра парусом. В ней сидела молоденькая девушка в белом, пышном, как роза, платье. Волосы ее были подняты и украшены цветами, в голых руках она держала лютню. Петр ужасно удивился, — даже стало страшно отчего-то. Повернув к нему неясное и чудное в сумерках лицо, девушка заиграла на струнах и запела тоненьким голоском по-немецки такое жалостное и приятное, что у всех немцев защекотало в носу. Кроме того, между зелеными шарами и конусами подстриженных деревьев сладко пахли белые цветы табаку. От непонятного страха у Петра дико забилось сердце. Лефорт сказал ему:

— Она поет в вашу честь. Это очень хорошая девушка, дочь зажиточного винооторговца Иоганна Монса.

Сам Иоганн Монс, с трубкой, весело поднял руку и покивал ладонью Петру. Соблазнительный голос Лефорта прошептал:

— Сейчас в аустерии соберутся девушки, будут танцы и фейерверк, или огненная забава...

По темной улице бешено налетели конские копыта. Толпа царских стольников пробилась к царю со строгим приказом от царицы — итти домой. Пришлось покориться.

4

Иноземцы, бывавшие в Кремле, говорили с удивлением, что, не в пример Парижу, Вене, Лондону, Варшаве или Стокгольму,—царский двор подобен более всего купеческой конторе. Ни галантного веселья, ни балов, ни игры, ни тонкого развлечения музыкой. Золотошубные бояре, надменные князья, знаменитые воеводы только и толковали в низких и душных кремлевских покоях, что о торговых сделках на пеньку, поташ, ворвань, зерно, кожи... Спорили и лаялись о ценах. Вздыхали, что, мол, вот земля обильна и всего много, а торговля плоха, обширны боярские вотчины, а продавать из них нечего. На Черном море—татары, к Балтийскому—не пробьешься, Китай—далеко, на севере все держат немцы и англичане. Воевать бы моря, да не под силу,

Да к тому же и ленивы были русские люди. Жили по-медвежьи за крепкими воротами, за неперелазным тыном. В день отстаивали три службы, — утреннюю, до еды, обедню и вечернюю. Четыре'раза плотно ели, да спали еще днем для приличия и здоровья. Свободного времени оставалось немного — боярину ехать во дворец, дожидаться, когда царю угодно потребовать от него службы, купцу — сидеть у дверей лавки, зазывать прохожих, приказному — строчить.

Зато на слова были задирчивы и высокомерны. Выхвалялись обширностью русской земли (от Польши-де до Китая) и единой истинной верой. «Как-де при великом князе Василии Ивановиче турки завоевали Цареград, с той поры и двоеглавый римский орел перешел к нам, и московский патриарх стал глава вселенской церкви, Москва стала третьим Римом. А католики и лютеране для нас-де поганые еретики, посуду после них нужно мыть, как после собаки». Много хвалились и прадедовскими делами: «Мы еще с силами соберемся. В прежние времена Москва втрое обширнее была, мы того не забыли. Царь Иван Васильевич Грозный шеломом из Наровы воду пил, от Лифляндии оставили одни головешки, — мечом прошли от Невы до Риги, и быть бы давно Балтийскому морю нашим, да бог на нас прогневался, оттого и не вышло...»

Думали бы и гадали, чесали бока и кряхтели бог знает еще сколько лет русские люди, но случилось неожиданное событие, — подвалило счастье. Польский король Ян Собесский прислал в Москву великихпослов говорить о союзе против турок. Ласково заговорили

поляки, что нельзя ж допустить, чтоб поганые турки мучили христиан, и православным русским нехорошо быть в мире с турецким султаном и ханом крымским. В Москве сразу поняли, что полякам туго, и самое время с ними торговаться. Так и было: Польша в союзе с австрийским императором едва отбивалась от турок, с другой стороны ей грозили шведы. У всех еще в памяти была опустошительная Тридцатилетняя война, когда пошатнулась Австрийская империя, обезлюдела, разбилась на куски Германия, у поляков выщипаны были перья. Хозяевами морей оказались французы, голландцы и турки, и на севере — шведы, чесавшие руки на все балтийское побережье. Ясно было, чего добились поляки: охранить русскими войсками украинские южные степи от турок.

«Царственные большие печати и государственных посольских дел Оберегатель и наместник Новгородский», князь Василий Васильевич Голицын, потребовал от поляков вернуть Киев. «Верните нам исконную царскую вотчину, Киев с городками, тогда на будущий год пошлем войско на Крым воевать хана». Три с половиной месяца спорили поляки, обносились, обовшивели с досады: «Нам лучше все потерять, чем отдать Киев». Русские не торопились, стояли на своем. Прочли все летописи с начала крещения Руси. И пересидели, переспорили.

Ян Собесский, разбитый турками в Бессарабии, плача, подписал вечный мир с Москвой и возвращение Киева с городками. Удача была велика, но и податься некуда, — приходилось собирать войско, итти воевать хана.

5

Вдоль Охотного ряда, завиваясь, бродили пыльные столбы. Белое солнце знойно висело над Москвой. Духота, мухи, зловоние. Из-под колес шарахались паршивые собаки, глодавшие базарные отбросы. В ленивой, оборванной толпе голосили юродивые, гнусили нищие, Лазаря пели слепцы, подняв пустые глаза на невидимый град.

Но рядом, на голицынском дворе, было чисто и чинно. Жарко блестели от крыши до земли медные стены дома. У входа на персидских ковриках стояли два рослые мушкетера — швейцарцы, в железных шлемах и панцырях из воловьей кожи. Другие два охраняли сквозные золоченые ворота. С той их стороны толпа простого народа глазела на сытые истуканьи лица швейцарцев, на выложенный цветными плитами широкий двор, на пышную, всю в стеклах карету, запряженную рыжей четверней, на медно сияющий дом Оберегателя, любовника царевны-правительницы.

Сам Василий Васильевич в эту несносную духоту сидел на сквознячке близ раскрытого окна, и на латинском языке вел беседу с приезжим из Варшавы иноземцем де-Невиллем. Гость был в парике и французском платье, какое только что стали носить при дворе Людовика Четырнадцатого. Василий Васильевич был без парика, но также во французском, — в чулках и красных башмачках, в коротких бархатных

у кого ни в какой кабале не состоял, разве — небольшое число дворовых холопей...»

— Господин канцлер, — воскликнул де-Невилль, — история не знает примеров, чтоб правитель замышлял столь великие и решительные планы. (Василий Васильевич сейчас же опустил глаза, и на матовые щеки его взошла краска). Но разве дворянство согласится безропотно отдать крестьянам землю и раскабалить рабов?

— Взамен земли помещики получают жалованье. Войска будут набираться из одних дворян. Даточных рекрутов из холопов и тяглых людей мы устрояем. Крестьянин пусть занимается своим делом. Дворяне же за службу получают не земельную разверстку и души, а увеличенное жалованье, кое царская казна возьмет из общей земельной подати. Более чем вдвое должен подняться доход государства.

— Мнится, слышу философа древности, — прошептал де-Невилль.

— Дворянских детей, недорослей, дабы изучали воинское дело, надобно посылать в Польшу, во Францию и Швецию. Надобно завести академии и науки. Мы украсим себя искусствами. Населим грудолубивым крестьянством пустыни наши. Дикий народ превратим в грамотеев, грязные шалаши — в каменные палаты. Трусы сделаются храбрецами. Мы обогатим нищих. (Василий Васильевич покосился в окно, где по улице брел пыльный столб, поднимая пух и солому.) Камнями замостим улицы, Москву выстроим из камня и кирпича... Мудрость воссияет над бедной страной...

Не расставаясь с гусиным перышком, он покинул кресло и ходил по коврам, и много еще необыкновенных мыслей высказал гостю:

— Английский народ сам сокрушил несправедливые порядки, но в злобстве дошел до великих преступлений, — коснулся главы помазанника... Боясь сих ужасов, мы жаждем блага равно всем сословиям. Ежели дворянство будет упираться нашим начинаниям, — мы силой преломим их древнее упрямство...

Беседа была прервана. Ливрейный слуга, испуганно округлив глаза, подошел на цыпочках и шепнул что-то князю. Лицо Василия Васильевича стало напряженно-серьезным. Де-Невилль, заметив это, взял шляпу и начал откланиваться, пятясь к двери. За ним, также кланяясь и округло, от сердца вниз, помахивая рукою в перстнях и кружевах, шел Василий Васильевич:

— Я весьма огорчен и в сильнейшем отчаянии, господин де-Невилль, что вы изволите так скоро покидать меня.

Оставшись один, он оглянул себя в зеркало и, торопливо стуча каблучками, прошел в опочивальню. Там на двуспальной кровати под алого шелка пологом, украшенным наверху страусовыми перьями, сидела, прислонясь виском к витому столбику, правительница Софья. Как всегда, она под'ехала тайно в закрытой карете с черного двора.

штанах с лентами, — на животе и с боков из-под бархатной куртки выбивалось тонкое белье в кружевах. Бороду он брил, но усы — не решился,—оставил. На французском столике перед ним лежали свитки и тетради, латинские книги в пергаменте, карты и архитектурные чертежи. На стенах, обитых золоченой кожей, висели парсуны, — или по-новому портреты, — князей Голицыных и, в пышной венецейской раме—изображение двоголового орла, державшего в лапах портрет Софьи. Французские — шпалерные и итальянские — парчевые кресла, пестрые ковры, несколько стальных часов, персидское оружие, медный глобус, термометр аглицкой работы, литого серебра подсвечники и паникадила, переплеты книг, и на сводчатом потолке расписанная золотом, серебром и лазурью небесная сфера отражались многократно в зеркалах, в простенках и над дверями.

Гость с одобрительным любопытством поглядывал на сие наполовину азиатское, наполовину европейское убранство. Василий Васильевич, играя гусиным пером, положив нога на ногу и великодушно улыбаясь, говорил (лишь иногда запинаясь в латинских словах и выговаривая их несколько на московский лад):

— Еще покойному государю Федору Алексеевичу я подавал записку о введении в войска немецкого военного строя. Но ныне мы думаем в корне переменить военное дело. Поясню вам, господин де-Невилль, что разумею в смысле изменения в корне... Нашего государства основа суть два сословия: кормящее и служилое, сиречь — крестьянство и дворянство. Оба сии сословия в великой скудости обретаются, и оттого государству никакой пользы от них нет, ниже одно разорение. Великим было бы счастьем оторвать помещиков от крестьян, ибо помещик ныне, одной лишь корысти ради, без пощады пожирает крепостного мужика, и крестьянин оттого худ, и помещик худ, и государство худо...

— Высокомысленные и мудрые слова, господин канцлер, — проговорил де-Невилль.—Но как вы мечтаете выполнить сию труднейшую задачу?

Василий Васильевич, загораясь улыбкой, взял со стола тетрадь в сафьяне, писанную его рукой: «О гражданском житии или поправлении всех дел, яже надлежит обще народу».

— Великое и многотрудное дело, ежели бы народ весь обогатить, — проговорил он и стал читать из тетради: «Многие миллионы десятин лежат в пустошах. Те земли надлежало бы вспахать и засеять. Скот умножить. Русскую худую овцу вывести, и вместо нее обязать заводить аглицкую тонкорунную овцу. Ко всяким промыслам и рудному делу людей приохотить, давая оттого им справедливую пользу. Множество непосильных оброков, барщин, податей и повинностей уничтожить, и обложить всех единым поголовным, умеренным налогом. Сие возможно лишь в том размышлении, если всю землю у помещиков взять и посадить на них крестьян вольных. Все прежде бывшие крепостные кабалы разрушить, чтобы впредь весь народ ни

6

— Сонюшка, здравствуй, свет мой...

Она, не отвечая, подняла хмурое лицо, — пристально зелеными мужичьими глазами глядела на Василия Васильевича. Он в недоумении остановился, не дойдя до кровати.

— Беда какая-нибудь, государыня?..

Этой зимой Софья тайно вытравила плод. Пополневшее лицо ее с сильными мускулами с боков рта не играло уже прежним румянцем: заботы, думы, тревоги легли на нем брезгливым выражением. Одевалась она пышно, все еще по-девичьи, но повадка ее была женская, дородная, уверенная в страстях. Ее мучила нужда скрывать любовь к Василию Васильевичу. Хотя об этом знали все до черной девки-судомойки, и за последнее время, вместо грешного и стыдного названия — любовник, — нашлось иноземное приличное слово — галант, — все же отравно, нехорошо было без закона, невенчаной, некрученной отдавать свое уже немолодое тело хоть и любимому, но чужому, запретному... Вот по этой бы весне со всей женской силой и сладкой мукой родила бы она... Люди заставили травить плод... Да и любовь ее к Василию Васильевичу была непокойная, не в меру лет: хорошо так любить семнадцатилетней девчонке, — с вечной тревогой, прячась, думая неотстанно, горя по ночам в одинокой постели. А иной раз и ненависть клубком каталась в горле, — ведь от него была вся мука, от него был затравленный плод... А ему — хоть бы что: утерся да в сторону...

Сидя на кровати, — широкая, с недостающими до полу ногами, горяче-влажная под тяжелым платьем, Софья неприветливо оглянула Василия Васильевича.

— Смешно вырядился, — проговорила она, — что же это на тебе — французское? Кабы не штаны, так совсем бабье платье... Смеяться будут... (Она отвернулась, подавила вздох...) Да, беда, беда, батюшка мой... Радоваться нам мало чему...

За последнее время Софья все чаще приезжала к нему мрачная, с недоговоренными мыслями. Василий Васильевич знал, что близкие к ней две бабы-шутихи, весь день шныряя по закоулкам дворца, выслушивают боярские речи и шопоты и, как Софье отходить ко сну, докладывают ей обо всем. По Москве будто бы начали ходить недобрые слухи, во дворце подслушаны воровские разговоры.

— Пустое, государыня, — сказал Василий Васильевич, — мало ли о чем люди болтают, не горюй, брось...

— Бросить? — Она ногтями застучала по столбику кровати, зубы у нее понемногу зло открылись. — А знаешь, о чем говорят? Править, мол, царством мы слабы... Великих делов невидно... Вот о чем говорят...

Василий Васильевич поднял плечи, усы у него задрожали, отвернулся. Софья покосилась на него: — ох, красив, ох, мука моя... Да — слаб, жилы — женские... В кружева вырядился...

— Так-то, батюшка мой... Книги ты читать горазд, и писать горазд, мысли светлые, — знаю сама... А вчера после вечерни дядюшка Иван Михайлович про тебя говорил: «Читал, мол, мне Василий Васильевич про смердов, про мужиков, — подивился я: уж здоров ли головкой князюшка-то?» И бояре смеялись...

Вспыхнул, как девушка, Василий Васильевич, из-под длинных ресниц метнул лазоревыми глазами:

— Не для их ума писано!

— Да уж какие ни на есть, — умнее бог нам не дал... Сама терплю: мне бы вот охота плясать, как польская королева пляшет, или комедии играть в театре... Тебе не говорила, а я мольерову комедию перевела, недавно кончила в виршах... Молчу же... Ничего не могу, — скажут: еретичка... Патриарх и так уж мне руку сует, как лопату...

— Живем, как средь монстров, — прошептал Василий Васильевич.

— Вот что тебе скажу, батюшка... Сними-ка ты кружева, чулочки, да надень епанчу походную, возьми в руки сабельку... Покажи великие дела...

— Что?.. Опять развѣ были разговоры про хана?

— У всех одно сейчас на уме — воевать Крым... Этого не минуть, голубчик мой. Вернешься с победой, и тогда делай, что хочешь. Тогда ты сильнее сильных.

— Пойми, Софья Алексеевна, нельзя нам воевать... На иное нужны деньги...

— Иное будет после Крыма, — твердо проговорила Софья. — Я уж и грамоту заготовила: быть тебе большим воеводой. День и ночь буду тебя поминать в молитвах, все колени простою, все монастыри обойду пешая, сударь мой... Вернешься победителем, — кто тогда слово скажет? Перестанем скрываться от стыда... Верю, верю, — бог нам поможет против хана. — Софья слезла с постели и глядела снизу вверх в его отвернутые глаза. — Вася, я тебе боялась сказать... Знаешь, что еще шепчут? «В Преображенском, мол, сильный царь подрастает... А царевна, мол, только зря трет спиной горностаи...» Ты мои думы пожалей... Я нехорошее думаю. — Она схватила в горячие ладони его задрожавшую руку. — Ему уж пятнадцатый годок пошел. Вытянулся с коломенскую версту. Прислал указ — вербовать всех конюхов и сокольничьих в потешные... А пушки да мушкеты у них из железа... Вася, спаси меня от греха... В уши мне бормочут, бормочут про Димитрия, про Углич... Чай, грех ведь это? (Василий Васильевич выдернул руку из ее рук. Софья медленно, жалобно улыбнулась.) И то, я говорю, грех и думать о таких делах... То в старину было... А наберешь ты войско тысяч в двести, пойдешь на Крым. Вся Европа узнает про твои подвиги. Тогда его бояться уж нечего, пусть живет мальчишка...

— Нельзя нам воевать! — с горечью воскликнул Василий Васильевич. — Войска доброго нет, денег... Великие прожекты! — эх, все по-

пусту! Кому их оценить, кому понять? Господи, хоть бы три, хоть бы два только года без войны!..

Он безнадежно махнул ручкой. Говорить, убеждать, сопротивляться, — все равно было без пользы.

7

Наталья Кирилловна ругала Никиту Зотова: — Да беги же ты за ним, да найди ты его, — со двора убежал чуть свет, лба не перекрестил, и куска во рту не было...

Найти Петра не так-то было просто, — разве в роще где-нибудь начнется стрельба, барабанный бой, — значит там и царь: балуется с потешными. Никиту сколько раз брали в плен, привязывали к дереву, чтобы не надоедал просьбами итти стоять обедню или слушать приезжего из Москвы боярина. Чтобы Никита не скучал у дерева, Петр приказывал: «Дать ему водки и ягод для закуски». Так понемногу Зотов стал привыкать к чарочке, и уж бывало сам просился в плен на траву под березу. Возвращаясь к Наталье Кирилловне, сокрушенный, он разводил руками:

— Силов нет, матушка государыня, не идет сокол-то наш...

Играть Петр был горазд, — мог сутки без сна, без еды играть во что ни попало, было б лишь шумно, весело, потешно, стреляли бы пушки, били барабаны. Потешных солдат из царских конюхов, сокольничих и даже из юношей изящных фамилий было у него человек триста. С ними он ходил походами по деревням и монастырям вокруг Москвы. Иных монахов пугали до полусмерти: в полуденный зной, когда на березе не шелохнется листок, лишь грузно гудят пчелы под липами и одолевает дремота, — из лесочка вдруг с бесовскими криками выкатываются какие-то в зеленых кафтанах, видом — нерусские, и — бум-та-рарах — бьют из пушек деревянными ядрами в мирные монастырские стены. И еще страшнее монахам, когда узнавали в длинном, вымазанном в грязи и пороховой копоти полоумном вьюноше самого царя.

Служба в потешном войске была тяжелая, беспокойная, — ни доспать, ни доесть. Дождь ли, зной ли несносный, — взбредет царю в голову, — иди, шут его знает куда и зачем, пугать добрых людей. Иной раз будили среди ночи: «Приказано обойти неприятеля. Переправляться вплавь через речку...» Были которые и тонули в речках по ночному времени.

За леность или за нети, — если кто, соскучась без толку шагать по дорогам, сказывался в нетях, хотел бежать домой, — таких били батогами. В последнее время приставили к войску воеводу, или поповому — генерала, — Автамона Головина. Человек он был гораздо глупый, но хорошо знал солдатскую экзерцицию и навел строгие порядки. При нем Петр, вместо беспорядочного баловства, стал не шутя проходить военную науку: в первом батальоне, названном Преображенским, учился бить на барабане.

Франц Лефорт не состоял у Петра на постоянной должности, так как был занят по службе в Кремле, но каждый день приезжал верхом к войску и давал советы, — как что устроить. Через него Головин взял на жалованье немецкого капитана Федора Зоммера для огнестрельного и гранатного дела. Он тоже был произведен в генералы. Из Пушкарского приказа доставили шестнадцать пушек, и тогда стали учить потешных стрелять настоящими бомбами. Учили серьезно: Федор Зоммер даром жалованье получать не хотел. Было уже не до потехи. Много побили в полях разного скота и перекалечили народу.

8

Немцы на Кукуе часто разговаривали о молодом царе Петре. Собираясь по вечерам на посыпанной песочком площадке, среди подстриженных деревьев, они похлопывали ладонями по столикам: — Эй, Монс, битте эйн кугель бир!

Добряк Монс, в вязанном колпаке, в зеленом жилете, выплывал из освещенной двери аустерии, неся в голых по локоть толстых руках по пяти глиняных кружек в каждой. Над кружкой — шапка пены. Вечер тих и приятен. Высыпают звезды в русском небе, не столь, правда, яркие и пышные, как в Тюрингии или Бадене, или Вюртемберге, — но жить можно, и неплохо.

— Монс, Иоганн, э! Расскажи-ка нам, как у тебя в гостях был царь Петр.

Монс присаживался за стол к доброй компании, отхлебывал из чужой кружки и, подмигнув, рассказывал:

— Царь Петр очень любопытный человек. Он узнал о замечательном музыкальном ящике, который стоит в моей столовой. Отец моей жены купил этот ящик в Нюренберге...

— О да, мы все знаем твой прекрасный ящик, — подтверждали слушатели, взглянув друг на друга и помотав висячими трубками.

— Я немного испугался, когда однажды в мою столовую вошли Лефорт и царь Петр. Я не знал, как мне нужно поступать... В таком случае русские становятся на колени. Я не хотел. Но царь сейчас же спросил меня:

— Где твой ящик?

Я ответил:

— Вот он, ваше помазанное величество.

Тогда царь сказал:

— Иоганн, не зови меня ваше помазанное величество, мне это надоело дома, но зови меня по-немецки, как-будто я твой друг.

И Лефорт сказал:

— О да, Монс, мы все будем звать его по-немецки, — герр Петер.

И мы втроем долго смеялись этой шутке. После этого я позвал мою дочь, Анхен, и велел ей завести ящик. Обыкновенно мы заводим его раз в году, в сочельник, потому что это очень ценный ящик. Анхен

посмотрела на меня и я сказал: «ничего, заводи». И она завела его, — кавалеры и дамы танцевали и птички пели. Петер удивился и сказал: «Я хочу посмотреть, как он устроен». Я подумал: «Пропал музыкальный ящик». Но Анхен очень умная девочка. Она сделала красивый поклон и сказала Петеру, и Лефорт перевел ему по-русски. Анхен сказал: «Ваше величество, я тоже умею петь и танцевать, но увы, если вы пожелаете посмотреть, что внутри у меня, отчего я пою и танцую,— мое бедное сердце, наверно, после этого будет сломано...» Переведя эти слова, Лефорт громко засмеялся, и я громко засмеялся, и Анхен смеялась, как серебрянный колокольчик. Но Петер не смеялся,—он покраснел, как бычья кровь, и глядел на Анхен, будто она была маленькой, совсем маленькой птичкой. И я подумал: «О, у этого юноши сидит внутри тысяча чертей». Анхен тоже покраснела и убежала со слезами на своих синих глазах.

Иоганн засопел и отхлебнул из чужой кружки. Он чудно и трогательно умел рассказывать истории. Приятный ночной ветерок шевелил кисточки на вязаных колпаках у собеседников. В освещенной двери показалась Анхен, подняла невинные глаза к звездам, счастливо вздохнула и исчезла. Раскуривая трубки, немцы говорили, что бог послал Иоганну Монсу хорошую дочь. О, такая дочь принесет в дом богатство. Бородатый и красный, могучего роста кузнец, Геррит Кист, голландец, родом из Заандама, сказал:

— Я вижу, если с умом взяться за дело, из молодого царя можно извлечь много пользы.

Сказано было не глупо. Русские плохо относились к иностранцам. Сильными врагами были князья Шуйские, владевшие Гостиным двором на Красной площади. Именитые купцы натравливали простой народ грабить иноземные лавки и амбары. Духовенство прокливало лютеранскую и католическую ереси. Не позволяли строить на Москве ни домов, ни церквей. Цари переселили немцев из города на Язуз, и даже там через силу терпели бусурманское гнездо. Запрещали русским выдавать дочерей за иноземцев. Стрельцы не раз грозились вырезать Кукуй. По праздникам на базарах опасно было показываться в нерусском платье, — облают, оплюют, изорвуг добрую одежду. Ничем не прошибить русской темноты и корысти, — ни добрым поведением, ни подарками сильным людям. Не хватало благосклонных законов. Прочной уверенности. От всего этого страдала торговля и ремесла.

Кузнец Геррит Кист сказал умно: «А что, если приручить молодого царя? Чтобы полюбил он немецкий обычай, порядочную жизнь, нашел бы честных друзей, добрых советчиков, — большая бы вышла от того польза...»

Старый Людвиг Пфеффер, часовщик, ответил ему:

— О, нет, на это плохая надежда. У царя Петра нет силы... Правительница Софья никогда не даст ему царствовать. Она жестокая и решительная женщина.... Теперь она собирает двести тысяч войска

воевать с крымским ханом. Когда войско вернется из Крыма, я не поставлю за царя Петра и десяти пфелигов...

— Напрасно вы так рассуждаете, Людвиг Пфедфер, — ответил ему Монс, — не раз мне рассказывал генерал Теодор фон Зоммер, который недавно был просто Зоммер... (Монс раскрыл рот и захохотал, и все засмеялись его шутке...). Не раз мне говорил: «Погодите, дайте нам год или два сроку, и у царя Петра будут два батальона такого войска, что французский король или сам принц Мориц Саксонский не постыдится им командовать...» Вот что мне сказал Зоммер...

— О, это хорошо, — проговорили собеседники и значительно переглянулись...

Вот какие беседы бывали по вечерам на подметенной площадке перед дверью аустерии Иоганна Монса.

9

Августовский суховея несет пыль по площади. В сводчатых палатах Дворцового приказа жара, духота, — топор вешай, — окна заклеваны мухами. Подьячие и писцы в длинных кафтанах с продранными локтями пишут, пишут, скрипят перья. В чернилах мухи. На губы, на мокрые носы липнут мухи. Дьяк нажрался постного пирога и сидит между окон на лавке, пойкивая в дремоте. Писец, Иван Васков, записывал:

«... по указу великих государей сделано немецкое платье в хоромы к нему, великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белья России самодержцу, а к тому делу взято товаров у генерала у Франца Лефорта: две цевки золота, — плачено один рубль 13 алтын 2 деньги, да девять дюжин пуговиц по шести алтын дюжина, да к исподнему кафтану — 6 дюжин пуговиц по 2 алтына 4 деньги дюжина, да шелку и полотна на 10 алтын, да накладные волосы — три рубля...»

Дунув на муху, Васков поднял осовелые веки:

— Слышь, Петруха, а «волосы накладные», как писать, -- с прописной буквы, али с малой?

Напротив сидящий подьячий, подумав, ответил:

— Пиши с малой.

— Волос у него, что ли, нет своих у младшего государя-то?

— А ты смотри, — за такие слова...

Нагнув голову влево, чтобы ловчее писать, Иван Васков тихо закис от смеха, стонал, как курица, — уж очень чудно казалось ему, что государю в немецкой слободе от немок покупают волосы, платят три рубля за такую дрянь. За три рубля-то Васков год целый скрипел пером (остальное, по обычаю, вымогал у челобитчиков)...

— Петруха, куда же он эти волосы навесит?

— На это его государева воля, — куда захочет, туда и навесит. А будешь еще спрашивать, дьяку пожалюсь..

Дьяка одолели мухи. Вынув шелковый платок, помахал он вокруг себя, вытер лицо и козлиную бороду:

— Эй, спите?.. Сволочь какая народ стал... Разве вы писцы, разве вы подьячие, — лениво проговорил дьяк. — Все бы вам лодыря гонять, все бы вам даром жрать казенные деньги... Страху нет на вас, бога забыли, шпыни ненадобные... Вот я выдеру весь приказ батогами, — будете знать, как работать с бережением... И чернил на вас не напасешься, и бумаги прорва... Хоть бы гром вас поразил, племя иродово...

Вяло махнув платком, дьяк опять задремал. Скучное было время, — ни челобитчиков, ни даров. Москва опустела, — стрельцы, дети дворянские, помещики, бояре, — все ушли в поход, в Крым. Только мухи да пыль, да мелкие казенные дела.

— Петруха, квасу бы сейчас выпить! — проговорил Васков и, оглянувшись на дьяка, потянулся, вывернулся так, что гнилой кафтанец треснул у него подмышками. — Вечером пойду к одной вдове, вот напьюсь квасу! — Мотнув башкой, он опять принялся писать:

«... по указу в. г. ц. и в. к. Петра Алексеевича всея В. и М. и Б. Р. с. велено прислать в село Коломенское к нему в. г. ц. и в. к., всея В. и М. и Б. Р. с., стряпчих конюхов Якима Воронина, Сергея Бухвостова, Данилу Картина, Ивана Нагибина, Ивана Иевлева, Сергея Черткова да Василия Бухвостова. Упомянутых стряпчих конюхов велено взять наверх в потешные пушкари и учинить им оклады, — денег по пяти рублей человеку, хлеба по пяти четвертей ржи, овса тож...»

— Петруха, вот людям счастье...

— Кто еще разговаривает, э-эй, кобели стоялые, — в полусне пригрозил дьяк тонким голосом.

10

Немецкое платье и парик принял под расписку стольник Василий Волков и с бережением отнес в государеву спальню. Еще только светало, а Петр уже вскочил с лавки, где спал на кошме под тулупчиком. За парик он схватился в первую голову, примерил, — не лезет, — (и не успел Волков ахнуть) ножницами отхватил себе темные кудри и, надев накладные, длиной почти до пупа, ухмыльнулся в зеркало. Руки он вымыл кипятком, вычистил грязь из-под ногтей. Торопливо оделся в новое платье. Подвязал, как его учил Лефорт, шейный белый платок, и на бедра, поверх растопыренного кафтана, — шелковый белый же шарф. Волков, служа ему, дивился: не в обычае Петра было возиться с одежей. Примеряя узкие башмаки, он заскрежетал зубами. Вызвали дворового Степку Медведя, мрачного рослого парня, чтобы разбить башмаки, — Степка, вколотив в них ножищи, бегал по лестницам, как жеребец. В девять часов (по-новому немецкому счету), пришел Никита Зотов — звать к ранней обедне. Петр ответил нетерпеливо:

— Скажи матушке, у меня-де государственное дело неотложное... Один помолюсь... Да вот что, сам-то возвращайся, да—рысью, слышь...

Он вдруг закинул голову и засмеялся, как всегда, будто вырывая из себя смех. Никита понял, что царь опять придумал какую-нибудь шутку, которым изрядно учили его в немецкой слободе. Но, — кротко покорился, убежал в мягких сапожках и тотчас вернулся, зная, что, — себе на горе. Так и вышло. Петр гаркнул ему, едва увидев:

— Поедешь великим послом от еллинского бога Бахуса бить челом имениннику.

— Слушаю, государь Петр Алексеевич, — истово ответил Зотов, тайно перекрестясь под кафтаном. Тут же, как было указано, надел он на себя вывернутую заячью шубу, на голову мочалу, поверх — венок из банного веника, в руки взял чашку. Чтобы не было лишних разговоров с матушкой, Петр вышел из двора черным ходом и побежал на конюшенный двор. Там вся дворня со смехом ловила четырех здоровенных кабанов. Петр кинулся помогать, кричал, дрался, суетился. Кабанов поймали, на лежачих надели шлеи, впрягли в золотую низенькую карету на резных колесах — жениховский подарок покойного Алексея Михайловича. Ее Наталья Кирилловна приказывала беречь пуще глаза. Конюшенный дьяк с трясущимися губами глядел на такое разорение и бесчинство. Под свист и хохот дворни в карету впихнули Никиту Зотова. Петр сел на козлы. Волков, при шпаге и треугольной шляпе, пошел впереди, кидая кабанам дынные корки. Конюха с боков стегали кнутами. Поехали на Кукуй.

У ворот слободы их встретила толпа немцев, — выползли поглядеть на потеху даже древние старики с бабьими лицами. «Гут, гут, очень весело, — закричали немцы хлопая в ладоши, — можно лопнуть от смеха». Петр, красный, со сжатым ртом, с злым лицом вытянувшись, сидел на козлах. Сбегалась вся слобода. Хохотали, держась за бока, указывали пальцами на царя и на мочальную голову в карете, — полумертвого от страха Зотова. Свиньи дергали в разные стороны, спутали сбрую. Внезапно Петр вырвал у конюха кнут и с бешеной силой застегал по свиньям. Завизжав, они понесли карету... Кого-то сбили с ног, кто-то попал под колеса, женщины хватали детей. Петр, стоя, все стегал, — багровый, с раздутыми ноздрями короткого носа. Круглые глаза его были красны и влажны от слез...

У Лефортова двора конюха кое-как сбили свиную упряжку, своротили в раскрытые настежь ворота. По двору бежал именинник, — Лефорт, махая тростью и шляпой. За ним — гости, — пестро резодетые немки, немцы, мушкетеры. Петр неуклюже соскочил с козел и за воротник вытащил из кареты Зотова. Все еще бешено глядя в глаза Лефорту, будто боясь покоситься, увидеть в толпе кого-то, — сказал срывающимся, задыхающимся голосом:

— Мейн либер генерал, привез великого посла с великим фелисите от еллинского бога Бахуса... (Крупный пот выступил на лице его, облизнул губы, и, все еще глядя в глаза, с трудом...) Мит херцлихен

грус... Сиречь бьет челом... Свиной и карету в подарок шлет... (Все еще судорожно держа Зотова, шопотом.) Вались на колени, кланяйся...

Прекрасный, в розовом бархате, в кружевах, напудренный и надушенный Лефорт все сразу понял... Подняв высоко руки, захопал в ладоши, залился веселым смехом и, поворачиваясь то к Петру, то к гостям:

— Вот прекрасная шутка, веселее шутки не приходилось видеть... Мы думали поучить его забавным шутом, но он поучит нас шутить... Эй, музыканты, марш в честь бахусова посла!...

За кустами сирени ударили барабаны и литавры, заиграли трубы. У Петра опустились плечи, сошла багровая краска с лица. Закинувшись, он шумно засмеялся. Лефорт взял его под руку. Тогда Петр обжегал глазами гостей и увидел Анхен, — она улыбалась ему блестящими зубками. По плечи голая, точно высунулась навстречу ему из пышных, как роза, белых юбок.

Опять дикое смущение схватило его за горло. Он шел впереди гостей, рядом с Лефортом, к дому, по-журавлиному поднимая ноги. На площадке у крыльца стояли песельники в пунцовых русских рубашках. Они хватили с присвистом плясовую. Один, нагло красивый, длиннолицый, синеглазый, выскочил и с приговором: «Ай дуду, дуду, дуду» — пошел вприсядку, отбивая подковками дробь, целкая ладонями по песку, с перевертом, с подлетом, завертелся юлой: «И-эхты!..» Это был Алексашка! Меньшиков.

11

Скрипка, альты, гобой и литавры играли на хорах старые немецкие песни, русские плясовые, церемонные менуэты, веселые англезы. Табачный дым клубился в лучах, бивших сквозь круглые окошки двухсветной залы. Захмелевшие гости отпускали такие словечки, что девицы вспыхивали, как зори, румяные красавицы в пышных платьях, с огромными, как бочки, фижмами и тяжелыми шлепами, хохотали, как сумасшедшие. В первый раз Петр сидел за столом с женщинами. Лефорт поднес ему анисовой. В первый раз Петр попробовал хмельного. Анисовая полилась пламенем в жилы. Он глядел на смеющуюся Анхен. От музыки в нем все плясало, шея раздувалась. Стиснув челюсти, он ломал в себе еще темные ему жестокие желания. Не слышал, что за шумом кричали немцы, протягивая к нему стаканы... У Анхен лукаво сверкали зубы, она не сводила с него прозрачных, прельстительных глаз...

Пир все тянулся, будто день никогда не кончится. Часовщик Гифеффер сунул длинный, как морковь, нос в табакерку и принялся чихать, — сорвав с себя парик, взмахивая им над лысым черепом. Умора, как было смешно. Петр раскачивался, опрокидывая длинными руками посуду вокруг себя. Руки до того казались длинны, — стоит потянуться через стол и можно запустить пальцы в волосы Анхен,

сжать ее голову, губами испытать ее смеющийся рот. И опять у него раздувалась шея, тьма падала в глаза.

Когда солнце склонилось за мельницы и в раскрытые окна повеяло прохладой, Лефорт подал руку восьмипудовой мельничихе фрау Шимельпфениг и пошел с нею в менуэте. Округло поводя рукой, он встряхивал обсыпанными золотой пудрой локонами, приседел и кланялся, томно закатывая глаза. Фразу Шимельпфениг, удовлетворенная и счастливая, плыла в огромных юбках, как сорокапушечный корабль, разукрашенный флагами. За этой парой двинулись все гости из залы в огород, где в клумбах были выведены цветами вензеля именинника, кусты и деревца перевязаны бантами с цветами из золотой и серебряной бумаги, и на дорожках из разноцветного песка изображены всевозможные фигуры, звери, птицы и квадратики шахматной доски.

В одной части огорода расположились музыканты, в другой — пельники. Покончив с менуэтом, начали веселый контрданс. Петр стоял в стороне, грыз ноготь. Несколько раз дамы, низко присев перед ним, приглашали танцевать. Он мотал головой, бурча: «Не умею, нет, не могу...» Тогда фрау Шимельпфениг, сопровождаемая Лефортом, подала ему букет, — это означало, что его выбирали в короли танцев. Отказаться было невозможно. Он покосился на веселые, но твердые глаза Лефорта и судорожно схватил даму за руку. Лефорт на цыпочках вывернутых ног помчался к Анхен и стал с ней напротив Петра для фигуры контрданса. Анхен, держа в опущенных руках платочек, глядела, точно просила о чем-то. Оглушительно звякнула медь литавров, бухнул барабан, запели скрипки, трубы, веселая музыка понеслась в вечеряющее небо, пугая двух летучих мышей.

И опять (как давеча со свиньями) у него все сорвалось, — стало жарко, безумно. Лефорт кричал:

— Ди эрсте фигур! Дамы наступают и отступают, кавалеры крутят дам!

Схватив фразу Шимельпфениг за бока, Петр завертел ее так, что роба, шлеп и фижмы закрутились вихрем. «Ох, мейн готт!» — только ахнула мельничиха. Оставив ее, он заплясал, точно сама музыка дергала его за руки и ноги. Со сжатым ртом и раздутыми ноздрями он выделял такие скачки и прыжки, что немцы хватались за животы, глядя на него.

— Третья фигура, — кричал Лефорт, — дамы меняют кавалеров!

Прохладная ручка Анхен легла на его плечо. Петр сразу поджался, буйство утихло. Он мелко дрожал. И ноги уже сами несли его, крутясь вместе с легкой, как перышко, Анхен. Между деревьями перебежали огоньки плошек, зажигаемых пороховой нитью. Серdito шипя, взвилась ракета. Два огненных шнурочка отразились в глазах Анхен: «Ах, — шепнула она тоненьким голосом, — ах, это чудно красиво!.. Ах, Петер, вы прекрасно танцуете...»

Со всех концов сада поднимались ракеты. Завертелись огненные колеса, засветились транспаранты. Как пушки, лопались бураки, трещали швермеры, сыпались искряные фонтаны. Сумерки затягивало пороховым дымом. Не сон ли то привиделся в тоскливой скуке Преображенского дворца? Мимо скачками с высокой, как солдат, дамой пронесся дебошан Лефорт. «Купидо стрелами пронзает сердца!» — крикнул он Петру. Нет, не сон... От разгоряченной от танцев Анхен пахло свежей прелестью. «Ах, Петер, я устала» — еще тоньше простонала она, повисая на руке. Над головами разорвался швермер, огненные змеи осветили осунувшееся от усталости, чудное лицо девушки. Не зная, как это делается, Петр обхватил ее за спину, зажмурился от ударов сердца, почувствовал влажное прикосновение ее губ. Но они только скользнули, Анхен вырвалась из рук. С бешеной трескотней разорвались сотни змеек. Анхен исчезла: Из облака дыма вылезла заячья шуба и мочальная голова бахусова посла. Вконец пьяный, Никита Зотов, все еще с чашей в руке, брел, бормоча ругательства. Остановился, зашатался:

— Сынок, выпей, — и подал Петру чашу. — Пей, все равно пропали с тобой... Душу погубили, оскоромились... Пей до дна, твое царское величество, вся Великия и Малыя...

Подняв руку, чтобы погрозить кому-то, он повалился в куст. Петр бросил выпитую чашу и зашагал, как на ходулях. Радость крутилась в нем фейерверочным колесом. «Анхен!» — крикнул он. Побежал... Освещенные окна дома, огоньки плошек, транспаранты поплыли кругом. Он схватился за голову, широко раздвинул ноги, уперся в землю...

— Идем, я покажу, где она, — проговорил сзади в ухо вкрадчивый голос. Это был песельник в пунцовой рубаше, Алексашка, — синие глаза его так и прыгали. — Домой пошла...

Молча Петр побежал за ним куда-то в темноту. Перелезли через забор, нарвалась на собак на скотном дворе, через изгороди выскочили на площадь к мельнице перед аустерией. Наверху светилось одно длинное, низенькое окошко. Алексашка указал:

— Она там... Погоди-ка... — и бросил в стекло песком. Окно раскрылось, высунулась Анхен, на плечах — платок, вся голова в рожках из бумаги, и — сердито, шопотом:

— Вер ист да? Кто там? — Вгляделась, увидала Петра, затрясла головой: — Нельзя... Идите спать, герр Петер...

Еще милее была она в этих рожках. Захлопнула окно и опустила кружевную занавеску. Свет погас.

— Сторожитса девица, — сказал Алексашка. Вгляделся и, крепко обняв Петра за плечи, повел к лавке: — Ты сядь лучше... Посиди... Сейчас лошадей приведу. Верхом-то доедешь?

Когда он вернулся, ведя в поводу двух оседланных лошадей, Петр все так же сидел, сутулясь, сжав руками грудь. Алексашка присел, заглядывая ему в лицо:

— Ты выпил, что ли? — Петр не ответил. Алексашка помог ему сесть в седло, легко вскочил сам и, придерживая его, шагом выехал из слободы. Над лугами вился реденький туман. Пышно раскинулись осенние звезды. В Преображенском кричали петухи. Ледяная рука Петра, впившись в Алексашкино плечо, застыла, как неживая. Уже совсем около дворца он вдруг выгнул спину, стал закидывать головой, ухватил Алексашку за шею, прижался к нему. Лошади остановились. У него свистело в груди и кости трещали от судороги, пена выступила на губах.

— Держи меня, держи крепче, — хриповато проговорил он. Через небольшое время руки ослабли. Вздохнул со стоном: — Поедем... Не уходи только... Ляжем вместе... Падучая у меня...

У крыльца подскочил Волков: — Государь! Да господи... А мы-то... — Подбежали стольники, конюха. Петр сверху пихнул ногой в эту кучу, слез сам и, не отпуская Алексашку, пошел в хоромы. В темном переходе закрестилась, зашуршала какая-то старушонка, — он толкнул ее. Другая, как крыса, шмыгнула под лестницу.

— Постылые, шептуньи гнилые, чтобы вас разорвало, — бормотал он. В опочивальне Алексашка разул его, снял кафтан. Петр лег на кошму, велел Алексашке лечь рядом: — Нынче один — боюсь... Лежи, не шевелись. Засну. — Положил голову Алексашке на плечо. Помолчав, сказал:

— Быть тебе постельничим у меня... Руки легкие... Утром скажешь дьяку, — указ напишет... Весело было, ах, весело... Мейн либер готт...

Еще спустя немного он всхлипнул по-ребячьи и заснул...

Сверстник

Фрагменты поэмы

НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ

1

Ты этим вечером пройдишь
Бульваром к Трубной вниз, минуя
Желтозеленую пивную —
Запойных пьяниц парадиз,
Где под искусственною пальмой,
В беседе сталкиваясь лбами,
Горох моченый давит пальцем
И улыбается зубами
Частушкам, музыке, островам,
В кокошнике грудастой даме
Вся эта сивая порода
Сбирателей лотошной дани.
Куда лишь изредка зайдет
Уже подвыпивший рабочий
И в рыжем пиве ус намочит,
И брови серые сведет,
И брови серые приспустит,
Как флаги в траурные дни.
Двугривенными позвенит
И выйдет в уличное устье...

Ты это логово минуй.
Затершись в стаю проститутток,
Иди спускающимся круто
Бульваром,— прямо на луну.

Она висит серпом зеленым
Над горизонтом раскаленным,
Но остывающим уже.
Хребты светящихся ужей
По направлению к Страстному
Лежат меж почерневших лип.
А выше — виден дом Известий —

Стекланный, легкий, влажный, новый
Как обиталище для рыб,
Как замок, где царевен двести
Кашей бессмертный усыпил
Пятьсотсвечевым хлороформом,
Который плещут им амфоры,
Привинченные у стропил...

Под лязгающий ход трамвая
Коричневает мостовая.

Бинтом разматывая шины,
К ней прикасаясь, словно к ране,
Дрожа, как в фильме на экране,
Ползут бескрылые машины,
Крылатых ласковые предки.

Пронесятся мототциклетки.

И над Цветным воронье вече,
Прокаркав, завершает вечер.

2

И той дорогой той порой
От Сретенки к Арбату
Спешил мой Сверстник, мой герой,
Которого люблю как брата,
С которым я, быть может, рос,
Делился даже мелочами,
Мякиной—в голод, в жажду—чаем
Своим дыханием в мороз.

И нынче он спешил ко мне.

...А я живу на вышине,
От тусклых туч полкилометра.
Не этажи — пружины ветра
Каморку узкую несут,
И ветер подо мной — верблюдо.
С горба на горб над вами, люди,
Скользит на голубом верблюде
Четырехстенная кабина
С кроватью крашеною в киноварь,
И я с ухваткой бедуина
По небесам ультрамариновым
Свой правлю бег.

Но дело в том —

Едва прибор стихов кончается,
Каморка стопорит, качается,
И снизу вырастает дом.

Шесть этажей. Фундамент. Лестница.
Лифтерша, вяжущая варежки.
Внизу поет девица Варечка
Тягучие свои сольфеджио...

И я с тяжелой головой,
Став ртутью, вместо буревестника,
Жду, чтоб в передней грянул звон,
Приходу Сверстника предшествую-
щий.

Двор

ЕВСЕЙ ЭРКИН

Вкус явора, и свежестью речной
Пронизан воздух. Если на минуту
Остановиться и закрыть глаза,
Подует в спину резвый ветерок,
Вслед бросивший бумажку или окурок
Сквозь гулкие ворота,—покачнешься,
Как в тесном челноке в речном за-

ливе.
(О лилии! Как низки облака!

Они плывут под самый темный берег,
А позади лишь отмель и песок...)

Но это двор обычный, городской.

Здесь дно — асфальт. Асфальтовая
площадь

Окружена обратной стороной
Большого зданья с крепостью зуб-

чатой
Кирпичного забора. Свет и тень
Здесь резки и завистливы, как люди,
До сотни окон. Если вдруг со звоном
Сверкнули стекла в верхнем этаже,
Пролив за подоконник лужу солнца,
Косой чертой отгородится сумрак, —
Он ширится по выщербленным стенам
В лиловом блеске, будто пред грозой.

А день хорош. Суди о нем по выси,
По плотной сини над железной кры-

шей,
По флюгеру на северо-восток.
Звук пианино... или это весла
Плеснули по воде?.. Все чаще звуки,

Как-будто под бушующей струей
Весь в брызгах музыкальный умы-

вальник,
И чьи-то перепутанные пальцы
И перепутанные комнаты... Меж тем,
Толкнув обитые рогожей двери,
Выходит женщина. Через плечо
Висят, как перевязанные птицы,
Кульки белья. Она идет к забору
И опытной коричневой рукой
Разматывает длинную веревку.
Она ушла, и нежные рубашки,
Рябые скатерти и полотенца
Развешены до лестницы в подвал.

Как пусто во дворе и сонно, сонно.
Лишь ветерок сквозь гулкие ворота
Вдруг пробежит, но влажная веревка
Не покачнется. Серый круг двора
Заливом дремлет, а вблизи шумит
Катящаяся улица. Покуда
Так прочны стены, вставшие вокруг
С незримою иглой громоотвода,
Вкус явора пропитывает воздух
И бродят легкие потемки. Вот —
Вошел тряпичник. Узкие глаза
Он подымает к сумеречным окнам.
Присел на тумбу. Клетчатым платком
Он вытирает лысину: как жарко
На улице и как прохладно здесь!..
Затем уставился в соседний угол,
Где сброшена мерцающая груда,
Подходит к ней, но это антрацит.

На расстоянии

Р а с с к а з

СЕРГЕЙ СПАССКИЙ

I

Автомобиль рывком выбросился на проспект. Его толчки, казалось, происходили от сокращения невидимых мышц. Что-то органическое было в быстром биении мотора.

Закат наступал на город. Адмиралтейский шпиль, обшитый деревянными лесами, и теперь не игла, но тупая досчатая вышка, противостоял воздушному пламени. Закат был раздут и разметан ветром. Адмиралтейский шпиль разделял его надвое, сам оставаясь сухим и черным. Казалось, он сейчас вспыхнет сверху донизу. Ветер зашвыривал обрывки заката в город и налеплял их на стены домов.

Дома, раступаясь, обегали машину. Был март. И мокрое дно проспекта казалось залитым нефтью. Жирная нефть отсвечивала золотыми искрами.

Орехов устало откинулся на кожаном скользком сиденьи. Автомобиль, словно просторная колыбель на колесах, раскачивал его тело. Опираясь о борт открытой машины, Орехов инстинктивно выравнивал нарушаемое вздрогами мотора равновесие. Он отыскивал точки опоры, рассматривая летящий навстречу город.

Этот город всегда волновал Орехова. В разные периоды жизнь Орехова пересекалась с пробитыми прямо улицами. Знакомая, стройная планировка кварталов подчеркивала перемены, происходившие в самом Орехове. Молодость, зрелость, старость... Город, будто хронометр, отмечал истекшие сроки. Но он менялся и сам. Отдельные впечатления, оставленные им, наплывали одно на другое и образовывали в мыслях Орехова никогда не существовавшую городскую картину. Он видел несколько одновременных Невских. По крайней мере три Дворцовых моста вклинивались один в другой и расходились радиусами в разные стороны. И настоящий сегодняшний Невский не походил на прежние. Изменившиеся, повторялись дома, изменившаяся молодость неслась навстречу автомобилю.

Строганов вступил на площадь. Ее угловатое, неравномерно срезанное пространство было пропитано розовым. Неуловимо розовела

жидкая оттепельная грязь. Лужи казались глубокими окнами. В них обнаруживались пылающие впадины неба.

Рассказ был окончен вчера, и Строганов шел пустой и праздный. Рассказ вырос не сразу. Писание, всегда трудное Строганову, в этом случае особенно затянулось. Каждое слово он перетаскивал с места на место, будто кусок камня. Рассказ вырабатывался мускульными усилиями. Уставала не только голова, но и все тело. Занывали мышцы в ногах, словно Строганов прошел растянутое, не приспособленное для пешехода расстояние. И после изнурительных блужданий в стране воображения переход по мощеной площади показался Строганову непонятно удобным.

— Друзья мои, все те, кто когда-либо ощущал в себе тугую толчею слогов и ритмов, возню звуков и образов, кто заболел неукротимой и жадной болезнью творчества, болезнью неизлечимой и безжалостной, мешающей жить и отнимающей счастье, вы, не желающие избавления от этой болезни, вы, предпочитающие скудный и невещественный промысел поэта всем ремеслам и славам жизни, — вы поймете Строганова: он вашей породы.

Первый, древний, доисторический Невский втягивал провинциала в бесцветное свое ущелье и подавлял высотами зданий. Неизменно лишенный солнца сумеречный коридор. Провинциал ненавидел тархтящие экипажи, мокрые конки и слипшуюся толпу. Попадая сюда, Орехов оглядывался, как лазутчик, проникший во вражеский лагерь.

Он действительно был лазутчиком. Петербург надлежало завоевать, укротить и наполнить другим содержимым. Даже двухсотлетнее имя его, и оно не останется прежним. Впрочем, Орехов не задумывался над собственной миссией. Ему казался совершенно естественным окольный, обходный путь, выбранный им и столь отличный от путей, проходимых товарищами. В сущности, он и не выбирал дорогу. Выбор связан с сомнениями. Но Орехов не мог припомнить и подобия колебаний. Лет в пятнадцать он словно надел на себя удобно пригнанный к телу, кем-то заботливо скроенный костюм и почувствовал, что наружность его определилась. Опустив руки в карманы нового платья, он обнаружил листовки и брошюры и прочел их без всякого удивления. И не то что он сам думал так когда-нибудь раньше, но именно так хотел он думать и по-иному думать он был не способен. Костюм рос вместе с ростом Орехова, не изменяя покрою. Только в этой постоянной оболочке революционера Орехов знал себя с юности.

Революция требует навыков. В революции есть мастера, изощрившие мозг терпеливой выучкой, знатоки уместного риска и умного самопожертвования. В революции есть таланты, внезапно вспыхивающие, как солома от зажигательного стекла. Такой удивительной вспышкой был Николай.

Орехов дружил с Николаем, хотя чувствовал, что они сложены из различного материала.

Только в памяти Орехова еще неясно сохранялся их общая комната. В действительности на месте комнаты, домика, пустыря перед окнами давно образовался многоэтажный, многооконный корпус с совершенно одинаковыми под'ездами, одинаково асфальтированными дворами и квартирами, мучительно повторяющими все ту же раз навсегда вымеренную планировку. В безрадостном однообразии лестниц с гочным количеством ступеней от площадки к площадке, в грязновато освещенных комнатах, со всех сторон сдавленных такими же бесчисленными непротертыми скудными комнатами, во всем маниакально правильном равновесии унылой каменной громады было что-то окончательно упраздняющее всякую мысль о Николае.

Изредка, случайно, иногда в бессонницу, иногда совсем мельком, взбудораженный то мелькнувшим сходством, то чьим-нибудь голосом, вызвавшим в сознании давно утраченную интонацию Николая, наконец, и вовсе без всяких явных причин, Орехов, словно оступившись, проваливался в невидимо окружающие каждого потоки памяти, неожиданно находил себя в том маленьком, несуществующем теперь домике и там встречал Николая.

Николай входил, как всегда, тихий и быстрый. В движениях странная легкость, словно в теле его циркулировал воздух. Ни неуклюжая форменная шинель, ни суконная вытертая студенческая тужурка не могли скрыть радостной свободы его жестов. Даже в последний раз, в коридоре тюрьмы, Орехов сразу узнал Николая, ведомого двумя солдатами, по той же трепетной, всегда взволнованной походке, когда ноги словно отталкиваются от пола, невесомо перебирают дорогу, а грудь чуть наклонена вперед, как во время полета. Николай обернулся на оклик Орехова и взмахнул рукой. Это был жест пловца, острый и длинный. Чувствовалось, что толчок идет от плеча. Кисть словно стряхнула в воздух невидимые брызги.

Орехов уже знал, что Николая казнят и от этого вглядывался в узкое пятно удаляющегося халата с особенным сложным чувством. В нем смешивались удивление, неверие в смерть Николая и тоскливая гордость. Часть существа Орехова выделилась из него, целиком забранная Николаем. Вместе с Николаем по коридору тюрьмы от Орехова уходила первая молодость, молодая протянутость к людям и вера в личные силы. Николай исчез за углом, и Орехов вернулся в камеру постаревшим. Возраст его остановился. Обособленная биография закончилась и заменилась биографией революции.

Только теперь одряхлевшее тело своими отдельными, лично ему свойственными недугами заявляло о самостоятельном существовании. Орехов жил кривыми добычи угля, графиками растущей металлургии, а кривая сердечной деятельности с каждым годом сползала вниз. И все же Орехов не любил думать о каком-то собственном, ветхом и непокорном сердце. Он считал, что старит его не время, а случайные размышления о возможных болезнях.

Площадь с легким шуршанием подостлала под шины автомобиля торцовую чешуйчатую дорожку. Стены словно раз'ехали в разные стороны. Площадь напоминала бассейн, наполненный золотистым воздухом. Собор казался огромной черной дырой, прорубленной в огненном небе. Уже совсем вечернее и темнее наверху, небо было приподнято на невероятную высоту, и оттого и дома, и люди, и памятник представлялись низкими и незначительными. Лодочка автомобиля прижалась к тротуару и остановилась, будто выдохнув из себя весь запас быстроты. Орехов оперся рукой о стенку кузова и осторожно ступил на панель. Стеклянная вертушка в под'езде, блеснув, колыхнулась и, подхватив Орехова, вдвинула его вестибюль.

Орехов вошел в Дом Советов в тот самый момент, когда Строганов приблизился к машине. Строганова не заинтересовала машина, хотя только что именно она обрызгала его клейкой грязью. Его не заинтересовал и Орехов, хотя Строганов разглядел старика в усах и бороде и проследил, как мягкая шляпа, сгорбленная спина и краешек желтого портфеля скрылись в глубокой двери. Его нимало не взволновало, что он и Орехов оказались разделенными толстым стеклом вертушки. Еще обласканный творчеством, правда, уже уходящим, уже издали простирающим к нему едва ощутимые потоки мыслей, Строганов был сегодня самоуверен и безрассуден. Он словно раскрыл себя настежь и сквозь него проносились ветер, закат и март. Он принадлежал городу и вечеру и радовался независимости, так как вокруг явно обозначалась весна и рассказ был закончен.

II

В дверь мелко постучали.

— Войдите!

Вошла торопливая худенькая старушка.

— Устал, Семен Иванович?

— Да нет. Не очень. Хотя я не большой любитель таких процедур. Трата времени. Аппараты щелкают. А тут еще какой-то в роговых очках влез на скамейку напротив меня с ящиком. Я говорю, а он об'ектив наставил мне в рот и крутит.

— Это, верно, для Совкино.

— Не знаю уж для чего, Лиза. Потом обошел меня сзади, и слышу, оттуда тикает своим механизмом. Это еще неприятней. Что он там, затылок мой снимал, что ли?

— Ну, не беда. А он-то похож получился?

Старушка присела к столу. В маленькой белой морщинистой ручке тонкой струйкой взблескивала игла. Игла стремительно вкалывалась в суровую ткань чулка, натянутого на грибок. Шерстинка вплеталась в шерстинку, и причудливый переплет затягивал дырку на пятке.

— Похож ли он, Николай? Нет, совсем не похож.

Старушка склонила голову, и стриженные короткие прядки двумя занавесочками задержали ее виски. Сухенькие седенькие прядки, разделенные ложбинкой пробора.

— Нет, Лиза, когда сняли холст, мне сделалось неприятно. По моему, вообще человек не бывает похож в скульптуре. Да и к чему эти памятники? Я понимаю, открыли бы детский дом или школу. Нет, Николай совсем не похож.

--- Да ты не волнуйся, Семен Иванович.

— Ничего, Лиза. Мне Николай де сих пор не вполне понятен. Что-то в нем было такое... Первая молодость класса, может быть, даже детство класса. И вся неустойчивость детства.

— Почему неустойчивость?

— Как тебе сказать? В воспоминаниях я не писал об этом. Но его поступок — сплошное безрассудство. Так нерасчетливо 'отдать свою жизнь. Он мог бы работать с нами сейчас. Сидел бы здесь и разговаривал с нами. А вместо этого я открываю памятник, под которым выбито его имя и который не имеет с ним ничего общего.

Николай вышел утром на улицу. Городом владела весна, похожая на теперешнюю. Все весны повторяют одна другую. До нашего рождения они развивались, выросли и ширились. И когда отойдет наша беспокойная, трудная и невыносимо милая жизнь и наши имена и дела вытекут из памяти поколений, северная весна, неприглядная, перемежающаяся холодами, весна неярких красок, весна зеленоватого неба, сизой воды и солнца, греющего сквозь ветер, так же заново и внезапно будет осуществлять в этих местах свое кратковременное господство.

Николай прошел к Михайловскому скверу, где под еще безлиственными деревьями, на пригретой солнцем площадке возилась детвора. Красные, синие, серые пальтишки подскакивали, приседали и бороздили воздух тонкими птичьими восклицаниями. Детство немислимо без крохотных деревянных ведерок и тупеньких плоских лопаточек. Детству присущи мячи, поражающие своей упругой круглостью, своей способностью отделяться от рук и жить самостоятельно пляшущей жизнью. Есть еще обручи — желтые, сухо позванивающие под ударами быстрой палочки. Такой обруч словно выгнут из узкого солнечного луча. И мячи, и ведерки, и обручи, мелькая, действовали на площадке сквера. Сквер клокотал детьми. Серые сети еще непрозеленевших веток настороженно и хрупко оберегали ребячьи стаи.

Таков был день, когда Николай совершил безрассудный поступок. Николай всполошил детей. Они покатились к накрахмаленным нянькам. Разноцветные мячи тупо уткнулись в песок. Обручи утратили гибкость и легли по дорожкам. Омертвели покинутые ведерки. Впрочем, если бы генерал вошел в сквер, событие не состоялось. Игрушечная жизнь детей не вязалась с убийством. Это стало ясно Николаю, когда он увидел, как невысокая плечистая фигура генерала задержалась у входа в ограду. Генерал разглядывал детвору. Погоны отразили солнце, как два золотые слитка. Николай разглядывал генерала. Глухая бессмысленная надежда, что тот все-таки подойдет к детям и тем самым изменит свою судьбу, заполнила грудь Николая. Что произошло бы

тогда? Неизвестно. Но смерть отступила б от сквера. Она была бы отбита мячами, отброшена маленькими лопаточками. Еще не додумав поспешные мысли, Николай вынул револьвер. Все вокруг стало трезвым, скучным, отчетливым. Генерал подходил. Два коротко стукнувших выстрела. Старик охнул и упал на колени. Николай отбросил револьвер и закрыл руками лицо. Жизнь его оборвалась, словно пули, отскочив от груди старика, застряли в душе Николая.

Лиза когда-то любила Николая. Когда-то Орехов любил Лизу. Графики человеческих отношений линейны, просты и плоски.

Любовь Орехова не нашла выражения. Она не воплотилась в слова и не проявилась в поступках. Ссылка, отсиживание в эмиграции... Любовь уничтожалась пространством, расширившимся между Ореховым и Лизой. Любовь засыпалась временем, как сухим песком засыпается семя. Изредка от товарищей, выжимаемых за рубеж, Орехов слышал о Лизе. Далеким отгосолком, эхом, растратившим в полете свою звуковую энергию, до него докатилась весть о ее замужестве. И совсем смутно, подобно словам, услышанным в сновидении и ничего не значущим в дневной жизни, воспринялось запоздалое сообщение о том, что муж Лизы умер.

Вместе с революцией Орехов возвратился в Россию. В те дни он сумел не впасть в замешательство. Он упростил свои чувства, пользовался мыслями, прямыми, резкими, падающими с силой штыкового удара. Он, как и ряд других, оформлял события. События оформляли его. В этом взаимодействии характер его утрачивал последние личные свойства и делался характером собирательным, характером данной эпохи.

Лиза возникла перед Ореховым неожиданно, словно выплеснутая волнением двусветного зала, перегородженного колоннами. Их могучие торсы были увиты сухими лентами красной ткани. Между полосами материи, из-под темной и колкой шерсти хвойных гирлянд просвечивала матовая желтизна оголенного мрамора. Вокруг колонн словно вращались скамьи, яруса, трибуны, вращались огромные, как в оранжерее, стекла, разделившие стены прохладными плоскостями. Люди копошились в гнездах амфитеатра, толпа наклонно спадала по рубчатым лестницам, шумела, законопатив проходы. Отдельные восклицания выныривали, как пробки, из общего басового гула. Был съезд и только что говорил Ленин.

Толпа прижала Лизу к Орехову. Орехов не признал сухонькую старушку, окликающую его по имени. Слова Ленина еще отделяли Орехова от всех окружающих, будто материальные формы, занимающие место в пространстве. Но сквозь напластование этих форм он увидел глаза старушки — темные, быстрые, пристальные. По глазам он припомнил Лизу и смешно растерялся. Они стояли рядом, потом, сплюсненные людьми, оступались вниз по ступенькам. Наконец, в коридоре, где почему-то высились пальмы, геральдически пышные, упирающие

в потолок мрачную резьбу листьев, в коридоре у подоконника, широкого, как обеденный стол, они остановились и разглядели друг друга.

К Лизе подошел человек в гимнастерке красноармейца, ловко постукивающий сапогами. Он был молод, румян и смотрел прямо и весело. Лиза познакомила Орехова с сыном. Сын с уважением и любопытством вглядывался в Орехова, слегка наклоняя свое нескрываемое сильное тело. Заговорили о речи Ленина, и Орехов сразу нашел себя, излагая взвешенные, деловитые мысли. Потом перешли к текущей работе. Прошлому не было места в грохочущем, простуканном шагами, всколыхнутом разговорами сводчатом коридоре.

После с'езда их размело в разные стороны.

Однажды, уже работая в Москве, Орехов получил недлинное, перечерченное тонкими паутинками линий письмо, в котором Лиза сообщала о смерти сына на фронте. В письме не было ничего лишнего. Из него Орехов узнал, что у сына осталась девочка, которая живёт с Лизой. Из письма выскользнули узенькая фотография сына и фотография ребенка. Орехов обрамил их и поместил у себя на столе. Два незнакомых человека, — один уже несуществующий, другой еще не начавший существовать сознательно, вернее их дымчатые коричневатые тени на листках упругой бумаги, — теперь находились в комнате Орехова. Они сопровождали его мысли своими навсегда отраженными фотографией взглядами. Тогда же Орехов зачем-то выставил рядом пожелтевшую, исцарапанную в переездах карточку Николая. Казалось, новоприбывшие гости требовали общества, и Николай явился подходящим для них собеседником. Часто Орехов смотрел с недоумением в молчаливые лица, обступившие его стол. При чем тут они? Откуда они пришли? Какое место они занимают в его работе? Необходимо ли ему их присутствие? Этого Орехов не мог уяснить.

Однако, с тех пор, наезжая изредка в Ленинград, Орехов останавливался в Доме Советов, где жила товарищ Островская.

Ленинградский день делился на часы и дела. Количество дел не вмещалось в клетку часов. Автомобиль, будто брошенный сильной рукой, перекачивался по проспектам. Желтые крылья Смольного с двух сторон охватывали машину. Автомобиль стучался в разделенную колоннами грудь здания. Орехова ждали насыщенные эхом шагов коридоры. Они были темны, перспективно сжимались к концам и заканчивались дальними пятнами окон. Орехова ждали заседания, дсклады и узкие этажи цифр на бумаге. Его принимали обширные лестницы трестов; кабинеты, обшитые диаграммами, выдвигали навстречу ему твердую мебель. Он отвечал на вопросы партийцев и на рукопожатия спецов. Целый день он вдыхал тревожный воздух строительства. Его легкие не вынесли бы более разряженной атмосферы. Вечерами он иногда отправлялся в театр.

Герман с белой косой важными шажками двигался в желтом воздухе сцены. Он раскидывал руки и плавно клал их на грудь. Пестрые люди одновременно открывали и закрывали рты.

Происходила странная чепуха. Мигало электричество, изображая молнию. Складчатая стена занавеса неспешно достигала досок помоста. Люди били ладонью в ладонь. Зал шелестел от платьев и разговоров.

Область искусства, всегда лежавшая в стороне от Орехова, в такие минуты его беспокоила. Что-то подозрительное, сомнительное чудилось Орехову в беззапретной игре человеческих воображений. Стоит ли так поощрять измышленный мир? Нет ли тут массовой инерции, круговой поруки ветхих, нежелающих отмирать чувств?

Искусство чем-то мешало Орехову. Сегодня нестерпимо мешал кусок темной бронзы, принявшей человеческие очертания. Орехов рассказывал собравшимся о Николае. Собравшиеся слушали Орехова. Слушая, переводили глаза на об'емный, задрапированный солнцем металл памятника. Слушатели относили ореховские слова не к Николаю, а к тяжелой угрюмой кукле. Они верили не только речи Орехова, но и молчанию бюста. У них возникал новый образ, об'единяющий показания очевидца с выдумкой скульптора. И, может, от этого сам Орехов почувствовал, что слова его плоски, что он потерял Николая и не знает, как отнестись к нему.

Свет настольной лампы лежал на коленях Островской. Старчески белые руки двигались в полосе света. Руки казались взволнованными. Орехов не видел ее лица, укрытого тенью. Он говорил, обращаясь к рукам:

— Я только не знаю, кем бы сейчас стал Николай. Как ты думаешь? Трудно представить его в нашем возрасте.

А все этот памятник! До сих пор они никогда не вспоминали Николая. В движении Лизиных пальцев было что-то предостерегающее. Орехов запнулся. Из тени раздался тихий ответ:

— Он все равно не дожил бы. Его бы убили... На фронте.

Последнее слово чуть слышно коснулось Орехова. Оно прошло по комнате, наполненное такой убежденностью и такой горечью, что Орехов был удивлен. В этом слове об'единились все Лизины утраты. Она не гадала о Николае. Образ его перешел в образ сына.

— Ну, ну, Лиза, — забормотал Орехов, не умея ничего сказать. Ему стало неловко. Он ощутил себя неуклюжим и неподвижным. — Сдержанность, сдержанность. Мы исполняем долг. Мы сами по себе не имеем цены. Надо умирать деловито и незаметно. Так умирал Дзержинский. Но при чем же тут смерть?

И тогда распахнулась дверь. Вместе с ней распахнулась тишина. В комнату вбежала девочка.

Ее длинные тонкие ножки играли и жили вполне обособленной жизнью. Они вынесли ее на середину комнаты и остановились, будто зацепились за клетки паркета. Курносенькое, подвижное и кокетливое личико отпрянуло назад. Испуг, недоумение, недовольство мгновенно выразились на нем при виде чужого. Она отогнулась, заложив руки за

спину. И вдруг ножки разом отделились от пола, тело качнулось и лицо словно блеснуло навстречу Орехову.

— Орехов! — завопила она, ныряя в него с разбега.— Ты откуда взялся?

— Нельзя же так, Лена!

Но Лена не слушала бабушку. Она вообще не слушала никого. Она подчинялась энергии, клокотавшей в ее существо. Непроизвольно разбрасывая руки, ноги, стриженую головку, она будто вспыхивала жестами. Больше всего она напоминала маленький костер, раздуваемый ветром. И язычком настоящего пламени мелькал сбитый на бок пионерский галстук. Теплый стремительный груз, свалившийся на колени Орехову, бормотал, вскрикивал, отстегивал самопишущее перо и тыкался головой в пиджак.

— Да пойдя ты ко мне, — рассердилась Островская.

-- Ничего, — отозвался Орехов, пытаясь не выронить из рук пружинистую, скачущую фигурку.

— Ничего, ничего, — пела девочка и вдруг, отлетев на два шага в сторону, осведомила Орехова торжественно и лукаво:

— Знаешь, Орехов, я буду артисткой.

— Что за новости?

— Обязательно. — Она вглядывалась в Орехова, выискивая сочувствия.

Сочувствия не обнаружилось. Она передернула плечиками и разъяснила:

--- Я была с отрядом в театре.

Орехов смотрел недоверчиво.

— Я все это сумею! — кричала обиженно девочка. — Хочешь, я тебе покажу?

Вприпрыжку она бросилась к стулу и сдвинула его, освобождая пространство. Синее платье отлетало назад, словно в комнате веял ветер. Несомая этим ветром, она оказалась у стоящего в углу столика. И в этот момент затаившийся на столике рогатый ящик телефона брызнул в девочку неожиданным тонким звонком. Она не смутилась. Сразу превратившись в уменьшенного в пропорциях, но вполне взрослого человека, она приподняла трубку и медленно поднесла ее к уху.

— Алло! — протянула она с ответственным и настороженным видом. — Товарища Орехова? А кто говорит?

Это была игра в секретаршу, — миниатюрный спектакль, мгновенно разыгранный перед изумленным Ореховым. Впрочем, нет, не спектакль, а убедительная действительность. Вся осанка Лены стала иной. Девочка была создана, чтобы священнодействовать у телефона.

— Кто, кто? — трубка неразборчиво клокотала. Аккуратно подерживая ее пальцами, чуть приподняв локоток, Лена сморщилась от внимания. И уже опуская трубку на стол, уронила со вздохом:

— Хорошо, я сейчас узнаю.

Умирал Николай, сын Лизы падал на фронте, Орехов старел в жестоком труде, морщины изрезали Лизу. Для чего? Не для того ли, чтобы этот ребенок с такой беспечной свободой сейчас двинулся в комнату? Поймет ли он свой долг перед ушедшими и теми, которые скоро уйдут? А может, все это вздор. Никто никому ничего не должен. Каждое поколение само расплачивается за ошибки и в своих же делах находит награду. И вытесняющие нас растущие, юные, в праве отказаться от всяких наследств, в праве вложить в мир новые поступки и замыслы наперекор нашим надеждам.

— Это тебя, — обернулась к Орехову девочка. Но я не пойму фамилии.

Она отстранилась от столика, как человек, выполнивший задание и знающий свое место.

— Я слушаю, — погрузил Орехов слова в черную чашечку трубки. И около уха запрыгал, лишенный тембра, измененный путешествием по проводам, окруженный гудением тока человеческий голос:

— Здравствуйте. Простите. Говорит Строганов. Дело в следующем...

III

Утро слагалось из последовательно возникавших звуков. Еще с закрытыми глазами Строганов узнавал виолончельные гулы трамваев. В квартире оживали то шлепающие, то шаркающие шаги. Знакомые шаги, вызывающие представление об определенных фигурах, лицах и голосах соседей. Постепенно к шагам присоединялись и голоса — отрывистые, простуженные, необщительные. Слова падали, как деревянные чурки. Они были сглажены, вытерты и обесформлены бытом.

— Пальто. Опоздаю. Калоши. Холодно. Лавка.

Одни произносились безразлично, другие выталкивались с ожесточением. Все они заскакивали в полусон Строганова и расставлялись в его голове, как надоевшая мебель. Он, всю жизнь возившийся со словами, инстинктивно пытался разместить их попригляднее. Напрасно.

— Самовар. Служба. Масло.

Строганов просил отсрочки у слов, вселяющихся сквозь стены и требующих от него осмотра, ремонта, починки.

Вода появлялась, как освобождение. Открывались краны на кухне; в ванной комнате нажимали на рукояти с шрифтом «холодная», «теплая». Вода обадала раковины, расшибалась о цинк, тарахтела в стенки кастрюль и чайников. Струи гремели резво и весело. Иногда Строганов различал мелкую дробь капель, словно штемпелюющих подставленный таз.

Затем звуки смешивались: раскатисто падает труба самовара, лязгая, отстегиваются дверные цепочки, звонок на парадном скрещи-

вает свои вибрации со звонком на черном, рушатся на пол охалпки дров, и два примуса, будто два фонтана, бьют в потолок прочным гудением.

Сколько наблюдений! Непочатые склады восприятий, ежеминутно пополняемые. Как разобраться в них, как закрепить изобилие жизни, загружающее органы чувств?

Строганов вскакивал и сразу оказывался перед окном. Комната выглядела сплошным подоконником, — так велико было это окно во всю стену и так мала площадь пола, присоединенного к стеклам. Во всю ширину окна расположилась Нева, еще зимняя, но уже побурелая, непрочная, будто напрягшая мускулы, чтобы двинуться с места.

Впрочем, дело не в напряжениях Невы.

Строганов обегал взглядом привычное хозяйство пейзажа, поднесенное к его лицу красноречивым, ничего не утаивающим окном, но думал он о вчерашнем. Вчера он был у Нины Петровны. И опять-таки дело не в Нине Петровне. Присутствие Нины Петровны не вызывается планом повествования. Мы посмотрим на Нину Петровну со стороны так же, как смотрел на нее Строганов. И он и мы позабудем ее впоследствии. Но теперь Строганов взволнован Ниной Петровной. Взволнуемся же и мы, и пусть бесполезная женщина, милая и случайная, своим непредвиденным появлением украсит эти страницы.

Такие женщины работают в трестах и посещают кино. С ними удобно танцевать и легко разговаривать. Их любят администраторы театров, к ним благосклонно начальство. Их яркие веселые платья расцвечивают комнаты учреждений. Лица в ровно обрезанной ткани волос обрызганы треском машинок, омыты шелестом важных бумаг, но тем не менее свежи и склонны к улыбке. Пусть им простится непритязательность мышления за то, что у зашедшего в рассудочный мир канцелярий они вызывают беспечные воспоминания о саде, балете и радуге.

Строганов больше чем кто бы то ни было чувствовал прелесть садов и радуг. В балете же он не бывал за отсутствием денег. У Нины Петровны он появлялся часто.

Маленькая квартирка была чиста и душиста. Блики электричества нарядно тонули в глубоких разводах красного дерева. Шелковый абажур плавал желтым матерчатым куполом. Нина Петровна чинно резала экзсы и поила гостей настоенным чаем.

Иногда на Нину Петровну Строганов негодовал. Как может в нашу эпоху сохраняться подобная обстановка? Почему подобная Нина Петровна смеет чувствовать себя хорошо? В злые минуты он видел матросов, вламывающихся из передней, слышал длинный звон хрустала, свергнутого на паркет, хрустенье распарываемого штыком шелка. Но Нина Петровна вполне в безопасности во все времена. Она не требовала ничего лишнего. Она инстинктивно любила себя, свое настоящее, настоящий бесхитростный мир, и вещи льнули к ее умелым рукам, для нее приспособленные и покорные.

В глубине души Нина Петровна полагала, что Строганов будет ее любовником. Но убеждение это не заставляло ее торопиться и не вызвало никаких беспокойств. Все образуется постепенно. От спешки в чем бы то ни было люди стареют. Какая же необходимость задумываться над тем, что рано или поздно осуществится самым уместным образом. Интересы к писаниям Строганова она не имела. Ей просто нравилось частое присутствие рядом белобрысого и беспокойного человека с несколько непоследовательными поступками.

Вчера счастливая освобожденность от творчества, ощущение доработанности рассказа неприметными путями перешло у Строганова в уверенность, что этим вечером он останется у Нины Петровны. Бессознательным волнением своей предпоследней, а может, последней, молодости Нина Петровна почувствовала, что, пожалуй, действительно время настало и предвиденный случай созрел. Она протянула Строганову теплую, может быть, несколько крупную руку. Пожатье было недолгим, но мягким. И чем-то неуловимым скользящее прикосновение ладони сказало Строганову, что их союз заключен.

Они разговаривали неумышленно тихими интонациями о совершеннейшем вздоре. И то, что сообщала она, и то, что произносил сам Строганов, доходило до его слуха освобожденным от последних признаков смысла. И все же в их голосах ощущался особый ритм. Как певец и певица в гастрольном спектакле, на разных языках они исполняли негромкий дуэт. Но настойчивый темп оркестра убедительно объединял чуждые друг другу слова в одинаковое переживание. Правда, оркестра здесь не было. Его заменял тягучий неслышный звон собственной крови.

Когда дуэт был закончен и фразы растаяли в воздухе, повинувшись тому же невидимому дирижеру, Строганов обнял Нину Петровну и поцеловал ее в губы. Нина Петровна не удивилась, не удивился и Строганов. Они поцеловались медленно, словно каждый прислушивался губами к губам другого. И опять Строганову показалось, что они на оперной сцене в плоских тенях декораций и тысячи притаившихся зрителей видят их из темного зала.

Нина Петровна встала, держа руки Строганова в своих. Потом отпустила Строганова и перешла в столовую. Там все было накрыто к чаю, и женщина внесла самовар. Они сели, разделенные небольшим овальным столом. Ровно освещенным овалом между ними лежала плотная белая скатерть. Белый чайник летал над столом; поворачивался витиеватый кран самовара, и напористая струя кипятка разбивалась о стенки чашек. Они сидели еще взволнованные, но чинные, помолодевшие, но неторопливые, будто насыщенные и удовлетворенные первым своим поцелуем.

Нина Петровна что-то рассказывала и улыбалась. Руки ее вспархивали и опускались на резные края хрустальных вазочек. Неизвестно откуда взявшийся глянцево-синий шарф оттенял золотистое платье.

Может быть, постоянная окруженность Нины Петровны полными и резкими красками больше всего привлекала Строганова. Глаз, измученный мелкими толпами букв на бумаге, требовал цвета, как тело требует пищи. А Нину Петровну любили цвета. Они горели в ее одежде, они обжились в убранстве ее квартиры. Верно, верно. О чем же она говорит? — Орехов, Орехов, Орехову...

— Я показываю Орехову протоколы, и он...

— Что? Какому Орехову?

— Вы все прослушали, милый.

— Орехов приехал?

Нина Петровна слегка удивилась. — Ну да, приехал, и нынче был у них в тресте.

— И я показывала ему протоколы, — повторила она настойчиво. Казалось бы, здесь и конец. Тема исчерпана, возможны другие темы. Да главное и не в темах, а в гибком ладе дуэта. И тут с природной своей музыкальностью Нина Петровна почувствовала, что дуэт оборвался. Строганов вдруг отодвинул стакан, преждевременно закурил и спросил почти умоляюще:

— Какой он из себя?

Ну, что за вопрос? Такой же, как на портретах. Голос, глаза? Но он же старик. Глаза, разумеется, есть, однако, разве упомнишь? И, право, что за анкета? Остановился в «Астории». Наверное? Да. Это ей говорили.

Строганов морщился — ну, поподробней, точнее. Ему бы представить Орехова в каждом его повороте, увидеть, как он вошел, поклонился, как прикоснулся к бумагам. Орехов и не подозревает, как жил им последние месяцы Строганов.

В холодном и длинном зале Публичной, вчитываясь в воспоминания Орехова, Строганов отставлял самого себя в сторону. Он вынимал из книги образ за образом. Вот Петербург, тот Петербург. Вот коренастый студент Орехов и рядом с ним Николай. Они расстались на Невском. Орехов идет заниматься в Публичную: Сердце Строганова начинает стучать. Он видит студента Орехова, несущего книги к столу. Приближаясь к Строганову, он растворяется в воздухе. А Николай? Николай, простившись с Ореховым, поворачивает на Михайловскую. Вглядываясь во встречных, подходит к ограде сквера.

Подходит к ограде сквера. И здесь, как и во многих других моментах, донимали Строганова неясности. Строя рассказ о Николае, стремясь оживить давние десятилетия, он справлялся, — так по крайней мере казалось ему, — с наружностью города, с окрасками неба, с нравами времени. Но как воссоздать утаенные мысли героев, скрытые вспышки решений? По одной случайно оставшейся в памяти окружающих фразе, как по узкой тропинке, пытался пробраться Строганов в настроение, в мозговую деятельность, в подспудную область, воли действующих персонажей. Иногда он сидел, отупев над безжалостно шелестевшей рукописью. Вскикивал, механически дви-

гался в комнате, сваливался на диван, прижимая к подушкам чужую, затяжелелую голову. И вдруг, не в этой каменной голове, а где-то вокруг нее загорался нечаянный свет. Будто в темную комнату вносили лампу. И жизнь описываемых людей делалась видимой до последних подробностей.

Несколько таких ламп, своевременно зажженных в воображении Строганова, помогли осуществиться рассказу. Случилось ли все так в действительности, как он представил в словах? Неизвестно. Но в вымысле было подобие правды. Правдоподобно герои сходились друг с другом, в правдоподобных улицах, под небом, похожим на настоящее. И можно ли требовать большего от нас, строителей речи? Мы не вынашиваем в головах людей из мяса и крови, но только вероятные облики и возможные формы.

Разумеется, Строганов знал, что подлинный Орехов проживает в Москве. Остыв от рассказа, вероятно, Строганов не взволновался, узнав о приезде Орехова. Но сейчас... Сколько раз Строганов переселялся весь внутрь Орехова и внутрь Николая. Он касался изнутри их обоюдного бытия так, как никогда не касался, никогда не проникнул своего. И вот этот выношенный им человек разговаривал с Ниной Петровной. С кем же, как не с ним должен беседовать Строганов? Кто же как не Орехов должен знать их совместный труд, их общую рукопись? Кто же уяснит ненайденные до конца переживания, неугаданные еще положения, как не это лицо, выступающее навстречу Строганову из недр истории, из напластований искусства?

Нина Петровна ожидала сегодня всего, но не ожидала ухода. Строганов одержимо прощался, выбалтывая извинения. Он не расслышал ладони Нины Петровны. Упущение следовало за упущением. Нина Петровна стала серьезной. Слышно было, как гость скатывался по ступеням к под'езду. Внизу раздался выстрел. Это хлопнула под'ездная дверь. Выстрел двери был точкой, кончавшей роман. Нина Петровна покачала головой.

Строганов, ежели напала такая охота, мог позвонить и от Нины Петровны. Нет, подобный телефонный разговор должен происходить в одиночестве. Он примыкал к ряду творческих актов, сложивших последний рассказ. Творить рядом с Ниной Петровной — какая бессмыслица!

Дома Строганов вынул рукопись из стола и расправил рукой листы. Аккуратная стопка листов, — сколько в ней спрессовано крови! Строганов мог бы стать членом правления треста, летчиком или полпредом в Кабуле. Из него вышел бы пьяница или рачительный семьянин. Чорт возьми! Мало ль на что годится его расторопное тело! Но эта стопка листов. Сухие пластинки бумаги. Они только кажутся легкими. На деле они перевесили все остальные возможности.

Он идет в коридор к телефону. Что-то крадущееся в его походке. Телефон означается в сумраке бронированной черной коробкой. Коробка молчит, скрывая свои способности. И, пожалуй, трубка дрожала в ладони Строганова.

— Дайте «Асторию».

Больше внимания к этим строгим, замкнутым в себе предметам. Простой телефон — корректный глянцевый ящик. Ясно ли мы представляем тревожную сеть проводов, перечертившую воздух? Слово летит по упругой струне. Еще не досказанное губами, оно рождается заново в чьей-то далекой квартире. Слова перепархивают из комнаты в комнату, пренебрегая пространством. И разве под дребезг звонка из полой воркующей трубки к нам не приходят любовь, огорчение, надежда? Нет, я люблю телефон — настенные маленькие ворота в мимоидущую жизнь.

Строганова соединили. Ему было странно. Казалось, проволока телефона заканчивается не в номере ленинградской гостиницы, а закинута в область воображения. Если там и есть нечто подобное комнате, то, вероятно, та комната давно снесенного дома, где обитали герои рассказа. Он попросил Орехова, но тем же тоном он мог позвать Николая. И когда раздалось «я слушаю», — Строганов не сразу ответил. Он стал на момент сплошным органом внимания, вбирающим каждую гласную собеседника. Начался значительнейший разговор. Кто из авторов объяснялся с персонажем собственной повести? Исключительный случай выпал на долю Строганова.

Начался незначительный разговор, так полагал сам Орехов. Ему назвали фамилию и назвали настойчиво, будто он должен в связи с ней что-то припомнить. Фамилия совсем неизвестна.

— Вы написали рассказ? При чем же тут я? Я последнее время не слежу за литературой. Что? О Николае Завадском?

«И о вас» — хотел было выкрикнуть Строганов.

— Я хочу... Мне необходимо, чтобы вы прочли, проверили... Вы знали Завадского... — задыхалась и булькала трубка.

Орехов провел ладонью по лбу.

— Тише, Лена, — сказал он разыгравшейся снова девочке.

Слово «Лена», похищенное телефоном, скользнуло навстречу Строганову.

Лена! Строганов поперхнулся. В рассказе этого имени не было. Лена, Лена! Имя сияло в его сознании. Оно не имело пристанища. Куда его опустить? Нужно найти ему место.

— Хорошо. Занесите рукопись в комендатуру. Я дам ответ послезавтра.

IV

«Я родился в семье небольшого чиновника. Ведомственные фуражки с кокардами на зеленых бархатных околышах, золотые пуговицы на судейских тужурках отца и его сослуживцев были первой романтикой детства. Я играл пуговицами, прохладными и выпуклыми, на лицевой стороне которых вырезан столбик с коронкой. Мы жили в городе на судоходной реке. Одно из ранних впечатлений — ожидание парохода ночью на пристани. Меня куда-то везли, может быть, на

дачу. Как сейчас помню черный, казавшийся мне огромным, двухэтажный дом на барже. Было удивительно подходить к дому по невидимым подгибающимся мосткам. В темноте легко оступиться, и мать вела меня за руку. Пахло рыбой, мокрым канатом и просмоленным деревом. Где-то сбоку, верно у берега, сочно и громко чмокнула вода. Я подошел к перилам баржи. Они находились на уровне моей головы. Привстав на цыпочки, я заглянул вперед. Моего лица коснулось сирое бесформенное пространство, лишенное очертаний. В нем заблудился шемящий и трепетный звук мандолины. Он, вибрируя, трогал мне сердце. На дощатой стене керосиновый фонарь едва освещал расписание парходов».

Кто этот «я», стоящий на пристани?

Орехов лежал в постели и, опираясь о высоко поднятые подушки, перелистывал рукопись. Он читал сквозь очки, и очки его сразу состарили. Белая рубашка выделила желтизну рук и лица. Шуршала бумага, поскрипывали пружины матраца. Стулья, столы, платяной шкаф словно примолкли и сжались.

«Я ненавидал гимназию, ненавидал тесные ящики парт, изрезанные перочинными ножами, запятнанные чернилами. Я ненавидал скрипящую речь латиниста. Меня тошнило от выцветшей рясы законоучителя, от веснучатых рук словесника с обкусанными ногтями. Плача, с необъяснимым упорством я внедрял себе в голову неправильные глаголы. Я был первым учеником от злости и от презрения. Если б спрятаться в классе после занятий, облить керосином кафедру и устроить пожар. План поджога я разработал с завидной точностью. Впрочем, я скоро узнал, что бороться надо иначе».

Тишина. Орехову захотелось пить. Он приподнял стакан с ночного столика и глубокими глотками отхлебнул половину. Описания возбудили его подозрительность. Начинала раздражать навязчивая яркость картин.

«Веснами нелегальный кружок учащихся сходился в саду на откосе. Внизу просторно светлела река. Крыши пристаней стояли у берега. Верхние палубы парходов белых и розовых обнажены до мельчайших подробностей. Гудки вводили свои голоса в обсуждение прокламаций. Моим другом был реалист Николай Завадский».

— Что? Так что это значит? Так я — это я, Орехов? Это моя прежняя жизнь? Ее искаженное отражение, перегруженное небылицами. Кто смеет превращать мою жизнь в зрелище, обряжать меня на свой лад? Да и все обстояло по-иному. Разве я должен помнить о каких-то гудках? Сад? Да, случалось встречаться и там. Важен ли мне этот сад? Чепуха.

Орехов поднялся и в одном белье захлопал туфлями по полу.

«Вечером на главной аллее пылили чиновники с тросточками, студенты, приехавшие из столицы, барышни в летних нарядах. Ресто-

ран горел изнутри, как сквозной деревянный фонарь. Вертявые звуки оркестра взлетали в теплое небо. На террасе гремели тарелки. В нижнем этаже сухо лопались удары бильярдных шаров. У фонаря колыхались мелкие сети мошек. Люди, деревья, беседки — все было захлабно-унылым, провинциально-самодовольным.

— Знаешь,— сказал Николай и тронул меня за локоть,— так больше нельзя. Я не могу. Это должно быть скоро. Иногда мне кажется,— это случится завтра.

— Что случится? — не понял я, развлеченный зрелищем сада.

— Революция».

Орехов смеялся. Он больше не был рассержен. Освоившись, он перестал удивляться. Тут все же затрачен известный труд. Из листиков там и сям высыпались словечки, фразы и мысли, которые он признавал за свои. Автор кропотливо ошупал все материалы. Почти педантично вовлек в сюжет письма, воспоминания, протоколы процесса. Но в целом работа излишня. Излишне перебирание прошлого. Вредно разглядывание старины. Даже в подобном случае, когда старина восстает в ореоле подпольной борьбы. Народная воля. Что от нее осталось теперь? Ничего не осталось. Чем были бы сейчас эти люди? На чьей стороне? Кто знает, кто знает. Индивидуальный террор... Савинков, Фанни Каплан... Кто знает.

Орехов ходил, стараясь поменьше шуметь. Не глядя, он огибал столы, стулья и кресла. Он трогал рукой бородку. Думая, он шевелил губами. Отдельные фразы проносились вслух.

— И вот — Николай. Да, да, да. Это тоже вопрос. Вопрос ли? Тот Николай, если бы он не изменился со временем. Но такие не склонны меняться. Такие, как пуля, летят напролом. А ну-ка, представим трезвее, трезвее. Тогда в генерала, не взвесив и не обдумав. Теперь бы, не взвесив, может быть, в Ленина, в любого, случилось бы, — и в меня. Его бы пришлось обезвредить.

Орехов стоял перед шкапом. Он говорил полным голосом, взмахивая руками. Лохматая тень на стене повторяла его движения. Шкап был заперт. Никто не подавал Орехову реплик.

— В этом все дело. Значит он умер во время. Вот откуда чувство досады, неодобрения, непонимания подвига Николая. Правда, тогда все выглядело другим. Отчасти тогда Николай смел так поступить. Но только отчасти, только в маленькой части был прав Николай. Ведь и тогда уже начинался новый период организованных действий. Николай торопился, не признавал диалектики. А диалектика мстит.

Все стало ясно Орехову. В первый раз все образы прошлого стали на место. В первый раз, в одном белье перед запертым шкафом, он договорился до конца с Николаем. Их отношения выяснились. Раньше не было времени, не было повода. Поводом оказался рассказ. Впрочем, Орехов забыл о поводе. Он был за тысячу верст от рассказа. Услышав собственный голос, Орехов опомнился и заковылял к постели.

— Мы антитеза Народной Воли. Препный герой сейчас нам кажется неудачником. Это надо прямо сказать... Особенно молодежи. Он шептал, закутываясь в одеяло.

— Диалектика... Деятнадцатый год. Расстрел за провоз мешка соли. В двадцать первом — соль продается свободно. Нет абсолютных оценок. Экономика... В каждый данный момент...

Мысли Орехова разошлись в разные стороны. Он выключил свет.

V

Рукопись лежала в комендатуре в одном из ящичков, где хранится корреспонденция обитателей дома. Строганов получил обратно знакомо свернутую бумагу, ничем не изменившую внешности. Ничто не свидетельствовало о пребывании ее в посторонних руках. Нигде не осталось карандашных пометок — признаков внимания, согласия или возражений читавшего. Казалось, кратковременная отлучка рукописи отнюдь не повлияла на ее судьбу.

А между тем, жизнь ее пресеклась. Она превратилась в склад мертвых букв, в коллекцию высохших образов. Руки наборщиков не будут сдвигать свинцовые литеры, воспроизводя ими причуды авторской речи. Поступки героев не отшрифтуются на полосах тонкой бумаги. Художник не обрядит книжку в обложку. Кто говорит о книге? В ящик стола, под спуд в чемодан, а лучше в печь эту связку умерших надежд.

Лучше б ей не рождаться совсем. Лучше б автор шатался по улицам, влюблялся бы, спорил с друзьями или служил бы в значительном тресте, садился бы в девять часов у стола канцелярии в сером костюмчике, в галстучке бантиком. Тут же работала б Нина Петровна.

— Доброе утро, Нина Петровна!

— Здравствуйте, как поживаете?

И оба с улыбкой брались бы разом за перья.

Злополучная склонность к писательству. Кто его подтолкнул на такую дорогу? Желал бы я видеть болвана, советующего заниматься поэзией. Но поразительнее всего, что никто не неволил, советчиков не было. Сам завяз. Чорт возьми! Где была моя голова?

Строганов неся со скоростью мотоциклетки. Конечная цель пробега ему самому неизвестна. Бескорыстное передвижение. Его окликали. Окликнул поэт, охранитель неких традиций, шныряющий по редакциям, потом поэт—разрушитель традиций, но также поденщик редакций.

— Довольно,— ругался Строганов,— с этой кастой ломак, тупиц, блюдолизов у меня покончены счета.

На углу возник драматург, на другом выюркнул критик. В перспективе всплывал чванный торс беллетриста. Наводнение гениев, парад самолюбий.

Чаша полна до краев. Строганов повернулся спиной к беллетристу, а лицом к деревянной раме, где были распластаны кадры из кинофильма.

Изображая на выхоленных лицах ужас, влюбленность, ревность, выхоленные фигурки в шегольских костюмах замерли друг перед другом. Женщины и мужчины были подчеркнута выразительны, преувеличенно благородны. Строганова заинтересовала судьба сухопарых экранных теней, и он поднялся в кино.

Зал пустовал, обнажая перед входящим угловатые ребра рядов. Отдельные посетители дневного сеанса терялись в излишнем количестве стульев. Кто эти неурочные потребители зрелищ? Безработные, прогульщики, неудачники, кустари-одиночки, угнетенные фининспектором? Люди, вышибленные из колеи, урывающие развлечение за дешевку. Впрочем, в зале преобладали стулья,— и они, а не люди, казались полноправными зрителями.

Строганов забрался в самую необитаемую часть зала. Загороженный армией деревянных спинок, он присел, чувствуя утомление.

Он устал. Два последние дня растянулись, будто сделанные из резины. Их вытянуло ожидание звонка Орехова. Но телефон игнорировал Строганова. Телефон беседовал только с соседями. За что подобная месь? Ощущение вины, раскаянье в неведомых промахах закрадывалось в сердце Строганова.

И что же? Именно в то время как Строганов вышел за хлебом, очевидно, именно в тот момент, когда Строганов ждал у прилавка, телефон нарушил молчание, задребезжал и Ореховским голосом вызвал поэта. Строганов чуть не выронил теплую, в розовой корочке, булку, когда узнал о случившемся по возвращении. Орехов просил передать, что рукопись в комендатуре. В страницах таилась записка:

«Уважаемый Строганов. Я не понимаю, зачем переделывать в рассказ материал, достаточно полно изложенный в архивных документах. Давний быт восстановить мудрено, да и восстанавливать его бесполезно. Современная жизнь — вот поле для беллетриста. Против печатанья этой работы я возражаю».

Лампы погасли. Кто-то сдернул свет со всей обстановки зала. Темно. Зато засветился экран и сразу придвинулся к лицам зрителей. Из холщевой глубины экрана летели кружочки, черточки, буквы. Они задерживались на беззвучной белой поверхности, перетасовывались и образовывали надпись:

«Журнал Совкино».

Откуда-то снизу навстречу значкам и буквам возник одинокий потерянный звук пианино. Присоединился второй. Целая свора дрожащих аккордов выпрыгнула в темноту, пытаясь собраться в беспомощный марш.

Архивные документы, воспоминания, письма. Вот они факты, непродуманно сшитые, механически обезличенные. Заседание в Большом театре. Рябь лиц, знамена, лишённые цвета, оратор, немо сокра-

щающий лицевые мускулы. И тотчас шеренги спортсменов, неправдоподобно взмахивая руками, наваливаются на передний план и пропадают за краем экрана. Их закрывают коленчатые машины, суставы стальных рычагов и блузы рабочих, следящих за стружками жести.

Вот они факты. Вы правы, товарищ Орехов. Союз с современностью, теснейший, кровный, братский союз. Факты ломятся в мозг и требуют имени. Но нужно же их связать, пронизать скрепляющей мыслью. Лыжный пробег профсоюзов. Да разве этим сказано все? Там были не только лезвия лыж, готовые разорвать теперь полог экрана. Там скрипел снег. Играло морозное солнце. Этот скользящий рабочий, кто он — токарь, литейщик? Эта девушка, чему она улыбнулась? Что они чувствовали, выкидывая тела вперед остроконечными палками? Что они думали раньше, еще пристегивая ремнями лыжи к ногам? Каковы их жилища, кого они любят, в каком родстве с революцией? Ведь все они — дети единого времени. Время, земля, история. Она говорит через нас. Мы — слова, ею сказанные.

Товарищ Орехов на открытии памятника Завадскому.

Строганов откинулся к спинке стула. Экран наступал на Строганова. На экране наклонно висела кучка людей. Ветер трепал простыню, прилипшую к бюсту. Простыня оползла, и залоснилась черная бронза. Старик со знакомым лицом, где-то виденный мельком. Старик разводит широкие руки и двигает челюстью. Речь его кажется гневной.

Картина сместилась. Орехов мелькнул со спины и спиной исчез с экрана. Спина, затылок, мягкая шляпа. Уходящая в недра вестибюля спина. Строганов вспомнил, — автомобиль, закат, стеклянная стенка вертушки.

— И между нами есть цепкая связь. Ты стоишь на натянутом полотне. Ветер расшибается о бронзовое лицо Николая. Я слушаю звон фортепиано. Время течет струйками тонких аккордов. Я пытаюсь понять его. Я должен найти себе место.

Мне не следовало обращаться к тебе за советом. Ты не мог ничего добавить словами. Но, задумываясь над твоей жизнью, отталкиваясь от нее, я учился понимать настоящее.

Строганов шептал, убеждая экранные призраки. К нему прислушивались обитые мраком стены. Черные ямы лож вбирали его слова. Стулья тесно окружали его, соглашаясь.

— А рассказ, возможно, и слаб. Разве дело в рассказах? Лишь бы окрепло зрение. Я привыкну смотреть в глаза современности.

Вспыхнувший свет расплывчато распространился вокруг. И сумрачное скопище образов, перед которыми исповедывался Строганов, мгновенно исчезло. Казалось, образы эти — умирающих стран, гражданских устройств, классовых столкновений — тоже проектировались в мозг Строганова стрекочущим киноаппаратом. Треск аппарата, похожий на щебет цикады, замолк. И зал, где Строганов созерцал воочью историю, снова оказался неприглядным, пустотным залом театра. Стекланные пузыри лампочек воткнуты в стены. Грязные гирлянды

пухлых и мутных роз намазаны под потолком. Все то же, все так же. Разве несколько новых прогульщиков сутуло засунули в кресла свои унылые туловища.

Строганов вышел на улицу.

Орехов укладывался к вечернему поезду. В кожаном чемодане по определенным углам распределились: никелевая мыльница, щетка для волос, футляр от очков, полотенце. На дне — аккуратные папки бумаг. Постановления центра, отчетные сводки трестов, проекты сооружений. Поездка прошла удачно.

Равномерно и трезво тратить себя. Быть пригодным и нужным. Успевать самому, торопить отстающих.

Надевая пальто, он почувствовал сердцебиение и застыл на минуте с поднятой рукой, непросунутой в рукав. Когда, наконец, рукав был натянут, он обернулся к Островской с таким посеревшим лицом, с углубившимися вдруг морщинами, с такими пустыми глазами, что Островская испугалась.

— Что с тобой? Ты нездоров? — она поддержала его за локоть.

Орехов присел, тяжело набирая в легкие воздух.

— Тебе нельзя ехать. Я позвоню в Москву.

Комната плавно покачивалась. Предметы вытягивались и сокращались. Орехов увидел перед собой двух стариков, притулившихся на диване. Зеркало отразило его и Лизу. Два старика.

Ему почему-то вспомнилось, что она значила для него, и захотелось сказать ей об этом. Но не было слов, до странности не было слов. Если б кто-нибудь мог увидеть его насквозь и сумел объяснить за него. Сдержанность, главное сдержанность.

— Пустяки, — бормотал бессвязно Орехов. — Я, верно, что-нибудь с'ел нехорошее.

Воздух еще жужжал в ушах, но сердце громко работало. Орехов поднялся на ноги. Они простились.

Сгорбившись, шел Орехов по красной дорожке, постеленной вдоль коридора.

— Жаль, я не видел Лены. Девочки не было дома.

Он тихо спустился по лестнице. В этот приезд все отношения его с людьми выяснились, развязались, закончились.

— Я не вернусь сюда никогда, — подумал Орехов. — Еще поработать немного. Пусть продолжают другие.

В проспект набился туман и закупорил перекрестки. В двух шагах трамваи расслаивались и испарялись. Только их разноцветные огни, грохоча, летели по воздуху. Строганов стоял на асфальтовом островке остановки. Лошадиные морды, экипажи, люди оформлялись вокруг и тотчас гибли в тумане. Строганов следил их расплывчатое продвижение. Он будто продолжался в прохожих, слышал их мысли и сочувствовал их огорчениям.

Кажется, Нина Петровна проявилась на фоне витрины. Кто-то ловко вел ее под руку. Строганов хотел поклониться. Влажный кузов автомобиля заслонил Нину Петровну. Нина Петровна исчезла. Автомобиль ворвался в туман, продираясь к вокзалу. Может, в нем уезжал Орехов.

Может быть... Я не знаю.

Два стихотворения

Н. ЗАРУДИН

I. ТЕНИ ОТ БУРАНА

Ни следа, ни птиц, ни бега...

Ветер дыму внемлет...

По степные крыши снегом
Завалило землю.

Город бледным светом полон,
Теплой снежной ленью,

И стоят сады над долом
Белою сиренью.

Не дыша, сгибаясь, — словно
Заяц из затишья.

Вот — узор лиловый ровно
На сугробе вышьет.

Тишь такая. Куст черемух
Будто здесь наломан

И навис безмолвным громом
Прямо перед домом.

Этот иней, эта крыша,
Мгла над проводами,

Эти ставни — дышат, дышат
Снегом и войсками.

Теплым ржаньем, долго спавшим,
Мягким утром рано,
Полушубком протоптавшим
Тени от бурана.

Что легли, овевя город,
Заметав все числа,

Шум постоя, дым и горы,
Плеск от коромысла.

Утро встало, утро тонет
В берегах округи,
В криках галок, в дальнем звоне,
Вымытом от вьюги.

Фронт пушист. На поле чистом
Солнце. Среди чада

Самоваров — жив лучистый
Запах снегопада.

II. ВДАЛИ НА РАВНИНАХ

— Все забудем! Кроме шага
В ту страну—к свободам!

Стихло все. Калитка с флагом
Звякнула походом.

Покачнул, провевя мимо
Блеском на равнинах,

Строй, морозный образ дыма
В гривах лошадиных —

Ветер фронта! Шум народа,
Миг — и драгоценный
Девятнадцатого года
Комиссар военный!

Вот и вышел — был недолог,
Обронил пред нами

Три шага со шпор веселых
Легкими цветками,

На снегу, — следы, солому,
Птичью даль и зданья,
Орудийный грохот тронув
Шагом расставанья.
...Где-то, где-то... на восходе,
Там — за командиром
Артиллерия проходит
Заметенным миром.
Вот — и луг под конским цокотом
Искрами блистает...

Обернешься: там далеко
Мирный дым витает.
И дремучий средь скворешен
Пар зимы развешен.
Этот иней, эти ставни
Были нам знакомы...
Как бывало, как недавно
Перед старым домом...
Распустилась пышность луга,
Затихала выюга.



Второй Интернационал в 1914 г.

Д. Заславский

В ночь с 21 на 22 февраля 1904 г. японская эскадра внезапно, без предупреждения, напала на гавань и рейд Порт-Артура и потопила несколько русских военных судов. Это было начало русско-японской войны. Захваченные врасплох, русские генералы оправдывались: они не знали, что готовится нападение... «Они не знали» — эта фраза стала клеймом на царской бюрократии и сыграла свою агитационную роль в подготовке первой русской революции.

Так, через десять лет врасплох был захвачен Второй Интернационал империалистической войной 1914 г. Реформистские вожди тоже «не знали». Прежде чем обнаружить предательство, бюрократия Второго Интернационала обнаружила поразительную в свете последовавших событий неподготовленность. Когда началась война, верхи Второго Интернационала сначала онемели. Но до этой немоты они обнаружили не случайную глухоту и слепоту. Они не знали, что готовится война, они не знали, что война может разыграться в Европе. И они облегчили империализму начало военных действий. Генералы прошли сквозь Второго Интернационала, не замечая его, не задерживаясь ни на минуту на возможном сопротивлении. Это было приятное разочарование для милитаристов всех стран, кроме, впрочем, царской России. Они ждали сопротивления со стороны рабочего класса и готовились к такому сопротивлению. Были в числе других мобилизационных списков и списки вождей и деятелей Второго Интернационала, подлежащих аресту. Однако, никого в Европе арестовывать не пришлось. И только в царской России, как необходимая подготовка к войне, была

проделана процедура закрытия рабочих печатни и ареста «подозрительных» охранке лиц. Да еще австрийская полиция, руководимая верным инстинктом, арестовала Ленина.

«Они не знали», потому что и не хотели знать. Картина растерянности реформистских вождей, многие из которых тогда числились в радикалах и непримиримых, поучительна и не потеряла до сих пор своей злободневности. Она раскрывает механику подготовки и начала империалистических войн. Первое условие военной операции — тайна и внезапность ее. Подготовляя нападение на рабочий класс, империализм старался соблюсти это условие. И это ему блестяще удалось. Рабочий класс не знал и не был подготовлен. Он был захвачен врасплох, и не сразу затем открылись его глаза. Его слишком хорошо убаюкивали и усыпляли перед войной, — так же убаюкивают и усыпляют и теперь, перед подготовкой новой империалистической войны, те же обанкротившиеся вожди Второго Интернационала. Впрочем, техника обмана рабочих масс за это время шагнула далеко вперед в числе других военнотехнических средств. Все во-первых научились за это время. Если пятнадцать лет тому назад бюрократия Второго Интернационала только «не знала», то теперь она знает очень хорошо о подготовке к новой империалистической войне и даже сама в этой подготовке участвует. Зато и рабочий класс, по крайней мере в авангарде своем, не находится в состоянии полусонного покоя.

* * *

Первое мая 1914 г. День мобилизации международного пролетариата, смотр его рядов, заострение его внимания на

самых важных вопросах текущего момента, призыв к его революционной тревоге и бдительности.

Накануне первого мая выходит очередная, так хорошо знакомая социал-демократам, в зеленой обложке еженедельная тетрадка «Ди нейе Цайт». Это теоретический орган германской социал-демократии. Он выходит под бессменной редакцией Карла Каутского, и еще прочно держится за ним репутация издатели ортодоксального марксизма. Правда, старое Каутского все больше тревожит оппозиция «слева», он сердито огрызается на болезненные укусы Розы Люксембург, он теряет беспристрастие, когда говорит о «большевиках». Но все же лавры первого хранителя основ марксизма еще украшают его розовую лысину.

Первомайский номер «Ди нейе Цайт» открывается статьей: «Первомайские социально-политические размышления». Статья не подписана. Это редакционная передовая. О чем же размышляет руководящий орган не только германской социал-демократии, а — смело можно сказать — всего Второго Интернационала накануне первого мая 1914 г., за три месяца до мировой войны?

Сначала историческая часть. Как раз в 1914 г. исполнилось двадцать пять лет со дня установления первомайского праздника пролетариата. Какие основные пролетарские лозунги связаны с этим днем? Международный мир и восьмичасовой рабочий день. «Смотря по тому, каково общее положение, выступает на первый план то одна, то другая сторона первомайского дня». Какую сторону рекомендуется выдвинуть в 1914 г.? Вот дословный ответ:

«В прошлом году, когда еще бушевала военная буря на Балканах и на политическом горизонте вставала угроза мировой войны, первое мая само собой превратилось в день присяги международному миру. В Германии это одновременно был день демонстративного протеста против нового бремени, возложенного на германский народ милитаризмом. Но в настоящий момент мы не видим над Европой никаких грозных туч, из которых в ближайшее время могла бы блеснуть ослепительная

молния войны. И поэтому взоры демонстрантов в майский день сами собой обращаются к социально-политическим требованиям момента. Их формула — восемь часов труда! восемь часов отдыха! восемь часов сна!».

И далее на трех страницах идут рассуждения с точки зрения физиологической, почему важен именно восьмичасовой рабочий день. И ни одного слова больше в статье о милитаризме, войне, даже ни одного слова о классовой борьбе, о характерных ее особенностях именно в этом году... Таковы были мысли, таковы были настроения руководящего органа Второго Интернационала накануне мировой войны. «О пользе здорового сна» — так надо было по-настоящему озаглавить эту статью. Под ясным, безоблачным небом, в совершенном спокойствии, ничем и никем не тревожимый Второй Интернационал напевал рабочему классу колыбельную песню. И это именно было нужно империализму всех стран, — будущей Антанте так же, как тройственному союзу.

«Они не знали», что готовится война, что там, где они видели синее небо, в действительности обложен тяжелыми тучами весь горизонт, и уже погромы хивают первые раскаты. Как раз в те дни, когда писалась эта колыбельная песня Каутским или его подручным, в полной тайне впервые собирались на совещание представители французского, английского и русского генеральных штабов. На совещании был выработан план общей кампании. Теперь это уже не секрет, об этом рассказывает достаточно подробно Грей в своих мемуарах, и он не скрывает, что это совещание, о котором, конечно, немедленно узнали в Германии, было одним из непосредственных толчков к войне. Буржуазная печать в Германии забила тревогу, в английском парламенте был сделан запрос, и Грей с полным сознанием своего государственного долга солгал, что никаких совещаний не было и нет военного соглашения между тремя империалистическими державами. Теперь Грей говорит, что он солгал, и за грех это не считает. Но по-настоящему поверили ему только социал-демократы,

которые никакой тревоги не проявили и продолжали доверчиво смотреть на синее небо и на мирное империалистическое солнышко.

В феврале 1914 г. петербургская «Биржовка» напечатала провокаторскую статью генерала Сухомлинова «Мы готовы, готова ли Франция?». А в Австрии приготовления к войне почти и не скрывались. На австрийских социал-демократах лежала особо тяжелая ответственность. Они находились на самом опасном участке империалистического фронта. Но первомайский номер журнала «Дер Кампф» в качестве руководящей поместил статью Отто Бауэра «Корни абсолютизма». Статья начинается так: «Первомайский парад рабочих масс должен быть протестом против абсолютизма, демонстрацией за конституцию, за парламент. Никаких законов, никаких налогов, ни одного рекрута без согласия свободно избранного парламента, — таково главное требование нынешнего первого мая».

И затем во всей статье ни одного слова о милитаризме, о военной угрозе, о внешней политике австрийской монархии, о международных задачах пролетариата. Все внимание приковано к своим домашним австрийским делам, да еще к какому, — к кропотливой возне вокруг воюющего, давно разложившегося парламента, утратившего всякое влияние на внутреннюю и внешнюю политическую жизнь. Трудно представить себе более крайнее выражение парламентского кретинизма, трудно теперь поверить, что такая статья могла быть написана одним из виднейших теоретиков Второго Интернационала накануне мировой войны. «Они не знали». Да и не могли они знать по совершенной куриной своей слепоте, по полной утрате политического чутья, по полной и не случайной оторванности от важнейших проблем международной политики.

И в этом смысле несравненно ближе к жизни был орган откровенного реформизма, журнал тех «социал-демократов», которые уже давно открестились от марксизма и не претендовали на звание революционеров. Первомайская книжка журнала «Социалистиче Мо-

натсгефте» напечатала статью Людвига Квесселя «Парламентаризм и империализм». Вот уж где ничего не было скрыто и почти все точки поставлены на и. В противоположность «марксистам» из «Нейе Цайт» реформисты из бернштейнового дома идейной терпимости в день первого мая не замалчивали империализма и вопроса о войне. Напротив, они старались привлечь внимание рабочего класса к этой проблеме. Они ставили ее прямо, в упор. Они говорили: да, империализм не может быть и не должен быть чужд рабочему классу. Он сам по себе не реакционное, а прогрессивное явление. Германский пролетариат в частности заинтересован в расширении сферы влияния германского капитала. Он не может просто отворачиваться от колоний, протекторатов, сфер влияния и т. п. Но империализм должен быть не бюрократическим, а демократическим, парламентарным. И цели своей он должен достигать не военными средствами, а мирным путем. В задачах германские реформисты вполне сходились с империалистами. Не соглашались только в выборе средств, но естественно не могли уж так строго относиться и к чисто империалистическим средствам захвата, грабежа и насилия. В день первого мая реформисты выдвигали перед пролетариатом задачу, по выражению Квесселя, «пацифистского империализма». Это был пацифистский фиговый листочек, который реформисты надеялись только для приличия на циничскую наготу империализма.

Первый же день войны показал, что не марксисты из «Ди Нейе Цайт», а реформисты из «Социалистиче Монатсгефте» выражали подлинную сущность Второго Интернационала. И то, что в 1914 г. казалось мнением только ревизионистской оппозиции, формального меньшинства, было в действительности мнением руководящего большинства, а теперь, после войны, стало официальной программой восстановленного Второго Интернационала.

Первое мая прошло в Европе гладко, традиционно-ровно, без особого воодушевления и вообще без особых примет.

За вычетом царской России, где массовое выступление рабочего класса в обстановке белого террора было само по себе революционным актом, где оно после полюсы упадки и реакции свидетельствовало о чрезвычайном нарастании революционного подъема, в прочих странах рабочие мирно выходили на разрешенные демонстрации, слушали в собраниях 'за стаканом пива первомайские речи и «Интернационал», выполняемый в числе других номеров музыкальной программы.

Сейчас же после первого мая французский пролетариат вступил в парламентскую избирательную борьбу. Одним из основных пунктов социалистической платформы был протест против зводимой во Франции трехлетней военной службы. Уже тогда было известно, что лишний год воинской повинности навязан Франции под сильнейшим давлением царской России, что увеличение таким путем кадров французской армии германский милитаризм рассматривает, как прямую угрозу для себя, и отвечает усилением своей армии. Французская социалистическая партия собрала 1.400.000 голосов и получила 102 места в парламенте. Это была победа. О том, в какой поистине теллический восторг привела эта парламентская победа меньшевиков, свидетельствует корреспонденция о выборах в петербургском журнале Троцкого «Борьба». 1914 год останется надолго в памяти французского пролетариата. Впервые социалистическая партия... выставила своих кандидатов во всех избирательных округах, числом 420... Буржуазные партии дрогнули перед сплоченным натиском социалистической партии, уступив ей многие важнейшие свои боевые позиции. «Какой поистине воинственный тон для столь мирного дела! О том, как французская буржуазия уступала свои боевые позиции, показали события, которые развернулись всего через два с лишком месяца после этой «победы» рабочего класса. Однако, социалистическая партия на выборах показала, что рабочий класс прислушивается к ее голосу, что он не доверяет буржуазии, что его можно мобилизовать для отпора, если пробудить в нем подлинно революционную трево-

гу. Но именно этого-то и не было. И хотя одним из основных пунктов платформы была борьба против милитаризма, но велась она так, что никакой подготовки пролетариата к близкой войне фактически не было. И никакие поэтому «боевые позиции» буржуазии не были отвоеваны.

У верхов Второго Интернационала было, впрочем, искреннее убеждение, что они ведут войну с милитаризмом. В венском журнале «Дер Кампф» Эдуард Вальян напечатал статью «Выборы в Франции». Он подчеркивал, что борьба на выборах велась вокруг милитаризма, и заканчивал статью такими словами:

«Мы взяли на себя обязательства в этой борьбе. Мы вели ее со всей страстью. Мы будем продолжать эту борьбу до окончательной победы. С твердой уверенностью в этом мы идем в августе 1914 г. на международный социалистический конгресс в Вене. Мы там будем совещаться вместе с нашими друзьями по Интернационалу, и прежде всего с нашими германскими и австрийскими товарищами, ведущими такой удивительный поход против войны, мы будем совещаться о том, как нам еще лучше вооружиться в войне против войны и за мир народов».

Русские меньшевики поддакивали и писали о том, какое огромное значение имеет парламентская победа французских социалистов для предотвращения военной империалистической угрозы. «И для русского пролетариата, — писала «Борьба», — победа французских братьев имеет первостепенное значение: французское правительство остережется поддерживать воинственные авантюры русской дипломатии».

Но переписка русской дипломатии с французским правительством в значительной своей части опубликована. И вы нигде не встретите страхов русской или французской дипломатии перед парламентскими успехами французских социалистов. Генералы делали свое дело, не задерживаясь вниманием на словесных угрозах деятелей Второго Интернационала. «Он пугает, а мне не страшно» — мог бы сказать французский военный министр о Вайяне, повторяя слова Толстого о Андрееве. Никто

не сомневался в том, что французские социалисты не хотят войны, как не хотят ее и социалисты других стран. Но социалисты всех стран не знали, что делать им в это время войны и не верили всерьез в возможность войны. Жорес больше чем кто-либо другой из вождей Второго Интернационала выступал против войны, громил милитаризм, стоял по-своему на страже мира. Но все это звучало пустым словом, потому что не было в этом подлинной тревоги, не было сознания, что война стоит не за горами, а за плечами, и не было представления о том, что делать рабочему классу и его вождям в том случае, если война все-таки начнется, вопреки всем словесным заклинаниям и бурным словесным протестам. Хорошо знавший Жореса М. Павлович (Вельтман) писал о нем сейчас же после его убийства:

«Жорес ни на минуту не мог допустить мысли о возможности европейской войны и всеми силами своего существа гнал от себя эту мысль»¹⁾.

Но гнал от себя мысль о войне не только Жорес. Гнали почти все вожди Второго Интернационала. Это был не пацифизм. Это была мелкобуржуазная боязнь исторического пространства, боязнь революционных решений, к которым обязывала реальная близость войны, боязнь расстаться с тем покоем, который создавался десятилетиями мирной обстановки. Гнали от себя мысль потому, что мысль о войне влекла за собой необходимость радикально поставить и решить вопрос о том, что делать в случае империалистической войны.

В конце августа должен был состояться десятый международный социалистический конгресс. Местом для него была избрана Вена. В порядке дня стоял вопрос о войне, но уж в том, как он был поставлен, видна была реформистски-пацифистская тенденция. «Империализм и третейский суд» — так гласит третий пункт порядка дня. Докладчики: Кейр-Гарди, Гаазе, Жорес, Флиген (Голландия и Дания). Любопытно, что ни по этому вопросу, ни по какому-либо другому из поставленных на кон-

грессе не было русских докладчиков. Второй Интернационал все еще сверху вниз посматривал на социал-демократов России.

Рабочий класс был настроен совсем не так благодушно, как вожди. Всеобщая забастовка в Италии за полтора месяца перед войной показала, что рабочий класс мог быть мобилизован для борьбы против империализма и что представил бы он собой такую внушительную силу, которая, возможно, оказалась бы более действительной, чем дипломатическая возня в последние минуты.

Забастовка в Италии началась с манифестаций против дисциплинарных батальонов и против военщины. Поводом к этому послужил процесс двух солдат, осужденных за антимилиитаристскую агитацию. Пользуясь днем конституции 7 июня, рабочие устраивали открытые митинги, на которых протестовали против империалистической политики правительства, против колониальных захватов (Триполи), против дисциплинарных батальонов. Митинги были запрещены, в Анконе при разгоне большого собрания произошла стычка между рабочими и жандармами, двое рабочих были убиты, один умер от ран, десять были ранены. На следующий день Всеобщая Конфедерация Труда объявила всеобщую забастовку, к ней присоединилась социалистическая партия. Железнодорожное движение прекратилось почти по всей стране, приостановились все заводы. Движение сразу переросло рамки простого протеста. Демонстрации рабочих сопровождалось столкновениями с полицией и войсками. В ряде городов (Анкона, Неаполь, Рим, Флоренция, Турин, Парма, Милан, Бар и др.) столкновения носили кровавый характер. В Турине и Флоренции строились баррикады, в Анконе народ громил оружейные магазины, обезоруживал офицеров. Около Болоньи была сделана попытка взорвать динамитом мост. В Романье власть фактически перешла в руки рабочих. Вместе с тем начала организоваться для вооруженной борьбы буржуазия. Лавочники и

¹⁾ М. Павлович, «Смерть Жореса», стр. 27.

буржуазная студенческая молодежь образовала вооруженные дружины. Полиция оказывала им содействие. В Риме и Милане были избиты социалистические депутаты, разгромлены рабочие газеты... Огонь гражданской войны грозил охватить всю страну. Это напугало вождей, которые совсем не собирались заходить так далеко. Всеобщая Конфедерация Труда вместе с социалистической партией объявили забастовку законченной. Не всюду рабочие подчинились этому призыву вождей. В Неаполе, Милане и Анконе забастовка продолжалась. Точно так же революционный комитет в Романье, успевший провозгласить республику, сместить местные власти, реквизировать запасы хлеба, продолжал свою деятельность и сложил полномочия только после того как выслан был против него сильный отряд войск. Буржуазия жаждала крови восставших, и генерал Гальярди, начальник карательной экспедиции, был смещен за то, что вошел в переговоры с революционным комитетом и покончил дело без кровопролития.

Подумать только, что такое великодушное выступление рабочих имело место накануне войны! А ведь оно не было случайно, не было изолированным явлением. В царской России лето 1914 г. было также временем бурных стачек, переходивших уже в уличные выступления и баррикадные бои. Горючий материал накапливался всюду в Европе. В Германии рабочий класс был немало возбужден так называемыми цабернскими событиями, произволом высших военных чинов и насилиями над штатскими. По этому поводу много шумела печать, но социал-демократы не использовали этого случая для мобилизации рабочего класса против военщины. В Англии высшие офицерские круги выступили против правительства в ульстерском вопросе. Они заявили, что не пойдут усмирять активных контрреволюционеров, выступивших с оружием в руках против автономии Ирландии. Британская социалистическая партия опубликовала тогда в «Дэйли Геральд» манифест, в котором солдаты призывались следовать примеру офицеров в том случае, если

правительство призовет их «стрелять по стачечникам. Манифест заканчивался словами: «Ваши офицеры показали вам, что значит классовая солидарность. Организуйтесь же, чтобы в свою очередь заявить, когда день наступит: мы отказываемся стрелять!».

Все это были отдельные случаи, которые могла бы очень хорошо использовать революционная рабочая партия, знающая, что готовится империалистическая война. Но вожди «не знали». Они ограничивались словами, подчас весьма радикальными. Однако, за словами была уверенность, что война никогда не произойдет. Несмотря на то, что летом 1914 г. множилось признаки обострения в международных отношениях и военные маневры в Австрии (в июне в Боснии) носили вызывающий характер (во всяком случае, они были так приняты милитаристской печатью Франции и России),—в социалистических кругах царило благодушие.

Июньская книжка «Ди нейе Цайт», впрочем, открылась статьей под заглавием «Долой оружие!». Это звучит довольно грозно. Но посвящена статья не милитаристам, уже вооружавшимся лихорадочно, а только что скончавшейся старушке, баронессе Берте фон-Зуттнер, написавшей некогда благочестивый пацифистский роман под таким именно заглавием: «Долой оружие!». Старушка была, что называется, божий цветочек, в политике ничего не понимала, но жалостливо и достаточно бездарно расписала ужасы войны. Она затем много хлопотала по делам всеобщего мира, уговаривала королей и министров отказаться от войны и померла с сознанием исполненного долга. Центральный теоретический орган германской социал-демократической партии счел нужным посвятить недалекой женщине передовую статью. Он воздал должное ее «благородному сердцу», но дружески упрекнул за непонимание того, что причины войн коренятся тлупокою в экономике общества. Журнал убедительно доказывал своему читателю, что бесполезно адресоваться к «разуму» правителей там, где речь идет о классовых интересах. Журнал жалел

бедную старушку. Всю жизнь преследовали ее разочарования. Она последовательно связывала свои надежды на разоружение с разными монархами и президентами, начиная от Николая второго и кончая Вудро Вильсоном.

Статья заканчивалась такими словами: «За пацифизмом Берты Зуттнер была благородная и добрая душа. Это, может быть, и очень приятно и привлекательно. Но за социалистическим пацифизмом стоят миллионы возбужденных голов и сжатых кулаков. И это обеспечивает победу».

Социалистический пацифизм — вот знамя германской социал-демократии накануне войны. Перед статьей выставлена дата: 27 июня 1914 г. На другой день после того как была написана эта статья в Сараеве прозвучал выстрел Принципа. Германской социал-демократии предстояло по крайней мере продемонстрировать те «сжатые кулаки», которые, по ее мнению, обеспечивают победу. Лозунг «Долой оружие!», обращенный к империалистам, хотя и был адресован покойной баронессе, попал бы как раз к стати. «Долой оружие!» — это могло прозвучать достаточно внушительно — пусть бы только как манифестация «социалистического пацифизма».

Мы привыкли к фразе: мировая война началась с выстрела в Сараеве. Но между выстрелом в Сараеве и началом войны прошло больше месяца. Чем был заполнен этот промежуток? Что делал Второй Интернационал именно в эти дни, когда так ясно было, что война стоит уже у порога?

Но это совсем не было ясно для вождей Второго Интернационала. Для генеральных штабов не оставалось уж сомнений в том, что война будет, к этому шли на всех парах, дипломаты вели лихорадочную переписку. Но от народа это тщательно скрывалось — во всех странах скрывалось. Вожди Второго Интернационала попрежнему были уверены, что грозу пронесет стороной, как не раз уже проносило. «Форвертс» 3 июля так рисовал ближайшие пер-

спективы¹⁾: «Выстрелы в Сараеве привлекли в столицу Боснии целые стаи полицейских и сыщиков. Усердно допрашивают, арестовывают и следят, чтобы раскрыть великосербский заговор, жертвой которого, якобы, пал эрцгерцог и его супруга. Затем процесс, злоумышленники повешены, — и страна почувствует железную руку венских властителей».

В политической обстановке как-будто бы ничего не изменилось. В баварской палате депутатов 8 июля обсуждался военный бюджет. Социал-демократы, как обычно, голосовали против него. За два дня до этого кайзер уехал в плавание по Северному морю. В Киле он посетил верфи, и «Форвертс» писал с удовлетворением: «...Когда кайзер проходил мимо рабочих, они стояли с шапками на головах и держали руки в карманах. Это производило на кайзера явно неприятное впечатление». Это говорит о том, что рабочие были весьма далеки от патриотического настроения, и социалистической партии не трудно было бы в это время раскрыть глаза рабочим на происходящую империалистическую подготовку войны. Но «Форвертс» тешился республиканскими настроениями рабочих и не видел нужды в мобилизации пролетарского внимания вокруг войны.

Германская и австрийская буржуазная печать открывает бешеную кампанию против Сербии. Это идеологическая подготовка к объявлению войны. Генеральные штабы уже стоят за спиной буржуазных журналистов и водят их перьями. Происходит пролог к военным действиям: разжигание страстей печатью. Газеты стараются посеять недоверие к Франции и России. Пускаются в обращение всякие слухи о подготовке к войне у противника. «Форвертс» держится еще самостоятельно. 12 июля он пишет: «...пусть «непоколебимы» оба правительства (Австрия и Германия), но пролетарии Германии и Австрии объединены желанием мира. Их солидарность по меньшей мере так же прочна, как и солидарность правителей. Пролетариат обеих стран все

1) Выдержки из «Форвертса», «Юманите», «Арбейтер Пейтунг» подобраны т. т. Манюковым, Рингбергом и Родионовым.

«еще думает, что «исторические задачи» Австрии не стоят ни одной капли крови». На следующий день еще энергичнее: «...немецкий народ хочет мира и дружбы с Францией... Он отобьет во время охоты у грабителей, расчленивающих на ненависть к соседней стране».

Но это все слова, слова, слова... А где же те «сжатые кулаки» пролетариата, которые еще недавно обещала германская социал-демократия, как гарантию мира? «Отобьет во-время... Но время-то идет!

13 июля начинается паника на берлинской бирже. Иностранные бумаги летят вниз. Немецкие спекулянты стараются сбыть акции Канадойской ж. д. И в это же время во Франции распространяется слух о том, что оборона границ недостаточно обеспечена, что армия плохо снабжена и т. п. Это сразу создает во Франции патристическую тревогу, и оппозиция против трехлетней военной службы «молкает». Шовинистическая печать терроризирует общественное мнение мелкой буржуазии. 16 июля венгерский премьер граф Тисса произносит в венгерском парламенте речь, в которой расклевывает карты австрийского правительства. Он говорит о войне как о последнем и наиболее действительном средстве отстоять «справедливые требования» народа. Конечно, война—явление прискорбное, но «каждое государство и каждый народ должны быть способны и готовы к войне, если они желают существовать как государство и как народ».

Яснее сказать нельзя. В эти дни происходит съезд французской социалистической партии. В порядке дня вопрос о войне. Из Германии на съезд приезжают Карл Либкнехт и Георг Вейль. Их бурно приветствуют. Председатель Ренодель говорит: «...Мы счастливы тем, что среди нас находятся те, кто нанес наиболее сильный удар германскому империализму». Вейль указывает в своей речи, что франко-германское сближение — это основной вопрос международной европейской политики. Ему отвечает Брук Гласье: «Когда исчезнут противоречия между Францией и Германией, то мир всех народов станет действительностью». Оратор про-

возглашает: «Да здравствует Германия! Не Германия юнкеров, милитаристов и капиталистов, а Германия демократическая и социалистическая!». Зал бурно аплодирует... Это очень хорошо, но что же делать сейчас, когда война на носу? Об этом не говорят. Прения по вопросу о войне имеют в виду не ту опасность, которая уже надвинулась и стоит у дверей, а ту будущую, неизвестную войну, которой займется в августе венский конгресс. Жорес и Вальян предлагают в случае объявления той будущей войны ответить всеобщей стачкой. Конгресс после прений с этим соглашается. Предложение о стачке против войны поддерживает и присутствующий на конгрессе Кейр-Гарди. Прения по этому вопросу свидетельствуют во всяком случае о повышенной возбудимости конгресса и о сознании, что от слов надо перейти к делу.

Но в это настроение конгресса вливается другая струя. Мы уж говорили, что с замечательной ловкостью буржуазия пускает в это время слух о военной неподготовленности Франции к обороне. Печать бьет тревогу. Патристическая паника охватывает публику и передается социалистическому конгрессу. Жорес в своей речи громит одновременно империалистов за подготовку войны и свое правительство за плохую подготовку. В интернационалистах просыпаются патристы. Они только что бурно аплодировали Либкнехту и сейчас аплодируют оратору, который требует усиления обороны границ. Международная стачка против войны—это очень хорошо, но при условии равенства военных сил... Таков смысл неписанной поправки к резолюции о всеобщей международной стачке.

Конгресс расходится очень довольный собой, в уверенности, что много сделано для борьбы с военной опасностью. Через пять дней мир узнает об австрийском ультиматуме Сербии. Грей хлопочет о конференции дипломатов, зная, что она бесполезна: ни Германия, ни Россия на нее не идут. Генералы всех стран отдадут надлежащие приказания. За кулисами идут уси-

ленным темпом приготовления, необходимые для превращения Европы в театр военных действий. Что делает рабочий класс? Слушает своих вождей. Они красноречивы. Жорес в «Юманите» грозно предостерегает,—его статья 24 июля так и озаглавлена: «Предостережение».

«Царь будет очень неосмотрителен, если даст разразиться европейской войне. Крайне неосмотрительна будет и австро-венгерская монархия, если, уступив слепому бешенству своей клерикальной военной партии, она создаст непоправимые между собой и Сербией отношения... Почва минирована, если произойдет вспышка войны, будет много обвалов».

Германская социал-демократия ответила на австрийскую ноту манифестом центрального комитета. В нем, между прочим, было сказано: «...Ни одна капля крови немецкого солдата не должна быть принесена в жертву тщеславию австрийских властителей и жадности империалистических эксплуататоров германского солдата. Товарищи, мы зовем вас на массовые собрания, чтобы заявить на них непоколебимую волю сознательного пролетариата к сохранению мира. Наступил серьезный час, более серьезный, чем какой-либо другой за последние десятилетия. Промедление опасно! Угрожает мировая война! Господствующие классы, которые во время мира угнетают, презирают и эксплуатируют вас, теперь используют вас, как пушечное мясо! Отовсюду должен доноситься до ушей властителей крик: мы не желаем войны! Долой войну! Да здравствует международное братство народов!».

Массовые собрания были назначены на воскресенье 2 августа. Они опоздали ровно на один день. Германская социал-демократия полетала, что генералы любезно согласятся подождать с мобилизацией, пока не развернет своих сил пролетариат. «Промедление опасно!»—истерически кричала германская социал-демократия—и не трогалась с места.

А в это время австрийские социал-демократы, которым предстояло сказать первое определенное слово по вопросу о войне, уже сложили оружие

«социалистического пацифизма». Социалистические депутаты Австрии заявляли 25 июля: «Мы снимаем с себя всякую ответственность за эту войну... Мы торжественно клянемся в верности культурной работе международного социализма, которому мы остаемся преданы в жизни и верны до самой смерти».

«Форвертс» еще стоит на социалистических позициях. Он пророчесствует и угрожает. 25 июля в Баварии при осуждении железнодорожного бюджета министр путей сообщения фон-Зейдлиц провозглашает: «Австрия сейчас переживает тяжелое время... Мы желаем нашему другу Австрии, чтобы она вышла из навязанной борьбы победоносно». «Форвертс» по этому поводу говорит: «Эта демонстрация германского министра за войну просто чудовищна в настоящий момент. Баварский и весь германский народ очень скоро ответят на эти зажигательные речи».

Эти угрозы, не подкрепленные никакими действиями, не оказывают ни малейшего впечатления на империалистов. Австро-Венгрия объявляет войну Сербии 28 июля, и на другой день становится известно о мобилизации русской армии в четырех округах. Угрозы в «Форвертсе» сменяются жалобным воплем и вдохновенными пророчествами. Статья в номере от 28 июля называется «Ужасное».

«...Глубокий смысл того ужасного, что нас гнетет: производительные силы бунтуют против производственных отношений. Капиталистическая анархия ломает колоссальным взрывом свои формы. Старый мир готовится к смерти!.. И немецкие рабочие,—если бы приказ о мобилизации действительно разлетелся по жилищам,—осознали бы мировое значение момента: в огне и убийстве сумерки богов буржуазного общества!».

В этот же день «Форвертс» пишет: «...не царизм представляет наибольшую военную опасность, а следующая пагубным советам Австрии».

И все же за всеми этими словами бьется мыслишка, что война не произойдет, что империалистам удастся столбоваться, что разум министров возьмет верх над классовыми страстями

ми буржуазии. 28 и 29 июля происходят в Германии митинги, и вот что подмечает в «Юманите» корреспондент-наблюдатель: «...атмосфера не так уж напряжена, как можно бы думать... Идея войны кажется большинству населения настолько чудовищной, что европейская война кажется невероятной, несмотря на тревожные известия из Австрии. С другой стороны, я отметил, что выступление России вызвало бы движение, противоположное тому, что мы наблюдаем теперь». Патристическая стихия, раздуваемая буржуазной печатью, уже захлестывала пролетариат. Марксисты бессильно барахтались, еще повторяя марксистские слова, обманывая и рабочих и себя, но уже не в состоянии были противопоставить «грабителям» рабочих со «сжатыми кулаками».

Грейк 29 июля уже потерял всякую надежду на возможность созвать конференцию дипломатов. Маски сбрасывались всеми правительствами. И в это время социалисты Второго Интернационала решили созвать международное социалистическое бюро в Брюсселе. Оно собралось 29 июля. Из Франции приехали Жорес и Вальян, из Германии—Гаазе. Но за день до заседания бюро французские социалисты во главе с Гедом, Жоресом, Эрве заявили среди кучи самых громких слов о том, что «французское правительство искренне желают устранить или смягчить возможный конфликт». Это именно то, чего и требовала от своих социалистов в данный момент французская буржуазия. Еще не благословив формально войну, французские социалисты уже выступали адвокатами своей империалистической буржуазии. Бюро заседало, были хорошие разговоры, но принято было решение, которое теперь звучит юмористически. На 9 августа решено было созвать международный социалистический конгресс в Париже. Опереточные карабинеры всегда приходят поздно, в этом их комическая роль. И Второй Интернационал, величественно ожидавший в шуме и грохоте мобилизаций своего собора через две недели, уподобился этим карабинерам из оперетки. Впрочем, карабинеры Второго Интернационала не были

так просты. Одновременно с заседанием социалистического бюро в Брюсселе происходило тайное совещание в германском генеральном штабе с представителями германской социал-демократии. Генералы справлялись заблаговременно, как будут держать себя вожди после объявления войны, и получили вполне успокоительный ответ. Со своей стороны и французские социалисты находились в это время в тесных отношениях со своим правительством, которое их наддувало самым бесцеремонным образом.

На воскресенье 2 августа назначена в Берлине демонстрация против войны. Но накануне 31 июля в ответ на общую мобилизацию в России Германия предъявляет ультиматум России и Франции. Полиция запрещает и манифестации и митинги. В Париже буржуазия убийством Жореса бросает вызов социалистам: попробуйте выступать против войны!

Патристическая паника окончательно захлестывает Второй Интернационал. Последние остатки марксизма тонут в шовинистической шумихе. В обращении своем 1 авг. президиум германской социал-демократической партии еще сваливает вину за свое бездействие на внешние условия. Он проповедует рабочим «терпение». Он предостерегает против всяких выступлений. «Опрометчивость, бесплодные и ложнопонятые жертвы в этот момент принесут вред не только отдельному лицу, но и нашему делу». В этот день «Форвертс» еще шепчет что-то о верности социализму. «Само собой разумеется, наши убеждения и принципиальная позиция остаются неизменными». Но уже ни слова об империалистическом характере войны, о грабителях капитализма, о гибели старого мира.

Еще один день, и неуверенный лепет сменяется уверенными патристическими словами. Второй Интернационал нашел себя. Распались организационные связи, чтобы освободить мечтая по обе стороны границ. Эрве предлагает свои услуги военному министерству. Похороны Жореса превращаются в позорную манифестацию «национального единства». Германские социал-демократы голосуют за военные

кредиты, и одиноко звучит голос Либкнехта. «Форвертс» и «Юманите» становятся обыкновенными буржуазными листками и усердно распространяют известия о «зверствах» противника, сфабрикованные по единому для всех стран военному образцу. Теоретики Второго Интернационала послушно воспринимают из генерального штаба теорию «последней войны» и «борьбы с деспотизмом». Свободные места в штабе заполняются социалистами каждой страны по-своему. Французы пишут о германском деспотизме кайзера, немцы—о деспотизме русского ца-

ря. Все марксистское прошлое идет на смажку.

Генералы всех стран удовлетворенно констатируют, что возня с социалистами, предусмотренная во всех планах мобилизации, заняла гораздо меньше времени, чем это предполагалось. Вопреки мнению Каутского, Второй Интернационал был орудием не только мирного времени. Он оказался и весьма подходящим для империалистов орудием времени непосредственной подготовки войны и мобилизации.

Он превосходно выполнил задачу, на него возложенную: усыпление рабочих масс.

И. И. Степанов как историк-публицист

(К годовщине смерти)

Г. БЕШКИН

«Жизнь требует, чтобы мы теперь же, пока исторические события не завершились, пока перелом еще не закончен, уяснили себе смысл этих событий, чтобы мы внесли в свои действия всю сознательность, какая только возможна в данный момент»¹⁾ — писал покойный тов. Степанов в разгаре первой русской революции. Подчеркивая всю трудность «хладнокровного» отношения «к делу» со стороны активного деятеля революции, он считал, однако, насущнейшей задачей революционера ставить теоретические проблемы революции и в период ее бурного развития, практического выступления рабоче-крестьянских масс, сохраняя характернейшую черту профессионала - революционера - большевика, для которого задолго до первой революции был решен вопрос о том, что «без революционной теории не может быть революционного движения» (Ленин). Большинство исторических статей, заметок и работ И. И. вытекали из тех основных проблем, которые выдвигала история перед рабочим классом, когда каждый тактический шаг должен намечаться в связи с строго марксистским учетом классового соотношения сил, анализом, порой молекулярным, экономических и политических движений, позволявших научно предвидеть выступления явных врагов революции, неустойчивых ее сторонников и рабочих

масс. Редко кто из публицистов враждебного большевизму лагеря возвышался поэтому до такой высоты научно-теоретического анализа событий, какой мы находим в публицистических статьях т. Степанова. Первая революция, пробудившая к общественной и политической жизни самые разнообразные слои населения, подняла на гребне своей волны многочисленную плеяду литераторов-публицистов. Создавался ряд «беспартийных» и «прогрессивных органов» без определенной программы, с туманными политическими очертаниями, отражавшими неустойчивость широких мелкобуржуазных, городских обывательских слоев, — эта пресса видела свою задачу в увеличении тиража газет посредством удовлетворения массы своих читателей бульварной сенсацией. Традиции демократических публицистов середины XIX века, глубокая принципиальность их, неподкупность, сочетавшаяся с преданностью широким слоям трудящихся, была чужда всем этим «прогрессивным» и «беспартийным» публицистам.

Капитал подчинил себе и область литературного производства, но, превращая литератора в своего наемного раба, создавал здесь наиболее отталкивающие формы капиталистических отношений. После поражения революции, в годы затишья и реакции, эти тенденции как будто обнаруживали еще большую живучесть в атмосфере того идейного маразма и гниения, ко-

¹⁾ И. Степанов. «Из истории феодального класса». «Новая жизнь» 1925 г., ноябрь.

торые свили себе гнезда в период пессимизма и ухода от революции мелкобуржуазных ее попутчиков. Сенсация и сплетня были альфой и омегой этой публицистики; скользя по поверхности исторических событий, они жадно захватывали «закулисные» факты, щекоча ими животные инстинкты любопытного обывателя.

Обнаружившиеся к этому времени расхождения в большевистской фракции между богостроителями, отзовистами и ленинцами дали бульварной прессе, в частности «прогрессивному» «Утру России», новую пищу. Публика оповещалась о «решительных разногласиях» внутри социал-демократии о том, что «Горький отлучен от социал-демократии» и т. д.

В связи с этим И. И. помещает статью в издававшемся в 1909 г. «Вестнике Труда» под заглавием «Капитал и газеты»¹⁾. Указывая на наживу как характерный признак капитализма, И. И. дает блестящую характеристику литературных нравов духовных рабов капитала, не брезгающих никаким товаром,—ведь капиталу безразличен объект производства—товар,—лишь бы он давал прибыль.

Пролетарий, продавая рабочую силу, «сохраняет свою душу и не торгует убеждениями», ибо не их он выносит на рынок, «писатель же, который позволяет капиталу подчинить свою душу, становится не пролетарием, а жалким рабом». Указывая на традиции Белинского, называвшего себя «умственным пролетарием», тов. Степанов подчеркивает, что хотя «неистовый Виссарий» и работал на скупщика Краевского, редактора «Отечественных Записок», последний заведывал, однако, хозяйственной частью, а «пролетарий определял литературную сторону», и никто не смел посягать на его убеждения. «Прогрессивные» литераторы «Утра России» и других «беспартийных» органов, как небо от земли, удалены от традиций Белинского; их писания «не политическая литература, а болтовня на политические темы; и даже не столько на

политические темы, сколько вокруг да около, по поводу и для политических тем». «Под видом политики новая газета больше всего пичкает обывателя политической сплетней, как, впрочем, и театр и литература для нее прежде всего предлог для сплетни литературной и театральной. Но и такая политика—просто приложение к пустым беседам с разными деятелями, к портретам собак и борцов. Новая газета не выражение «прогрессивно-политической мысли», а прогрессивного политического разврата». Когда этим литераторам указывали на то, как протитуировали они свою профессию, они чувствовали себя «мучениками убеждений», ибо они, дескать, желают шире распространять свои прогрессивные газеты, а читатель темен и некультурен и требует от газеты сплетен и скоморошества.

Подчиняя сфере своих отношений литературное производство, капитализм выступает здесь в виде покупателя совести и души литератора, воскрешая феодально-крепостнические бытовые элементы, которым И. И. дает резкую характеристику. Литераторы бульварной прессы—«это преемники тех шугов, героев и скоморохов, тех приживальщиков, сплетников и богачей, которые в крепостные времена приживали при крупных барских усадьбах. Только в старину они должны были потешать помещиков, а в 80-х годах потешали их лакеев и замоскворецких купчих. Только в старину они получали остатки с барского стола и пудик мучки из барских амбаров. Теперь все это устроено по-другому: издатель собирает деньги от розницы и подписки и расплачивается с балаганщиками построчным и помесичным гонораром. Помещичьи приживалки развлекали господ, копаясь в личной жизни соседей, наушничая на крестьян, рассказывая вперемежку о кровавых убийствах, рождениях двойней и тройней, двухголовых и трехголовых телят. Переходя из дома в дом, от благодетелей к благодетелям, они были газетами, живыми «листками» своего времени. Но стоит просмотреть содержание новейших «листочков», и придется признать, что капитал соз-

¹⁾ Эта статья и большинство цитируемых собраны в сборнике «И. Степанов. От революции к революции». Под ред. Г. Бешкина. Изд. 1925 год.

дает из газеты приживальщиков для своей публики»¹⁾.

При чтке мною этой статьи покойный И. И. заметил, что, к сожалению, остатки этих нравов продолжают иногда свое существование даже и в советской прессе, не говоря уже о том, что подавляющая часть западно-европейской и американской прессы с ее «газетными королями» создает чудовищную вакханалию литературных рабов капитала.

Тов. Степанов выступил в печати как революционер, большевик, унаследовавший лучшие традиции литературных нравов «шестидесятников» — Чернышевского и др., но вооруженный громадным опытом мирового пролетарского движения и его революционной теории — марксизмом. Экономист, переводчик и редактор «Капитала» и др. экономических работ Маркса, И. И. проявляет интерес к различным областям общественных наук и естествознания, сохраняя традиции лучших литераторов старой «Искры». Проблемы философии, религии, политической экономии, истории западного рабочего движения, русской революции и электрификации советской страны, — таков диапазон литературных интересов И. И. В какой бы области он ни выступал, каждая строка дышит революционной страстью и глубочайшей верой в дело рабочего класса, — отсюда сила и глубина его публицистических выступлений, из которых почти каждое являлось научно-литературным событием большевистской партии. Первые литературные выступления И. И. были связаны с основными вопросами русской революции, с проблемой ее движущих сил. Примкнув к большевистской постановке вопроса, И. И. развивает и пропагандирует взгляды Ленина на проблему гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции. Весною 1905 г. в ряде лекций, читанных в Москве, в Серпухове и Подольске, И. И. ставит перед собою задачу выяснения исторических корней революционной работы либерализма. Основной меньшевистский тезис о гегемонии буржуазии

в демократической буржуазной революции И. И. подвергает методологической критике. В статьях, напечатанных в «Новой Жизни», он старается выяснить специфические условия, в которых протекает первая революция. Механическое перенесение анализа классической буржуазной революции 1789 года и событий 1848 года на русскую почву, без учета исторического своеобразия русской буржуазной революции, столь характерное для меньшевизма, тов. Степанов в корне отвергает. Он подчеркивает, что если бы в революции шла речь лишь о борьбе двух сил — феодально-полицейской и буржуазной, — анализ событий не представлял бы такой сложности, какая выявляется при изучении русской революции, где на сцену выступает ряд промежуточных слоев и классов, где пролетариат составляет крупнейшую революционную силу к моменту буржуазно-демократической революции. В такой обстановке содействие русской революции далеко не исчерпывается простой открытой борьбой между феодальным и буржуазным обществом, ибо выступление рабочего класса и широких слоев крестьянства создает перегруппировку борющихся сил, придает особый характер демократической революции, делаящий ее прологом социалистической.

В противовес меньшевистским панегирикам либеральной буржуазии И. И. указывает, что даже в классической буржуазной революции 1789 г. либерализм не являлся наиболее радикальной демократической силой, — эта роль переходила к революционному крылу мелкой буржуазии, осуществлявшей «плебейскую расправу» со старым порядком. Якобинцы объективно осуществляют и воплощают тенденции буржуазной революции, но очистку страны от феодализма осуществляли таким радикальным способом, какой буржуазия субъективно, как класс, не могла принять. Таким образом, уже в 1789 г. обнаруживается внутреннее диалектическое противоречие между тенденцией буржуазной революции, носителем которой являлась буржуазия, и осуществлением наиболее широкого размаха этой революции, который

¹⁾ «И. Степанов. От революции к революции». Стр. 209.

Обеспечивался выступлениями на арене революции более демократических слоев мелкой буржуазии. Это противоречие еще нагляднее обнаруживается в революции 1848 года в Германии, где либерализм представлял явную линию компромисса со старым порядком, увлекая за собой и значительные слои мелкой буржуазии. Но держится ли старый режим в России «голым насилием», как выражается И. И. Степанов? Анализируя конституитивные признаки феодального сословия и буржуазного строя, И. И. указывает, что если «феодальное общество нашло себе олицетворение мрачной пародии мрачного герцога Альбы в генерале от полиции Трепове», — то «Фигаро-Витте» является приказником буржуазного класса. Анализ феодального способа производства обнаруживает две основных черты: во-первых, вся хозяйственная жизнь строится здесь на принудительном труде, во-вторых, экономические явления оцениваются с потребительской точки зрения, — отсюда паразитическая психология феодализма¹⁾, «свободные» отношения в капиталистическом способе производства, оценка хозяйственных явлений с количественной стороны, необходимость строго рационального учета факторов производства делают «бухгалтерскую книгу и счета» символом капиталистического способа производства.

Реформа 1861 года, хотя и не полно, все же выразила тенденцию к трансформации феодального общества в буржуазное. Таким образом, уже к эпохе крестьянской реформы «определение нашего правительства, как дворянско-крепостнического, было бы неверно». «Уже тогда носителями государственной власти были не чистые крепостники, а дворяне, втянутые в капиталистический оборот, вынужденные считаться с требованиями буржуазного развития, в известной степени обуржуазившиеся помещики» (подчеркнуто И. С.)²⁾.

М. Н. Покровский видит корни урезанной реформы 1861 года в компро-

миссе между торговым капитализмом и изродившимся промышленным капитализмом. Торговый капитализм являлся у нас par excellence носителем юнкерских элементов, поддерживавших и сохранявших крепостнические тенденции в экономике и политике страны. Русский промышленный капитал в силу ряда исторических условий не рвал с политическим строем, воплощавшим прежде всего интересы торгового капитала с русским абсолютизмом. Не подвергая специально анализу классовую сущность русского самодержавия, И. И. Степанов констатирует, однако, переплетение интересов русского промышленного капитала с дворянско-крепостническими элементами. Это переплетение не создает, однако, механического соединения элементов промышленного капитала и феодализма, а образует, с одной стороны, тип обуржуазившегося дворянина-помещика, приспособляющегося к капиталистическому способу производства, с другой — буржуа, паразитически приспособляющегося к остаткам феодальных отношений. Живучесть мелкобуржуазных форм производства в земледелии создает возможность сохранения в деревне элементов принудительности, если не прямо, то косвенно, в виде кабальной аренды, ссуды под отработку и т. д.; таким образом, создаются элементы юнкерства; дворянин-помещик не просто трансформируется в чистого буржуа-предпринимателя, а паразитически приспособляется к новому способу производства. Отношения помещика-буржуа к мелкому производителю не принимают тогда формы «экспроприации» и уничтожения до-капиталистических форм производства, а, наоборот, консервирование этих форм, создающих возможность не капиталистической эксплуатации, является линией наименьшего сопротивления для помещика-буржуа, не обладающего к тому же достаточными капиталами для постановки дела на чисто капиталистический образец.

Другая часть дворянства находит себе место в чисто капиталистических отношениях, и ее психика настраивается на капиталистический лад. «Во-

¹⁾ См. И. Степанов «Из истории феодального класса».

²⁾ «Классовая основа политических партий», И. Степанов, сб. «Зарницы», 1907 г.

обще говоря, ничто не бросает более яркого света на корни либерализма дворянских собраний в отдельных губерниях, чем статистические данные о мобилизации дворянского землевладения¹⁾. Третья часть дворянства, не выполняющая никаких функций, выбитая из колеи экономической жизни, приспособляется к самодержавному государственному аппарату: ее психика из потребительской становится паразитической, — эта служилая часть дворянства персонафицирует феодальные традиции и является самой реакционной частью общества.

Но, если феодальное сословие подточено экономическим развитием, утратило немалую часть своих элементов, то возникает вопрос: «Как же держался полицейский режим до настоящего времени, и существуют ли силы, которые сознательно поддерживают его?» — спрашивает И. И. Он подчеркивает, что остатки крепостнических элементов свили себе «дворянские гнезда» не только в области сельского хозяйства, но наложили отпечаток на характер русского промышленного капитализма, где весьма сильны элементы своеобразного промышленного юнкерства, а характернейшим его признаком здесь являются методы первоначального капиталистического накопления. Впоследствии И. И. вносит поправку к этим взглядам, считая возможным констатировать наличие методов первоначального накопления на высшей ступени капиталистического развития в эпоху империализма.

Итак, «среди феодального класса существуют группы, которые уже в значительной степени обуржуазились. К ним примыкают те группы буржуазного класса, которые паразитически, не капиталистически приспособляются к капиталистическим отношениям феодально - полицейского государства (вспомним, например, поставщиков казны). Двойственности их экономического положения соответствует двойственность политической позиции». Эти слои стоят за кажущуюся уступку буржуазному обществу, за совещательное учреждение, но со-

словно организованное. Определяя «октябристскую» буржуазию как ту часть промышленной буржуазии, которой более всего присущи традиции первоначального накопления, традиции торгового капитала, которая связана с особыми монопольными условиями рынка, часто искусственно создаваемого правительственными заказами, — И. И. ставит проблему русского протекционизма, тепличным растением которого являлся русский капитализм вообще.

В вышедшем в январе 1906 года большевистском сборнике «Текущий момент» тов. Степанов поместил статью «О свободе конкуренции»¹⁾. Пестрота политических партий, фракций и кружков, на которые разделяются дворянство и буржуазия, объясняются, по мнению автора статьи, многочисленными способами использования капиталистических отношений. И. И. опровергает меньшевистскую оценку революционной силы либеральной буржуазии, отказываясь от идеи органической связи между политическими требованиями свободы и экономическими тенденциями промышленного капитализма. Действительная «свобода промышленности» — лишь тенденция, ибо, если одна часть буржуазии пользуется кредитом пониженным по сравнению с рыночным уровнем, если отдельным группам недоступен вексельный кредит, если ограничивается свобода передвижения капитала, — то нарушается формальное равенство, составлявшее содержание деклараций «вечных, неотчуждаемых прав», выдвинутых капитализмом в эпоху его классического развития. «Крепостнический» режим по самому своему существу не есть чисто феодальный, дворянский институт с точки зрения тов. Степанова; он понимает его как режим обуржуазившихся дворян, который может быть противопоставлен чисто буржуазному самодержавию, как первичная стадия капиталистических отношений вообще — более высокой ступени ее развития: «это обыкновенно забывают и потому по временам ждут от буржуазии вообще

¹⁾ И. С. «Из истории феодального класса».

¹⁾ Перепечатано в сборнике «От революции к революции».

едва ли не «революционных» поступков и во всяком случае стойкой принципиальной «оппозиционности»¹⁾.

Продолжая этот анализ, И. И. ставит вопрос о генезисе крепостнических элементов, присущих буржуазии на определенной ступени промышленного развития. Он связывает наличие элементов не только с особыми историческими условиями, в которых развивается промышленный капитализм той или иной страны, а самой сущностью внутреннего противоречия «свободной» капиталистической промышленности, образующейся не на основе единой монолитной тенденции, но на глубоко противоречивой тенденции, в которой крепостнические моменты постоянно сочетаются с элементами промышленной «свободы». Особенность исторических условий лишь обнаруживает ту или другую сторону этой тенденции, приводя в одном случае к «юнкерскому» капитализму, в другом — к преобладанию фритредерских элементов. И. И. показывает, что история капитализма, даже в эпоху своего классического развития, не знает наличия только одной стороны указанной тенденции, но постоянно обнаруживает внутреннее переплетение обеих противоречивых сторон тенденции капиталистического развития. Противоречивость капиталистического развития коренится в двойственном положении интересов отдельного предпринимателя, с одной стороны, и класса буржуазии в целом; количественное изменение переходит здесь в качественное.

«У буржуа, взятого в отдельности, нет никаких особых стимулов для того, чтобы требовать свободы промышленности, напротив, совершеннейшим из миров он признал бы такой, в котором ему принадлежит исключительная привилегия, монопольное право на производство»²⁾, — отсюда ост-индские компании, исключительные привилегии капиталу, королевские пожалования и т. д., устраняющие для покровительствуемых опасность конкуренции. Однако, в каждом завоевании капиталистического способа производ-

ства возрастает количество обойденных врагов монополии, пока, наконец, для массы предпринимателей она неизбежно не разрастется в борьбу против монополии за свободу промышленности: «победителями выходят капиталистически - приспособленные, а не субъекты, которых силы внешние для собственно-капиталистических отношений с самого начала поставили в исключительно выгодное положение». Создаются группы буржуазии, выживающие благодаря «внешним силам». Внекапиталистическая эксплуатация обнаруживает близкое родство с методами первоначального накопления, охраняемыми и поддерживаемыми феодально - полицейским строем; чисто капиталистические формы эксплуатации переплетаются с элементами феодального насилия. «Тамозненные пошрины, — говорит И. И., — это не покровительство капиталистической промышленности, а некапиталистическая защита капиталистически неадаптированных предпринимателей». Этим создается тормоз для развития производительных сил, охраняются элементы капиталистического гниения, увеличивающиеся на новом этапе капиталистического развития, его империалистической стадии, когда рост монополии воскрешает на высшей ступени методы первоначального накопления. Последние соображения развивались тов. Степановым накануне империалистической войны. В первой революции он боролся с меньшевистской легендой о глубокой прогрессивности либеральной буржуазии, отражавшей, якобы, исключительно черты чисто капиталистического промышленного развития. И. И. в корне отвергает идеи бернштейнцев о том, как-будто буржуазия из «робко»-революционной становится реакционной под влиянием самостоятельных выступлений рабочего класса; такие взгляды прямехонько ведут к формуловке Бернштейна, к тому, что «не следует запугивать буржуазию»; поэтому И. И. борется против взглядов некоторой части большевиков, видящих в измене буржуазии причины пораже-

¹⁾ «Классовая основа политических партий» — см. сборник.

²⁾ И. С. «О свободе конкуренции».

ния первой революции. Однако, «раз государственное банкротство грозит сделать невозможным паразитическое приспособление капиталистов к феодальному государству, приходится помышлять о создании общих условий капиталистического способа производства. Буржуазия начинает фрондировать, выдвигает требование либеральных реформ»¹⁾. Это в особенности относится к тем группам буржуазии, которые более связаны с свободными рыночными условиями, у которых тенденция промышленного свободного развития выступает ярче; в моменты перехода от методов первоначального накопления к развитым формам капиталистического развития эти слои, иногда, правда, довольно робко, готовы поддержать требование ликвидации феодальных пережитков, тормозящих процесс образования внутреннего рынка, слабое развитие которого она сильнее ощущает, чем те группы буржуазии, которые связаны с монопольными государственными заказами. Однако, и эти слои не идут на решительный штурм абсолютизма, который своей армией и таможенной политикой охраняет внешний и внутренний рынок от иностранного конкурента. Если русское самодержавие держало «в руках кошелек буржуазии», по выражению М. Покровского, то оно всегда имело возможность вызвать к жизни паразитические инстинкты буржуазии, особенно в тех случаях, когда кошелек пополнялся внешними займами у иностранного капитала. Самостоятельное выступление рабочего класса не было поэтому причиной революционной робости русской буржуазии, но на известных этапах революционного развития,—особенно тогда, когда выступления широких слоев трудящихся под руководством пролетариата создавали угрозу ее господству,—становилась более сговорчивой при политических торгах с царским самодержавием, жертвуя теми политическими условиями, при которых возможно свободное капиталистическое развитие. Пролетариат становится тогда гегемоном буржуазно-демократической революции,

осуществляемой в союзе с широчайшими массами крестьянства; этот союз обеспечивает наиболее радикальный размах демократической революции, создающей в свою очередь максимально благоприятные условия для перерастания этой революции в социалистическую. Борьба между пролетариатом и буржуазией уже на первой ступени революции превращается в борьбу за руководство широкими слоями трудящихся и, в первую очередь, крестьянских масс.

Если очистка страны от крепостнических элементов, прежде всего в деревне, создает максимально благоприятные условия для развития капитализма, то в чем же корень того обстоятельства, что русская буржуазия не могла выставить радикальной аграрной программы? Здесь лежит основная причина робости русского либерализма; тов. Степанов и ставит эту проблему в полемике с крупнейшим «светилом» аграрного вопроса кадетской партии Герценштейном в статье, озаглавленной «Конфискация или выкуп», помещенной в большевистском сборнике «Вопросы Дня»¹⁾ (1906 год). И. И. показывает, что принцип отчуждения земли по «справедливой рыночной оценке» исходит у кадетов не из средней доходности капитала в стране, чего, казалось, требовала логика чисто капиталистической точки зрения, а фактической доходности. Тогда помещик А., который использовал земельную нужду крестьян и организовал в своем имении кабатное хозяйство, получал за свои организаторские труды доход 10 рублей 50 коп. с десятины. Но это не будет для данной местности «справедливая» «нормальная» доходность: «нормально» и «справедливо» лишь то, что вытекает из чисто капиталистических отношений, не осложненных никакими «феодальными» или «кабатными» элементами и «придатками»²⁾ — избочивает И. И., непоседовательного либерального буржуа. Всякая защита землевладельческих прав есть неизбежно защита старого режима,— пояснял И. И. Гер-

¹⁾ «О свободе конкуренции».

¹⁾ См. «От революции к революции», стр. 87.

²⁾ Ibid.

ценштейну. Последний ссылался на... Маркса, цитируя то место, где говорится о возможности откупиться «от всей этой «банды» (т. е. крупных собственников). И. И. указывает, что Маркс ставит вопрос не о реальной возможности, а о том, «если бы можно было откупиться от этой банды». Такая возможность становится еще более проблематической для социалистической революции. Если социализм реализуется не во всех странах одновременно, — пишет И. И., — выкуп в странах, ранее перешедших к социализму, может принять форму «Икс пудов золота»; не следует забывать, что это писалось за 11 лет до того, как эта проблема реально встала перед победившим пролетариатом в России. Когда Герценштейн указывает, что конфискация будет означать экспроприацию мелких собственников землевладельцев, И. И. отвечает: «Когда развитие капитализма сравнивают с шествием колесницы Джаггернаута, это вовсе не фраза. Все эти современные дома, современные магазины, современные трамваи, современные фабрики, — все это воздвигнуто действительно на костях представителей ремесленных форм жизни; все это своим развитием разрушало существование мелких и средних собственников и многих десятков и сотен тысяч людей, связанных с ними источниками своей жизни. Слезы и кровь вызывает всякий шаг на пути капиталистического развития, всякое техническое завоевание. Капитализм тысячи жизней, действительно, как колесница Джаггернаута»¹⁾. Однако, землевладение задолжено, — рассуждает Герценштейн, — иногда до 60—75 проц. своего имени, и конфискация ударила бы по владельцам закладных листов, которые понесут большие потери, чем собственники имений. И. И. констатирует, что только благодаря «юридическому утопизму» кадетского теоретика последний может делать вывод в пользу отказа от конфискации, оставляя миллионы крестьянства в полукрепостной кабале. Закладывание помещичьих имений,

ссуды их под залог, переплетало интересы капиталистической банкокртии с крупным землевладением; что же касается мелкой земельной собственности, то напомним, что при обсуждении аграрной программы II съезда Плеханов отстаивал «выкуп» части земель, перепроданных из рук в руки; возражая Плеханову, Ленин выступал против «выкупа», заявляя, что судебным порядком могут разрешаться эти гражданские иски; демократический суд должен обеспечивать здесь максимальную беспристрастность. И. И. указывал Герценштейну, что кадеты отказались от «национализации», земли, которую либералы выдвигали за 8—9 лет до первой революции.

«Конфискацию крупного землевладения может осуществить только крестьянство, — писал И. И., — оно может рассчитывать при этом на самую энергичную поддержку сознательного пролетариата, с задачами которого вполне совпадают современные стремления подавляющей массы крестьянства»¹⁾.

Кадеты, говорящие об отчуждении и выкупе, исходят из поражения революции; но без напора революционных сил действительно принудительное отчуждение немислимо, — говорит И. И.: «Тогда возможна или какая-нибудь «внутренняя колонизация» по образцу прусской в ост-эльбских провинциях, или известное расширение деятельности крестьянского банка». Следует помнить, что это писалось до Столыпинского указа 9-го ноября, однако, эта цитата показывает, что в большевистской среде уже тогда намечались возможности прусско-юнкерского пути и американски-фермерского типа аграрного развития; второй путь связывался большевиками с демократической победой пролетариата и крестьянства. И. И. выступает против оппортунистического лозунга «захватного права», этого родственника меньшевистского «революционного самоуправления» и философии: «революция только снизу». Мелко-буржуазная психика захватов от случая к случаю отражает мелкобуржуазное бытие, не выходящее за рамки околицы; не связывая частные

¹⁾ См. сборник «От революции к революции», стр. 95.

¹⁾ Ibid. Стр. 99.

захваты с всеобщими задачами революции, отказываясь подчинять им отдельные явления, концентрировать внимание на основной стратегической линии уничтожения самодержавия, «теоретики» захватного права «являются оппортунистами самой чистой воды». Октябристы, кадеты, меньшевики сознательно или бессознательно объективно играли роль фактора, толкавшего страну на прусски-юнкерский тип развития. Большевики, руководя широкими слоями демократического крестьянства, боролись в первой революции за американский тип эволюции, связывая его победу с максимально демократическим размахом, обеспечивавшим возможность ее диалектического перерастания в революцию социалистическую.

На основе такого экономического анализа И. И. дает характеристику борющихся партий в революции 1905 года.

В первые недели II государственной думы И. И. в брошюре «Деятельность II государственной думы» помещает статью под заглавием «Классовая основа политических партий»¹⁾, в которой ставит ряд тактических проблем, связанных с деятельностью социал-демократической партии в русском парламенте. И. И. изучает прежде всего вопрос о политической линии самодержавного правительства, указывая, что термин «правительство дворян», «крепостников-помещиков» правилен лишь в смысле характеристики личного состава, ибо уже с 19 февраля 1861 года Россия пережила эру буржуазных реформ и крепостническое сословие старалось сочетать феодальные способы эксплуатации с капиталистическими преимущественно методами присвоения. Поэтому самодержавие вносит ряд буржуазных элементов в свою деятельность; чистокровные феодалы «также изолированы в современном обществе, как были изолированы в египетском обществе египетские фараоны своим особым семейственным правом» — замечает И. И.; поэтому эта группа воплощает политику чистого насилия расстрелов и виселицы. Незаметными оттенками и нюансами они связываются правыми группами паразитической буржуазии;

всю эту группу объединяет внехозяйственный способ присвоения; различия между ними связаны со степенью, в какой они втянуты в капиталистические буржуазные отношения. «Октябрист, — это помесь буржуа и феодала, ибо его доходы лишь отчасти зависят от «естественных законов производства»¹⁾.

Различные оттенки октябризма от братьев Гучковых тянутся к Капустину, приближающемуся к кадетам; оттенки эти связаны со стремлениями обеспечить перевес феодальным или капиталистическим методам присвоения. И. И. отвергает взгляд на октябризм как на организацию крупной промышленной буржуазии (точка зрения, защищавшаяся меньшевиками и некоторыми большевиками), ибо такой анализ приводит к рассмотрению кадетской партии как партии мелкой буржуазии, а против такой оценки кадетов тов. Степанов возражает. Однако, вряд ли можно согласиться со следующей формулой тов. Степанова: «Принадлежность к тому или иному классу определяется тем или иным способом присвоения», — он полагает, что принадлежность к той или иной партии «определяется стремлением сделать известный способ присвоения господствующим или «сохранить условия его применения». Основные классы современного общества воплощают прежде всего различные типы производственных отношений, способов производства; различные же политические оттенки внутри класса могут быть объяснены оттенками форм присвоения и размерами его. Такая постановка вопроса, к которой в других статьях склоняется тов. Степанов, дает возможность анализа различных партий некоторых классов.

Кадетскую партию тов. Степанов рассматривает как партию «чистой буржуазии, стремящейся отсечь от капиталистического способа производства докапиталистические остатки. Кадеты выдвигают требования всеобщего избирательного права, чтобы обеспечить поддержку широких масс в борьбе с буржуазией «первоначального накопле-

¹⁾ «От революции к революции», стр. 162.

¹⁾ Ibid. Стр. 171.

ния». Мелкая буржуазия безоговорочно формулирует политические требования капиталистического способа производства и отвергает все юридические институты, которые служат основанием феодального способа присвоения среди капиталистических отношений; однако, «в связи со своей общей несамостоятельностью в современном обществе она в этом случае лишь следует за пролетариатом» — замечает тов. Степанов. Таким образом, наиболее широкое развитие принципа всеобщего избирательного права возможно лишь при гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции, но последовательное доведение этого принципа до конца приводит к его перерастанию из юридического института в фактическую «пролетарскую демократию», что уже связано с победой социалистической революции. К 1907 году относится полемика И. И. с Чернышевым (автором «Справочной книги марксиста»), который в словах т. Степанова — «всеобщее избирательное право в тенденции лучше всего обеспечивает преобладание чистой капиталистической буржуазии» — усмотрел... анархо-синдикализм. Приведя ряд справок из работ Маркса-Энгельса, тов. Степанов показывает, что взгляд, им развиваемый, принадлежит отцам научного социализма; если анархо-синдикализм принимает эту оценку, то выводы его совершенно противоположны взглядам социал-демократии. На определенной ступени исторического развития в эпоху буржуазно-демократической революции пролетариат кровно заинтересован в максимальном осуществлении формального избирательного права, чтобы организовать пролетариат для борьбы за фактическую «пролетарскую демократию», обеспечивающую широким слоям пролетариата и крестьянства действительную возможность пользования демократическими свободами; поэтому подлинная демократия существовала в стране советов.

Пolemика с Чернышевым характерна в том отношении, что за 10 лет до социалистической революции в среде «единой» социал-демократической партии уже резко оформилось различное понимание демократического принципа. Большевиком рос и закалялся

не только в борьбе с царским самодержавием и буржуазией, но в ожесточенной схватке с русским и мировым оппортунизмом. Покойный тов. Степанов был в первых рядах большевистских бойцов.

В начале 1906 года он выступает против оппортунизма Плеханова. «Поднятая о «Дневниках»¹⁾ речь в печати, — писал И. И., — я не могу не испытывать тяжелого чувства. Люди текущего десятилетия не могут представить себе, какую роль сыграл тов. Плеханов для нашего поколения, выработавшего свое мирозерцание в 90-х гг. Они не знали той атмосферы, в которой блуждала пробудившаяся революционная мысль, создавшая какую-то удивительную мешанину из Лассалья и Миртова, Маркса и Николая — она, обрывков Энгельса и В. В. Теперь они могут наблюдать эту мешанину у социалистов-революционеров, но уже в совершенно иной общественной атмосфере, а потому не могут составить себе представления, чем были для нас, например, книга Бельтова и ее продолжение²⁾. Эти чувства переживали тогда почти все большевики; понятно, что оппортунизм Плеханова объяснялся тогда чисто случайными причинами, как-то, удаленностью Плеханова от русских дел, такое объяснение теперь, конечно, неудовлетворительно, однако, лишь в свете позднейшей эволюции Плеханова последний явственно обозначился как представитель русского крыла международного оппортунизма.

И. И. полемизирует против основного довода Плеханова, будто капитализм в России настолько развился, что «наша буржуазия ни за что не помирится с самодержавием»; при этом он проводит параллель между политической ролью немецкой буржуазии 1848 года и русской — в 1905 году. Считая возможным провести здесь аналогию, тов. Степанов указывает на ту бичующую критику, которую Маркс-Энгельс дали немецкой буржуазии 1848 года.

Эволюционная робость последней способствовала восстановлению феодаль-

¹⁾ Плеханова.

²⁾ Сборник «Текущий момент», статья «Издавец», перепечатана в сб. «От революции», стр. 42.

ных привилегий; немецкая буржуазия мартовских дней «предала свободу и интересы крестьянства» (Маркс). Русская буржуазия «поразительно напоминает немецкую»; на основе опыта 1905 года исходить из сочувствия буржуазии крайним партиям было явным оппортунизмом. Струвы характеризует ся тов. Степановым, как представитель не только антипролетарской, но и антиреволюционной точки зрения.

После 9 января 1905 года «освобождение» сделало революционный жест, но «потребность мирного полюбовного соглашения неискоренима в душе буржуа», поэтому уже в июне ведутся «последние» попытки договориться с самодержавием, в октябре—«самые последние» и, наконец, явное предательство в декабре. Как известно, излюбленным аргументом меньшевиков являлось указание на то, что, отталкивая буржуазию, мы усиливаем черносотенные элементы; большевики указывали, что, теряя сочувствие у либеральной буржуазии, пролетариат завоевывает симпатии в широчайших демократических слоях населения. Плехановскому «не надо было братья за оружие» И. И. противопоставляет фактическую картину октябрьских—декабрьских дней, когда под пролетарским знаменем шла «демократическая Москва», где историческое значение декабрьского восстания заключалось в том, что пролетариат не только идейно, но и материально стал во главе революции.

Уже в октябрьской забастовке правые партии вкупе с академиками, профессорами, золотой молодежью, промышленниками и купцами начинали заменять забастовщиков: «Горе побежденным!»—воскликает фабрикант—и переходит с 9 на 10-часовую день. «Горе побежденным»—повторяет его сосед—и сбавляет гривенник с ноябрьской расценки. «Горе побежденным»—говорит земский начальник—и с прежним величием везжает в деревню¹⁾. Однако, декабрьское восстание было не только поражением, но и победой рабочего класса: «декабрьский опыт заставляет смело глядеть в будущее... «может ли быть здесь место унынию, о котором упоминает тов. Пле-

ханов»—воскликает И. И.

1905 год поставил перед русскими социал-демократами проблему сочетания легальной и нелегальной форм работы. Придавая громадную роль профессиональным союзам, большевики выступают против меньшевистского лозунга нейтральности профсоюзов. Тов. Степанов выступает против переоценки Парвусом роли советов, от которых ждали, якобы, «решения всех политических вопросов»,—такая оценка обнаруживала меньшевистски-ликвидаторскую тенденцию принижать роль партии в революции.

Однако, тов. Степанов ошибался, утверждая, что профсоюзы и советы «совсем не приспособлены к сильным политическим потрясениям и в особенности к революционным бурям». Возможно, что условия Москвы, где работал И. И., в которой роль советов была более слабой, чем в Питере, толкали часть большевиков к такой оценке; однако, последняя, вероятно, создавалась в противовес меньшевистским тенденциям пользоваться каждой легальной организацией, чтобы принизить роль партии. Отстаивая ленинскую тактику в вопросах государственной думы, тов. Степанов подчеркивал, что революционная тактика социал-демократии должна сводиться не к тому, чтобы просто обеспечивать численность своих голосов в думе, отказываясь от выставления собственных кандидатур,—но к использованию предвыборных собраний для революционного воспитания рабочего класса и разоблачения буржуазных партий перед широкими слоями трудящихся; соглашения с другими партиями в отдельных случаях не должны никоим образом приводить к затуманиванию политической линии социал-демократии. Внутри думы задачи заключаются не в «организационной работе», а в использовании трибуны для обращения к рабочему классу и для отрыва демократических мелкобуржуазных партий от влияния и связи с правыми.

В 1910 году умер председатель первой государственной думы С. А. Муромцев. Обыватель вышел на улицу, оплакивая вождя первого русского парламента; в похоронной процессии принимали участие и представители меньше-

¹⁾ И. Степанов, «Издаека», см. сборник, стр. 69.

виков. И. И. поместил статью в газете «Наш Путь». Подчеркивая, что в дни первой думы последняя иногда пыталась играть действительно оппозиционную роль, он указывает, что речь Муромцева на суде во время процесса «о Выборгском воззвании» обнаружила, однако, все существо русского либерала; смысл речи сводился к тому, что авторы «выборгского воззвания» надеялись спасти старое, отведя движение в фальшивую сторону. Но почему же обыватель, мелкий буржуа, оплакивал труп Муромцева? В некрологе, о котором, между прочим, Владимир Ильич весьма одобрительно отзывался, И. И. писал: «7 октября, в день его погребения, широкие массы обывателей провожали к могиле свои несбывшиеся надежды, свои политические мечтания. 6 лет тому назад обыватель начал сознавать в себе «существо политическое». Разъединенный по кабинетам, канцеляриям, конторам, магазинам и лавкам, средний городской обыватель был лишен возможности оказать непосредственное влияние на ход политических дел». Изолированность его бытия толкает его к поискам «героев»: «Он оплакивал страдания священника Петрова, посланного в монастырь на послушание, он страдал даже за разбитую карьеру Лопухина».

С Муромцевым ушел в могилу один из «героев» этой массы, воплотивший определенную полосу в русской истории.

В январе 1911 года прекращается на время публицистическая революционная деятельность т. Степанова; после ареста он отправляется в ссылку, где работает над проблемами политической экономии, — отдельные главы этой работы появляются в большевистском журнале «Просвещение». В 1913 г. в этом журнале И. И. в ряде статей ставит проблему империализма и международного рабочего движения. «В империализме лежит ключ к объяснению не только современных международных отношений, которые снова и снова грозят обостриться в общеевропейскую войну небывалой широты и истребительности; империализм дает объяснение и переменам во внутренних политических отношениях и быстрой эволю-

ции партии»¹⁾ — писал И. И. за год до мировой войны. Опираясь на работу Гильфердинга, Каутского и др., И. И. выясняет историческое значение протекционизма, его особую роль в эпоху империализма. Остальные черты последнего он видит в монополиях крупных хозяйственных объединений, синдикатов, трестов и т. д., в экспорте не товаров, а капиталов, и в колониальной политике. В статье «Империализм» подчеркивается особый характер протекционистской политики, ее особая роль в империалистическую эпоху. Ранние проповедники протекционизма рассматривали последний, как переходную «воспитательную» меру на пути к полному осуществлению свободы торговли. Однако, действительная история протекционизма не знает понижения пошлин, а видит, напротив, постоянное развитие охранительных и запрети-тельных тарифов. В ранний период капиталистического развития протекционизм, предоставляя внутренний рынок в полное распоряжение национальной буржуазии, облегчал первые монополистские шаги капитала, играя, таким образом, роль «теплиты» для национального капитала — говорит т. Степанов. Суживая размах конкуренции в пределах национальных границ, монополии переносят ее с национальной территории на международную арену, где сталкиваются не отдельные предприниматели, а крупные монополии, экономическая экспансия которых поддерживается политикой империалистических держав; таким образом, протекционизм из «оборонительного оружия действительно превращается в наступательное». Таможенная покровительственная политика, способствуя повышению цен на внутреннем рынке, оплачивает капиталисту риск выступлений на международном рынке; русский потребитель, т. е. прежде всего широкие массы крестьянства, трудящихся, платят за предметы русского экспорта значительно более высокие цены, чем те, которыми реализуется продукт на международном рынке. В России, где благодаря ряду особых исторических условий государство выступало как

¹⁾ См. сб. «От революции», стр. 243.

«рушный заказные предметы тяжелой индустрии, массы взимаемого налога шли в тот фонд, который давал «национальной промышленности» повышенные прибыли от казенных заказов, имевших своей целью и «покровительство национальной промышленности». И. И. не занимался специально проблемой русского империализма, выяснениями соотношений между иностранным и национальным капиталом России: он старается изучить те черты империализма, которые ему кажутся характерными для новейшей империалистической стадии капитализма. Любопытно, что, не подвергая критике работы Гильфердинга, Каутского, Реннера, Бауэра, на которые он, по собственным словам, «опирается»,—И. И. выделяет такие же существенные признаки империализма, как и Ленин в своем «Империализме» и т. д. И. И. подчеркивает, однако, два момента: первый—это то, что борьба аграриев и фритредеров, выполняющая историю классического английского капитализма и характерная для ряда других национальных капиталов, сменяется блоком крупных аграриев и представителей крупной капиталистической индустрии. В некоторых странах, как, напр., в России, этот блок намечается или сохраняется не сразу к началу империалистической войны, но в процессе ее. Основу этого союза И. И. видит в тех структурных изменениях, которые произошли в ряде стран к периоду империалистического развития. «Индустриализация, более широко охватившая метрополию, превращает аграриев в промышленников, перерабатывающих технические культуры, втягивающихся все более в сеть кредитных отношений и получающих значительную часть дохода от капиталистической промышленности. Вот почему борьба против современного протекционизма, «обостряемого им вздорожания жизни, превращается в борьбу социализма против капитала».

Второй существенный момент И. И. видит в экспорте капитала в колонии; низкий органический состав колониального капитала обеспечивает метрополию колоссальные добавочные прибыли, увеличивающиеся благодаря

эксплоатации докапиталистических способов производства в колониях. Колониальная политика империализма воскрешает все методы и приемы «культуртрегерства», которые присущи героям первоначального накопления. «Новейший капиталистический захват колоний ничем не отличается от методов колониального хозяйства в XVI в., в эпоху открытий»¹⁾. Даже и контрибуции, бесчеловечная эксплуатация воскрешают традиции капиталистической зари. «Опять начинается такое же расхищение сил природы, как в эпоху великих открытий, с той только разницей, что, опираясь на современную технику, оно выполняет свое дело быстрее и основательнее: хищническая культура хлопка вконец истощает почву Египта, каучуковые леса исчезают». Колониальный пролетариат «фактически превращается в рабов и «аторжников». Из Китая вывозятся «тысячи кули, отделяемых там от средств производства деятельностью европейского капитала». Вывозимые из области, где европейские и «азиатские», капиталистические и феодальные методы эксплуатации дают в своем соединении самую отвратительную амальгаму, забытые, беспритязательные, оторванные от родной обстановки, лишены всякой защиты, они фактически становятся невольниками капитала, с той разницей, что он не покупает их, а дает им почти только одно голодное пропитание.

Но империализм вносит колоссальные изменения не только в положение колониального пролетариата; в метрополии процессы империалистического влияния выступают в более сложной форме; к рассмотрению этого вопроса т. Степанов подходит в статье «Экономика и политика в рабочем движении», появившейся в «Просвещении» за несколько месяцев до начала событий 1914 года.

Констатируя факт усиленной централизации капитала и рабочего движения, автор приходит к выводу, что эпоха империализма вызывает те формы борьбы, которые создавались в первую половину XIX столетия при первых по-

¹⁾ И. С. «Империализм», см. сб. «От революции», стр. 261—262.

литических боях рабочего класса с капиталистическим обществом; характернейшим фактом этого периода является политическая окраска каждого экономического конфликта, превращающего борьбу отдельных групп рабочих с предпринимателями во всеобщую борьбу социализма с капитализмом. Попытки английских тред'юнионистов противопоставить континентальные формы движения (политические) «нормальным» (т. е. экономическим тред'юнионистским формам) И. И. противопоставляет ряд фактов континентальной и английской истории рабочего движения, где обе формы диалектически сочетались в массовом выступлении рабочего класса в первой половине XIX века. Силезская стачка 40-х годов прошлого столетия сопровождалась расклеиванием листов, а при забастовках в графическом производстве — и тисненых тем или иным способом листов. В первой половине тридцатых годов XIX столетия выдвигается требование 8-часового рабочего дня, который пытаются установить в форме, которая у нас в 1905 году называлась «фактически» или «захватным» порядком. Английские тред'юнионисты превозносят те формы английского движения, которые сложились с середины XIX в. до 80-х годов, считая политический индифферентизм профессиональных организаций показателем истинно пролетарского характера тред'юнионов, И. И. указывает, что английское рабочее движение второй четверти XIX века носит такой же явно политический характер, как тред'юнионистское после 80-х годов; по во втором случае английский пролетариат воспитывается не в самостоятельных политических выступлениях, как то было в эпоху чартизма, а становится объектом то либеральной, то консервативной политики, «не возвышаясь до выдержанной, принципиальной классовой политики и составляя просто свиту то одного, то другого господствующего класса»¹⁾. Однако, когда тов. Степанов противопоставляет английскому типу континентальные формы движения, в особенности гер-

манские, в которых, якобы, «классовая точка зрения всегда преобладала над профессиональной и либеральной тред'юнионистской», — он отражает общую переоценку революционной роли германской социал-демократии, имевшую место в нашей партии вплоть до августа 1914 года. После этого различие английского и германского типа сводится к различию островного и континентального оппортунизма в рабочем движении. Для И. И. — марксист-историка — не только прошлое преимущественно связывается с настоящим, но ход исторических событий позволяет иначе взглянуть на целый ряд фактов политической жизни рабочего класса, казавшихся ранее несущественными, случайными отклонениями от классовой линии борьбы. В послесловии к русскому изданию Меринговской «Истории германской социал-демократии» И. И. ставит проблему на основе позднейшего опыта и политики западно-европейского оппортунизма. Об этом же он говорит и в предисловии к русскому изданию книги Меринга: «История Германии с конца средних веков»: «в мрачном освещении всего, что пережила за последние годы официальная германская социал-демократия, многое представляется нам иным и в ее прошлой истории»¹⁾.

В июне 1914 года в статье, написанной по поводу задач нового журнала «Рабочий труд» И. И. писал, что рабочая пресса должна разоблачать политику национальной травли, которая несет «узким общественным группам возрастание барышей, взваливает на народные массы тягости налоговой системы и рекрутчины, расточает общественные производительные силы, тормозит экономическое развитие и угрожает пролитием потоков народной крови. Национальной вражде, раздуваемой и разжигаемой своекорыстными группами, «Рабочий труд» будет противопоставлять международную солидарность труда». Таким образом, в сдавленной тисками царской цензуры «Рабочей Газете» тов. Степанов формулировал задачи

¹⁾ См. статью «Экономика и политика в рабочем движении».

¹⁾ Меринг «История Германии», стр. 3.

революционного пролетариата, нашедшие открытое выражение в манифесте центрального комитета с.-д. партии, опубликованном полгода спустя в «Социал-демократе».

В нашу задачу не входит обзор всей литературной деятельности И. И. в период пролетарской диктатуры, укажем лишь на «Парижскую Коммуну», выдержавшую три издания. И. И. не ставит себе задачей специально историческое изучение Парижской Коммуны; на почве основных фактов он воскрешает подлинную историю героической по-

пытки парижских коммунаров, историю, загрязненную «марксистскими» ортодоксами западно-европейского оппортунизма. История коммуны излагается в свете опыта нашей революции, после которой мы поняли в Парижской Коммуне многое из того, «к чему не был изощрен наш глаз»¹⁾. Анализируя исторические корни и неудачный исход парижского восстания 1871 года, И. И. вскрывает тактические ошибки Парижской Коммуны, и изучение ее истории превращается в работу о тактике пролетарской революции.

¹⁾ См. предисловие И. С. к первому изданию «Парижской Коммуны».

Люди и факты

1. ДАН. КРЕПТЮКОВ. По степям и буеракам.— 2. Н. ЛЕБЕДЕВ. В гостях у хевсуров.
3. ЕФИМ ВИХРЕВ. Ножницы.

О черк

1. ПО СТЕПЯМ И БУЕРАКАМ

Дан. Крептюков

1. Карасабан

Солнце, как огромный вызолоченный налитой паук, медленно и угрожающе сползло по небосводу прямо к пропастям заката. Гаскалившаяся за день степь бездыханно лежала на палубе земли, как распластанная и разделенная чудовищно необъятная рыба с кругло обрубленными боковыми плавниками. Но, казалось, уже утратившая все свои соки, прожженная насквозь солнцем, безводная и безгласная, все еще таила в своих недрах эта покрывка земли жадные зачатки дикой, еще необузданной человеком жизни, просачивающейся в невидимые капилляры и скважины. Таилась эта жизнь в корневиках степных диких трав, ушедших на аршин и глубже в недра земли в поисках утробной грунтовой влаги. И еще таилась она в блекнувших, внешне почти бездыханных, покрытых серой пылевой вуалью посадках акации, гледичии и обветренного низкорослого ясеня, окаймивших коммуны со стороны старого шляха вскучерявленной, ощеренно-колючей лохмой почти безлистных ветвей.

Невдалеке за посадкой в предзакатной усталой истоме каккал трактор, перепыхивая слегка выбеленный зноем карасабан¹⁾. Чадя нефтью и маслом, влача за собою изогнутоносые ленивые плуги, этот степной, железный вол предостерегающе тихо постанывал своей утробой, словно проникла пред-

вечерняя усталость и в его медножилое, напоенное нефтью тело. В шестой раз этим летом, в содружестве с еще такими же тремя, он бороздил, кочевряжил, мял, колошматил, вымешивал, как осмысленно-старательный хлебопек, сухое, мучнисто-сваленное и строптивое тесто степи, чтобы уберечь для человека каждую каплю влаги, каждый атом сырой жизненной прохлады. И вот теперь в последний раз, уже набело, он зачищает огрехи¹⁾ и придорожные на заворотах у шляха плешины еще не расчесанной плугом земли.

На криво изогнутом, специально сформированном сиденье словно врос в машину черномазый, замурзанный, кудреватый человек. Клепцами пальцев он время от времени схватывал темные, словно вымазанные сажей, пружинистые рычаги и, не выпуская руля, передвигал рычаги, вправляя машину в желаемый ему строгий и ровный ход. Производил он эту работу с законченной четкостью, и видно было, что знает этот головатый, вз'ерошенный человек свою машину, как кисет с табаком, как орыжелые голенища своих сапог, в'евшиеся в икры ног, и верит он этим своим знаниям последовательно и с привычной твердостью.

Еще издали, из-за полузатененной ясеновой посадки мы увидели машину и человека на ней и услышали слабочеткую бесперебойную пляску мотора. И напрямик, вгружая каблуками сапог в

¹⁾ Карасабан — черный пар, слово татарское, но воспринятое всеми крымчанами.

¹⁾ Огрехи—те места, в которых выскакивал плуг, и они остались неспаханными.

рыхлые плавни карасабана, чему-то восхищаясь и хлябго всапывая запахи пзнуренной земли, мы вязко зашагали наперерез трактору. С нами был свой коммунальный зав. Он совсем не похож был на наших столичных завов ни натурой своей, ни внешним обличем. Короткая кацавея с двумя застарело оттопыренными кармашками, расстегнутый ворот сатинетовой бесцветноцветистой сорочки, по внешнему виду утратившей все носильные свои статьи, черкесиновые, нескончаемо вобравшие в себя всю гамму бурых цветов земли, взворсившиеся нитками, словно ватой, широченные штаны, по всему своему просторному штанному лону унизанные будяками степного коровьяка¹⁾ и колючками ежистого кочующего перекати-поля, узкий ремень с медной литой пряжкой, стянутый, казалось, до спазма в желудке, остроухие короткорылые постолы²⁾ в сборах и морщинах для продевания ремешка, — таков был вид этого коммунального зава, на котором лежала забота ведать всем полеводством коммуны, состоящим из трех тысяч гектаров непокорной, еще не целиком обузданной земли.

Но в глазах, маленьких и рысьи хищных, во вклоченных пучках соломистых бровей, в посадке головы, которая, как вбитый гвоздь, тесно вольнула в плечи на ровно устланной мышцами шее, в широкой, слегка выгнутой бочковидной спине, в маленьких, словно всегда полусогнутых для схватки руках чужалась такая непреоборимая, обитая в упрямый ком, безбрежная сила. И еще морщины на лбу... Словно вся воля, ссевшаяся, как влажный цемент, в этом человеке, вползла вот в эти морщины, пятью заостренными жгутами опоясавшие лоб. Так и казалось, что вот схватит человек цепкой своей рукой все эти пять туго сплетенных жгутов: со своего лба и начнет хлестать ими по всему непокоряющемуся дикой его воле.

Таков был этот зав — вечный строптивец против всех лентяев коммуны, которых, впрочем, теперь уже почти не

осталось в коммуне. Все они перевелись, вытравленные, вовсе изничтоженные или перерожденные в трудолюбцев суровыми обычаями коммуны.

Еще не все переговорено у нас с этим, таким необычным завом. Кажется, с ним надо было бы говорить столетия, и тогда не исчерпалась бы в нем эта совершенно стихийная, какая-то первобытная любовь к новой земле. Мы, например, еще почти не знаем истории этой коммуны, ее возрастных болезней, ее горестей и радостей в прошлом, а главное — зарождения ее быта, когда приходилось каждому из этих двухсот людей уламывать в себе единоличника и развивать коллективиста. И, вязко ступая по рыхлой, матерински-нежной пахоти, пристаем мы к нему с вопросами:

— А как бы это найти в делах коммуны ваши старые протоколы общих собраний?.. Остались ведь они?.. Почитать бы их, узнать, как жили вы в прошлом?..

И этот зав, выкидывая ноги в постолах далеко вперед, словно желая перешагнуть таким манером всю эту тесную для него землю, бросает колкие слова:

— Какие там канцелярии!.. Тут и без них же солодко приходится... Вот оставайтесь на зиму у нас в камуе — тогда и будете рыться в старых протоколах... А теперь протоколы — вот!..

Широким жестом указывает на разостлавшийся огромной сероватой подушкой карасабан.

— Каждая лишняя вспашка карасабана — лишнее ведро влаги в земле... А влага для нас все...

На одну минуту приостанавливается, и маленькие его глазки загораются вдохновенным огнем.

— Он, гляньте-ка на мужичьи поля... Тыфу-у!.. Стерво, а не поля!.. В пырее, в молочайнике¹⁾ заросло все, зачичверело, — все одно как у поганой бабы в годовое... А у нас?! Он — гляньте!..

И даже затанл дыхание, словно опалюющий восторг перед этим образцовым черным паром сдавил ледящей усладой этого нового хозяина степи.

¹⁾ Коровьяк — дико растущее пышноцветное из семейства сложноцветных.

²⁾ Постолы — кожаные самодельные лапти. Слово украинское.

¹⁾ Пырей, молочайник — дико растущие, неприхотливые сорные травы — бич полей.

— А ни трави-ночки!.. А ни бады-тунки!..

И глаза его уже не хишно, а умиленно поблескивали влагой тихой радости. И уже урчал, как свирель, на низких усыпляющих нотах его облагороженный этими степными достижениями голос.

— Оттого-то у нас и родит хлеб... У них сорок — у нас шестьдесят... У них сто — у нас сто сорок!.. А если в полную засуху у них шпик один — у нас все-таки тридцать-сорок набежит...

И охляб, сник в какой-то думе. Потом поднял голову вверх.

— А ни облачка за все лето, а шестьдесят пять вот взяли и в этом году...

Снова двинулся к маячившему в другом конце клина трактору.

— А вы говорите—пр-р-протокол-лы!!.. Хе-хе-хе...

Меленько и тощевато захехекал, хлопая клокотавшими в груди восторгами перед нашей недалевидностью.

Потом, слегка опережая нас в привычном раскидистом шаге, приостановился, выпучил свои маленькие, снисходительно диковатые глазки и брякнул:

— А вот этот самый — Санька-тракторист — и есть у нас тот самый ар...ар...архиварьюсь... Он все покажет...

Для нас это было крайне неожиданно. Кроме того, само слово «архивариус», пропахшее пылью и затхлостью времен, произнес он с такими звуковыми нюансами, как произносят на Мурмане лопари слово «харьюсь», определяя этим словом красивую серебристую дикую рыбу, водящуюся в порогах Кеми, Пуоя и Имандры.

И это было необычно и неизъяснимо ново, и потому отсюда, из самой утробы степного обугленного солнцем Крыма, мысль наша, под влиянием этого колоритного слова «харьюсь», перенеслась в холодные трупы Мурмана, покрытые сереброрунными ягельями, ветвистыми болотными мхами, кукушкиными льнами и зеленоглазыми безднами ушедших в землю гулких озер. Но здесь лежала степь—безводная, засушенная, как цветок в герба-

рии, распластанная под солнцем в безмолвном отчаянии и безводьи.

Мы сравнились с завом, и он, откинув рукой соломенную зеленоватую гладь капелюша¹⁾, крутым изогнутым каскадом почти ниспадавшего на лоб, лизнул пересохшим языком нижнюю растрескавшуюся губу, блеснул рысьими глазами и настороженно, словно оберегая эту предвечерне-истомную степную тишь, тихо выбубнил:

— Он у нас пишет историю камуны... Он все одно как черевьяк,—так и роет, так и роет в этом самом архиве...

—А велик архив в коммуне?..

Зав издал такой звук носом, словно внюхивал целую щепоть нюхательного табаку. Но лицо у зава перекосилось в смешной сеточке морщин, и он внезапно увяз своими недлинными ногами в рыхлой подушке пара.

— Каки там архивы еще!.. Две сотни протоколов, сшитых вместе,— вот вам и архив... Не до архивов нам было... С голоду не опухнуть бы... Писать приходилось мало... Бывало в двадцать первом году идешь на работу в степь, а тебя лихорадка бьет... Потому—оголодал народ, неналажено все было, не оправились еще... Старые-то ведь хозяйва о нас не больно как заботились... А тут еще банды от белых пооставались,—тоже вот и от них по ночам приходилось отбиваться... Днем працюешь в степу, а ночь с винтовкой, а то с пулеметом куняешь... Перестрадали немало...

Так от слова к слову придвигались мы в таких разговорах с завом к тем временам послевоенной разрухи, когда еще только зародилась эта коммуна, почитавшаяся теперь одной из лучших не только в степном Крыму, но, пожалуй, и во всем Союзе.

Зав двинулся дальше к тому загону, где чмычал трактор. Машина уже обошла круг и близилась к нам, слегка пошелестывая своими железными жилами. Через несколько минут она, вгрузаясь в мягкую гриву пахоти широкими дугами колес, подошла вплотную, пыхкая ровной, приглушенной и четко-

¹⁾ Капелюш — широкополая шляпа. Слово украинско-польское

однообразной скороговоркой. И тогда мы увидели Саньку-тракториста вот здесь рядом, в двух саженях от нас, словно случайно приткнувшегося к сиденью машины.

Зав выставил ногу вперед, как-то попетушиному скособочил голову под капелюшом и махнул рукой Саньке.

— А ну-ко покури, Санько-о...

Машина всколыхнулась в последний раз, что-то в ней уже отдохновенно всхрипнуло, потом она вздрогнула и обомлело, вкопано остановилась. Тогда зав подошел к Саньке, который еще сидел на сиденьи и поверхностно оглядывал нас, взялся рукой за высоченное колесо машины и сказал:

— На,—завертывай...

И вытянул руку с железной коробкой, на крышке которой было намалевано что-то усатое, сидящее на крутошем коне, но уже полустертое и давнее. Как потом оказалось, на коробке был намалеван вождь красной конницы Буденный времен гражданской войны.

Санька медленно вытер руки о полы куртки, замасленной и оттого утратившей свой первоначальный цвет, взял коробку из рук зав и, завертывая легкий табак в тонкую, изрезанную синеватыми жилками бумажку, добродушно и словно даже растроганно ухмыльнулся:

— И что это с тобою такое сегодня приключилось — даже курнуть сам остановил?... Гм...хха-а...

Он с удивленным безбрежьем в глазах издал этот характернейший и насмешливо-лаконический звук, зыркнул в нашу сторону и слегка привстал на сиденьи.

— А то ж—гонить и гонить... Пошел и пошел!.. И вот так по шестнадцать часиков в сутки... И все пошел!.. Эксплуатация, а не камуна... К вечеру бывало так ухакаешься, что еле-еле ложку от миски ко рту донесешь... А тут—ишь его,—даже курнуть сам остановил...

Зав виновато клипал сероватыми своими глазами, поддергивал и без того навеки затянутые пояски штанов и зачем-то разглядывал со всем вниманием слегка продранный носок уже остарелого, потрескавшегося и бес-

цветно-орыжелого постола. Потом он поднял голову и, радостно вхлебнув широко открытым ртом струю сладковато холодеющего духа степи, с разнеженным восторгом, даже слегка всхлипнув как-то по-детски, сказал:

— А теперь и курнуть можно... Отчего ж и не курнуть, раз все как есть с пахотой справлено...

И глянул на нас беззаботно и молодо.

— Ведь поверите ли, — шестой раз скоблим этот клин, но уж теперь земля как пух... Ни одной лишней капли влаги не отдадим без боя... Ни одной сорной травы не впустим к себе... Так-то у нас...

И в его хищных маленьких глазках сверкнула гордость.

Мы подошли к коммунальному архивариусу и трактористу Саньке.

2. Шкафная война

Выложенный из местного ноздревато-пористого, но довольно массивного и надежного камня этот слегка приплюснутый с полов и с потолков домина напоминал своей общей формой половину настоящего кровно-фашистского знака. Те же тошнотно-прямые углы, короткие створки которых убегают—одна в летний загон для коров, другая—в пошелудевский от зноя палисадник с непарно-перистолистой белой акацией.

Но здесь, в атмосфере труда, мышечного напряжения, коллективной стройки новой жизни, — в атмосфере нового могучего союзника-трактора,—живут и действительно стремятся по вновь закладываемым дорогам не фашисты, на знаменах которых колюче, воровато и подозрительно сплющились четыре прямых угла и шесть бессмысленно прямых линий, а те, «кем мир потрясен от вершин до оснований», кому и в мирных и в военных боях вожаками служат серп и молот. Здесь живут на новях коммунары этой коммуны. А строение, своей формой совпавшее со значком итальянского дуче,—это только случайная фантазия старого владельца этого поместья, закоренелого помещика-менонита Дика.

В этом строении—канцелярия коммуны, по прямой длинной линии—конюш-

ня с водопроводной установкой и прекрасно сработанными стойлами, а по второй, короткой — теплый, навозно-душистый, слегка, по запахам в нем, напоминающий детские ясли уютный и молочно-тихий телятник.

Мы сегодня в канцелярии—большой, четырехкоконной комнате, набитой солнцем, мухами и запахом чернил. Но преобладает солнце. Оно здесь господствует, вонзаясь в свежее выбеленные стены, в расставленные вдоль стен скамьи, в домотово поношенные полы, желтя бумагу на столах, даже игриво чехардя в затуманенных, затененно-недоуменных углах.

В углу, у, кажется, всегда открытой двери,—до того всегда, что у нас невольно вставал вопрос: а не следует ли эту дверь снимать с весны, чтобы навешивать только осенью,—успокоенно, архивно и бездумно осел неуклюже-симметричный шкаф. Скупо-зеленоватые, разжиженно покрытые медянкой ровные его плоскости увенчивались задымленными пылью солидными и внешне-мудрыми связками огромных сплющившихся бухгалтерских книг. Здесь нашли себе могильное забвение главные, мемориальные, инвентарные, табеля и дневники работ прошлых лет, здесь они дремотно таят в себе упорные мысли людей, снабженных тяжело-весной мудростью бухгалтерских знаний, с жестокой беспристрастностью увековечивших языком цифр все достижения, промахи, головотяпства коммуны.

Среднюю, самую об'емистую, часть шкафа, так сказать, грудную и брюшную его полости, узурпаторски бесстрашно присвоил себе старый агроном коммуны, петроразумовец конца девяностых годов, состоящий здесь в высоком звании ключаря и систематизатора всех мозговых и плановых начертаний коммуны. Во время самого акта узурпации два с половиной года тому назад было немало протестов, криков, возмущенных возгласов со стороны двух представителей бухгалтерской части коммуны, но агроном, мрачно вцеловываясь в страстно и упорно обкуриваемый в течение четверти столетия закоричнево-янтарный мундштучок своей жуценькой носогрейки,

предательски храня главные свои доводы под самый конец этой шкафной, впрочем, вполне бесклассовой и по существу мирной, борьбы, каким-то желудочно-трубным голосом изрекал:

— Я перехожу на восьмиполье,—понятно?..

Бухгалтера клипали веснушчатymi, одичавшими от очков ресницами и, незаметно для себя подчиняясь гипнозу этой священнейшей цели, утрачивали существо шкафной распри.

— А вы ж говорили—пятиполье... А тут уже—восьмиполье?..

Агроном тигантски-авторитетно выпускал следующий снаряд.

— Часть полей под пятиполье, часть —под восьмиполье... Поняли?..

Бухгалтера подавленно и удрученно понимали, и тогда следовала дымовая завеса должной густоты и крепости из этой удивительной агрономовской носогрейки, претерпевшей все мытарства частно-капиталистических сложно-плодосменных полеводческих систем, империалистическую войну, потом гражданскую, двенадцать «законных» правительств и несколько сот «батек» и завершающей свой величавый земной путь в последнем советском окружении. О, носогрейка!! Свидетельницей каких сокровеннейших агромыслей ты была?.. Тебе, тебе надлежит поставить памятник в самом центре этих трех тысяч гектаров опятипольенной и овосьмипольенной земли, потому что это ты вдохновляла этого почти саженного гиганта с душой ребенка, этого застарелого одичало-бездомного холостяка, «обыля и бедняка на новые мысли об обновленной земле, только полдесятка лет тому назад еще запаршивелой под мрачным слудом пестрополя, трехполя и даже перелога.

Бухгалтера, жуя млявую бумагу мундштуков от дешевых папирос, уже сдавая свои позиции, по-псаломщицки вскудлачивали введенные в дисциплину тщательнейших проборов волосы на своих головах и почти усмирненно шептали:

— Ну, так возьмите же себе все нижние полки и располагайтесь там в свое удовольствие, а нам оставьте эти...

И тогда, уже заранее изготовленный, выбрасывался последний бризантный снаряд агронома:

— Эх вы, дети, дети... Вы даете мне самую нижнюю полку... Да как же вам не стыдно,—я, старик почти шестидесяти лет, буду ежеминутно наклоняться при моем... гм... гм... росте?..

Бухгалтера зорко и сторожко оглядывали этот действительно рост.

— ...тогда как для вас, для... гм... гм... молодехи... го-го-го... это — чистая ф-ф-физкультура... Ха-ха-ха...

Бухгалтера ошеломленно и подавленно молчали, а один из них, тот, у которого с висков были сделаны тщательнейшие начесы волосорастительности для сокрытия «молодой» лысины, потупленно уставился в пол, словно подсчитывая для точного годового баланса количество половиц в этой безупречно вымытой и высокобленной части строения.

А через минуту был здесь здоровый смех и неясно громыхал голос торжествующего шкафную победу агронома, и диссонансом к нему кусочек и хлопко мозжил захлебистый бухгалтерский. И серо-бирюзовые глаза агронома, под распрямившимся от торжества победы бархатистым ворсом высоломевших на солнце бровей и ресниц, щедротно и благодушно-широко утихомиривали еще слегка колючие, но уже безвредные стрелы из застекленных глаз бухгалтеров.

Такова история этого беспримерного незатейливого шкафа в степной коммуны. И вот упрямеишие бухгалтера не взяли, однако, нижних полок шкафа под свои бухгалтерские книги, и эти нижние полки достались трактористу и «архиварьюсу» Саньке. Здесь, в непосредственной близости к полу, этот просторноглазый человек внедрил кипы сшитых суровым протоколов, так много сообщивших нам о неповторимых горестях, муках, радостях, болезнях отроческих лет коммуны.

3. «Архиварьюс»

Мы подошли к этому шкафу в одно из тех воскресений, которое заседанием совета коммуны решено было, после долгих хозяйственных выкладок и

соображений, сделать нерабочим, потому что здесь даже воскресенья, то-есть вполне узаконенные дни общепринятого отдыха, зачастую протекают в труде. Такова трудовая действительность в коммуне, когда надо во-время посеять, потому что «проянет» земли, и во-время убрать урожай, потому что осыплется зерно, пересохнет солома и станет не в меру ломкой и трухлявой в барабане молотилки,—и много других неожиданно-неприятных последствий.

С нами был здесь главный селькор коммуны и ночной ее рачитель в должности сторожа — старый текстильщик Демидов. Он был по своему обыкновению в столь подозрительном состоянии, словно в стоявшем перед нами мирно настроенном этом шкафе было сокрыто по крайней мере десятка два злободневнейших тем, способных вдохновить шестидесятилетний мозг Демидова на любое количество самых пылких и стремительных заметок в стенгазете коммуны, ибо, как нам уже было известно, Демидов почитался здесь и активным стенгазетчиком, к тому же пуритански строгим и непрощающе всевидящим.

Секретарь совета латыш и красный командир Лилло зорко следил за умонастроениями старика, который уже одевал вторую пару очков на усеянный розовато-фиолетовыми жилками нос, что служило верным признаком напряжения всех стенгазетных способностей Демидова, как он их понимал. Лилло почел нужным тронуть старика за остро отточенный костистый локоть под рукавом чистой сатиновой сорочки. При этом Лилло, мягко по-остзейски шепелявя, умудрил старика:

— Архив ведь только тут, и солища вовсе мало в углу, зачем же вторую пару одеваешь?.. Все ищешь, о чем бы склязнуть в стенгазету... Эх, ты...

Демидов неуклюже и разочарованно повернул голову к Лилло и, вцепившись крючковатыми пальцами в нитяные наушники очков, сожалевающе выговорил:

— Архив говоришь?..

Лилло ухмыльнулся уголком рта.

— Ну да...

Старик протер стекла очков, слегка засиненные для защиты от солнечного

раздражающего зрение света и пробубнил себе в колючую, остисто-выседевшую бороду:

— А я думал—севообороты... Потому они ддя нас—все...

И уже старчески-ясно обронил в сторону Лилло, потом и в нашу сторону покорно-размышляющий и обласкивающий каким-то безвозвратно уходящим светом взгляд.

— Ведь в этом шкафе у нас и севообороты... Как же... Тут, тут они... Самое осьмиполье—тут оно и есть...

И загорячился. И еще что-то забубнил, от сердца идущее, нескончаемо переполнившее его до могилы.

Но Санька извлек из кармана ключ на нитяной поворожке, деловито наморщил свои ярко-гуммигутовые брови и шагнул к шкафу.

В это время Демидов тщательно завернул свою вторую пару очков в опрятно-ворсистую тряпочку, вынул из бокового кармана сорочки большой блестящий клеенчатым блеском футляр и медленно вложил в него очки. Лилло, с щеголеватой отделанной коммунальным парикмахером эспаньолкой, слегка со лба оплешивевший и оттого неестественно большелобый, тронул меня за плечо и скосил свой сероватый глаз с янтарным каким-то отливом в сторону старого стенжора:

— Досадует старый, что не к чему придаться...

Он лизнул свежим розовато-мясным языком эспаньолку и пренебрежительно выпятил нижнюю губу.

— О-ох, — и заноза же старик... Как оса жалит... Так и нюхает, где что не по порядку... Вот и сейчас уже смотрит на Саньку... И туда ему надо!.. Даже в архив!.. А он ли его не знает?!

Лилло покачал головой, взял готовую папиросу из моего портенгара (в коммуне курят самокрутки из легкого табаку), сунул себе в рот и слегка сдавил мундштук папиросы зубами. Потом он тяжело вздохнул, сумно наморщил свой белый, несожженный солнцем, канцелярский лоб и насмешливо сообщи:

— Тоже ведь очманá¹⁾ старая история пишет... И туда свой нос сунул...

¹⁾ Очманá — нечто вроде сатана. Укр. При переводе утрачивает свою музыкальность.

Речь шла все о том же старом селькоре и активисте, который, казалось, не обращал теперь внимания в нашу сторону и всецело сосредоточился своими только слегка вооруженными глазами (пара очков) в сторону Саньки. Как потом мы узнали, старый активист и селькор как-то раз в специальной заметке в стенгазете глухо намекнул на «разных таких интиллигэнтиков, которм замест того, чтоб спать по ночам, бегают по степу с кансамолками, а также и с разными беспартейными, жыр-сгонять, а может и ишо хужей». Намек попал не в бровь, а прямо в глаз, и оттого-то секретарь совета Лилло, трудолюбивый и старательный коммунар, израненный на многих фронтах гражданской войны, не мог забыть этой заметки в стенгазете. Впрочем, как гласила молва, старый селькор переборщил тут малость, потому что Лилло как раз в эту ночь спал безмятежным сном в своей холостой комнате совместно с еще такими же двумя холостяками. И вообще Лилло почитается здесь большим скромником.

Но вот Санька привстал, встряхнул над полом кипой каких-то полувыврепанных бумаг, потом обернулся к нам и тяжело вымолвил:

— От теперь и начнем с етова самава... кхм... кхм... кхм...

Он кукикнул трижды, издавая странный этот хложающий звук, кривовато ухмыльнулся и шагнул от шкафа с архивом к большому сосновому столу. Там он плашмя опустил кипу бумаг на стол, придавил рукой и взглянул на нас.

— Вот теперь давайте читать...

Мы подсели к Саньке, а с другой стороны стола селькор Демидов и секретарь Лилло уже мирно раскуривали из одного кисета самокрутки из легкого табаку и о чем-то рассуждали с полным дружелюбием.

Санька развернул кипу бумаг, мелко исписанных полуграмотными каракулями, и указал нам одно место в этой кипе протоколов общих собраний коммуны и заседаний ее совета. И вот мы прочли эти плохо поддающиеся чтению каракули:

Слушали:

В камуни мало продуктов и хто работайт почестному, то пушай есть, а хто ни жалайт работат то пушай то что остаеця от рабочих. Ежели без янтих мер, то в камуни будит голод.

Постановили:

Принять единогогласно.

Трижды мы перечитывали эти корявые, исполински значительные строки, выведенные уже орыжелыми чернилами. Сколькo тревоги за свое будущее, за будущее коммуны в каждом изгибе пера у этого полуграмотного секретаря собрания. Коммуна доедает остатки продовольствия, едят наравне с трудолюбивыми работниками-коммунарами и лодыри коммуны. И вот великий ленинский лозунг «не трудящийся да не ест» проводится здесь на деле, на суровой безоговорочной практике.

Санька гмыкнул себе в нос какую-то свою скрытую мысль и перевернул страницу.

Слушали:

Красовский просит ослободить ейво от обязанности члена совета. Потому как ин недовольные многии комунары, как он их подтягиваит и подгоняит в работи у степу а также и в камуни.

Постановили:

Придложит Кра-совскому все также подгонят лодырей и лиянтив и все также продолжат роботу в камуни.

Красовский—это и есть наш старый знакомец и строитивец,—нынешний заведующий полеводством в коммуне. У него строго агрономических знаний никаких нет, но он исключительно трудолюбив, рачителен и расторопен в полеводческой части. Он дважды бегал из коммуны от лодырей и лентяев, но три года тому назад он вернулся окончательно в коммуну и усилиями совета и своими собственными повед дело так, что в третий раз ему не пришлось бегать. Поддержала ячейка, поддержало и здоровое трудолюбивое большинство коммуны,—и вот Красовский уже не бегаёт, потому что бежать из коммуны пришлось или взячься серьезно за труд всем лентяям и лодырям. Теперь Красовский встает летом в три часа, ложится в одиннадцать. Он в течение лета сгорает, худеет, как запаленная лошадь, но в его хищных глаз-

ках всегда неукротимо сверкает какой-то слегка пьяный огонек вдохновения.

Еще переворачивает Санька, доволь-но осклабляваясь и слюнявя пальцы, замусоленные страницы этих кип протоколов.

Слушали:

На шет прачешвой, а также на шет шетовода, потому в камуни запутываються дела.

И тоже на шет, чтоб все камунары сдали своей живой инвентарь и у которых есть хлеб то тоже.

Постановили:

Прачешную организувать. Послат в земогдел за шитоводом, для распутывания дела. Придложит всем камунарам сдать жывой инвентарь и хлеб в камуну. Кто не сдает то пушай и деть из комуны куда хатить.

Так строилась здесь, на южном окрайке Союза, эта новая жизнь. Так бросались здесь отдельные зерна этого самобытного коммунизма в отощавшую от лишений и разрухи гражданских войн человеческую почву. И несмотря на то, что коммуне грозил совершенно неотвратимый голод, что, казалось бы, в пору было бы как раз именно тогда позаботиться каждому о себе,—все едали все. Так гласит дальнейшая летопись коммуны. Вот эмигрант Ивка. Это худой, низкорослый, слабосильный человек. Он теперь активист в коммуне, член бюро ячейки и зампред совета коммуны. Он сдал все—вплоть до белья. Американские костюмы из коверкота пошли в общие склады коммуны, и она ими распорядилась так, как в то время повелевали обстоятельства катастрофического положения коммуны.

А вот протокол, основанный на личном доверии к товарищу по коммуне:

Слушали:

Ездил Молчаненко менять продукты в Симфинополь, а шетов почему то не взял.

Постановили:

Признать и без шетов правильной и сказать на другой раз чтоб не было.

Здесь надо разумеь, что собрание постановило хотя и принять на этот раз мену без шетов, но в другой раз чтоб подобных мен без шетов не производилось.

Но вот Санька как-то по-особенному ухмыляется и тычет своим расплюснутым, как плавник, пальцем в страницу. Мы нагибаемся над протоколом и остро вчитываемся:

Протокол № 11 от 16 июля 1921 года.

Слушали:
Доклад коменданта Особого Отдела Сивашского Укрепленного района о даче фисгармонии и всего прочего, касаемого столов, стулов и так и далее.

Постановили:
Не давать. Потому своих детей в камуне пока довольно и можно даже с большим успехом их всех вывчить на фисгармони. И тогда будить содержанье жизни совсем даже другое. А стулов и один или два какой ни на есть столов можна дать.

Так суховато, но не без специфической колоритности записан этот интереснейший эпизод из отроческих лет коммуны. Дело в том, что докладчик-комендант, по рассказам старежилов коммуны, прибыл в последнюю в самый разгар полевых работ, когда каждый час был на строгом учете, когда коммуна мобилизовала все свои силы на сбор урожая, на его обмолот, на пахоту карасабана, который тогда был еще только опытным первенцом в коммуне. И вот появляется фигура коменданта: в галифе, в блестях амуниции, в хорошо и прочно пахнущей победой коже. А коммунары, из которых большинство красноармейцы и партизаны, оборваны, грязны, полуголодны, озабочены работой, до последней степени изнурены ею. И вдруг — фисгармония. Тема явно неподходящая и пустая с точки зрения коммунаров. Коммуна ждала доклада по международному вопросу, — ей докладывают об изъятии из ее имущественного фонда фисгармонии. И коммуна ошестинилась. Некоторые активные коммунары прямо кричали на этом собрании:

— Почему приехал без доклада?!. Почему доклад о международном положении не сделал, а сразу приступаешь к фисгармонии?! Ишь, тоже!.. Долой!! Не даем!!

И вот тогда, по рассказам все тех же старежилов, комендант начал вламываться в амбицию.

— А-га, та-ак... д-д-ддор-рогие товарищи!! Для Красной армии вам стало жалко барахлишка?! Мы кровь проливали на всех фронтах, мы спасали социализм, а вам жалко буржуазной фисгармонии?! Стыдно, товарищи!.. Фисгармония является совершенно необходимой для особого отдела... Как так можно?!..

От этих слов коменданта смущение начало проникать в простые, черноземные сердца коммунаров, ополосканные заботой о новом житье-бытье, о большой стройке коммунизма среди косного моря единоличников. И уже готовы были сорваться крики согласия на выдачу фисгармонии. Но в самый решительный момент выступил гигантского роста коммунар, бывший партизан в тылу у Врангеля, за голову которого главный штаб барона назначал крупную сумму.

Этот гигант с душою хорошо прирученного слона не мог стерпеть, когда щеголеватый комендант напомнил о том, что он кровь проливал на фронтах гражданской войны. И вот, — длиннолицый, согбенный в самом, казалось, кустяке своем, в широких рваных матиастых штанах с орыжелой очкурней¹⁾, с голубыми, начинавшими наливатьсь кровью негодования, обычно тихими, детскими глазами, — выступил он перед толпой коммунаров, подпернул оседавшую от голодухи очкурню на запавшем брюхе и, оглядев с головы до пят, до шпор с малиновым звоном этого щеголя, глухо вымолвил:

— А скажи нам, товарищ дорогой, — игде ты и в каких таких боях выслужил вон такую амуницию, как на тебе красуется?.. А ну-ко, — в каких таких боях ты прославился?.. Скажи-ко нам, а мы послушаем?..

Комендант сбледнел с лица, шпоры его зазвенели оробело и с несомненным смущением. Но заплетающимся языком он все же успел выкрикнуть:

— Т-товарищи!.. Что же это?! Это демагогия!.. Как же это можно?!

Но толпа шокрыла его слова ревом, свистом и гомоном.

— А мы кровь не проливали?!

— У нас все больше красноармейцы и шартизаны!..

— Ишь ты какой нашелся!..

— Почему без доклада приехал?! ф-ф-фферт!..

— Дол-лой!.. Дол-ло-ой его!..

— Не давать музыки!..

— С-сами играть будем!..

Тогда выступивший коммунар-гигант поднял свою изватлашенную трудом

¹⁾ Очкурня — брючный пояс кожаный, украшенный пуговицами. Укр.

руку, и под этой рукой, простертой над толпой коммунаров, стало зловеще и напряженно тихо. И гигант приглушенным голосом, казалось, обмогилывая эту тишину, придавая ей какой-то величаво-значительный характер, медленно сказал:

— Это не так, товарищи-коммунары... Вот этого самого фертника никто не посылал к нам за музыкой... Сам он все выдумал... Так это и залышым у свою книгу... А что касаемо того, чтоб вот тучочка считать, это больше етой самой поганой баронской кривавицы пролил, а также и своей р-робочей,—то ты знаешь... т-т-товариш... хрр... хрр...

Гигант захрипел и докончил:

— ...Вот я сам, да и остальные многия прочии тож, по торам да по стенам и буеракам спотыкались в тылу у белых по два фода... Я сам до сотни офицерского барахла к коню приповодил и в штаб к своим привел...

И тогда из безмолвной толпы прогугукал дубоватый, приглушенный головаина:

— Ему сам Буденый сашку¹⁾ подарил, а ты тут верзешь всякую такую кашость...

Командант краснел, бледнел, синел, а подсчеты бочек пролитой на фронтах гражданской войны своей и вражеской крови шли своим чередом, потому что всем этим простосердным людям показалось, что им наступили на самое святое, веками вынашиваемое, ими на своей крови выстроенное, в чем теперь этот щеголь в шпорох и позументах смеет еще как-будто сомневаться. Словом,—было здесь доказано, что на много-много ведер больше крови было пролито коммунарами... Команданту дали дюжину стульев, два стола и еще что-то из обстановки. На прощанье гигант-коммунар тихо сообщил команданту:

— А все оттого вышло, товариш, шо ни можышь и не вмиешь ты побалакать по-хорошему с нашим братом... От, якбы, ты прийихав до нас да доклад прочитай, та роспитав шо воно и по чему—и музыка оця сама задрипана попивьска твоя булаб... Отак-то, друзяка...

Командант выбывал из коммуны по-срамленным, но с хорошей выучкой о

том, как надо уметь подходить к ба-траку, к новому степовому человеку, к массе, к ее большой и многообразной душе.

Как потом оказалось, эта собственная, слишком прыткая инициатива коменданта была наказана, так как никто в штабе Сивашского укрепленного района никаких поручений о фисгармонии етому коменданту не давал. Мы уверены, что этот комендант получил хорошую и высоко полезную выучку.

Было тихо в канцелярии, когда с красочными комментариями, с колоритнейшими сравнениями передавал этот случай очевидец его, старожил коммуны селькор Демидов. Старик даже несколько раз доставал из кармана бережно и трогательно завернутый в тряпочку футляр со второй парой своих засиненных очков, но каждый раз сидевший с ним рядом Лилло пошевеливал эспаньолкой и подталкивал старика куда-то в бок.

— Спрячь... И без второй пары хорошо рассказываешь...

Старик отмахивался и продолжал говорить дальше. А Лилло уже серьезно бросал:

— Спрячь очки, а то разобьешь... Спрячь...

И старик бережно прятал очки, и бубнил его голос, и морщился ясный широкий лоб, и подрагивали от волнения нитяные наносники очков на переноси. Когда он кончил, мы молчали несколько минут, пока Санька не перевернул следующие страницы. Ухмыляясь своей постоянной, слегка язвительной, но внутренне безобидной и простецкой улыбкой, Санька сказал:

— Тут ведь материалу на десяток книг хватит...

И горделиво похлопал рукой по замурзанной, вылинявшей кипе спитых протоколов. Потом он ясноглазо взглянул на нас и ткнул пальцем в следующий протокол:

— А это чем плохо?..

Мы вонзились глазами в каракули и прочли:

Протокол № 13 от 22 июля 1921 года.

Слушали:

О симулянке боляни Костюковой, котора разный танцюлькы по вечерам

Постановили:

Выгнать — так обоих, симулянку и помошника евоного Аванесова. Позор

¹⁾ Сашка — сжарговированное «пашка».

встраивать, а на работу лодырка переволоку. За симулянку болезни выставить член совета Аванесов, заявляя, что пусть выганаивают и его, раз Костюкову.

дезантирам комунизму... Ура..

Так боролась коммуна на заре своей жизни не только с лодырями, с симулянками, но и с жуковством, как видно из протокола, уже заползавшим своими ядовитыми щупальцами даже в самый мозг коммуны—в ее совет. И коммуна без сожаления выгнала юбоих из своей среды, в том числе и члена совета Аванесова.

Когда мы разбирали этот протокол, подошел к столу старый коммунар, шорник Саприн. Он пришел в коммуну прямо с фронтов гражданской войны. На войне он потерял способность четко и ясно говорить, так как белогвардейский снаряд где-то в плавнях Азовщины, разорвавшись над головой у Саприна, невидимо и непонятно повлиял на языковые способности этого человека. Теперь он заика. Когда не волнуется, гладко выходит, а при волнении голова у него начинает покачиваться, нижняя челюсть слегка отвисает, и с усилием жмурятся его острые ярославские глаза. Теперь он подошел к столу, курнул из мундштука, заклинал глазами и, уже начиная заикаться, сказал:

— Т-та-ак-к-к т-то оно... оно так, а т-тто-то-только не совсем.

Санька недоверчиво глянул на Саприна.

— Что не совсем?..

— А то..

Мы переглянулись, а Демидов уверенно сказал:

— Погодите, не торопите ево... Он обскажить все как есть...

Лицо у Саприна вытянулось и перекопилось, глазные впадины сузились в тесные, испытующие щелины, и целая гамма свистящих и шипящих, словно в испуге перед этим болезненным пороком, заклокотала у него под губами.

— Флл... ссс... ссс...

Потом внезапно выпучились глаза, Саприн потянулся вверх всем телом и сразу выпалил:

— Ав... Ав... Аванесов был х... хороший работник и... и... х-хороший т-то-

варищ... А только... т-только... только б-баба завладела человеком... Так и и-пропал... Все от... от... от бабы...

Демидов торжествующе оглядел нас всех, потом каким-то сочувствующим и бесконечно отцовским взором обнял за плечу Саприна и, словно оправдывая того, сказал:

— Земляк ему Аванесов-то... Из одних ведь краав... Почти даже из одной деревни с им, с шорником-то...

Но Санька уже ворочал корявыми своими пальцами страницы протоколов. И тогда прочли мы следующую ветхую страницу этой летописи:

Протокол № 14 от 24 июля 1921 года.

Слушали:
виду того, что семейство Спиридонова-коммунара производить все время драки и бычества разных потому жонка Спиридонова проявлять интересу мало к коммунарской жизни и хатить на отруба и зоветь самосильно за собою мужа, а он млявый и слабосильной по натуре своей.

Постановили:
Исключить с камуны оных со всем семейством и дать им на обзаведения хозяйственных усяких забот две коровы и одну лошадь.

Здесь налицо победа собственнического уклона над еще неустоявшейся коллективной идеологией. Застрельщиком, как мы видим, явилась женщина,—обыкновенная, закоснелая в собственническом быту деревенская женщина. Муж был старательным коммунаром, но, по словам старожилков, «не мог справы дать своей бабе», и вот эта «баба» так повела свою политику, что коммуне, для избавления от ежедневных драк в семействе Спиридоновых, где шла кровавая идейная борьба двух начал, пришлось принести в жертву хорошего старательного коммунара Спиридонова, но избавить коммуны от вредной разлагающей агитации и внести в коммуны покой. И Спиридоновы ушли, и коммуна даже выделила им часть имущества, живой инвентарь для середняцкого хозяйства.

Протокол от 6 августа 1921 года под № 16 гласит следующее:

Слушали:
Разные бабы свары, которые заедають мырную жысть в камуни и от части по принципу анти-

Постановили:
Призвать к порядку и дать самую что есть строгость в этом предмете, потому как Наш Вели-

симитинизму—то надо принять меры, потому все нации повинны быть как вроди братья и равны промеж себя как есть у всем и по-всюды.

кой Вождь Ленин сказал—так оно и будить.

И сварливые женщины, в среде которых первоначально еще имелись и антисемитствующие уклоны южной деревни тех времен, были призваны к порядку, к ним были приставлены специально выделенные ячейкой хорошо развитые коммунары, и они, как передают старожилы, «образовали баб враз». С тех пор в коммуне антисемитизма нет и в помине. Там просто этот вопрос о национальном происхождении того или иного члена коммуны никого не интересует.

Небольшая страничка протокола № 17 говорит об организации детской колонии, кроме того, здесь же разбирается вопрос о том, что у члена совета Любового украли из кармана в Симферополе один миллион совзнаками. И вот встает вопрос: простить или не простить, поверить, что украли, или не поверить и выгнать из коммуны. И собрание, взвешивая все индивидуальные свойства Любового, постановляет: поверить и простить, но только чтобы впредь Любового не был «роззявой и вороной».

И когда мы почти неотрывно вчитываемся в эти то расхлеснутые в стороны с щедрой безграмотностью, то скуповошедшие почти одна в другую буюковки, старик селькор думающим и вспоминающим те, уже теперь далекие и невозвратимые времена голосом слегка шепеляво говорит:

— А Любового-то, — ей-ей хороший коммунары был... А только... только...

Санька роняет как-то невзначай полупьяный от напряжения взор свой в сторону Демидова, а Лилло, облизывая языком жесткую свою эспаньолку, опережая старика, еще не докончившего свою мысль, стремглав влетает в разговор:

— А ты помолчал бы, старый, а то таким манером и гостей наших разговоришь... Вишь как они старательно вчитываются...

Демидов, не смущаясь, клипает своими прикрываемыми на удивление

длинной махровью ресниц старыми глазами и заканчивает:

— ...а только тоже вот водочка стубила... Был бы человек, да все водочка...

Почти не отрываясь от протокола, я скопил глаза в сторону Демидова:

— А что,—пил разве крепко?..

Демидов курнул, забрал слишком много едучего дыма в старые мешки и, поперхнувшись, закугикал сухим, ржавым кашлем, кутая этот явный признак своей старости в жалковато-согбенные, почти скрюченные свои кулачки. Откашлявшись, он выпученными глазами блеснул оквозь стекла и докончил то, что хотел:

— Крепко пил и в хмелю р-раклюга чистейший был... А только в камуне—а ни в рот... Там... в городе...

И махнул рукой с таким видом, словно город был расположен вот тут недалеко от коммуны, может быть, за ближайшей невысокой взмылиной степи. И снова стало тихо в комнате, только мухи стремительно тонялись друг за дружкой от окна к окну, шерелетали за окна, приводили новых и знакомили их с этим шрвеваемым ветром ящичком с людьми. Но вот Санька молча ткнул на один из пунктов того же протокола. И тогда мы прочли:

Слушали:

Камунары Подбережный не лапайт кур, не сдасть яйца в камуну, а если и сдасть то не все без остатку, а остальные одним словом пьют и тем кормиться, а в столовую за камунейскими столами все ходить. Видели другие собственно ручно.

Постановили:

Вынести порицания за кражу яиц, а попутно и за кур, которых он тоже может поест, раз ест яйца.

И дальше там же:

Камунары Ковальчук менять гаядину с дохлых лошадей татарам на разные селебрыные вешчи, а также может и на спирт, потому видали пьяного. Также и на табак.

Выгнать из камуны Ковальчука, как вора и мошенника. Выгон сделать не медленно, шоб не позорил камуну.

Так расправлялась коммуна с ворами в своей среде, особенно раз воровство происходило из явно корыстных побуждений. В те времена не существовало еще и в общегосударственном порядке уголовных кодексов о наказа-

ниях, но здоровый массовый нюх, то чутье, которое оберегало коммуны от полного развала, от превращения в анархо-бандитское скопище людей в степи, оно подсказало и здесь тот путь, по которому годом спустя пошло создание и общегосударственных кодексов. Раз корысть в краже была налицо,—изгнание из коммуны было неминуемо. Не было корысти — еще туда-сюда. Могли и простить, как прощали кражу яиц, которые человек украл и тут же выпил.

А вот и насчет работы, насчет длительности трудового дня:

«Роботать от сонца до сонца без исключения всем камунарам» (протокол от 10 июля 1921 года).

Кажется, этот протокол немногословен и лишен каких бы то ни было комментариев, но, когда вдумаешься, что это значит «от сонца до сонца», сразу представляется этот мучительно жаркий степной день, бесконечно длинный, напряженно-суровый, длящийся «от сонца», с четырех часов утра, «до сонца», то-есть до девяти часов вечера. Это выходит — семнадцать часов. Так осталось и до наших времен. Во всяком случае, в нынешнее лето коммунары этой коммуны работают все так же «от сонца до сонца». И ничего здесь поделать нельзя, потому что такова действительность. И если перейти немедленно на уменьшенный рабочий день, еще не достигшее высокой степени интенсивности хозяйство коммуны не выдержит, не прокормит даже себя, не самокупится, увеличится задолженность и всякие другие последствия в таком же роде. Коммунары отчетливо сознают это, и принцип «от сонца до сонца» продолжает еще твердо и непоколебимо проводиться в жизнь.

А вот маленький пункт протокола, на который тычет пальцем Санька и в то же время весело похохатывает, оглядывая комнату. Лилло перебегает на нашу сторону стола, всматривается в то место, куда указывает Санька, и тоже начинает хохотать.

— Вот так баба!! Ну и стервова же!! Демидов шурится и, слабо ухмыляясь, торжествующе вопрошает:

— Это про Деревягина?..

Ему в ответ хохочут, и тогда старик твердо говорит:

— Да про него же, черти... Больше не про кого так смеяться... Обязательно же про него...

И мы действительно читаем в протоколе о коммунаре Деревягине, «о его убёге из камуны». Постановление по поводу этого «убёга» гласит следующее:

«Как камунар Деревягин сотворил убёг из камуны, от настоящей трудовой жизни, то считая Деревягина дезентиром камунизма. Позор дезентирам камунизма. Да здравствует мирная камуна».

Но дело «об убёге дезентира камунизма» закончилось чрезвычайно неожиданно для всех: через несколько дней этот «дезентир камунизма» явился в коммуны и прямо в совет. Шло как раз заседание совета, и в эту торжественную минуту вошел в комнату «дезентир камунизма». Первым пришел в себя председатель. Он подошел к «дезентире» и законченно строго поставил вопрос:

— Куда бегал?.. Зачем явился обратно?.. Раз убежал, зачем пришел обратно?..

Огромный с лошадиным лицом мужик, с отвислыми сосульми непокорных усов, норовящих спрягаться в рот (таков он и теперь—этот прекрасный и стойкий коммунары Деревягин), смутился, как ребенок. Ему казалось, точно поймали его на воровстве или еще на каком тяжком преступлении. И он, сморщив свое огромное одубковатое лицо, искренне плачущим голосом заревел:

— Т-товарищи!! Друзья!! Не от себя!! Ей-ей, не от себя!! От нее, от суки!!

В совете засуетились.

— От кого от нее?..

Деревягин костистым длинным задом упал на скамью.

— От жонки, — шоб она околела, сука!..

И было тогда много здорового веселого смеха в этом в своем роде исключительном заседании совета, когда Деревягин рассказывал:

— Ну, поедом ест, сука... Ну, а ни вздохнуть же не даст... Ту-ту-ту-ту-ту...

Тутукает с утра до ночи и с ночи до утра... Ночью, сука, проснется и ну пилить, и ну есть...

Он схватился со скамьи и, уже искренне плача, закончил почти верещащим голосом:

— Ну как ржа железо ест!.. Печонки все выела у меня!.. Н-не могу-у!.. Ратуйте!.. Спасайте!..

Председатель прекратил смех в совете, потому что здесь была своя большая трагедия.

— А где ж ты шлялся восемь суток, оглашенный?..

Щеки Деревягина запали в обочины рта, обнажились тогда сквозь кожу кости челюстей и угластые изголодавшиеся скулы.

— В степу все...

— Все восемь дён?..

Деревягин поднял голову.

— А то как же...

— А что ж ты ел?..

Деревягин тяжело выдохнул из себя воздух.

— А коренья, а то зерно, где какое найдешь, да бурьян...

Он махнул рукой и снова опустился на скамью.

— Одно слово, ну как птица или там зверь... Спал, коренья ел да разный степной бурьян...

Потом, в откровенные минуты, когда среди вечерних зимних досугов товарищи по коммуне поднимали Деревягина насмех, вспоминая этот случай из его жизни, Деревягин подробно рассказывал о том, как однажды в степи явилась у него мысль совсем не возвращаться в коммуну, но стало стыдно и обидно от того, что товарищи могут подумать о нем.

Так и остался этот бедный «дезентир камунизма» со своей прежней женой. Но после этого случая жена Деревягина приобрела все черты семейного миролюбия и снисходительности. У нее появились совершенно отсутствующие прежде способности к совместной семейной жизни. Теперь этот «дезентир камунизма» величает свою жену Марфой Свиридовной и не может нарадоваться, глядя на свое семейное счастье. По вечерам он иногда вспоминает те дни и ночи, когда, на правах дикого степного кобсака, скитался он по бу-

ракам и ложбинам в поисках пищи. И свои воспоминания он заканчивает всегда одной и той же, полной искреннего изумления фразой:

— И до чего же может довести человека собственная жена?! Так сказать, тт-т-товари-ищ... ж-ж-жженщина... Ох-хо-хо-хо...

Марфа Свиридовна при этом изречении мужа пламенеет, старается углубиться в газету, которую она научилась читать за последние годы в порядке уже вевшейся и необходимой привычки, и переводит мужа на тему «о международном положении нашего Союза».

Такова история этих двух-трех коротких строчек, от которых уже теперь несет обомшелой прелестью истории младенчества одной из образцовых коммун степного Крыма и, пожалуй, всего Союза.

Но перед нами на столе еще целая большая связка протоколов, таящих в себе, может быть, не менее колоритные и любопытные штришки все из той же истории коммуны. И Санька переворачивает следующие страницы, Лилло раскуривает очередную папиросу, а старик Демидов уже извлек из кармана записную книжку и, вдохновенно слюнявя карандаш, пошевеливает обесесевшими губами, заноса в книжку продукт своего мгновенного селькоровского наития. Активный старик и упрямый... Непоседа в шестьдесят лет. Побольше бы таких нашему молодому колхозному делу.

И вот протокол от 28 августа 1921 года «о падающих курах», то-есть, проще говоря, о дохнувших курах. История прелюбопытная: приставленный к курам коммунар доносит совету, что ежеутренне, а часто и среди дня, ему приходится подбирать хладные трупы дохших кур. В чем дело?.. Коммуна в тревоге. Тем более в тревоге, что видимых причин такого бедствия не обнаруживается. Назначается специальная следственная комиссия, ведется допрос коммунара-курятника. Тот клянется: знать не знаю и ведать не ведаю. И вот выносятся постановление:

— Пригласить ветеринара для обнаружения причины и ведения по-настоящему борьбы с «паданием» кур...

Является ветеринар. Отправляется на курятник. Живет с курами в буквальном смысле этого слова. Живет двое суток. На третьи сутки является в совет, торжествуя, покачивая в такт своим словам седеющей бородой.

— Нашел причину, товарищи советчики...

И, расположив труп очередной жертвы, прекрасной крупнопородной курицы, он вскрывает лицезетом череп птицы. Обнажается мозг... Но, — странное дело, — эта главная часть живого организма, господин и властелин всех жизнеборных функций, — окровавлен, сосуды в нем изорваны, все искровавлено. И тогда седой, опытный ветеринар укоризненно бросает смелые слова смущенной толпе коммунаров:

— Бить вас надо... Про науку, черти, забыли... Помните слова нашего великого вождя—о союзе науки и труда...

Коммунары подавлены. Советчики и вовсе уничтожены. А этот всемогущий теперь старик сыплет упреками, разносит незначительных хозяев:

— Ведь сорок восемь штук прекрасной птицы погибло!.. Эх вы-ы!.. Почему сразу не вызвали меня?.. Ведь для этого нас государство держит на жалованьи... Ведь это наша обязанность...

Молодой щупловатый и слегка косоглазый председатель совета, пряча покрасневший нос в орукавок сорочки, нерешительно роняет:

— Да хватит... Сами понимаем, шо дурня безголового спраздновали... Наука будет на другой раз... Говори в чем дело?..

Ветеринар обнажил редееющие из'еденные зубы:

— А-га!.. Теперь в чем дело?!

Он прицеливается указательным пальцем председателю в нос и выкрикивает свое:

— А вот в чем дело, т-т-товарищ... Про союз науки и труда... з-з-были-и!.. Вот в чем дело!!

И так, поведив коммунаров вокруг да около, пристыдив их изрядно, он сообщил:

— Вот в чем причина...

И извлек из кармана какую-то завернутую в бумагу продолговатую вещь. Оказался кукурузный кочан.

И тогда ветеринар сообщил:

— Разве можно кормить птицу такими камнями?.. Голодная птица клевать-то будет, но что из этого вышло?..

Он поднял свою руку над головой,— руку, вооруженную смертоносным кукурузным кочаном.

— Птица бьет клювом по вот таким камням, старается выклевать кукурузное зерно из гнезда, а в результате сотрясения мозга и кровоизлияние в мозг... Вот и смерть готовая... Особливо в такую жару...

Ветеринар кончил, уже снисходительно завершив речь:

— Э-э, — р-р-ррастяпы... До полсотни птицы сгубили...

В тот же день «падание курей» было ликвидировано, потому что та же самая каменисто-отвердевшая кукуруза предварительно проваривалась, охлаждалась и в таком размягченном состоянии преподносилась птице. Сначала изумленная птица подозрительно приноживалась к этому новому блюду, но, спустя три-пять минут, уже пожирала проваренные кочаны вместе со ствольем — сладковатым и тоже относительно с'едобным.

— Вот видите... Недаром нужен союз науки и труда...

Ветеринар на паре лучших коней был отвезен на вокзал. Увез он с собой благодарность коммуны, собственное удовлетворение и несколько узелков с мукой, салом, яйцами и прочим сельским продуктом в виде достойной мзды. В те времена еще города изрядно тощали, и к такого рода гонорарам в натуре за такого рода услуги можно отнестись со всем снисхождением.

Такова история, как передал нам ее один из старожилков, «о падающих курах». Она занимает в кипе протоколов только три маленькие строчки.

Мы прочли эти три строчки. Мы выслушали и образную передачу. И в выводах по этому вопросу мы спросили этих степных людей:

— А как теперь насчет союза с наукой?..

И в ответ нам Лилло взвинтил свою голову как-то полуспиралью кверху, ядовито жуснул свою треугольную ошетиленную эспальонку, Санька на-

дул щеки и выдохнул с натугой воздух, Саприн выпучил глаза и готовился что-то такое важное сказать нам, но, безнадежно икнув, сплющил глаза в тесные щели, заикнулся и умолк. Только старик Демидов даже привстал на скамье, зыркнул глазом в сторону Лилло и громко, со стариковской неистовостью, высек:

— А энто што?!

Он ткнул пальцем в ту сторону, где придавил стену и пол зазелененный медяной шкаф, потом сорвался с места с таким видом, словно был он прибит к скамье семидюймовым гвоздем, подбежал к шкафу, рванул на себя средние створки... И тогда мы увидели банки с семенами, с наклейками на каждой, толстые папки с записками, а на папках надписи: «Поле № 3. В о с м и п о л ь е».

А дальше перечислялись все опыты на этом поле, все планы и предначертания на дальнейшее.

Старик Демидов, горестно ткнув в папки пальцем, отчаянно вывизгнул:

— Это ли не союз?! Агроном — свой!.. Ветеринар — свой!.. Дохтур — тоже зделаем свово!.. Теперя разве фершал только, но зделаем дохтура!!! Дай время!..

Санька уже пучил щеки, выдувая воздух из легких, а Лилло тянул старого селькора за орукавок сатинетовой сорочки.

— Не мешай... Сядь, давай, на место...

Старик сладостно зашелся маленьким и дрябловатым смехом, рубнул рукой в воздухе, словно хотел разрубить всю свою жизнь пополам: одна где-то в прошлом, очервившая, прыщеватая, анемичная, выскребаемая со всеми своими болезнетворными последышами; другая — вот эта, теперешняя, ясноглазая, зачинающая в своей плодovitой утробе новые свершения. Так мы поняли этот разрубающий жестокий взмах рукой старого селькора коммуны Демидова.

Мы приступили к следующему протоколу, в котором говорилось «о избивании волон» коммунарком Фурсом. За это самое «избивание волон» Фурс был исключен из коммуны. Так коммуна, еще на заре своего хозяйственного бытия, научилась относиться к своему

союзнику в борьбе с природой—степному покорному труженику волу.

Мы уже сидим за этим длинным столом почти три часа. Зрение наше утомлено, но острое любопытство, кажется, возгорается все ярче с каждым следующим протоколом. И Санька заражается этой остротой. Он уже не просто наш водитель по этим кипам протоколов, — он творит вместе с нами, он вылавливает самое интересное и самобытное из этих кип. Не сидят спокойно и остальные трое. Они тоже активно участвуют в нашей работе. Даже молчаливо-заикающийся и изредка вхлебывающий в себя воздух особыми хлюпающими вздохами шорник Саприн, выкуривая палиросу за папирсой, забывает, что завтра с утра ему надо чинить хомутъ, шлейё и прочее сбруйное рваньё, потребное для текущих надобностей коммуны. Он часто вскакивает со своего места в дальнем углу за шкафом, подходит к столу, и тогда пупырчатое, угреватонескладное, но крайне добродушное лицо его всовывается между нашими склоненными над протоколами головами: моей, плешеющей со лба, и Санькиной — еще кучерявой непокорными своеобразными завитками молодости и беззаботности. И глаза у Саприна выпучиваются, когда он вглядывается в эти загадочные для него каракули, почти вдавленные в дешевую, изжелта белую и мелко вымятую временем и человеком бумагу. Дело в том, что шорник Саприн неграмотен. Он хорошо развит политически, он не пропускает ни одной беседы на политические темы, но он безнадежно неграмотен, и оттого на его добродушно-отцветающем последним цветом зрелости лице написана эта ни с чем не сравнимая, скорбная зависть. Ему хочется выучиться грамоте, но кто-то когда-то втемяшил в его податливую голову, что памяти у него нет от природы. Так он и «кроет» при каждой ликбезной перерегистрации:

— Памяти у меня, товарщи, и во все нет... Замолоду не было, а теперь и того пуще... Не выучиться уж мне... Так и помирать буду...

Его все-таки грамоте выучат. В это мы твердо верим, так как в коммуне

на этот счет есть богатейший опыт и особо-педагогические подходы к таким вот упрямам. Но теперь, во время изучения исторических бытовых прошлых страниц жизни коммуны, нам просто человечески жаль Саприна, когда просовывается его голова среди наших и когда мы вчитываемся в эту надолго запечатленную скорбную досаду на его лице. От Саприна наносит слегка деготьком, слегка смолой, еще чем-то дратвенно-шорно-сыромятным, несмотря на то, что Саприн весьма чистоплотен, и каждый день он завершает свою работу хорошей ванной в коммунальной мельнице под дизелем.

Но Санька гонит наше размышление со всей непосредственностью своих еще неполных двадцати трех лет:

— Ну-ко, смотрите сюда, а то уж и жрать охота....

Он выговаривает эту фразу, тыча пальцем в задержавший его внимание протокол, и тогда скорбная досада на лице Саприна уплывает из нашего внимания, потому что уже новый протокол, новые интересные строки задерживают наше любопытство. И вот мы читаем:

Протокол № 26 от 8 октября 1921 года.

Слушали:

Доклад товарища Пэтрика о делах камуны, как нехватка оборотново капиталу, так и всякая оставшая нужда, и чтобы ижжить такую нехватку, нада чтоб наши братья, американышки пролетары пособили нам Управиться с этими делами и нехватками. Товарищ Пэтрик: как сам эмигрант, так он знает что куда и что по чем.

Постановили:

Командировать товарища Чурилу за всякой помощью к американскому пролетарью и чтоб все как есть обсказал там об нашей камуны и об нашей родной Советской Власти Дать товарищу Чурылы прохутов надорогу и денег сколь нада, щоб не бедствовал в дороге, потому дорога дальняя.

Мы прочли этот протокол при крайне напряженном внимании всех присутствующих. И все молчали, подавленные почти одинаковыми чувствами.

История этого прелюбопытнейшего случая такова: терпя острую нужду в оборотных средствах, сознавая, что обнищавшая после гражданской войны и разрухи страна не может удовлетворить всех кредитных потребностей полуразрушенного и вновь созидающегося на новый лад хозяйства коммуны, имея в своей среде свыше десятка

эмигрантов - американцев, — коммуна после долгих размышлений и обмена мнениями решила послать в Америку одного из своих эмигрантов за помощью к американскому пролетариату. И вот товарищ Чурило выехал и доехал до Симферополя. Там ему указали на всю экстравагантность этого намерения. Но упрямый и престодушный Чурило подумал:

— Э-ге-ге-ге... Вам, черти, тоже верить нельзя... Не хотят, чтобы мы помощь получили, а то, может, хотят, чтоб с ними поделились... Поеду-ка я в Москву... Там будет без обмана...

И Чурило отправился в Москву. И вот, как говорят старожилы, Чуриле будто бы довелось говорить по поводу помощи американского пролетариата даже с самим Владимиром Ильичем. И будто бы Владимир Ильич в принципе одобрил это намерение, но по чисто техническим причинам отговорил Чурилу ехать. Во всяком случае, как нам передавали старожилы коммуны, Чуриле сказали в Москве, что такого рода неорганизованная помощь американского пролетариата нашу страну мало устроит, и из-за этого ехать в Америку не стоит. Разочарованный Чурило, проездив около месяца, вернулся в коммуну и отчитался перед общим собранием, доложив о результатах этой исторической поездки. Общее собрание погоревало над неудавшейся поездкой и обратилось к средствам и путям общего порядка для раздобывания дальнейших кредитов.

Во всей этой истории поражает наряду с детской верой в правоту своего дела еще и та огромная солидарность и братское доверие, почти беспредельное, к мировому пролетариату. Только этими чувствами были переполнены сердца коммунаров, когда выносилось решение о поездке Чурилы в Америку. Теперь все это кажется шуточной и чем-то несерьезным, но это подлинный факт, который может быть доказан документально, как и все сообщаемое в этих очерках.

Надо оговориться, что и пишущий эти очерки, разумеется, принимает только на веру версии о свидании Чурилы с покойным вождем пролетариата, но и для этой легенды есть объясне-

ние в той популярности и обаятельности личности Ленина, вокруг которой в свое время создавалось немало легенд. Может быть, Чурило и не имел свидания с Лениным, но это ни в какой мере не влияет на самый факт посылки делегата за помощью к американскому пролетариату, а доступность покойного вождя и его простота общезвестны.

К числу протоколов, весьма характерно рисующих ту первичную эпоху нашего колхозного строительства, с его неграмотностью, недостатком оборотных средств для развития нового дела, с его нуждой и отсутствием большой помощи со стороны обнищавшего государства, относится протокол № 29, от октября 1921 года. Там сказано следующее.

Слушали:

О принятии в коммуну двоих товарищей кансамолистов, присланных совхозом Султан-Бачола.

Постановили:

Не принять. Как выше указаны товарищи кансамолисты, проработавшие увесь летний сезон в выше сказанном совхозе то вдруг на зиму выбрасуютца за борт жызни и оставаясь вне всякого существования.

Здесь все имеет своей жгучий интерес: и порядок изложения протокола и характернейший сам по себе случай, когда, даже при редкой партийной прослойке в то время в личном составе коммун, совхоз пошел на исключение комсомольцев из своего штата на зиму, а коммуна, отметив эту неправильность и вопиющую несправедливость совхоза, все же, исходя из соображений экономии и считаясь с недостатком продовольствия, не смогла принять в свой состав этих двух активных ребят.

Даже в те, теперь уже отдаленные от нас, времена, коммуна, терпя лишения и часто даже голод, все же не лишена была известных моральных устоев в таком разрезе их понимания, как это чувствовалось большинством ее личного состава. У коммуны была своя этика и свои моральные, высоко развитые понимания. Не о чем ином, как только об этом, характернейше сообщает нам протокол № 40, от 8 января 1922 года. А в нем сказано следующее:

«Исключить из коммуны Белоусову и ее соучастника Зиньченку за зделание аборта».

Как видно, взгляд коммуны на аборт был самый строгий. Несмотря на нужду, коммуна готова была кормить один лишний детский рот, готова была освободить молодую мать от работы на время болезни и родов, готова была оторвать от своего, в те времена весьма скудного, стола несколько стаканов молока для новорожденного, но примириться с извращением пролетарского понятия об аборте и о «внебрачном» зачатии, как о каком-то позорном явлении, коммуна не могла. А здесь, как оказалось при расследовании, причиной для аборта послужила именно боязнь позора со стороны матери. И коммуна квалифицировала этот поступок как преступление и выключила из своей среды двух членов.

Но нас мало удовлетворило сухое сообщение протокола, и мы обращаемся за разъяснениями к нашим собеседникам:

— А как же все-таки так вышло, что и Белоусова и Зиньченко, зная взгляды коммуны на аборт, решились пойти на это дело?..

И тогда Демидов, поправив очки на переноси, строго сказал:

— Так им и нада... Только жаль, что этого р-раклюгу Зиньченка в тюралу не заперли иш-що. Зделал робенка, сукин сын,—так и одвечай по чести... А она ни при чем!.. Он уговорил ее!.. Сначала он надрал вишневого корья от кориньев и поил ее, шоб скинула, а как, известное дело, не помогла энта справа, он начал пускаться в другое... Ну—намошали пороху и порохом вытравляли... Так говорят, а может, и не так было...

Один из нас огорченно выкрикнул, не будучи в силах удержать своего волнения:

— А за что же ее выключили-то?.. Может, она и не при чем была?..

Демидов, строго кольнув нас своими глазами с одинарными застекленными рамами изрек, в порядке применения здесь известной народной поговорки:

— Сука не даст, — пес не возьмет...

И дальше следовало примечание:

— Она ведь была баба здоровячая и нашла бы себе мужика из камунар, который и оженился бы... Ну, вот тогда

камуна имела бы какую ни на есть пользу... А так — и собаке так не зделать...

Салприн на эту длинную речь Демидова сочувственно ослабил, выпучил глаза, схватился со скамьи, шагнул в нашу сторону и уже поднял руку, чтобы призвать нас ко вниманию... Но тут он раздумал, махнул рукой и полез в карман за табаком.

Лилло внимательно слушал речь Демидова и не дергал старика за рукав, а Савька, когда Демидов кончил, как-то словно нечаянно выронил:

— Неправильно поступили... Побоялась девка позора—значит было всякое прочее основание для тово самого... Бабы засмеяли бы...

Он вскинул свою окучерявленную голову, блеснул глазом и почти выкрикнул уверенно и вдохновенно:

— Ну-ко, пущай топерича спробуют от так зделать!!.. А ни-ни-ни!!.. Никому в голову даже не прийдеть от так зделать!!..

И он, склоняя голову над протоколами, закончил:

— Потому идрав другой у всея камуны и особливо у баб камунейских... Подросли бабы... Смеяться теперя не будет... О-ох, как подросли...

И ткнул пальцем в следующий протокол:

Протокол № 3 от 21 января 1922 года.

Слушали:	Постановили:
Доклад товарища Петрика о том, как в камуни стало трудно с брако сочитанем, то это неудобно по многим причинам.	Регистрироваться в Закси, а то росоходиться в течении одной недели.

Протокол весьма странный, чтобы не сказать больше. В самом деле — что это значит: «росходиться в течении одной недели»... Мера странная. Но, видимо, в свое время нравы в коммуне действительно несколько подгуляли. Это и понятно: в коммуне были главным образом цветущие молодые люди, для которых выполнение всех жизненных функций было почти необходимо. Оформлять же в порядке советского законодательства такие «летучие» браки не было никакой возможности, более или менее удобной. Здесь надо было куда-то ехать, прерывать свои обязан-

ности, афишировать те свои интимные отношения, какие, по мнению некоторых коммунаров, нуждались в несколько большей интимности. И вот в результате — «росходиться в течении недели». Мера столь странная, что, при известном ее старательном применении, она может привести к половому сожительству всех со всеми. В коммуне этого, однако, не случилось, так как в дальнейшем были выработаны другие методы борьбы с многобрачием, органы загсов были приближены к коммуне, и тем исчерпалась сама возможность многобрачия.

Показ борьбы коммунаров с религией в те времена нашел свое отражение в протоколе № 5 от 4 февраля 1922 года. Там сказано:

Слушали:	Постановили:
Заявление товарища Петрика о регистрации новорожденных детей и о религии и о святых мощях.	Новорожденных регистрировать по советски, и искоренить религию и уничтожить всех святых.

Коротко и вразумительно. Коммунары этой коммуны легко и просто решили величайшую проблему о религии, о затемнении масс народных. Они одним этим постановлением изгнали религию и «уничтожили всех святых». И действительно уничтожили... И действительно изгнали... Достаточно указать, что за все время нашего пребывания в этой коммуне мы не отметили ни одной хотя бы в слабой степени религиозной черточки в быту коммунаров. Только один старик семидесяти лет, бывший батрак у помещика, которого (батрака) приютила коммуна, занимается постоянным чтением евангелия. Так и говорят с снисходительностью к этому старцу коммунары:

— Это наш евангелист...

А другие помахивают рукой и договаривают общую мысль:

— Пущай умирает... Какой с ево вред?.. Никому ничего... Все одно в камуни все безбожники...

И этот «евангелист», осознавая свою одинокость, ведет вполне замкнутый образ жизни. У него осталась в жизни только одна религия, а о религии с ним в тары-бары никто не пускается. И вот, как результат,—оторванность и одино-

Но для того, чтобы всей этой партизанской и вообще фронтальной вольнице придать вполне организованный характер, внедрить известную трудовую и бытовую мораль, появляется товарищеский суд. Его выдвигает сама жизнь. И он не напрасно создан: он выполняет не только общественно-полезные, но и общественно-необходимые функции.

Вот протокол № 9 такого товарищеского суда. Происходило это заседание суда 5 марта 1922 года. Разбиралась известная распушенность нравов в коммуне. И вот выносится постановление: «Исключить с камуны Ермакова, а Скобину и Сигову заставить вычистить пять уборных».

Дело крайне интересное по своей несколько диковатой самобытности. Мы решаем войти подробней в курс этого дела. И вот все тот же старожил коммуны, селькор Демидов, дает нам пояснения:

— Такой же анаф-фема был этот самый Ермаков—одним словом, во всема бабами крутил... Здоровый, как катюга, красивый и все такое прочее... Ну, и захороводил, одним словом, Сягову и Скобину... Ну, что с им зделать... Вызвали в совет раз, вызвали в другой раз, потом в третий... Не помогает... Крутить рештант с бабами... Ну, значит и выгнали коксу с камуны... Туды и дорога...

Но тут вмешивается Сянька:

— Ну, хорошо, — его выгнали, а пошто ж женщин тож не выгнали?.. Шо, — разьны он насильничал?..

Демидов нерешительно крутит головой и упорно затягивается из обложенного медью мундштучка. Ему, видимо, трудно ответить на этот вопрос Сяньки, но он должен ответить: он — селькор, пользуется популярностью в коммуне, — и как же он может не дать ответа. И вот он отвечает:

— Ну, и их выгнали бы... И всю камуну так разогнать можна... А кто стал бы у степу работать?.. А шо уборны чистить, — так это так... ж порядку чтобы...

Лилло, улыбаясь, плотски ослабляясь, вопрошает:

— Ну и что — вычистили?..

Демидов с благодарностью взглядывает на Лилло и радостно, по-стариковски хлябенко, ржет:

— О-го!! Ишо и как вычистили... хо-хо-хо...

Мы тоже смеемся, хотя и сознаем, что смех это жестокий и что от недомыслия он нашего. Мы понимаем, что такое средство борьбы с распушенностью нравов, какое практиковалось в коммуне в те времена,—это далеко не радикальное средство, но мы, даже понимая твердо это и имея в своем арсенале другие более действительные средства, все же смеемся.

Наши довольно бесполоусные и не лишены игривости размышления прерывает Сянька. Он решительно встает со своего места, разгибает костяк и, потягиваясь вперед руками, зевая и голлодно щелкывая зубами, говорит:

— Ну, как мы вам ни рады, гости московские, — а жрать-то все же охота... Да и вам жрать захотелось...

Он поглядывает на часы на стене. Там стрелка близится к ужину. Сянька собирает со стола кипы протоколов и прячет их в скуловато зазелененный шкаф. В это время входит в канцелярию наш зав плелеводством. Он сегодня отоспался за все дни, глаза у него слегка припухли, и на нем черкесиновый чистый костюм, а на шее даже рябует какое-то своеобразное подобие галетука. Он неузнаваем. Но он сегодня шутит, потому что он отдохнул и отоспался. Он подходит к нам, и, сверкая серым своим глазом в сторону Сяньки, выкрикивает:

— Ну, каков из себя архиварьсь?!

И мы ему в ответ кричим:

— Ого-го-го!!.. Что он нам тут показал, — знал бы ты только!!..

Но зав устраивает свой взгляд, потому что в хозяйстве коммуны, в том числе и в ее небольшом архиве, ничего не должно быть такого, о чем не знал бы он, этот рачительнейший и примернейший из всех завов. Он коцюрбит пальцы, мнет полу черкесинного пиджака и неспокойно оглядывает Сяньку. Он без меры лобопытлет. Но Сянька понимает зава без слов. И Сянька рычит:

— Чего пучишь пятаки свои?!.. Небось сам был прик всем этом, что записано тут... Сорок годов в камуни живешь, а здоху все не видать!!.. Ха-ха-ха-ха...

Лицо зава проясняется, и он колет нас лукавым, пытливым, извесела любопытствующим взглядом.

— Вот каков наш комунайский архиварьюсь!!

И как там в степи, у последнего трактора, запахивающего орехи, нам чудится, что не в жарких мы крымских степях, а на Мурмане, среди ушедших,

словно провалившихся в тайболу от какого-то заклятия ламбин, озер и рек. И еще нам чудится, что перед нами не зав степной коммуны, а приземистый лопни, произносящий слово:

— X-харрьюсь...

Так называют лопари на Мурмане свою вольную, гибкую и словно вычешуенную из серебра дикую порожнюю рыбу.

2. В ГОСТЯХ У ХЕВСУРОВ 1)

Н. Лебедев

Джарего-Шатиль

...Из Джарего выехали в 11 часов дня. Джарего, последнее чеченское селение перед хевсурской границей, стоит на огромной голой высоте, окутанной ветрами и туманами. Внизу, под облаками, курьерским поездом шумит Аргун. За время многодневных скитаний по Чечне мы привыкли к этой бурной и прекрасной реке, и хотя сейчас отделены от нее сумасшедшим полуторакилометровым обрывом, приятно знать, что она близко и что скоро встретимся вновь.

Ниточка тропинки вьется по склону холодного и пустынного хребта, названия которого мы не знаем. Дорога суровая, мрачная, злая. То и дело налетают внезапные свирепые ветры, каждый километр меняющие направление, — то они дуют сверху, от близких ледников и снежных вершин, то снизу, от забившегося в ущелье Аргуна.

Так, без больших спусков и подъемов, двигались часа три. Потом тропка мелкими и замысловатыми петельками пошла вниз. У реки она превратилась в крутую каменную лестницу, сложенную из шиферных плит, винтом спускающихся к воде. По этой исчербленной и растрепанной временем лестнице трудно двигаться даже пешком, и нужно поражаться цирковым способностям чеченских лошадей, умудрившихся

спускаться по ней с нашими тяжелыми вьюками. Лестница подвела к мостику: два параллельных бревна и поверх них — десяток хрупких шиферных плит. Плиты очень тонки: кажется, достаточно легкого удара ногой, и все это наивное сооружение полетит в таргараы. Но умные лошади, видимо, чувствуют непрочность места и ставят копыта осторожно, как на стекло.

Несколькими десятками метров левее моста в бурные и мутные воды Аргуна врывается еще более бурный, но кристаллически прозрачный приток — Андахис-цхали.

В углу, образуемом слиянием Аргуна и Андахис-цхали, подымается высокий скалистый холм, покрытый редкой растительностью. На его вершине — группа древних склепов — могильников, небольших четырехугольных домиков со ступенчатыми крышами, напоминающими китайские пагоды. Могильники сложены все из такого же черного шифера. Через квадратные отверстия в стенах видны разбросанные внутри черепа, отдельные кости скелетов, запекшиеся обрывки полусгнивших тканей.

За мостом тропинка поворачивает вправо и идет вдоль Аргуна, вверх по течению. Сжатая между скалистым берегом и водным потоком, она пускается на всякие хитрости, лишь бы пробиться вперед. То она стремительно взбирается вверх, переваливая через опасные выступы скал, то жметя к непрочной осыпи, то, зажмурив глаза, бросается вниз и исчезает под водой. Не без жути вступаем мы в воду, ощупью отыскивая дорогу на дне свирепой реки. И даже наши выдавшие

1) Летом истекающего 1928 года фабрикой культурфильмы Совкино была послана на Кавказ экспедиция для засемки ряда фильмов, посвященных современному быту кавказских народностей. Экспедиция проработала шесть месяцев в самых глухих ущельях Чечни, Ингушетии, Хевсуретии и других областей, обследовав за это время ряд районов, почти совсем не освещенных в нашей печати.

виды лошади настораживаются, храпят и с явной неохотой подчиняются понуканиям.

Но природа этого хевсурского ущелья прекрасна. После холодных и неприветливых чеченских вершин, это ущелье, разузоренное причудливыми известковыми столбами, похожими на гигантские сталактиты, раскрашенное мягкой зеленью свежих хвойных роц, овеянное теплыми южными ветрами, напоминает сказочные декорации из «Нибелунгов» Фрица Ланга. И длинные косые тени от предвечернего солнца придают скалам и деревьям еще большую сказочность.

Дорога Джарего—Шатиль безлюдна. На всем пути мы не встретили ни всадника, ни пешего. Так же безлюдно начало хевсурского ущелья. И только куча сухих веток, украшенных лошадиными черепами, попавшаяся на пути, показала, что мы приближаемся к жилищу.

Шатиль

...Шатиль появился неожиданно. Вдруг на крутом повороте исчез привычный пейзаж ущелья, и перед нами открылся легендарный рыцарский город. Вдали, на неприступной скале, мы увидели каменную крепость, мощное нагромождение замков, уступами вросших один в другой.

Кажется, будто кучка железных людей, осаждаемых врагами, в одном порыве устремилась к небу, и так застыла, окаменев. И узенькие дыры бойниц в стенах города смотрят строго и в любую минуту готовы к бою...

Таков Шатиль с северо-востока, откуда приехали мы.

С юга он совсем другой: он кажется мирным дагестанским аулом, широкой лестницей идущим вверх, — крыша одной сакли служит двором другой. Только Шатиль еще более скучен, еще более сжат, еще более вытянут вверх. При свете умирающего солнца это нагромождение серых стен, покрытых серыми же плоскими крышами, похоже на реализованную фантазию кубиста, на упрощенную декорацию из пьесы о городе будущего.

Халид Ошаев, зав. Чеченским ОНО по своей основной работе, а сейчас наш

консультант и переводчик, остановился пораженный Шатилем. Он изъездил весь Кавказ и равнодушен к обычной кавказской экзотике, но Шатиль привел его в восторг:

— Ей богу, такого селения нет во всем мире, — объявил он экспансивно. — И если бы нам пришлось ехать не пять дней, а пять месяцев, — стоило бы сюда добраться!

Шатиль расположен на левом берегу реки. Чтобы попасть в него, нам пришлось проехать несколько вперед и мимо, затем переправиться по мосту через Аргун, повернуть назад, и только тогда мы очутились у въезда в селение.

От Аргуна в глубь Шатилия ведут две узкие улицы, круто поднимающиеся вверх и исчезающие где-то в груде построек.

На одной из улиц мы увидели вдали группу мужчин, сидящих на камнях и ведущих общую беседу. В группе нас заметили. От нее отделились четыре человека и направились навстречу нам. Подойдя ближе, они остановились. Вперед выступил человек в хорошей каракулевой шапке и солдатской шинели. С нарочитой развязностью он сказал по-русски:

— Разрешите представиться: Элисбар Вольский, начальник Шатильской милиции...

Это был человек лет 35, бритый, с хитрыми раскосыми глазами и с манерами человека, «умеющего держать себя в обществе». Он был явно навеселе, но старался держаться бодро.

— А это — Мамула, председатель Шатильского сельсовета, — представил Вольский одного из подошедших, высокого взлохмаченного человека, без шапки, в длинной шерстяной рубашке и в узких, в обтяжку, штанах. Рубаха и штаны его были расшиты цветными узорами, в орнаменте которых отчетливо преобладали кресты. Лицо и костюм хевсура были покрыты густым налетом копоти. Я решил, что этот парень, вероятно, кузнец. Вольский продолжал его характеристику:

— Мамула самый бедняк в Шатиле. За это я его и выдвинул в председатели. По-русски не говорит. По-русски в Шатиле говорю только я. Я сам наполовину русский по отцу, наполовину

грузин по матери. Говорю на обоих языках...

Мы соскочили с лошадей. Их взяли под узцы Мамула и двое других, подошедших с Вольским.

— Это мои милиционеры, — указал он на последних, — один чеченец, раньше работал с Зелим-ханом, 12 лет воровал лошадей, а теперь милиционер, ничего парень...

«Парень», мрачный горец лет под пятьдесят, с мутными испуганными глазами в большой лохматой папахе и в рваной солдатской шинели, с пулеметной лентой через плечо и с обрезом на спине дулом вниз, сохранял в неприкосновенности свою старую абреческую внешность.

— Тот, другой — хевсур, племянник Мамулы, — продолжал Вольский.

Группа людей на камнях продолжала сидеть, со сдержанным любопытством рассматривая нас. Мне бросилась в глаза эта необычайная для Кавказа сдержанность. Всюду, где приходилось бывать до сих пор, нас в несколько минут окружала толпа зевак, без стеснения обсуждавших приезд чужаков. Хевсуры считают ниже своего достоинства выказывать любопытство.

— Куда бы вас определить? — задался Вольский. — В прошлом году приезжали какие-то ученые из Москвы, покрутились два дня и уехали; ночевали на крыше. Если бы не дожди, я и вас устроил бы на крыше, но сейчас холодно и промокнете... У хевсуров в домах вшей, как звезд на небе: непривычному человеку никак не уснуть. Придется остановиться у меня в канцелярии. Вам, пожалуй, не очень понравится, — там тоже блох хватает, но зато вшей — ни-ни.

Он что-то сказал по-хевсурски милиционерам. Те отвели лошадей в сторону.

— Выюки они разгрузят у меня, а лошадей отведут в табун, — объяснил Вольский, — а пока Мамула просит вас к себе в гости.

Мы последовали за Вольским и Мамулой вверх по улице. Когда поравнялись с группой хевсуров, они разом встали и, несмотря на наши смущенные знаки, предлагавшие не беспокоиться, стояли до тех пор, пока мы не скрылись в ближайшем переулке.

Трудно назвать переулком щель между двумя рядами каменных стен, куда мы втиснулись вслед за Мамулой. Выбравшись из переулка, очутились на плоской земляной крыше, плотно утрамбованной дождями и веремением. Потом, по тонкому горизонтальному бревну, перекинутому с крыши на крышу, пересекли, балансируя, как циркачи, неширокую грязную улочку: потом, по наклонному бревну с зазубринами, заменяющему лестницу, поднялись этажом выше и оказались на небольшой площадке, с трех сторон окруженной мрачными закопченными стенами. Мамула указал рукой на невысокое стрельчатое отверстие в стене и, нагнув голову, скрылся в нем. Мы последовали за хозяином...

Банкет у шатильского председателя

В сырой каменной пещере (а только так и можно назвать помещение, в котором мы очутились) в первую минуту трудно было что-либо рассмотреть. Единственным источником света оказалась та самая дыра, через которую мы вошли.

Несколько освоившись с темнотой, мы увидели, что стены и потолок покрыты толстым слоем копоти, и это подтвердило мою догадку о принадлежности Мамулы к кузнечному цеху. Но догадка оказалась неверной. Просто в помещении нет печи, огонь раскладывается прямо на полу, и за отсутствием трубы дым частью уходит через дверь, частью оседает на потолке, полу, лицах и одежде обитателей. О кузнечном деле Мамула не имеет никакого представления.

Хозяин расставил по кругу низенькие трехногие табуреточки, положил между ними несколько шиферных плит взамен недостающих табуреток, в середине соорудил из таких же плит подобие стола и пригласил гостей занять места. Затем положил на стол несколько черствых ячменных лепешек, бесформенный кусок грязного заплесневелого сыра и деревянное блюдо с густой патокообразной жидкостью (смесь топленого масла с жареной мукой).

На сцене появился бурдюк с густым сивушным запахом. Наливая из него в небольшой турий рог какую-то мут

пую жидкость, Мамула начал поочередно угощать нас. Мы всячески пытались уклониться от этого сомнительного удовольствия. Но Вольский объяснил, что отказ от угощения хевсуры считают за личную обиду. Волей-неволей пришлось уничтожить по порции этой отвратительной сивухи. К счастью, бурдюк оказался почти пустым, и мы избежали повторения.

Наполнив последний рог, Мамула обратился к нам по-хевсурски с большой и, видимо, торжественной речью. Он говорил плавно и с той непринужденностью, которая присуща знающим себе цену ораторам. Произнеся несколько фраз, он поворачивался к Вольскому, останавливался и ждал, пока Вольский переведет их по-русски. Так по частям мы прослушали речь, которую можно назвать декларацией хевсурского племени. Вот краткое содержание ее:

— За последние годы к нам начали приезжать гости из Москвы и других мест. С каждым годом приезжают все чаще и чаще. В прошлом году были два раза. Мы рады гостям и ото всей души приветствуем вас.

Вы посмотрите, как мы живем, и вы увидите, что нет жизни хуже нашей. Мы просим вас рассказать там, откуда вы приехали, как тяжело живется хевсурам. У нас нет дорог, у нас нет школ, у нас нет больниц, у нас нет ни одного грамотного. Мы голодаем, живем в грязи и ни откуда нет помощи. Мы просим помочь нам построить дорогу. Мы согласны все делать своими руками, только нам нужно то, чем делать эти дороги, и люди, которые знают, как их делать.

И еще просим вас оградить нас от наших соседей мелхов¹⁾.

Не проходит дня, чтобы мелхи не угоняли у нас лошадей, коров или баранов. Мы просим установить на границе с кистинами²⁾ милиционный пост, где бы наши милиционеры могли сговориться с кистинскими. Мы много раз обращались в Душет и Тифлис, нам много раз обещали помощь, но эти обещания остаются словами. Мы так же

нищи, так же грязны, так же ничего не умеем делать, как были нищи, как были грязны и как не умели работать нэши отцы и отцы наших отцов. Мы живем в темноте и не знаем как быть. Старики говорят, что нужно выбрать людей и послать их в Москву. Пусть там в Москве эти люди расскажут высшей власти о нашей проклятой жизни. Можно ли послать людей в Москву, и чем вы, гости, можете помочь нам?

Горечью звучал голос Мамулы, когда он произносил последние слова своей речи. Он отпил из рога и передал его мне. Мне пришлось держать ответное слово.

— Мы благодарим хозяина этого дома и всех шатильцев за гостеприимство и постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы помочь хевсурам. От нас не зависит исполнение ваших справедливых просьб о дорогах, школах и больницах. Это может сделать только тифлисская или московская власть. Но мы привезли машину, которая увидит вашу жизнь и затем покажет ее везде такой же живой, как если бы все люди сами были в Шатиле. Мы покажем вашу жизнь и Душету, и Тифлису, и Москве. Мы покажем, как тесно и бедно живете вы, какие здесь непроходимые дороги, какая грязь и темнота в домах, как тяжело вам. Все это увидит советская власть, и она сделает так, что в Шатиле будет построена школа, пришлют доктора и помогут вам помириться с кистинами. Советская страна — большая, а советская власть — молодая, она не успела заглянуть в такие глухие места, как ваше ущелье. Но она работает над тем, чтобы всем жилось хорошо, и она поможет вам. Что касается посылки людей в Москву, то это не только можно, но чем скорее вы их пошлете, тем скорее помощь придет к вам.

Еще раз благодарим хозяев за встречу и просим помочь в нашей работе, чтобы как можно лучше записать вашу жизнь.

Вольский перевел мои слова Мамуле. Тот удовлетворенно кивнул головой, хотя я так и не мог установить — понял ли он смысл нашего приезда или нет.

После меня от имени чеченцев говорил Халид Ошаев:

¹⁾ Мелхи — чеченское племя, живущее в южной части Чеченской автономной области у самой границы с Хевсуретией.

²⁾ Кистинами называют хевсуры чеченцев.

— Мы, кавказцы, самой природой предназначены жить друг с другом в дружбе. У нас одно хозяйство, один быт и общие беды. Но вы, хевсуры, живете так далеко в горах и так далеко в горах живут ваши соседи мелхи, что до сих пор мы не можем наладить у вас и у них правильной власти. Даже мы, чеченская власть, лишь в несколько лет раз заезжаем в эти места.

Наша общая беда — дороги. В них корень всех зол, и мы будем добиваться, чтобы главная власть в Москве отпустила денег на постройку дороги к вам.

Вы говорите, что мелхи обижают хевсуров. Я верю этому. Когда волк сыт, он не нападает на человека, когда он голоден, он бросается на всех. Так и горцы. Вы нищи, и так же нищи мелхи. И у вас и у них мало земли, вы никак не можете ее поделить, — вот почему вы друг с другом постоянно в ссоре. Вам нужна настоящая власть и связь с городом, а для этого нужны дороги. Природой вы связаны с Чечней: вам ближе ехать на базар в Итум-Кале ¹⁾, чем в Душет ²⁾, хотя вы приписаны к Душету. Нам нужно жить в мире. Я даю вам совет: людей в Москву лучше послать вместе с мелхами. Они — ваши соседи, страдают от тех же бед, от которых страдаете и вы.

Вольский перевел Мамуле слова Ошаева. Тот сдержанно поблагодарил. Потом встал и начал извиняться, что не мог как следует угостить приезжих. Вольский сообщил, что банкет можно считать законченным, и предложил пойти в канцелярию.

Мы простились с хозяином и ошущью выбрались из пещеры.

У Вольского

Солнце давно ушло за горы, и путешествие в темноте по Шатильским лабиринтам оказалось предприятием еще более сложным, чем днем. Мы снова, теперь уже ошущью, поднимались и спускались с крыши на крышу, переходили по узеньким мостикам над улицами, протискивались через щели между домами, взбирались по зазубрен-

ым бревнам на какие-то крытые площадки неизвестного назначения и в конце концов, очутились в помещении, похожем на театральную коробку, — сарай с трех стенами; вместо четвертой — широкий вид на Аргун и горы. Вольский объяснил, что это арендуемый им двор.

— А рядом, — он указал на дыру слева, — моя канцелярия.

Он зажег лунину, и мы вползли в «канцелярию». Точная копия пещеры Мамулы! Те же копоты и грязь, то же отсутствие печи и окон. Впрочем, позже в одной из стен я обнаружил круглое отверстие в четверть метра в диаметре, наглухо застекленное, похожее на пароходный иллюминатор. Но стекло покрыто таким слоем копоты, что о его присутствии можно было судить только по стуку. От сырости и затхлости никогда непрветриваемого помещения трудно было дышать.

Вдоль двух стен тянулись широкие деревянные нары, грязные и закопченные, как и все остальное. Над одной из нар веером развешены двадцать экземпляров одной и той же открытки — бородатый мужчина в лиджаке, напоминающий либерального земца. Вольский назвал фамилию какого-то второстепенного грузинского писателя. В углу — огромный курдюк вяленого бараньего сала и кадка с сыром.

К собственно канцелярскому оборудованию могли быть отнесены только две вещи — хромоногий, сколоченный из нестроганных досок, стол и на нем стакан с выщербленными краями, с запекшимися на дне чернилами.

Вольский пригласил нас сесть,сел сам и спросил:

— Вы, наверное, удивлены, что застали русского в Шатиле? Во всей Хевсуретии нет русских. Я один...

Он остановился, пьяно икнул и сказал с грустью:

— Живу целых три года. Не поладил с начальством... Ну и говорят: поезжай в Шатиль... И вот мне, человеку с высшим образованием, приходится пропадать здесь...

При слове «высшим» его голос дрогнул, но он быстро оправился и пошел дальше. Видимо, он давно искал случая излить душу, и этот случай пришел.

¹⁾ Итум-Кале — окружной пункт Чеченской автономной области в 85 километрах от Грозного. От Шатили до Итум-Кале — 60 километров.

²⁾ Душет — уездный город Душетского уезда ССРГ. От Шатили до Душета — 120 км.

— Живу один-одинешенек... Ни одного грамотного, не с кем слова сказать... Мыться негде, керосину нет, хлеба нет... Жена пожила одно лето — сбегала. Только одно и удовольствие — самогон. Пью, каждый день пью.

Но, что-то вспомнив, вдруг приосанился:

— Пить пью, а дело у меня на ять... Не упускаю, держу в кулаке. Хевсуры — что?.. Дикари! Ух, как они меня боятся. Я для них все — и начальник милиции и секретарь сельсовета и царь, и бог, как говорится... Но разве можно что-нибудь сделать с таким народом? Работать не умеют... Пьют араку и приносят жертвы... Ничего из такого народа не выйдет...

Уставшие от длительного перехода, мы слушали вяло. Вольский засуетился:

— Вы, наверное, хотите спать? Сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас, сейчас... Если нравится — ложитесь здесь на нарах, но за насекомых не ручаюсь. Я сам здесь никогда не сплю. Если не боитесь холода, ложитесь на дворе... Там немножко протекает, ну, а авось дождя не будет.

Мы предпочли лечь на дворе. Разместились в чем-то в роде яслей (редкая веревочная сетка, натянутая на деревянную раму на ножках и покрытая соломой). Спали на раздеваясь.

...Поздно вечером проснулись от шума возбужденных людских голосов. Мимо наших яслей промчался расшвырявший Вольский. Мы выскочили вслед за ним на улицу.

Дело оказалось в следующем. Из Джарего в Шатиль нас провожал председатель Мольхистинского сельсовета, чеченец Магома Тязаев. Он остался ночевать в Шатиле. Несколько же дней назад у одного из хевсуров кем-то из мелхов были уведены две коровы; вор оказался двоюродным братом Магомы, и шатильцы решили по родовому обычаю вознаградить потерю, отобрав у председателя лошадь. Последний отчаянно защищался. Клялся, что не знает своего вороватого родича. Объяснял, что в Шатиле приехал по служебному делу — привез людей из Москвы. Но хевсуры стояли на своем и угрожающе наступали на чеченца.

Вольский врезался в толпу. Хевсуры сразу смолкли. Вольский крикнул что-то по-хевсурски, указав пальцем на нас. Потом долго что-то объяснял. Хевсуры недовольно отступили.

— Ну, скажи спасибо русским, — отругивались они, расходясь по сторонам, — а то пришлось бы тебе итти в Джарего пешком...

(Так, по крайней мере, перевел Вольский.)

Чеченец вздохнул облегченно. Инцидент был улажен.

Мы вернулись к яслям.

Мы знакомимся с Шатилем

...На другой день, в сопровождении Вольского и Мамулы отправились осматривать Шатиль.

В Шатиле две улицы, если можно назвать улицами узкие, крутые тропинки, ведущие от Аргуна к вершинам холма, на склоне которого нагромождены постройки. Одна из улиц, более широкая, является монополией мужской части населения Шатили. Женщины не имеют права вступать на нее, за все 10 дней пребывания в Шатиле мы ни разу не видели на ней ни одной хевсурки.

Здесь находятся все важнейшие «общественные учреждения» Шатили. Самое важное из них — «пехони», в переводе с хевсурского — «говорильня», «клуб». Это то самое нагромождение камней, на котором вчера при въезде в Шатиль мы видели группу мужчин. В свободное от работ время на этих камнях сидят шатильцы и обсуждают общественные и семейные дела.

Против «пехони» — одинокое черное здание, более закопченное, чем все прочие здания Шатили. Это другое общественное учреждение — «пивоваренный завод». Внутри завода — ряд огромных медных котлов, вместимостью в 20—30 ведер каждый. В дни больших праздников в этих котлах из общественного зерна варят священное пиво.

В нескольких шагах от «пехони», чуть пониже его — небольшой двухэтажный домик. Вход в оба этажа плотно закрыт деревянными дверцами. Во втором этаже к дверцам прибит деревянный золоченый крест. На стене

рядом видна вделанная в камень медная доска с выгравированным на ней русским текстом. Как выствует из текста, двухэтажный домик — это православная церковь, построенная царской администрацией в благодарность шатильцам за убийство в 1843 году шамиловского эмиссара чеченца — Ахверды Магомы. Организуя кавказские народы против царя, Шамиль послал Ахверды Магому в Шатиль, чтобы поднять хевсуров. Хевсуры не очень любили царя, но еще меньше — чеченцев. Царь далеко и их не трогает, а с чеченцами у них многовековые споры. Ахверды Магома — чеченец. Почему бы не свести счетов с ним, тем паче, что он зовет воевать, а воевать нет охоты? Шатильцы убили Ахверды Магому, и в благодарность за это царь наградил Шатиль церковью, попом и мемориальной доской, которую никто из хевсуров не может прочесть.

Семьдесят лет стояла церковь, и в ней служили службу православные попы. Но за семьдесят лет ни церковь, ни попы не сумели завоевать себе уважения со стороны Шатилия. И с первыми вестями о революции хевсуры прогнали попа, а церковное здание превратили в жилой дом. Единственными признаками былого величия остались крест и непонятная доска.

Параллельно мужской улице идет другая — непросыхаемо грязная, всегда покрытая смесью овечьего навоза и мочи — это женская улица или улица «нечистых». По ней имеют право ходить те, кто лишены права передвижения по улице мужчин — женщины и скот. Но ни один мужчина не ступит здесь ногой. И я сам видел, как через улицу переезжал на плечах женщины старик, который по дряхлости не мог перейти по мостику. Он считал ниже своего достоинства пройти по этой зачумленной земле. На этой улице расположены женские домики, по-хевсурски «самревло», грязные и вонючие конуры, в которых должны отсиживаться хевсурки в период родов и месячных очищений. В Шатиле — два «самревло», одно для родов, другое — для очищений.

Путешествуя по улицам селения и заходя во дворы, мы внимательно присма-

тривались к этим своеобразным, даже с чисто внешней стороны, людям. Я много путешествовал по СССР и Европе, но не встречал второго столь же интересного по своеобразию народа. Образы для сравнения нужно искать в средневековьи, потому что в современности нет подобного ему. Эти рослые, мускулистые, белокурые, северного типа люди в своих пестрых экзотических одеждах напоминают то древних германцев, то скандинавских викингов, то франков.

В одежде хевсуров нет строго канонического покроя, какой, например, сохранился в глухих местах у их соседей чеченцев. В этой одежде можно отыскать следы многих влияний: и других грузинских горских племен, и тех же чеченцев, и даже влияние современного городского костюма.

Но среди этих наслоений можно рассмотреть один основной и господствующий тип одежды. Это — длинная, оканчивающаяся чуть повыше колен рубашка, сшитая из крашеного дмотканного сукна, без воротника и застегивающаяся на плече; узкие, в обтяжку, брюки на выпуск из того же материала; на ногах — высокие суконные чевяки на мягкой бараньей подметке (иногда поверх чевяк одевают высокие, до колен, шерстяные ноговицы); на голове — баранья шапка, реже «лопух». Белья нет. Все перечисленные части одежды надеваются прямо на голое тело. Рубашка и брюки расшиты цветными нитками и бисером, из которых образуются простые, но красивые узоры. В орнаменте узоров преобладают квадраты и кресты. Рубашка подпоясывается кавказским поясом, к которому пристегивается большой чеченский кинжал. В отдельных случаях кинжал пристегивается не спереди, как обычно на Кавказе, а сбоку, в виде средневекового меча.

У некоторых шатильцев поверх рубашки я видел черкеску из той же тонкой дмотканной крашеной материи, из которой сделаны и все другие части одежды. Черкеска короткая — до колен. На груди — гнезда для гозырей, обычно пустые. Только два раза, очевидно у более состоятельных хевсуров, я видел серебряные, с тонкой резьбой, го-

зыри, вероятно дагестанского происхождения.

В некоторых семьях сохранились старинные металлические кольчуги, шлемы, плоские железные щиты и старинные сабли. Но в обычные дни это снаряжение лежит в домах без употребления. Оно надевается только в большие праздники. В праздники хевсуры много пьют, и по пьяному делу возможны серьезные драки, которые до сих пор ведутся по средневековым правилам.

До нашей просьбы хевсуры с большой охотой вытаскивали из-под спуда эти старинные доспехи, облачались в них и позировали перед аппаратом.

Однако, за время революции к хевсурам проникли винтовки, и они, убедившись, что винтовки гораздо действительней сабель и мечей, без всякого сожаления распродают устаревшее вооружение заезжим экспедициям. Но 20—30 лет тому назад это вооружение было необходимой принадлежностью повседневного обихода хевсуров.

И вот это-то оружие вместе с крестами, господствующими в орнаменте вышивок, дало повод к возникновению легенды о происхождении хевсуров от якобы зашедших сюда в средние века крестоносцев. Такая легенда была введена впоследствии в литературу известным исследователем Зиссерманом и некоторое время считалась правдоподобной. В настоящее время она полностью отвергнута, и в науке считается установленным, что хевсуры принадлежат к каргвельской (грузинской) группе южно-кавказских яфетидов.

Хевсуры говорят на грузинском языке с сохранением ряда архаизмов.

Кресты в орнаменте — это следы влияния христианства, которое распространилось здесь в XII веке, в эпоху расцвета грузинского царства.

Наоборот, старинное оружие явно мусульманско-персидского происхождения и не имеет ничего общего с христианством.

В холодные дни и зимой поверх рубашек хевсуры надевают бараньи или турьи шубы, и эти шубы придают им вид древних германцев.

Женская одежда так же шестра и сделана из того же домотканного сукна, что и мужская: широкие длинные

рубахи, подхваченные у пояса, поверх рубах — короткий, когчающийся несколько выше колен сарафан, на ногах вязаные цветные чулки без ступни (ступня голая круглый год). Так же, как и у мужчин, одежда расшита цветными нитками, бисером и мелкими пуговицами. На головах с коротко стриженными в скобу, окрашенными в рыжий цвет волосами — толстые низенькие кокошники.

На шее — массивное ожерелье из самых разнообразных побрякушек — царских серебряных монет, медалей, георгиевских крестов. На руках — широкие медные браслеты, иногда медные кольца...

Вокруг Шатиля

...Побродив по селению, мы взобрались на одну из самых высоких крыш и начали осматривать ближайшие окрестности. На противоположном берегу Аргуна видны развалины какого-то здания, явно не хевсурской постройки. Не то бывшая дорожная будка, не то небольшая военная казарма. Последнее предположение оказалось верным. Больский объяснил, что эта казарма была построена в царское время и предназначалась для стоянки военного поста. Пост этот, состоявший из нескольких стражников, то учреждался, то снова упразднялся, но за время стоянок успел заслужить такую ненависть со стороны Шатиля, что в 1917 году, при первой вести об уничтожении царя, хевсуры вместе с церковью прикончили и казарму. Здание было хорошее — из четырех больших комнат с настоящими дверьми и застекленными окнами. И было бы совсем неплохо, если бы две-три хевсурских семьи перебрались туда на жилье. Но шатильцы предпочли по камешкам разнести казарму, чтобы уничтожить даже воспоминание о ненавистных стражниках. Если верить Вольскому, он проектирует восстановить здание и устроить там свою канцелярию. Но для этого нужны средства, средств Душет не дает, и проект Вольского не идет дальше беспочвенных мечтаний.

На юг от Шатиля, на склоне горы волнуется бархат ячменного поля, обнесенного невысокой шиферной оградой.

По полю неспеша бродят несколько коров, пощипывая зеленые всходы. У ограды мечется паренек лет пятнадцати и старается криком и камнями согнать коров с поля. Он долго бился над этой задачей, хотя было очевидно, что коровы совершенно равнодушны к его крикам, а камни до них не долетают.

— Почему он не подойдет ближе к коровам? — спросил я Вольского, заинтересовавшись этой странной картиной.

— Это — священные поля, — ответил Вольский, — ни один хевсур не имеет права ступить на них. Вход на поле разрешается только в некоторые праздничные дни.

Он рассказал о священных полях. Такие поля имеются при каждом хевсурском селении. Весной поля засеваются всем обществом, а урожаем с них идет на приготовление общественного пива. Когда скот случайно забредет на поле, пастухи не знают, что предпринять. Если не удастся согнать криками или камнями, приходится ждать, пока животные не уйдут добровольно. Иногда выручает Вольский, — он не хевсур и имеет право хождения по священной земле. Он предложил нам пройти на поле, прогнать коров и ксгати осмотреть виднеющиеся на нем издали постройки — капища и могильники.

Мы спустились вниз. Мамула проводил нас до ограды, но на поле пойти не решился и вернулся домой.

По узкой, заросшей травой тропинке мы вошли в ячмень. Вольский занялся коровами, а мы прошли к могильникам. По-грузински могильники называются «анатори». Они напоминают те склепы, которые мы видели у спуска к Аргуну. Но шатильские «анатори» несколько меньше размером, и углы их ступенчатых крыш украшены кусками белого кварца и мрамора.

Неподалеку от могильников стоит главное шатильское капище, по-грузински —

«хати», что в переводе означает «образ». Капище представляет собой небрежно построенный шиферный навес, прислоненный к одному из склонов холма. Под навесом — несколько длинных каменных скамей, и в центре — покрытое пеплом место для очага. Вверху, на перекладине подвешено пять небольших медных колоколов и десятка два турьих и бараньих рогов. Такие же рога разбросаны всюду вокруг навеса. В «хати» имеются особые места для мужчин, женщин и жрецов. Во время праздников здесь совершаются богослужения и приносятся кровавые жертвы. В Шатиле три «хати» — в честь богородицы, святого Георгия и архангела Гавриила.

Странное, поистине сказочное впечатление производят эти пустынные поля и закопченные капища и тысячелетние могильники. И становится понятным, что именно здесь могли возникнуть легенды о происхождении хевсуров от каких-то далеких народов.

Возвращаясь от капищ к Шатилю, мы остановились у груды камней, невысокой пирамидкой сложенных на тропинке. Видно было, что эта пирамидка собрана нарочно. Я спросил Вольского о ее значении. Оказалось, что это — «камень проклятия». Пирамидка сооружена в знак отлучения одного из хевсуров от общества. Этот хевсур пошел против обычая предков: он взял жену из своего рода, а это запрещено обычаем. Ему предложили вернуть жену родителям. Хевсур отказался и за это подвергнут остракизму. Шатильцы положили на священном поле «камень проклятия», и каждый взрослый мужчина, ступив ногой на камень, дал клятву не знать больше этого человека, не помогать ему в случае несчастья, не предавать земле в случае смерти... И вот уже несколько лет живет осужденный полуотшельником где-то на хуторе, бойкотуемый и презираемый Шатилем.

Нет страшнее наказания для хевсура, чем «камень проклятия»...

НОЖНИЦЫ

Очерк

Ефим Вихрев

1

Знаменитый художник, житель небольшого соседнего с Палехом села, удобно расположился в кресле и наполнил трубку табаком. Закурив, он подвинул к себе от края стола три тяжелых альбома, таких больших, что на них можно было плясать.

— Скоро эти альбомы я отвезу в губернский музей, — сказал знаменитый художник. — Здесь коллекция единственная в своем роде.

С этими словами он взял ножницы, лежавшие на альбомах, повертел их и положил на стол. Тут я заметил, что художник хотел что-то сказать, но воздержался. Ножницы меня не интересовали. Это были самые обыкновенные, очень старые, почерневшие ножницы. Меня притягивали к себе огромные альбомы. Что же в них заключено? Редкие гравюры, снимки, рисунки?

— Нет, вы себе и представить не можете! Но прежде, чем перелистать альбомы, я должен рассказать историю их. История эта не особенно занимательна, но она даст вам ключ к пониманию того, что вы здесь увидите. К тому же сейчас ненастье на улице, и рассказ мой будет о ненастной человеческой жизни.

Около сорока лет тому назад, после одной очень удачной выставки моих картин в Москве, я года два путешествовал за границей, главным образом в Италии. Я верил старой истине, что, не побывав в Италии, нельзя познать истинного искусства. Вернувшись в Россию, я решил, что мне пришла пора уединиться для большой спокойной работы.

Тридцать пять лет тому назад я построил этот дом и поселился в нем навсегда. Изредка, закончив какую-нибудь картину, я выезжал в Москву или в другие города и снова надолго уединился в своем селе.

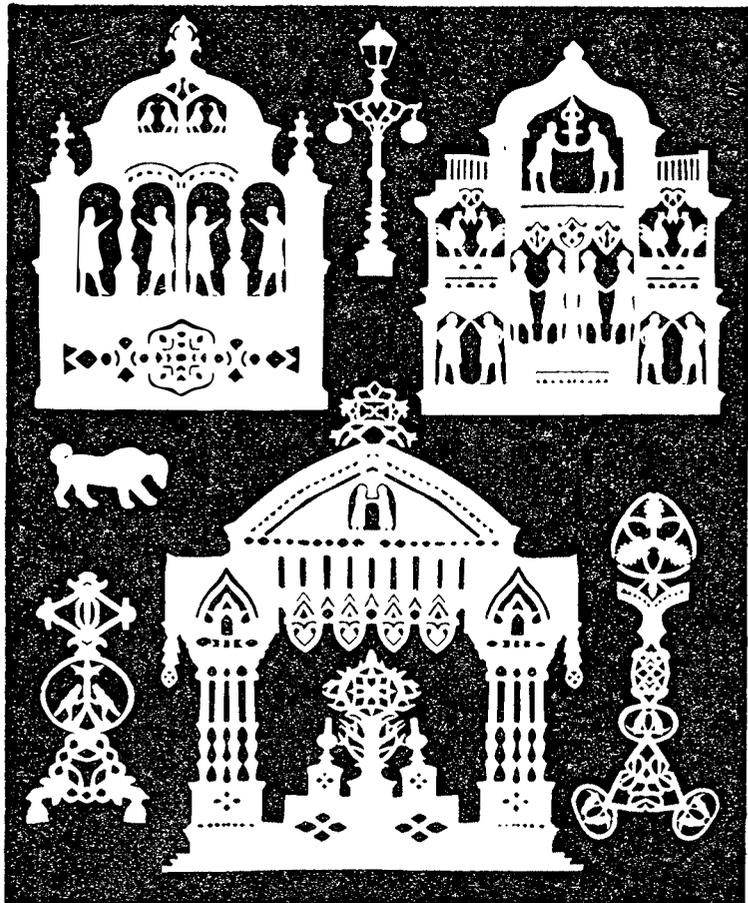
Дом, как видите, я построил с расчетом на мои профессиональные требования. Он стоит на возвышенном месте.

Кроме обычных жилых комнат, у меня есть две очень светлые мастерские — зимняя и летняя, кабинет, библиотека и крыша-веранда, откуда открываются во все стороны разнообразные пейзажи. Окрестных пейзажей хватит для эскизов и картин на всю жизнь, потому что они всегда различны. Года, прожитые здесь, научили меня быть внимательным к природе: за тридцать пять лет не было такого дня, в который окрестные пейзажи были бы похожи на пейзажи какого-нибудь другого дня: времена годов и дней окрашивают и освещают их каждый раз по-новому, сообщают им каждый раз неповторимые композиции. Но я по преимуществу не пейзажист, а художник жанра и портретист. Моя излюбленная палитра — пастель, которая, мне кажется, лучше всего передает живую и певучую материю.

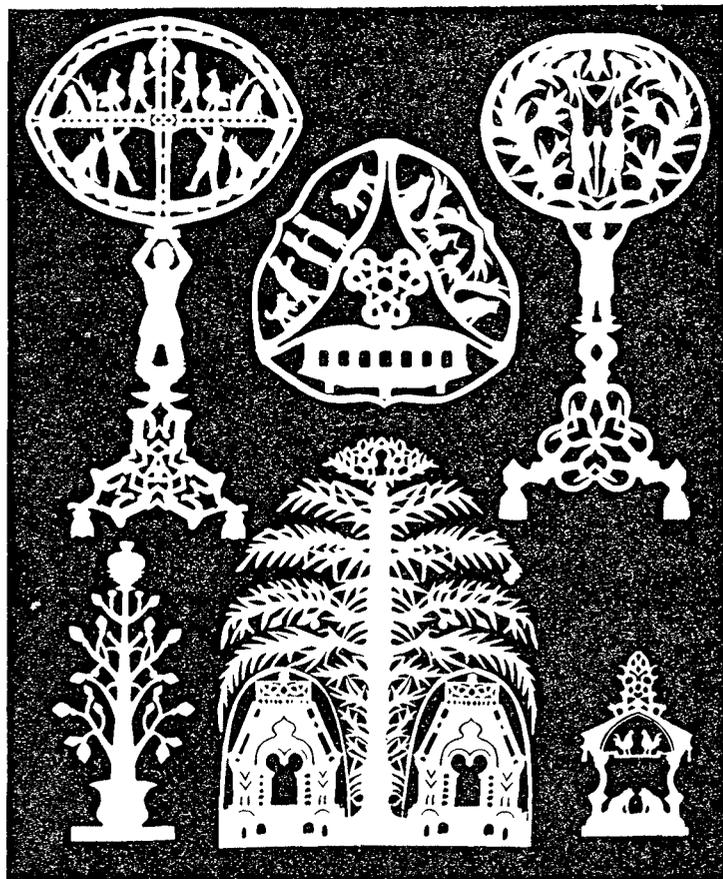
Выстроив дом, я зажил спокойной, трудолюбивой и созерцательной жизнью. Я только по-книжному знал, что удел великого художника — страдание, что жизнь великого художника всегда трагична.

У меня было много друзей — представителей разных художественных направлений и школ. Со мной дружили реалисты, к которым принадлежу и я, со мной дружили также и кубисты, лучисты, пуантелисты, супрематисты и прочие новаторы. От каждой школы я брал только то, что неизбежно и бесспорно, только красочные и линейные открытия, которые не противоречат величайшему из художественных направлений — реализму (такие открытия есть во всяком течении, до каких бы абсурдов оно ни дошло в своих исканиях).

Среди друзей моих были и талантливые и способные. Одних окрылял успех, другие оставались в тени и работали скромно и напряженно, третьи отчаивались и уходили на надежную практическую работу. Но среди друзей моих не было такого, в котором чувствовалось бы то, что принято называть гением. Да и сам я всегда знал,



А. И. Воробьев. Вырезки из бумаги «Быт и сказка» (из собр. Н. Н. Харламова)



А. И. Воробьев. Вырезки из бумаги «Быт и сказка» (из собр. Н. Н. Харламова)

что я обладаю обыкновенными человеческими способностями и только трудом, учением и терпением добился своих успехов. На практике я не знал, что значит писать кровью, — эта формула была для меня лишь теоретической и не совсем вероятной..

Итак, я жил в этом селе тридцать пять лет, иногда выезжая, оживленно переписываясь с друзьями, приглашая их сюда и в общем чувствовал себя всегда здоровым и бодрым.

Но в первый же год жизнь столкнула меня с одним человеком. Он не был похож ни в чем ни на одного из моих друзей, и он не открывал никаких новых школ. Он меня сразу же заинтересовал.. Но странно: только теперь, по прошествии тридцати пяти лет, я понял, что имел дело с сильным самородком, с художником от слова «худог» (искусный, творец), но, к несчастью, с таким гением, которые всегда остаются в неизвестности и которым не суждено двигать за собой искусство..

Знаменитый художник помолчал, что-то припоминая и соображая. Он то и дело брал ножницы и, повертев их, опять клал на стол.

— Послушайте, — сказал я, пользуясь молчаньем художника. — Этот человек был, наверно, каким-нибудь лесковским иконописцем, кисть его была микроскопически точна, и краски творил он по собственным рецептам? В этом краю так много бедных гениев..

— Нет, — ответил знаменитый художник, — этот человек совсем не знал краски.. Но слушайте..

Однажды, тридцать пять лет назад, я работал у себя наверху. Была ноябрьская распутица — полуснег, полудожь, — так что каемка леса на горизонте совсем пропадала во влажном тумане. Работа у меня спорилась, как всегда: у меня не было особых неудач, не было и вдохновенных припадков в работе.

И вот в этот сырой осенний день ко мне постучали. Вошла кухарка и сказала, что на кухню пришел нищий. Кухарка ему подала, но он сказал ей, что ему нужно бы увидеть художника.

Я велел позвать человека.

Через минуту передо мной стоял, сторбившись, человек лет сорока, огромный и неуклюжий, насквозь промокший, с падожком в руке. Я заметил, что одна нога у него короче другой. — он был хромой. С бороды его падали на пол капли влаги. За плечами висела сума. Войдя в мастерскую, человек снял свой выцветший картуз и опустил голову. Голова его была диким бурьяном волос, он весь был обросший и запущенный. Но глаза, очень маленькие, закутанные в меха бровей, сверкали остро и пронзительно. Человек имел жалкий вид, он был беспомощен, как бывают беспомощны профессиональные нищие. Рубище его было настолько грязно и мокро, что я даже не предложил ему сесть. К тому же от него сильно несло дубьем и овчинами.

Сначала он стоял молча, и я заметил только некий огонек жадности, блеснувший в щелочках его глаз, когда он осматривал внутренность моей мастерской. И еще я заметил странную улыбку зависти, на секунду оживившую его скуластое обветренное лицо. Я, как житель глухого села, подумал уж, не со злыми ли намерениями пришел ко мне этот бродяга, и спросил, что ему от меня надобно.

Он назвал меня по имени и отчеству, сказал, что он много слыхивал обо мне и что ему очень хотелось бы посмотреть на мою работу. Голосок у него был болезненно-тонкий, хриловато-петушинный и совсем не соответствовал его наружности. Сказав, он опять замолчал, потупившись.

Вам понятно, что слова его произвели на меня очень странное впечатление. Вообразите: в осенний дождливый день приходит какой-то бродяга и начинает интересоваться моими работами. Правда, ко мне иногда приходили соседние мужики, которых я знал, смотрели на мои картины, я им объяснял, что нужно, и, дивясь всякой мелочи, они уходили. Но это посещение не было обычным. Может быть, незнакомец хотел отогреться и отдохнуть?

Я показал ему все — до самого последнего эскиза. Я удивился, с каким вниманием он смотрел на картины. Подходя к какой-нибудь картине, он

умело выбирал такое расстояние, с которого следует на нее смотреть.

Он молча осмотрел все и не сделал ни одного замечания, не выразил ни удивления, ни восторга, ни одобрения, ни порицания. Напоследок он ткнул пальцем в мою палитру.

— А это что такое будет? Струмент?

Он страшно удивился моему «струменту», во всяком случае, больше, чем моим картинам. Его интересовали мольберты, кисти, тюбики с красками, подрамники и холсты.

Когда пришелец, осмотрев мастерскую, собрался уходить, я стал расспрашивать его, кто он, откуда и куда идет, чем занимается. Но он ответил мне очень неохотно и коротко, еле-еле выговаривая слова:

— Наше дело грязное,—сказал он,— овчины мы делаем... Да и то, какой из меня работник? Вот теперь и иду до Пустоши — может, там наймусь, там мцого овчинников-го...

Прежде чем уйти, он встал в дверях и несколько минут мялся с ноги на ногу. Он что-то как-будто хотел сказать, но не осмеливался. Может быть, он хотел получить двугривенный? Я достал монету и дал ему. Он не отказался и, взяв ее, пробормотал что-то в знак благодарности. Но все еще не уходил. Это мне стало надоедать. Тогда я подошел к своему мольберту, взял палитру и кисть и сосредоточил взгляд на картине. Овчинник подошел ко мне. Что ему нужно, в самом деле? Он огляделся, как бы удостоверяться, что в комнате никого нет, и произнес следующие слова:

— На-ка, вот, посмотри на мое художество, я тоже маленько грешу... Только инструменту-то у меня такого нет...

Затем он вытащил что-то очень маленькое из-за пазухи и стал развертывать. Сначала он развернул платок, потом несколько газетных оберток и, наконец, извлек из оберток хорошо сложенную бумажку (мне показалось, что это письмо). Человек подошел к бумажкой к окну. Окно было влажным. Человек развернул бумажку и приложил ее к стеклу. Отвесив мне низкий поклон, он напялил свой картуз и торопливо вышел из комнаты. Больше я его не видел целый год.

На стекле осталась его бумажка, — это был силуэтный рисунок, вырезанный из четверти писчего листа: церковь и колокольня с звонарем, ударяющим в колокол. Больших трудов стоило мне снять со стекла эту нежную, сквозящую бесчисленными прорезями, бумажку.

Сразу же меня поразила архитектурная правильность пропорций и полное отсутствие каких-нибудь неровностей: линия рисунка была уверенна и точна. Но, может быть, это вырезано по готовому рисунку? Я стал всматриваться в него и, к удивлению своему, не нашел ни единого следа карандаша. Карандаш не прикасался к этой бумажке.

Но что еще удивительнее,—рисунок не был симметричным и, значит, он не был вырезан при помощи симметричного сгиба. Нужно иметь какой-то исключительный глазомер, чтобы так безошибочно соизмерить обе части рисунка, не пользуясь ни симметрическим сгибом, ни карандашом.

Я хотел было вернуть овчинника и выспросить. Я выбежал на крыльцо, но его уже не было. Он скрылся в бездорожье, в мраке, в зябком ноябрьском тумане.

Высушив и расправив, я положил вырезной рисунок в какую-то книгу и не вспоминал о нем целый год.

Это было тридцать пять лет тому назад.

2

Половину жизни — тридцать пять лет—прожил я в этом селе. За тридцать пять лет не раз посещали меня большие семейные радости, не раз обрушивались на меня семейные несчастья. Но искусство мое развивалось закономерно, без срывов и неудач, без громких обманчивых успехов. И даже звание академика, присужденное мне, не было для меня неожиданным, — я принял его равнодушно, как заслуженный и естественный результат моей долгой и усердной работы.

И вот теперь, когда я оглядываюсь на эти тридцать пять лет, я не могу отделить от своей жизни этого странного человека. Его звали Акакий Воробьев. Но почему-то он имел и еще одно имя — Капитон, так что впрямь

я буду называть его Капитон-Акакий. Он вошел в мою жизнь причудливыми и, я бы сказал, фантастическими путями.

Он появлялся в моем доме один или два раза в год, всегда неожиданно и

появлялся: выглянешь из окна, а его уж нет.

В осенние, в бессолнечные дни, когда на холсте меркнут краски, когда скучно в этой глуши, когда бросаешь кисть и бродишь по комнатам, то принимая



А. И. Воробьев. Вырезки из бумаги «Гражданская архитектура и орнамент». (из собр. Н. Н. Харламова)

всегда почему-то в дождливые, в хмурые дни. Вечно он шел куда-нибудь заниматься на работу, вечно от него пахло дубьем и овчинами. И всегда, получив от меня полтинник или рубль, он скрывался так же неожиданно, как и

к книге, то опять закрывая ее, — в бессолнечные угрюмые дни приходил Капитон-Акакий.

Он приносил с собой уж не одну, а много вырезок, много бумажных своих произведений, каждый раз все дико-

веннее и сложнее. Он вырезывал из бумажек разные дворцы, колокольни, башни и замки. Безукоризненная точность пропорций при полном отсутствии следов карандаша меня удивляла и озадачивала. Тем более что среди вырезанных архитектурных произведений я находил иногда знакомые здания: шуйскую колокольню, Петровский дворец в Москве, кремлевские башни.

Но скоро я убедился, что ножницам его знакомы и другие линии: он вырезывал резные коньки и наличники деревенских изб, всяческие салфетки, кружева, куски орнаментов, деревья с птицами на ветвях, он вырезывал силуэты животных и людей, целые жанровые сцены.

Всегда он глядел на свои вырезки счастливыми женственными глазами. Губки его дрожали, когда он развертывал свои бумажки, передавая их мне. Вытащив какой-нибудь многоэтажный дворец, он растопыривал все свои десять пальцев и держал на них вырезку. Бумажка трепетала в его дрожащих руках, просвечивая окнами, лепкой архитектуров, завитками колонн. И всегда, передавая мне вырезки, он говорил ничего не значащие слова, но в них было много выражено любви и гордости.

— Вот, — говорил он, — смотри-ка, чего я тебе принес...

А иногда он прибавлял к этому другие слова, в которых слышались боль, надрыв и жалоба. Так однажды он принес вырезку, в которой была изображена семья за самоваром. У всех сидящих за столом блюдечки прикасаются к губам, только хозяйка держит одной рукой чайник, а другой — крантик самовара. Две струи — из самовара и из чайника — наполняют стакан. Пока еще налилось только полстакана, но живые линии уверяют вас в том, что через минуту стакан будет полным. Передавая мне это свое произведение, Капитон-Акакий, болезненно дрожа и заикаясь, проговорил:

— Вон они... чаек попивают...

И в этих словах мне слышалась жалоба человека, который никогда не имел ни семьи, ни родных, ни самовара.

А однажды в вырезке он изобразил влюбленную пару. С первого же взгля-

да можно было заметить, что это буржуазные влюбленные, — настолько они изысканны и вежливы. Молодой человек, стоя на коленях, преподносит своей возлюбленной цветок. Капитон-Акакий где-то, может быть, был свидетелем этой сцены и захотел запечатлеть ее. Я помню, что вырезанную сценку любви он пояснил такими словами:

— Вон как им хорошо... Целуются, цветочки у них в руках.

И в этих словах я также слышал жалобу человека, никогда не знавшего любви.

Меня очень занимал вопрос, как он орудует своим немудрым «струментом», откуда у такого неуча и калеки берется столько смекалки и фантазии. Несколько раз я спрашивал его:

— Объясни мне, пожалуйста, как ты вырезаешь?

— Как вздумается, — вот все, что он говорил мне в ответ.

Тогда я решил сам проверить его, понаблюдать за его работой.

— Вот тебе лист бумаги, — сказал я ему, — вырежь, как вздумается.

Я стал за ним наблюдать, не сводя глаз. Бумага лежала на столе, и он не думал до нее дотрагиваться. Он ушел в кухню и залез на печь греться. «Может быть, тут какой-нибудь обман?» — подумал я. Прошло некоторое время, он слез с печи, раскрасневшийся и потный. Он вошел в мою комнату, не обращая на меня внимания. Войдя в комнату, он начал рыться в своих карманах. Он вытащил из кармана ножницы, тщательно завернутые в разные тряпочки, развернул их и взял листочек бумаги. Сначала он долго смотрел на бумагу, сощурился и без того маленькие глаза и шепча что-то похожее на заклинания.

Очевидно, он ловил в белом листе бумаги будущий силуэт. В куске мрамора заранее заключена скульптура, нужно только освободить ее от покровов. Так же и в листе бумаги заранее заключен силуэт, нужно только освободить его от прилегающих кусков ненужной материи. Скульптор работает в трехмерном пространстве, а Капитон-Акакий—

в плоскости. Но законы искусства одинаковы. Вот поэтому, должно быть, Капитон так долго и так пристально всматривался в бумажный лист.

Кончив шептать заклинания, Капитон-Акакий взял листок в левую руку, а правой, вооруженной ножницами, нацеллся.

Дальнейшее для меня осталось непонятным.

Капитон, держа листок у самых глаз, вертел его со всех сторон, делал какие-то надрезы, иногда в каком-нибудь одном месте перегибал листок и отхватывал ножницами мелкие кусочки бумажки. Кусочки бумажки, как хлопья снега, отлетали от него, садились на пол.

Рисунок медленно и таинственно освобождался из своего плена.

Во время работы Капитон был молчалив и сосредоточен. И только к концу он стал насвистывать удивительно однообразную песенку. В ней слышалось что-то древнее, дремучее и лесное. Может быть, такое впечатление создавалось благодаря его волосатому лицу, — не знаю.

Прошло несколько часов. Капитон-Акакий встал, аккуратно завернул ножницы в тряпочки и осторожно взял листочек за углы. Он вздрагивал нервно и мучительно. Он дрожащими своими руками передал мне вырезку. Это была целая картина, — деревья, звери и птицы, — картина, обрамленная дремучим хвойным орнаментом. И странно: ритм изогнутых дремучих линий орнамента напомнил мне чем-то тот однообразный ритм его бессловесной песенки.

Но для меня так и остался загадкой головоломный путь освобождения рисунка из бумажного плена.

Теперь, после тридцати пяти лет нашего знакомства, я увидел Капитона в ином свете. То, что я рассказываю сейчас, — это плод моих недавних размышлений и настойчивых воспоминаний. Наступил такой день, когда Капитон-Акакий встал передо мной во весь рост, и я увидел, насколько он значительнее меня и многих моих друзей — ученых художников. Но прежде чем рассказать об этом дне, и прежде чем раскрыть

альбом, я должен свести некоторые счета с прошлым.

Нам часто приходится раскаиваться в том, что уже непоправимо, и теперь мне больно думать, как я был недалек от новиден и слеп.

Для меня существовало искусство как результат великих культурных наслоений, длительного учения и опыта, неусыпного наблюдения жизни. По скольким мазкам кисти я мог угадать, на каких образцах учился художник, когда написана картина, каков психологический склад художника.

Я ценил также и народное искусство, украшающее деревенские жилища и домашнюю утварь, искусство, которое, подобно распеваемым частушкам, распознается только в сумме своей, в обобщении, в краевой или исторической коллективизации безвестных авторов.

Капитон-Акакий не был ученым художником, — он был даже безграмотным. Если же его творчество можно было назвать народным, тогда оно — частность, и стоит ли задумываться над ним?

Так я рассуждал в течение тридцати пяти лет. Я не знал, что и частушка может иногда вынести неученого автора из рамок края, из безвестности на вершину творческой самостоятельности. Наблюдая за Капитоном, я не руководствовался той истиной, что настоящий поэт познается в строгой последовательности всех его творений. Отдельная поэма может казаться незначительной и странной, неуместной и нежизненной, но поэта нужно знать всего, чтобы понять его, и тогда каждая поэма приобретает свой особый смысл, ее нельзя вычеркнуть из ряда других поэм, и лицо поэта нам представляется рельефным и единственным.

Так случилось и с Капитоном. Удивляясь его чудаковатому творчеству, я, однако, не придавал ему большого значения. Я складывал вырезки, принесенные им, куда попало: в первую полвернувшуюся книгу, в какую-нибудь папку. Я их рассовывал везде, совсем не имея в виду сохранить и собрать воедино.

К тому же его редкие посещения затмевались другими событиями в моей

жизни. Некоторые произведения современных мне художников и многие книги оставляли в душе надолго светящийся след, да и у меня у самого мольберт никогда не оставался пустым.

Так проходили годы, так прошло три десятилетия и наступило четвертое. Над страной прошумели две войны и три революции, а хромой человек, углубленный в себя, в злую непогоду, ночами и днями путешествовал с сумой за плечами, постепенно старясь и горбясь.

3

Наступила осень тысяча девятьсот двадцать седьмого года. Я знал, что Капитон-Акакий скоро придет ко мне. Я уж привык к его неожиданным осенним появлениям, и они уж не казались мне неожиданными. Октябрь был очень дождливым. Значит,—думал я,—Капитон сейчас идет где-нибудь и скоро будет у меня. Он проходит села и деревни, леса и поля, месит древнюю российскую грязь своими неодинаковыми ногами, дрожит от холода и думает, думает... О чем он думает? В одном кармане у него спрятаны ножницы, в другом — вырезки, которые он несет мне... Вот он и думает, наверно, о том, как бы их не промочить.

Октябрь вылил на землю все свои дожди, а Капитона-Акакия не было. Наступили ноябрьские заморозки, а он все не появлялся. Может быть, он уже не может больше ходить, — он в последние годы жаловался на свои ноги,—может быть, он умер где-нибудь в дороге, такой несчастный и такой одинокий... Что он оставит после себя? Воюющие овчины да бумажные вырезки. Овчины изнасят мужики, а кому нужны эти тленные, эти неправдоподобные вырезки?

В эту осень я много думал о Капитоне-Акакии, ожидая его со дня на день. Нужно сказать, что после его посещения работа моя спорилась лучше, чем всегда. И тут мне пришла в голову мысль: отыскать его прежние бумажные рисунки. Есть грустная отрада в сумрачные осенние дни копаться в старых бумагах, оглядываться на свою жизнь.

Я начал с того, что раскрыл все свои книжные шкафы и ящики столов. Я на-

чал просматривать книги, тетради и папки. Обнаруженные вырезки я откладывал на стол в одну кучу.

Сначала я работал неторопливо и без большой охоты. Но по мере того, как стопка бумажных рисунков росла на столе, меня охватывало беспокойство и нетерпение: некоторые памятные рисунки переносили меня к каким-нибудь памятным дням моей жизни. Например, найдя вырезку, изображающую деревенский колодец и женщин возле колодца с коромыслами на плечах, я вспомнил, что двадцать два года тому назад, вскоре после получения от Галитона этой вырезки, у жены моей родилась дочь.

Подобные воспоминания нахлынули на меня, я жадно перебирал книги и папки. Если бы вы видели, какой хаос устроил я в доме. Можно было подумать, что здесь был погром. Шкафы, столы и этажерки были раскрыты, книги валялись во всех углах, на полу, на столах и стульях. А на столе все увеличивалась груда бумажных рисунков, извлеченных отовсюду.

По ним я вспоминал всю свою жизнь.

Но во всей моей суетне и поисках таилось нечто большее,

Я разложил рисунки на полу, — они заняли полы всех комнат. Целый день я ходил из комнаты в комнату. То я вставал на стул, чтобы одним взглядом охватить все разнообразие вырезок и найти в них что-нибудь обмез, то я опускался на колени, чтобы разглядеть какой-нибудь самый маленький изгиб.

И вдруг я понял: передо мной на полу в легчайших листочках лежала распластанная, изрезанная прихотливо и тонко — не моя жизнь, а другая, действительно неповторимая, сказочно-богатая, нищенская и трагическая — жизнь Капитона-Акакия. Как это я не замечал ее до сих пор! Какой же я был недогадливый, ища в его рисунках только ответы своей жизни!

Передо мной с поразительной ясностью встали две жизни: радостная жизнь одухотворенных линий, в которой все законченно и прекрасно, и — сквозь рисунки — где-то в тумане, в дожде, в непогодах — выростала, как

призрак, жизнь мастера в виде огромной фигуры бродяги в рубище, обросшего волосами, хромого, угрюмого и молчаливого.

Что я знаю о человеке—о Капитоне? Я раскрыл все свои дневники и стал искать записи о наших встречах. Я сделал выборки из дневников — скудные, мало интересные факты. Вот они.

От самого рождения жизнь Капитона пошла сквозь непогоды, случайности и болезни. Он родился в шестидесятых годах прошлого столетия у вдовы Александры Мулиной из деревни Тепляково. Его мать, боясь людских сплетен и насмешек, подбросила безыменного младенца в деревню Плешково, к дому крестьянина Семена Мишурова. Семен, увидав у себя на завалинке ребенка, взял деньги, которые были приложены к нему, а ребенка оставил на прежнем месте. Утром Семен притворился ничего не знающим. Ребенка принял на воспитание крестьянин той же деревни Иван Данилович Воробьев. Лет с десяти Капитон-Акакий стал вырезать из бумажек церкви и колокольни, на что получил официальное разрешение. «Не грех ли?»—спросил отец попа. Поп ответил, что это не грех. Пятнадцати лет Акакия отдали на обучение овчинному делу. С этого времени начинаются бесконечные хождения Капитона-Акакия по деревням и селам на овчинные промысла. По многу лет работал он в Пустоши, Кудрякове, Дубках, Филатовке, Афанасьеве, Алексине и Хотимле. После того как вымерла семья в Плешкове крестьяне лишили Капитона тягла, он остался совершенно безземельным и бездомным.

Вот все, что я узнал от него за тридцать пять лет нашего знакомства. Капитон не любил говорить о себе и отвечал всегда односложно или аллегорически...

Но и этого мне было достаточно, чтобы понять лирическую душу художника. Пути его жизни извилисты, но бесцветны. Мало радостных красок выпало на ее долю. Но линия всегда тоскует о краске. Здесь, в вырезках, бесцветных, как его жизнь, заключено все лучшее Капитона-Акакия, все его призрачное богатство. Отнимите у него ножицы, — и он будет самым несчастным

человеком на земле, ему незачем будет жить.

Я стал переключать рисунки с места на место, играть ими в пасьянс,— я старался разложить их в хронологическом порядке.

На некоторых рисунках мной были отмечены даты—даты посещений Капитоном-Акакием моего дома. Но на большинстве вырезок таких пометок не было. Я вспоминал их появление по какому-нибудь случаю из своей жизни, я отбирал их по стилю, по характеру линий, и, наконец, когда весь этот огромный пасьянс был разложен, я был поражен до конца. Это была какая-то мистерия...

Сначала я хотел видеть в вырезках только отсветы своей жизни, потом я увидел в них большую и тяжелую жизнь их мастера, и вот теперь, после того как они были разложены в хронологическом порядке, я увидел в них нечто неизмеримо большее,— я увидел в них жизнь страны. Да, жизнь страны, выраженную в линиях. Жизнь страны на протяжении трех с половиной десятилетий.

В силу какого-то неизученного еще закона каждое событие сказывается на изгибе каждой линии истинного художника... Но художник об этом совсем не думает, не должен думать... Художник должен быть вечно натянутой до последнего напряжения струной, которая от малейшего движения воздуха может издать звук.

Таков Капитон-Акакий.

Легкая и сложная резьба готических остроконечий, хрупкая архитектура христианства,—обреченный мир куполов, крестов и иконостасов, доведенный в линиях Капитона до предельной, до роковой утонченности, — этот мир неожиданно обрывался. Линии становились изломанно-нервными. Потом вместо церквей, колоколен и дворцов появляются вполне реалистические силуэты людей, деревенские избы, домашние предметы, разные декоративные елочки и аппетитные натюрморты. Почувствовалось дыхание народной жизни. Эта вторая полоса вырезок отмечена

на у меня тысяча девятьсот четвертым, пятым и шестым годами.

Годы реакции: фантастические деревья с фантастическими зверями и птицами на ветвях, дремучий колдовской мир, от которого веет жутью и страхом. Как ни бела бумага, из которой вырезана эта тяжелая повесть, но в каждом рисунке присутствует мрак — впечатление лесного мрака оставляет после себя эта третья полоса вырезок.

Последняя — пооктябрьская — полоса: монументальные линии строгой гражданской архитектуры и символические фигуры людей. Тут есть ассирийские элементы. В самих линиях чувствуется что-то несокрушимое. Например: обнаженный мускулистый человек стоит на бесформенной скале и высоко над головой держит в своих могучих руках стройный дворец неведомого стиля (таких дворцов раньше не было у Капитона-Акакия). Дворец увенчан пятиконечной звездой.

Я открыл только главные вехи линейной летописи, только крупницы отраженной жизни, но на этом не успокоился. Открытие это меня обескуражило, нарушило спокойное течение моей жизни, заставило сидеть над вырезками ночи и дни. Я начал сверять рисунки Капитона-Акакия с календарем трех с половиной десятилетий. И что бы вы думали, — ножницы оказались удивительно чувствительным инструментом: цепко схватывали они каждое событие, смело освобождали его от бесформенного окружения ровно текущей жизни и замыкали — как символ, как намек, как образ — в строгий, в непреложный силуэт.

Так работала жизнь ножницами Капитона-Акакия, человека, замкнутого в себе, человека, для которого все происходящее вокруг него было непонятно и неинтересно. А работала ли жизнь так моей кистью и моей краской? Ведь я всегда был внимателен к событиям, происходящим в стране, и старался отражать их на холсте. Я вспомнил все свои холсты и пришел к тому ужасному выводу, что вся моя работа — вполне сознательная и добросовестная — была необязательной, кистью моей водило только свободное мое желание, а не подлинное и беспрекословное веление времени.

У меня за плечами академия, заграничные путешествия, выставки, дипломы и слава, но и это также несобязательно: из меня вышел бы неплохой инженер, строитель, наконец, врач. Я всегда был срушным, у меня ничего не отбивалось от рук... А у Капитона-Акакия ничего не было, из него и овчинник-то вышел плохой. Зато в нем живет истинный художник — художник с великими силами и малыми средствами. Жизнь слишком поскупилась на этого подкидыша: она отняла у него все радости, как в младенчестве мужик отнял деньги, а дала ему только ножницы.

Меня мучили все новые и новые вопросы, которые раньше казались разрешенными, меня мучила судьба Капитона, а также и своя судьба.

Несколько ночей я не спал. В глазах у меня пестрели, проходили чередой в неповторимом ритме линии Капитоновых рисунков: строения, деревья, птицы, люди, домашние предметы — все, что есть на земле, все, что устроено, выдуманно и вымечтано человечеством. Орнаменты всех стилей, веков и народов (откуда они могли взяться у овчинника?) переливались, как незамирающие ручьи, своими изгибами, углами и гирляндами.

Извечное искусство линии, — первый крик дикаря о красоте, — доведенное Капитоном до недосягаемых вершин, когда каждое движение ножниц — это непременно или стройная мысль, или усмешка, или печаль, — извечное искусство линии развернулось теперь передо мной во всей своей великой и ослепляющей белизне. Творчество дикарей принято сравнивать с творчеством детей. У Капитона душа дикаря и нетронутый мозг ребенка. Его творчество девственно и наивно, лишено всякого налета учености и книжности. Оно стихийно, как узоры мороза на окне, образующиеся в силу законов кристаллизации. И потому, что оно стихийно и девственно, оно может служить лучшим коррективом для нас — художников, обремененных знаниями, блуждающих в поисках новых форм... Никогда еще произведение искусства не оста-

вляло во мне такого ошеломляющего впечатления: с ним могло сравняться только впечатление от фресок Микель-Анджело в Сикстинской капелле.

Если бы все это наполнить красками, — думал я, — тогда бы мир стал богаче вдвое. Но как все это тленно и невесомо: стоит поднести к бумажкам горящую спичку — и они умрут без сопротивления, стоит пустить их по ветру — и они разлетятся, как бабочки, несколько движений рук — и они превратятся в безобразную бумажную кашу.

И вот с этих дней я засел на целую зиму за утомительную и кропотливую работу: я стал наклеивать рисунки на толстые цветные картоны. И в результате у меня получились три альбома, которые я вам сейчас покажу... Но подождите...

Заключив в альбомы рисунки этого бродяги, я горел нетерпением скорее его увидеть. А он все не появлялся. Мне хотелось написать его портрет, хотелось сказать ему, что я его понял и что в течение тридцати пяти лет я его не понимал. Я отправил несколько телеграмм в те места, где по моим предположениям он мог быть — в Хотимль, во Мстеру, в Алексино. Но ответа не было.

Наступила весенняя распутица, и Капитон, наконец, явился. Он еле волочил ноги. Если бы вы видели, как он был дряхл!

Его приходу я страшно обрадовался и сразу же повел его в свои комнаты.

— Твои вырезки, — сказал я ему, — мы сдадим в музей, тебе выхлопочем пенсию... Смотри, что я сделал с твоими вырезками.

Капитон-Акакий смотрел на меня грустными слезливыми глазами. Он никак не мог догадаться, что вырезки

могут быть в альбомах. И когда я раскрыл альбомы, произошло такое, о чем мне больно вспоминать. Капитон посмотрел на меня суровым укоризненным взглядом.

— Убери, — сказал он мне глухо, — не показывай... Зачем ты мучаешь меня?

Он вытащил из кармана ножницы и положил на стол:

— Возьми их, возьми... Теперь уж все равно ни к чему. Всю жизнь они у меня изрезали...

Он отвернулся от альбомов и зарыдал. Рыдая, он рассказал мне, что овчинники на работу его больше не берут и что у него начали слепнуть глаза...

Это было минувшей весной.

Вот и весь мой рассказ. Теперь вам многое будет понятно в альбомах. Но вас интересует еще портрет? Портрета я не написал. Капитон-Акакий куда-то торопился и наотрез отказался остаться у меня на несколько дней. Он ушел в бездорожье, в непогодь — месить древнюю российскую грязь своими обессилевшими неодинаковыми ногами... Где он сейчас: в Хотимле, во Мстере? А может быть, в том мире, где нет ни овчин, ни искусства... Я не суеверен и не люблю символических намеков, но, право, я иногда сомневаюсь, что Капитон-Акакий жил на свете. Не совесть ли это моя приняла человеческий образ? Во всяком случае, тут много загадочного. Бесспорно только то, что ножницы и альбомы лежат на столе. Скоро я отвезу их в губернский музей...

Знаменитый художник вооружился двумя парами очков и раскрыл верхний альбом, на котором значило: «Том первый».

8 июля 1929 г.

За рубежом

ЭГОН ЭРВИН КИШ. За кулисами статуи Свободы. — 2. С. БОРИСОВ. Прибли-
тика. 3. С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету.

1. ЗА КУЛИСАМИ СТАТУИ СВОБОДЫ

Эгон Эрвин Киш

(Окончание ¹)

XVII. Голливуд

Сотрудничество с Чарли
Чаплином

«...Чаплин? Мы, собственно, могли бы пока заглянуть к нему, хотите?».

Конечно, я хотел этого. Я хотел этого потому, что Чаплин один из тех праведников, во имя которых имеет еще смысл охранять Америку от судьбы Содома и Гоморры.

Второй праведник — это тот человек, который задал мне вопрос о Чаплине. Это Эптоп Синклер.

Я сказал Синклеру, что уже давно добивался возможности попасть к Чаплину, но еще вчера «могущественные» кинематографические светила говорили мне о том, что все их попытки познакомиться с Чаплином закончились неудачей. Все обитатели Голливуда, которые хвастаются тем, что являются первейшими друзьями Чаплина, на самом деле, может быть, один какой-нибудь раз видели его, когда он ужинал в ресторане Генри.

— Да, его, конечно, чрезвычайно озабочают посетители, — сказал Синклер, — больше ста человек в день приходят к нему со всевозможными предложениями, с выражениями симпатии и удивления, с желанием только поглядеть на него, со всевозможными проектами и со стремлением заполучить от него подачку.

Синклер тормозит свой автомобиль па углу Longpré Avenue и La Brea Avenue. Мы останавливаемся перед

группой домиков, окрашенных в красный цвет. Трудно предположить, что в этих домиках таится что-то особенное, — еще труднее предположить, что это кино-ателье. Обычно кино-ателье в Голливуде представляют собою гигантские каменные комплексы с железными воротами и сторожами возле них, весь фасад таких зданий испещрен обычно кино-рекламой.

Тут находится «студия» Чарли. Мы входим в бюро, т. е. мы направляемся к барышне, которая мечется взад и вперед от телефона к столу с корреспонденцией. Мы идем во двор, в настоящий двор, на котором расположены постройки. Где-либо в другом месте это не был бы двор, а если бы и был, то он назывался бы «Stage № 35». Вход во двор был бы запрещен, у входа стоял бы сторож.

Двое мужчин здороваются с Синклером, они о чем-то переговариваются — в это время как раз происходят с'емки — и вдруг один из них говорит: «вот идет «босс».

«Босс» ¹), старик, шеф! Мы оборачиваемся лицом к боссу, к Чарли Чаплину. Если бы он появился по крайней мере в приличном костюме, как это присуще боссу, шефу, старику, то он, пожалуй, напомнил бы те моменты, когда он не босс, не старик, не шеф, — того печального бродягу с его комическими приключениями, которого мы так любим в Чаплине.

Но он сейчас подходит к нам в платьятных, спущенных штанах, в за-

¹) См. «Новый Мир» кн.кн. 4, 5, 6 и 7 с. г.

¹) Хозяин.

платаны и огромных ботинках, со схапавшим на бок галстуком и расходящимся пиджачком. Он только что вернулся с работы, — он босс, которому приходится постоянно работать.

— Алло, Эптон, — кричит он еще издалека. — Удивительно, что вы вдруг вздумали меня посетить! — Синклер сообщает ему что-то по поводу гостя, которого он привез с собой.

— Это превосходно, — возражает живой, оригинальный Чарли Чаплин и пожимает мне руки.

Он ругается, чертыхается, так как его работа плохо подвигается. Он вертит новый фильм «Сити Лайт» — «Городские огни». — Но теперь вновь заминка, работа на мертвой точке, шут его знает, мы не в состоянии сдвинуться и идти дальше... Может быть, вы мне можете, ребята? — Да, мы, ребята, хотим помочь Чарли Чаплину!

Перед нами не совсем тот Чарли Чаплин, которого мы знаем по кино. Он, правда, только что вернулся с работы, но он не в процессе работы, или лучше, он в данный момент не играет. Недостает его котелка, сплющенного арбузообразного котелка, недостает бамбуковой тросточки и черных усов под носом. Кроме того, его сапоги совсем не так чрезмерно велики и совсем не так чрезмерно смешны, как это кажется со сцены. Это, конечно, потрепанные, заплатанные, драные, может быть, даже слишком большие, но все же обыкновенные ботинки. И только искусство их босса придало им такое «космическое» значение!

Теперь, когда он с нами, «его помощниками», торопится в мастерскую, его сапоги совсем не бросаются в глаза, и Чарли отнюдь не производит впечатление человека с плоскими ступнями ног. Он носит роговые очки, он так дальновзорок, что без очков не в состоянии подписать свое имя.

На середину его лба падают две пряди серебра. На затылке, в том месте, где волосы вновь отрастают, они тоже седые. («Вы дали бы подстричь свои волосы» — сказал я осторожно Чарли, спустя несколько дней. Но он не делает секрета из того, что красит волосы. «Вы видите, я теперь уж больше не интересуюсь этим. Отрастающие

седые волосы я не крашу вновь. Кончено. К сорока годам я буду вновь таким же седым, каким я был в тридцати пяти годам». — «Как поживает теперь ваша жена?». «Не знаю, — замечает он с деланным равнодушием, — но у меня двое детей, и эти дети у нее»¹⁾).

Мы в мастерской, где демонстрируются картины. Пока налаживают аппарат, Чарли Чаплин играет на фисгармонии песенку «Виолетера», напевая при этом несуществующие испанские слова. Он приглашает меня притти к нему на дом, там он будет играть на органе до тех пор, пока у меня зайдет ум за разум. «Правда, ребята?». Ребята подтверждают, как этого желает босс, что у него дома имеется большущий орган, на котором он играет очень громко и шумливо, не взирая на то, приятно ли это или неприятно посетителю.

— Я играю великолепно, — смеется Чаплин, — но вы ни черта не понимаете в моей музыке!

«Ребята» называют Чаплина по имени: «Чарли». Их двое — это Гарри Крокер и Генри Клайв.

Гарри Крокер — молодой американец со свитером и юмором. Он представлял в картине «Цирк» одетого во фрак плясуна на жанате и счастливого соперника Чарли. Кроме того, он играл клоуна, которого Чарли обманывал, и еще несколько аналогичных ролей.

Генри Клайв старше, ему сорок восемь лет, он проделал серьезную карьеру фокусника в американских провинциальных варьете. Третий из ребят тоже Генрих, как и первые двое. Сегодня он отсутствует. Но это чистая случайность. Вообще же нельзя быть у Чаплина в студии и не застать там широкого пузатого мистера Генри Бергмана, восседающего в таком же широком и пузатом кресле. Ночью, однако, мистер Бергман сам становится боссом, обладателем ресторана на одном из бульваров Холливуда, ресторана, в котором встречаются только знаменитости и те, кто жаждет поглазеть на знаменитостей. Этого ресторатора Бергмана Чаплин сам создал, по-

¹⁾ Жена Чаплина ушла от мужа, вчинив ему иск на какую-то астрономическую сумму.

являясь в его ресторане самолично каждый вечер. Мистер Бергман немедленно отдавал ему визит, восседая у него в ателье в течение всего дня.

Черное кожаное кресло, четыре деревянных стула и фисгармония составляют весь инвентарь демонстрационного зала. Чаплин принуждает меня сесть в кожаное кресло, я, однако, отклоняю его любезность, и Чаплин, очень довольный, бросается в кресло и глубоко усаживается в него, заложив ноги. Повидимому, это его привычное, любимое место.

Сейчас пустяк фильм. В данный момент готова только четвертая часть фильма, около четырехсот футов. Часть ленты придется видоизменить, часть отрезать. Картина бежит.

При сцене с цепочкой (читай ниже) я громко смеюсь. Но кто-то кладет мне руку на колени, давая понять, что нельзя смеяться. Кто это решает посягать на мое право безудержно смеяться при виде сумасшедшей выходки Чарли? Это сам Чарли Чаплин, что сидит возле меня. Картина еще не готова. Мы должны «помогать», мой смех так же неуместен, как улыбка бедного Чарли, когда он в «Цирке» вынужден терпеть шутки клоуна.

— Замечательно, замечательно! — шепчем мы после того, как картина промелькнула перед нами и в зале опять стало светло.

Но босс протестует: — Не можете ли вы мне рассказать, что вы, собственно, видели на экране?

— Конечно. Охотно. Итак, девушка продает на улице цветы. В это время приходит Чаплин...

— О, нет, еще нет...

— До того приходит еще господин и покупает цветочек...

— Еще господин. Что за господин?

— Господин, смахивающий немного на Адольфа Менжу...

— Да, элегантный господин с дамкой. Это очень важно...

— Дальше Чаплин удаляется за угол. Он видит вделанный в стену колодец и снимает перчатку, чтобы начерпать воды. Но он не снимает перчатку сразу, он стягивает каждый палец перчатки. ~~О~~дного пальца

нехватает. Он нагибается и ищет палец, не находя его.

— Видите, Чарли, — кричит победоносно Генри Крокер.

— Нет, в этой картине не все ясно! Мы будем ее еще раз крутить! (Он объясняет мне, что ошибочно начинать стягивать перчатки как раз с недостающего пальца, искать этот недостающий палец на земле и лишь затем стягивать остальные пальцы.)

Чарли берет кружку...

— Понимаете ли вы, что я хочу представить?

??

— Разве я на этот раз не выгляжу несколько иначе, чем всегда?

— Да, на вас галстук бантиком и перчатки. Вы как-будто на этот раз хотите, чтоб вас, бродягу, заметили! Об этом свидетельствует и эпизод с кружкой.

Чаплин берет кружку, которая висит на цепочке. Цепочка ложится на живот Чаплина, и он замечает, что это замечательная часовая цепочка. Чаплин пытается в то время как он пьет воду, открепить эту цепочку от стены. Это не удается ему. Раздосадованный, он опять ковьялет в цветочнице. Девушка просит...

— Погодите, погодите, вы что-то пропустили.

Чаплин смотрит на меня и на Синклера пронзительным взглядом, его взгляд полон мольбы, страха... «Вы что-то пропустили!»

Но нет же, мы никак не можем вспомнить, что мы пропустили!

— Ведь в это время подъезжает автомобиль?

— Да, конечно, подъезжает автомобиль, из него выходит господин, проходит мимо Чаплина. Чаплин здоровается с ним в своем обычном стиле.

— Что же дальше происходит с автомобилем?

— Не знаю, — отвечаю я.

Эптон Синклер же говорит:

— Я думаю, автомобиль едет дальше.

— К чорту! — бормочет Чаплин. — Все испорчено. — Его помощники тоже в отчаянии.

Я продолжаю рассказывать дальше о том, что произошло: Девушка дает Чаплину цветок, цветок падает на землю, оба одновременно нагибаются.

Чаплин берет цветок, но продавщица продолжает искать. Она все еще продолжает искать, несмотря на то, что Чаплин держит перед нею цветок. Чаплин узнает, что девушка слепа. Он покупает цветок и удаляется. Чтобы убедиться в том, что девушка действительно слепа, он вновь прокрадывается к ней...

— Нет, не так, как он появляется вторично?

— Он подходит очень быстро, как если бы он торопился пройти вперед, но задерживается и, топчась на одном месте, постепенно ослабляет звук своих шагов. Потом он тихонько, на кончиках пальцев, возвращается обратно и садится возле девушки. Девушка в это время освежала цветы и как раз выливала воду из ведра. Она попадает прямо Чаплину в лицо. Он, крадучись, уходит и возвращается в третий раз. Он опять покупает цветок. Девушка хочет приколоть ему цветок и в это время ощущает в его петлице цветок, что она уже раньше ему продала. Таким образом, ей становится ясно, что этот человек вернулся сюда ради нее. Чаплин говорит ей, что вторая петлица свободна. Она, однако, возражает, что нельзя в обеих петлицах иметь по цветку. Он просит ее взять от него этот цветок. Она прикрепляет его к своей груди.

— И?..

— ...она влюбилась...

— В кого?

— В Чаплина...

— К чорту!

??

— Разве вы не заметили, что кто-то прошел мимо?

— Нет, я не видел этого...

— К чорту! Разве вы не видели вновь автомобиля? И господина в нем?

— Нет.

— А вы, Эптон?

— Нет, не видел.

В полном отчаянии Чаплин закрывает глаза, являя собой на фоне черной кожи образ полного отчаяния (Чаплин сидит в черном кожаном кресле).

Его помощники тоже понурились. В чем же дело? Что за беда в том, что я, случайный иностранец, но в состоянии понять его gag, его мысли?

— О, это не gag, это основная идея моей картины! И эта идея абсолютна и проста. Она провалилась. Это следует из моего рассказа.

— Улица, на которой происходит действие,—одна из элегантных улиц; дома, господин — первый покупатель цветка — и его дама являются как бы символом элегантности этой улицы. Этого вылезавшего из автомобиля господина продавщица цветов принимает за того, кто покупает у нее цветок и возвращается ради нее еще раз. Автомобиль все это время — мы этого вовсе не заметили — стоял за углом. Как раз в тот момент, когда слепая продавщица, по просьбе Чаплина, прикалывает себе второй цветок, возвращается господин и садится в автомобиль. В девушке просыпается любовь к нему, этому богатому человеку с автомобилем. Чаплина же должно осознать, он должен уловить эту ситуацию и на протяжении всей картины разыгрывать в дальнейшем роль богатого поклонника. Он крадет деньги для оперативного лечения девушки, он арестовывается, отбывает определенное наказание, получает свободу и вновь встречает девушку. Девушка видит его в первый раз и, не догадываясь, кто он, смеется над ним, так как он выглядит очень комично, как умеет выглядеть Чаплин.

Однако, если публика не в состоянии уловить трагического *qui pro quo* всего происходящего,—если она не реагирует мгновенно на потрясение Чаплина, выявление его ничеты, на его мгновенное решение совершить подлог, воровство, во имя изменившейся ситуации, во имя ее любви, во имя его любви,—если публика не в состоянии все это охватить интуицией, тогда вся постановка испорчена. К чорту!

Мы должны вновь переделать всю картину.

С этого момента начинается серьезная трудная мучительная работа драматурга и режиссера, энергия которого направлена на преодоление этой маленькой детали. Почти восемь дней продолжались эти искания... Бывало, по ночам Чарли вдруг спрашивал: «А как было бы, если бы мы поступили с девушкой-цветочницей так то?..».

Написано много книг об актерах, мимике, режиссуре, о драматическом народном искусстве. Почему никто не попытался запечатлеть при помощи стенограммы или диктофона речи и реплики Чарли Чаплина, дар представления и перевоплощения которого не имеет себе равного?

Восемь дней под ряд испытывалась эта сцена: каждый из нас представлял несчетное число раз продавщицу цветов (реже всех ее играла Виргиния Черриль, та, которая действительно играла роль девушки в готовой картине). Каждый из нас представлял господина в автомобиле, каждый из нас перепробовал и роль шофера, открывающего автомобиль, но Чарли Чаплин всегда оставался Чаплином, и в каждую попытку создать новую ситуацию он вкладывал весь свой энтузиазм, все свои надежды.

— Как было бы, если бы... — так он всегда начинает, кто-либо из помощников, воодушевленный его мыслью, вскакивает и заражает других.

Нам удастся установить, что первоначальная ситуация невозможна с точки зрения драматургии. Публика ни в коем случае не в состоянии уловить то обстоятельство, что слепая принимает Чаплина за богатого человека, выходящего из автомобиля. Публика еще не знает, что продавщица цветов слепая. Поэтому следовало бы сначала показать публике, что она слепая. Но Чаплин именно этого не хочет. Он добивается другого эффекта: и Чарли и публика должны в одно и то же время сделать это трагическое открытие!

Нельзя ли сцену с автомобилем провести так, чтобы публика хотя бы потом вспомнила об автомобиле. — Как было бы, если бы... господин выходит из автомобиля и говорит: шофер, подождите меня здесь. Чаплин вежливо закрывает дверцы автомобиля, девушка делает несколько шагов по направлению к автомобилю...

Или как было бы, если бы... господин идет за Чаплином, останавливается и закуривает папиросу. В это время Чаплин берет у девушки цветок, предназначавшийся для господина...

Или, может быть, господин этот не должен быть незаметным, бесцветным,

неярким, может быть, из автомобиля выскакивает обращающий на себя внимание своей красотой молодой человек? Правда, девушка не видит его, но это важно для публики: публика решает: да, этот-то должен привлечь внимание девушки! Публика видела бы то, что девушке лишь грезилось:

Или как было бы... если бы девушка, слепота которой уже обнаружилась, сказала бы Чаплину по поводу второго цветка: «дайте этот цветок вашему шоферу».

Как было бы, если бы Чаплин хотел помочь господину в автомобиле, а продавщица пыталась бы передать второй цветок через окошко в автомобиле? Но окошко оказалось бы запертым, и за открытой дверью, отнюдь не за окошком, стоял бы Чаплин?

— Замечательно, замечательно, — кричит Чаплин и пытается прорепетировать все эти предложения. Он, действительно, замечательно играет, но внезапно он вскакивает на свое кресло и заявляет: — Нет, это все не то! Я ведь не могу изображать лакея, когда я за минуту до того обнаружил, что девушка слепа, когда я потрясен этим открытием и влюблен в девушку!

— Как было бы, если бы господин сказал: «шофер, поезжайте домой или в «Риц-Карльтон», и девушка представила бы себе, что она рядом с ним выступает в роскошном дворце или в вестибюле отеля?

— Боже сохрани. Только никаких иллюзий!

Так неделями продолжают искания. Касается ли это постройки улицы, угла улицы, за который должен завернуть автомобиль, или артистической уборной, или величественного памятника, изображающего три аллегорические фигуры, смысл которых Чаплин просит нас хранить в тайне; до тех пор, пока эта тайна и эта аллегория не предстанут пред обитателями всего земного шара, Чаплин добросовестно и настойчиво пробует всевозможные ситуации.

О каждом таком моменте можно бы рассказать множество эпизодов!

Так, например, совершенно замечателен эпизод с артистической уборной, которая собственно является не убор-

ной, а помещением, в котором чаще всего собирается все общество студии. Налево расположена небольшая комната с зеркалом и столиком для косметических принадлежностей, по другую сторону — ванная комната. Однажды мы пили чай в этом помещении. В это время доложили о приходе очень известной дамы, большой приятельницы Чаплина. Он вышел встретить ее, а я побежал в ванную комнату, чтобы привести в порядок свои волосы. Перед зеркалом лежала белая, но не совсем чистая гребенка. На ней был комок вычесанных волос. Я снял волосы, бросил их на пол и причесался. В это время мне пришло в голову, что на блестящем паркете легко заметить сброшенные волосы, и таким образом легко будет обнаружить, что кто-то без разрешения воспользовался уборной босса. А может быть, этот клочок волос предназначался для какой-то особенной роли. Я испуганно поднял волосы и положил их вновь на гребенку.

Крокер тоже вошел в уборную, чтобы несколько привести себя в порядок.

— Видите, — сказал он, показывая на черный комок, лежавший на гребенке, — это и есть знаменитые усы Чаплина. Он употребляет их уже пятнадцать лет, всегда одни и те же, какой-то нью-йоркский театральный парикмахер сделал их ему. Нельзя найти никаких других усов, которые могли бы выдержать непогоду во время долгих с'емок. Между тем мы никак не можем разыскать нью-йоркского парикмахера. Чарли говорит, что когда усы эти окончательно износятся, то он будет играть бритым.

Я, повидимому, сильно побледнел. Подумайте только: Чаплин без усов! И я был бы виновником этого события!

Все разговоры с Чаплином вертелись всегда вокруг одной и той же темы: сочетания эстетического и социального моментов в фильме. Он, дававший в своей игре яркий образ такого сочетания, презираемый в обществе за свой радикализм и «большевизм», постоянно сомневался.. может быть, в порядке дискуссии, может быть, из стремления услышать от своих посетителей новые аргументы за и против, может быть, он был заражен атмосферой Холливуда.

— Если бы все было так просто, как мы этого хотим! Возьмите Эдгара Поэ, моего любимого автора! Я нигде не мог найти у него, — как страстно я ни искал, — и тени любви к обездоленным! А Шекспир! Его произведения — это ведь невозможная издевка над обыкновенными смертными!

Тут разговор принимает бурный характер. Мы кричим Чаплину, что Шекспир в изображении королей прибегает еще к чему-то другому, кроме издевки, что Шекспир был мятежником против абсолютизма королей и приближенного к королям класса — дворянства, он должен был показать в своих произведениях, что дворянство и плебс были разные категории...

— Нет, нет, — перекрикивает нас Чаплин. — Шекспир гомосексуалист, а гомосексуалисты, м. б. против воли представляют собою касту, а всякая каста уже сама по себе аристократична! Все мужчины у Шекспира только переодетые женщины, а все женщины — переодетые мужчины. Юлиа находится наверху, а Ромео внизу, она перегибается через перила балкона и ораторствует, он же стоит внизу и нежно воркует! Даже королевские старцы — женщины! Но леди Макбет мужчина! А Порция даже облачается в мужские одежды и выступает в качестве адвоката перед судом! Ни один мужчина не разговаривает так с женщиной, как Гамлет говорит с Офелией. Это не разряжение чувств, не сексуальная сублимация! Это просто похабное презрение!

И Чаплин играет Гамлета, цитирует белые шекспировские стихи, которые звучат, как удары кнута, направленные на рабыню. — Нет, нет, у него нет социального чувства! И тем не менее, он — гений!

Мы говорим о фильмах. Чаплин не знает ни одной русской кино-картины. (О Холливуд!)

Он рассказывает ряд эпизодов, сопровождавших с'емки его собственных картин. В фильме «Цирк» обезьяны так испарали Чаплина, что он около шести недель должен был лечиться. Еще и теперь можно видеть шрамы на его лице. А как бесновались владель-

цы обезьян! Обезьяны принадлежали четырем различным хозяевам, каждый считал, что именно его обезьяна играет главную роль. «Направь аппарат вниз, — кричал один из хозяев оператору, — ведь ты же видишь, что Джонни сейчас на полу!». Другой кричит: «Живей, живей! Мунго поворачивает свою морду!». Чаплин изображает всю сцену: четыре хозяина, четыре обезьяны, он сам и кино-оператор!

— «Ночи красивой женщины» не имели успеха. Что я, мистер Киш, думаю о картине «Ружье на плечо!»¹⁾? Я не знаю этого фильма, его не ставили в Германии.

В Америке эта картина тоже теперь запрещена к постановке, потому что в ней фигурирует Гинденбург, президент дружественной нам страны!

Между тем его образ отнюдь не карикатурный, также император и кронпринц не задеты в этой картине. Я вообще не присоединялся ко всеобщей травле немцев, только образ одного прусского офицера, который плохо обращался со своими солдатами, я представил в карикатурной форме. И когда я его на сцене избиваю, приходят немецкие солдаты и благодарно жмут мне руки. Это не понравилось милитаристам: американский солдат обменивается рукопожатиями с «гуннами». Я очень горжусь этой картиной, которую я создал в разгар самого безумного военного психоза. Она обличает все бесчестия войны и ее ужасы! Это революционная картина! Не пацифистская, а революционная, если принять во внимание время, когда она появилась! Вы должны видеть эту картину! Вы должны сейчас же видеть ее!

Он отшвыривает свою бамбуковую тросточку и котелок и бежит в демонстрационный зал. Я опять в том же зале, в котором я сидел несколько дней тому назад рядом с тем, кто запретил мне вслух выражать свои чувства во-сторга по поводу картины «Городские огни». Сегодня рядом со мною сидит некто, кто все время хватает меня за колени и трясет за плечи: смотрите! смотрите! сейчас последует чудесная сцена! Ах ты, осел, сидящий по мою

левую сторону! Не толкай меня, не хватай меня за плечи и не давай мне советов быть внимательным, когда демонстрируется картина Чарли Чаплина!

— Видите, это тоже поставили мне в счет, что в качестве подарков для солдат в картине фигурирует вонючий сыр! И то, что окопы были залиты водой... (Солдат Чаплин ложится на воду, берет, однако, рупор в рот, чтобы не утонуть. Рано утром он вытаскивает из воды омертвевшие ноги и трет их, пока не замечает, что это ноги его соседей.)

Эту вот сцену (Чарли загримирован деревом за немецкими окопами) мы сделали на лоне природы. Никто из дублеров меня не мог заменить. Мы работали в адской жаре, пока я, наконец, не свалился!

Вы видите этого толстяка? Вы узнаете его? — Да, я узнаю его. Это Генри Бергман — босс ночного ресторана. Теперь он сидит рядом со мною и вспоминает о бешеной скачке в адскую жару!

Вы видите? Видите? — Да убирайтесь к черту! Я вижу! я вижу все! Не мешайте!

Но затем следует сцена еще более прекрасная, чем новелла Горького о старой проститутке, которая просит писаря написать письмо к воображаемому возлюбленному. Полевая почта не принесла солдату Чаплину, к его большому огорчению, ни единого письма, ни единой открытки. Он заглядывает через плечо в письмо, которое получил из дому его товарищ по окопам.

Чаплин удовлетворенно кивает головой, когда узнает, что дома все благополучно. Чаплин смеется замечаниям детей, которые он читает в письме. Бурая корова заболела шесть дней тому назад и подохла. Чаплин оплакивает бурую корову, и слезы его падают на шею того, кто читает письмо. Тот гневно оборачивается, и Чаплин, почтаплински сложив руки, в смущении ковыляет дальше, так как он не имеет права на эту радость и на эти страдания...

Я кладу моему соседу руку на колени...

¹⁾ „Shoulder the arms“

2. П Р И Б А Л Т И К А

С. Борисов

1

Послеверсальская Европа, создавшая новые отношения между государствами, увеличила число очагов будущих столкновений. Возникающие время от времени международные конфликты и бессилие Лиги Наций их разрешить служат грозным предзнаменованием нарастающей военной опасности. Непрерывающаяся борьба англо-французского империализма против СССР, борьба, имеющая различные формы и методы, все усиливающиеся стремления англо-французского империализма к созданию антисоветского фронта заставляют не только советскую дипломатию, но и мировую пристально следить за борьбой влияний, за попытками образовать те или иные международные комбинации в Прибалтике, этих современных восточно-европейских Балканах.

Эстония, Латвия и Литва, как самостоятельные политико-экономические факторы, не привлекли бы, конечно, того внимания мировой политики, если бы не их географическое положение. Эти страны узкой полосой земли отделяют великий Советский Союз от Западной Европы и через эти страны лежат удобные сухопутные и морские пути, соединяющие СССР с Западом. Борьба враждебных СССР сил в Прибалтике ставит себе целью превращение Прибалтов в «барьер, защищающий западную цивилизацию от восточного варварства», и не только в барьер, но и в плацдарм будущей войны с СССР. Советская дипломатия, опирающаяся на все более широкие слои не только рабочего класса, но и национально мыслящей буржуазии Прибалтики, противопоставляет империалистическим интригам в лимитрофных странах здоровую политику мира, тесного экономического сотрудничества, взаимно выгодного и необходимого, политику моста, как определяют этим термином ее сторонники в Прибалтике. О нашей мирной установке свидетельствуют дого-

ворная политика СССР с лимитрофами, заключение хозяйственных договоров с Латвией, Литвой и недавно заключенный торговый договор с Эстонией, и литвиновская нота о введении в действие пакта Келлога, и подписание знаменитого московского мирного протокола. Все это факты, оказавшие огромное влияние на стабилизацию мирных отношений в Восточной Европе.

Ниже мы будем говорить о перекрещивающихся влияниях, борьбе и интригах враждебных СССР сил в Прибалтике и сейчас вкратце отметим, что Балтийский вопрос как таковой существовал задолго до войны. Борьба за Прибалтику ведется с XVI века, и за овладение Прибалтикой воевали Россия, Швеция, Дания и Польша. В XVI веке часть Прибалтики была захвачена Польшей и только после Северной войны, в XVIII веке, Россия установила свое владычество на балтийском побережье. Но этим борьба за влияние в Прибалтике не кончилась. Серьезным партнером в борьбе за Прибалтику являлась Германия с ее политикой «Дранг нах Остен». Подписанная в 1908 году Россией, Германией, Швецией и Данией «декларация и меморандум по балтийскому вопросу» — последний довоенный пакт о Прибалтике — нисколько не способствовала укрощению захватнических стремлений как Германией, так и императорской Россией в Прибалтике.

Новое слово в истории Прибалтики сказала Октябрьская революция, навсегда покончившая с политикой национального угнетения и империализма и провозгласившая право народов на самоопределение, предоставив возможность не только осуществить национальную автономию, но и политическую независимость бывшим окраинам Российской Империи.

Независимое существование Эстонии, Латвии и Литвы стало возможным только после Октябрьской революции, ибо никакая иная власть в России не мыслила предоставить самостоятель-

пость этим бывшим окраинам, и ныне это должны были признать крупнейшие буржуазные политики этих стран. Конечно, к этим признаниям буржуазные политики пришли не сразу, им пришлось проделать сложный путь перемены ориентаций от ставок на германский империализм, не сокрушенный еще после Октябрьской революции, до ставок на Антанту, Польшу, но политика Антанты и Польши, стремящихся превратить Прибалтов из субъектов в объекты мировой политики, принесла повидимому немало горьких разочарований национальной буржуазии Прибалтики. Конечно, буржуазные партии Эстонии и Латвии и по сию пору держат курс на Антанту и ищут военного союза с Польшей, но исторический ход событий, рост и укрепление СССР, его возрастающая роль как мирного фактора в Европе и на Востоке, четкая и недвусмысленная мировая политика СССР, лишенная империалистических устремлений, заставила даже политиков, враждебность которых к диктатуре пролетариата в СССР не вызывает сомнений, произвести некоторую переоценку. Один из лидеров эстонской аграрной партии г. Рэбанэ, в бытность его министром иностранных дел, в одном из интервью заявил пишущему эти строки: «Возникновение Советского Союза было необходимо для возникновения на территории прежней Российской Империи других, новых государств, поэтому эти государства не могли и не могут оказывать содействие таким силам и вожделям, которые прямо или косвенно могли бы быть направлены к восстановлению прежней России. Если в этом убежден и Советский Союз и если со своей стороны он будет считать, что существование этих новых государств является аксиомой, исторической необходимостью, то, по моему мнению, будет устранено одно из основных препятствий на пути к упрочению взаимных отношений». Этот тезис был встречен сочувственно в нашей, финской и германской печати и вызвал недовольство в тех кругах, которые стремятся использовать Прибалтов для борьбы с СССР. В этом же роде, но более туманно и неопределенно высказался и известный польский ди-

пломат и один из сотрудников Пилсудского г. Голувко.

Несмотря на эти заявления, — более определенные г. Рэбанэ и более туманные г. Голувко, — политики их лагеря не перестают вести активную борьбу против СССР, борьбу, имеющую различные методы и формы. Одной из форм борьбы против СССР и является попытка создания Балтийского блока под эгидой Польши.

2

В зависимости от внутрениполитических перегруппировок в Прибалтике или усиления англо-французского нажима, на политическую поверхность выплывает вопрос об организации Балтийского блока, имеющего несколько вариантов, отличающихся более в деталях и форме, но с неизменным содержанием — острине направлено против СССР. И если до сего времени этот блок не создан, то причины суть следующие: опасения ухудшить отношения с СССР и Германией, так как и последняя будет задета этим блоком не только политически (усилит польскую агрессию на Востоке), но и экономически — транзит между СССР и Западом, главным образом с Германией, будет поставлен в тяжелые условия, вследствие неизбежной при возникновении блока ведущей роли в политике и экономике Прибалтов Польши; оппозиция к блоку со стороны рабочего класса и либеральной буржуазии Прибалтов, опасаящихся захватнических стремлений Польши, и нерешенность польско-литовского спора о Вильно, затрудняющая участие Литвы в настоящей международной ситуации в сговоре Польши с Прибалтами.

Исходным пунктом, идеалом сторонников Балтийского блока является неосуществившееся мертворожденное Варшавское Соглашение 1922 года, известное в истории дипломатии последних лет под именем *Accord politique* (политическое соглашение) Польши, Финляндии, Эстонии и Латвии, созданное по инспирации Франции. Соглашение это, к осуществлению которого и поныне стремятся многие политики правого лагеря названных стран, целиком направлено против

СССР, и хотя оно в свое время было и достаточно оценено нашей печатью, все же заслуживает если не характеристики, то ознакомления с некоторыми пунктами этого соглашения и причинами его провала.

Соглашение это имеет девять параграфов, из которых второй всецело связывает договаривающиеся стороны обязательством не заключать какие-либо договоры, неудобные одной из договаривающихся сторон, при чем туманная редакция этого параграфа открывает возможность какого угодно его толкования, фактически отдающего в руки Польши контроль над внешней политикой участников соглашения. Третий параграф совершенно лишает участников соглашения самостоятельности и имеет следующую редакцию: «Для того, чтобы создать полную ясность во взаимных сношениях и обеспечить в этих отношениях откровенность (et pour en garantir la sincérité), каждое из конферирующих правительств будет ознакамливать (sera tenu de communiquer) остальные три правительства с текстом договоров между ними и другим или другими государствами». Три следующих параграфа определяют процедуру торговых и консульских договоров и вопрос об арбитраже, и самым «боевым» параграфом является седьмой: «Представленные на Варшавской конференции государства заявляют, что в случае, если одно из них подвергнется без вызова с его стороны нападению какого-либо другого государства (serait attaqué sans provocation par un autre Etat), они сохраняют в отношении подвергнувшегося нападению государства благоприятное отношение (observeront une attitude bienveillante) и немедленно войдут в соглашение о необходимых мерах (et se concerteront immédiatement sur les mesures à prendre)».

Общественное мнение Прибалтики, за исключением правых и фашистских кругов, усмотрело в этом договоре реальную опасность для независимости — угрозу потерять не только суверенитет, но и возможность быть вовлеченной в войну с СССР, стать орудием империалистических установок Польши, подстрекаемой французской диплома-

цией к агрессии на Востоке. Это соглашение вырывало также пропасть между Прибалтами и Германией, которая в экспорте и импорте этих стран занимает одно из первых мест. Соглашение было провалено отказом финского парламента под давлением коммунистической и социал-демократической фракций ратифицировать это соглашение, и последнее было ратифицировано против голосов левой оппозиции в Латвии и Эстонии.

Провал соглашения не охладил пыла варшавской дипломатии. Она продолжает до последнего времени интриговать и строить комбинации по реализации этого соглашения; встречая сочувствие и помощь в кругах эстонских и латышских правых партий и офицерской верхушки. Финляндия, которая в последнее время под давлением внутренних обстоятельств с большей опаской ввязывается в балтийские дела и все более склоняется к скандинавской ориентации, усматривая, что в балтийских делах она реальных успехов достигнуть не сможет и превратится в один из придатков польской политики на Востоке, охладела к Балтийскому блоку, и Польша стремится привлечь более верного союзника — Румынию — в создании антисоветского союза «от моря до моря».

Год тому назад, во время усиления попыток английской дипломатии создать антисоветский фронт, нажима Лиги Наций на Литву, стремившейся заставить Литву притти к «соглашению» с Польшей, а также приход к власти правых партий в Эстонии и Латвии, — все это воодушевило польскую дипломатию. Усилилась закулисная возня варшавских дипломатов в Риге и Талмине, началась полоса таинственных поездок польских военных агентов по Прибалтике, секретные совещания латвийского и эстонского военных министров — все это свидетельствовало о новых попытках реализации Балтийского блока. Правая германская печать, которую трудно заподозрить в симпатии к нашему Союзу, приподняла тогда завесу над польской возней. «Дейтше Альгемайне Цейтунг» сообщала, что польская дипломатия вновь стремится восстановить свой старый план образо-

вания Балтийского блока. Эти старания, по словам газеты, были облегчены отменой состояния войны между Польшей и Литвой, а также назначением в Прибалтике министрами иностранных дел явных друзей Польши.

Возвращение в Латвии крестьянского союза (кулацкая партия) усиливало позицию Польши в этом вопросе.

«Локаль Анцейгер» писал, что в случае, если Польше удастся подчинить Литву своему влиянию, снова станет актуальной идея большого союза балтийских государств: «Не подлежит сомнению, что в одной части молодого поколения в балтийских государствах влияние Польши растет». Пускаются в ход крупные финансовые средства, чтобы балтийские государства, которые с «обоснованным недоверием относятся к империалистским стремлениям Москвы», настроили благоприятно по отношению к Польше. Газета предсказывала, что могут снова всплыть планы созыва конференции балтийских государств, что свидетельствует о сильной политической активности Польши на северо-востоке Европы.

Действительно, слухи о созыве конференции циркулировали тогда в Прибалтике, но так как инициатива созыва такой конференции лежала на Латвии, которая, с одной стороны, заключила выгодный хозяйственный договор с нами, указания нашей печати, что такая конференция будет встречена советской общественностью враждебно и, с другой стороны, сильная оппозиция к подобной конференции не только со стороны левого крыла сейма, но и буржуазных латвийских кругов, вынудили инициаторов созыва этой конференции отложить последнюю до лучших времен. Во что могла бы вылиться подобная комбинация — об этом недвусмысленно высказался представитель немецкой фракции в латвийском сейме барон Фиркс, заявивший в «Ригаше Рундшау», что создание Балтийского блока, остриня которого агрессивно направлено против СССР, в сильнейшей степени может угрожать существованию малых государств и что такую комбинацию следует отклонить и стараться поддерживать тройственный союз Литвы — Латвии — Эстонии.

Интересно отметить, что за подобную тройственную комбинацию высказывается и латвийская социал-демократия, которая в противовес эстонской социал-демократии, ориентирующейся в своей внешней политике на ППС и являющейся в значительной мере проводником польского влияния в Эстонии (также как и в Латвии правые с.-д. меньшевики), относится отрицательно к политике блока. Лидер латвийских социал-демократов, бывший министр иностранных дел, являющийся в настоящее время председателем сеймовой комиссии по иностранным делам, г. Целенс, заявил пишущему эти строки по вопросу о тройственном союзе следующее: «Мною выдвинутый проект сводится к международному гарантийному пакту государств на восточном побережье балтийского моря. Этот пакт могли бы заключить с одной стороны Финляндия, Эстония, Латвия и, если возможно, то и Литва, а с другой — СССР, Германия и еще некоторые другие великие державы, которые заинтересованы в сохранении status quo и равновесии на Балтийском море. В случае реализации, этот пакт явился бы известным дополнением к той большой работе по упрочению мира и стабилизации существующих отношений, которую осуществляет в настоящее время Советская Россия и балтийские государства, ведя переговоры о заключении договоров о ненападении и мирном разрешении могущих возникнуть споров».

Позднее орган латвийских социал-демократов «Социал-демократас» в статье с призывом «Будем охранять мир у Балтийского моря» заявляет, что Латвия должна придерживаться только такой внешней политики, которая не возлагала бы на Латвию обязательств, могущих ее вовлечь в какой-либо международный конфликт, и требует ликвидации политики барьера между СССР и Западной Европой, главным образом Германией: «Всякая искусственная преграда, которая препятствует развитию экономических отношений между государствами, со временем становится невыносимой. Латвия должна использовать свое географическое положение, чтобы стать мостом между Советской Россией и Западной Европой. С другой сторо-

ны, Латвии нужно приложить все усилия, чтобы обеспечить свой нейтралитет. Здесь в первую очередь надо попытаться добиться нейтрализации Балтийского моря. Балтийское море должно быть закрыто. Следует добиться осуществления так называемого «восточно-европейского Локарно», т. е. неприкосновенности границ и гарантии абсолютного нейтралитета балтийских государств со стороны всех заинтересованных держав, включая, конечно, и СССР».

Но правая латвийская буржуазия продолжает стремиться к реализации идеи блока, и недавно один из видных политиков, не кто иной как министр иностранных дел Балодис, заявил в одной газете: «Нужно подчеркнуть, что руководящие латвийские круги в своей внешней политике всегда старались осуществить эту идею в том или ином виде. Как буржуазные круги, так и левые (!?) круги настроены в пользу блока. При хорошем желании мы могли бы достигнуть политического союза, и мы должны указать, что у Латвии это желание имеется. Мы должны напомнить нашим южным соседям — Польше и Литве, что они должны приложить все усилия, чтобы разрешить виленский вопрос, в чем заинтересована и Латвия».

Особенно усиленно ломает копыта за Балтийский блок эстонская печать, и точку зрения правых кругов, правда, с осторожностью и неизбежным дипломатическим туманом, высказал в интервью для «Известий» бывший тогда министром иностранных дел г. Рэбанэ: «Идея союза балтийских государств так же стара, как и эти государства сами. И нет в этом ничего противостественного, когда государства, имеющие так много общего не только в прошедшем и в настоящем, но, вероятно, и в будущем, стремятся к общей работе. Ведь общность ряда интересов поневоле предписывает в международной жизни искать сближения и совместной работы. Балтийские государства имели и будут иметь много таких точек соприкосновения, где совместная работа их может быть полезна уже по причине их географической близости. Но идея Балтийского Союза только тогда имеет реаль-

ную почву, когда она не будет против кого бы то ни было». Было бы наивно думать, что эстонскому министру и лидеру правой партии не была бы известна история идеи Балтийского блока, которая целиком опровергает заявление о невинном характере этого блока. Идея Балтийского блока являлась и является в руках преимущественно Польши и ее вдохновителей орудием именно антисоветской политики, и заявление об отсутствии враждебных установок против СССР при попытках создания Балтийского блока является по крайней мере лицемерием.

3

Для понимания внешне-политической ситуации в Прибалтике, для оценки перспектив во внутри-балтийских взаимоотношениях и разногласиях — всего общего комплекса вопросов, ставящих Прибалтику в положение восточно-европейских Балкан, — необходимо подробнее остановиться на опасной и роковой — и для мира на Востоке и для независимости Прибалтов — роли Польши, неустанно стремящейся к гегемонии, к подчинению внешней политики Риги и Талмэна Варшаве.

Несмотря на «покровительство» и «изъяснения» дружбы Польши к Прибалтам, вся эта дружба и покровительство сводятся к тому, чтобы не только укрепить свое влияние на берегах Балтийского моря, найти более надежные выходы к морю, чем данцигский порт, который при известных международных обстоятельствах может стать объектом торга между Антантой и Германией за ее участие в антисоветском фронте, но и удовлетворить аппетиты влиятельных в Польше групп, стремящихся к великодержавности, к «восстановлению» Польши в пресловутых границах 1772 года.

Излюбленный и, правда, довольно неуклюжий прием польской дипломатии в Прибалтике — это угроза раздела лимитрофов между Польшей и... СССР! Слух этот время от времени пускается в виде следующего плана: присоединить Литву и Курляндию к Польше, объявив Ригу вольной гаванью подобно Данцигу, и нейтрали-

зывать Двину; Россия за это получила бы Лифляндию и Эстонию.

Правая латвийская газета сообщала недавно, что в одной части польской общественности, в партии демократов, еще и по сей день продолжает существовать взгляд на балтийские государства, как на объект торга и взаимных компенсаций в дипломатической игре держав. Существующий в этих кругах план раздела Прибалтики предполагалось отложить до восстановления в СССР буржуазного правительства, но так как эта надежда ушла в неопределенную будущность, то у носителей аннексионистских планов стало исчезать терпение, и они стремятся скорее осуществить свои вожелания. Наша печать указала при возникновении этого «проекта» на явную его провокационность, стремившуюся посеять недоверие к советской дипломатии. Достойную отповедь дала этому проекту и латышская буржуазная печать. «Педея Бриди» — газета, близко стоящая к крестьянскому союзу, заявила: «Мы очень хорошо знаем, кто нам угрожает. Как мы в свое время уже отметили, мы не принимаем всерьез ни Голувко, ни его планы. Правда, не следует отрицать, что политика этого человека сеет рознь и недоверие между балтийскими государствами, но одновременно с этим мы сознаем также то, что взгляды этого человека на государственность принадлежат прошлому. При этом не следует забывать, что Голувко хочет делить то, что ему вовсе не принадлежит: он хочет содрать шкуру с медведя, который еще в лесу. Не надо быть стратегом, чтобы, посмотрев на карту, понять, что если не будет Латвии, то не будет и Польши. Уже одно это обстоятельство заставляет нас думать, что планы раздела балтийских государств являются плодом большой фантазии, с которыми не может солидаризироваться польский народ и его фактический правитель Пилсудский, как бы этого ни желали Голувко и К°. Они, кажется, забыли, что сама Польша еще в недавнем прошлом была объектом раздела империалистических держав — России, Германии и Австро-Венгрии. Они ослепли до того, что, сами этого не сознавая, на полных парусах несутся

навстречу к повторению этой плачевной истории. Угроза Польше в таком случае была бы с трех сторон, вместо теперешних двух. Разгорелась бы новая мировая война, гораздо опаснее пережитой и с гораздо менее определенными перспективами. Российские события, как бы отрицательны они ни были, все-таки произвели глубокое влияние на рабочие массы во всем мире. Другим Польши, при самом искреннем желании, вряд ли было возможно оказать ей военную поддержку».

Попытка шантажа польской дипломатии была разоблачена, но это разоблачение не помешало на настойчивом муссировании слуха о «секретных совещаниях между польским и советским правительствами о разделе Прибалтики». Наша печать и официальное выступление одного из наших полномочных представителей в Прибалтике положили конец этим слухам, которые стали серьезно тревожить прибалтийские политические круги.

Через некоторое время на помощь неуклюжему шагу польской дипломатии выступила с пробным шаром английская дипломатия. В ревельской газете, близкой к министерству иностранных дел, «Пявалехт» появилось следующее сообщение: «По полученным достоверным сведениям из Лондона, там выработан проект примирения Польши с Литвой. По своему масштабу и форме он является совершенно новым. Проект предусматривает объединение Польши, Литвы, Латвии и Мемеля в одну экономическую единицу. Латвия и Литва сохраняют свою полную самостоятельность (?). Вильно и Мемель получают свои сеймы, при чем Мемель остается под суверенитетом Литвы, а Вильно — Польши. Одновременно между всеми указанными государствами и областями исчезнут таможенные границы. Проект пока еще не сообщен заинтересованным государствам, но по самым достоверным сведениям это ожидается в ближайшем времени».

Одновременно с этим «слухом», пущенным с целью запугать общественное мнение Прибалтики, произвести впечатление угрозы на тех, кто еще противится польским домогательствам,

в печати появились инспирированные из польских кругов статьи, в которых указывалось, что Польша является единственным другом и защитником прибалтийских государств, и только союз с Польшей явится гарантией их независимости. В одной наиболее распространенной рижской латышской газете было напечатано: «В случае войны (подразумевается СССР) Польша не сможет получить помощь из Данцига, ибо легко пересечь сообщение по коридору. Гораздо выгоднее сношение Польши с дружественными государствами Западной Европы через Ригу и Либаву. Поэтому Польша гарантирует со своей стороны независимость Латвии. Польша не может себе объяснить недоверчивости латвийских политических кругов, в то время как все наиболее влиятельные политические круги Польши во главе с маршалом Пилсудским настроены очень дружелюбно по отношению к Латвии и готовы ей в случае надобности помочь».

Интересно, что эти «планы» и изъяснения в «дружбе» совпали с активизацией польской политики по отношению к Литве, тайными приготовлениями совместно с петлюровцами и украинскими эмигрантами к выступлению против Советской Украины и известным выступлением воеводы Юзефского. Польше для обеспечения успехов своих аннексионистских планов нужно было заручиться содействием Прибалтов для обеспечения своего фланга...

Этих примеров достаточно для иллюстрации высказанного в начале этой главы положения о роковой роли польской дипломатии в Прибалтике, балканизующей эти страны, сеющей путем шантажа и угроз рознь между лимитрофами и подготовляющей почву для международных конфликтов. К сожалению, работа польской дипломатии проходит небезуспешно: ее усилиями фактически сейчас изолирована от остальных лимитрофов Литва, и не нужно закрывать глаза на то, что польское влияние в Латвии и Эстонии возрастает.

4

В дальнейшем мы ознакомимся с внутренним положением лимитрофов, глав-

ным образом политическими взаимоотношениями внутри каждой страны. Наиболее узким местом Восточной Европы является Литва, страна, в которой внутривластная перегруппировка может повлечь за собой далеко идущие международные последствия. Но для оценки внутреннего положения эта страна представляется наиболее трудной, так как установившийся в Литве после декабрьского переворота 1926 года режим лидера партии таутинников Вольдемараса весьма ограничил деятельность оппозиционных партий, и цензура над печатью не пропускает каких-либо сведений о росте или ходе оппозиционного движения против диктатуры Вольдемараса.

По экономике—Литва страна аграрная, около 85 проц. всего населения заняты в сельском хозяйстве, которое благодаря исключительной темноте, неграмотности и забитости крестьянства стоит на низком уровне развития. Положение это усугубляется обнищанием деревни, земельной теснотой, так как аграрная реформа в Литве не была проведена, и захвативший власть Вольдемарас приостановил парцелляцию помещичьих земель, но и при этих условиях Литва имеет возможность экспортировать излишки зерна и продуктов животноводства, при чем этот экспорт мог бы играть большую роль в экономике страны, если бы были созданы более подходящие условия для развития сельского хозяйства Литвы. Имевшаяся до войны промышленность во время войны погибла, к восстановлению ее нет у государства средств и не проявлялось серьезного желания ее восстановить, и в результате этого положения рабочий класс распылен, — эмигрировал, частью деклассировался, и оставшиеся небольшие кадры промышленного пролетариата сохранились в Ковно и Шавлях.

Более двух лет тому назад установившаяся диктатура партии таутинников опирается на офицерство, городскую литовскую буржуазию и фашистски настроенную интеллигенцию. Позиция этой партии укрепилась благодаря взятому ей непримиримому курсу внешней политики по отношению к Польше, ненависть к которой после

захвата Вильно в стране настолько велика, что одно декларирование непримиримости в виленском вопросе завоевало правительству симпатии во многих слоях населения и связало руки оппозиции, борьба которой против диктатуры могла быть в эти годы сложного международного положения Литвы использована Польшей для окончательного поглощения Литвы путем ли организации «внутреннего восстания» или осуществлением знаменитого проекта Гиманса о федерировании Литвы с Польшей.

В конце 1927 года оппозиция сделала первую вылазку против диктатуры Вольдемараса, и в то напряженное время ее успех мог бы превратиться в международную катастрофу. Это обстоятельство помогло сравнительно легко правительству Вольдемараса справиться с оппозицией, но сильный удар, нанесенный тогда оппозиции, стремившейся использовать тогда для переворота обостренные польско-литовские отношения, не сломали окончательно оппозицию, и сейчас она находится в периоде энергичного собирания сил. Наиболее опасным противником для диктатуры партии таутиничников — это христианские демократы (хадеки). В отношении других оппозиционных групп Вольдемарасу удалось одержать более серьезные успехи, как, например, над ляудининками, разгромом их опоры в деревне (смена учителей, гонение на сельскую интеллигенцию), или над социал-демократами, скомпрометировавшими себя связью с польским агентом Плечкайтисом. В отношении хадеков, их опоры — ксендзов, пользующихся большим влиянием в деревне, для Вольдемараса борьба была труднее: это не учителя, которых можно было быстро заместить... Сейчас хадеки представляют серьезную угрозу правительству Вольдемараса, и эта угроза станет сильнее, когда внутри хадековской партии возьмет перевес активистское течение. Внутри хадековской партии число сторонников, стоящих за пассивную оппозицию правительству или даже за соглашение и сотрудничество с правительством, уменьшается за счет требующих усиления оппозиционной борьбы, вплоть

до бойкотирования правительства и проведения этого бойкота при помощи церкви. Ни для кого не тайна, что церковь находится в руках хадековских ксендзов, которые ведут сейчас свою политическую борьбу под флагом «католической акции».

В прошлом году между Литвой и Ватиканом был заключен конкордат. Этот акт являлся непростительной ошибкой диктатуры Вольдемараса и отбрасывал Литву на несколько столетий назад, отдав ключи от культурного и политического развития страны в руки средневековой церкви, предоставив власть ксендзу, невиданную еще в культурных странах. Наивно было бы расценивать конкордат как акт, наносящий смертельный удар литовской культуре, но он продолжает то дело уничтожения независимости Литвы, которое начато было походом Желниговского на Вильно. Католическая церковь, хозяйничающая в Польше, с благословения «святейшего наместника Петра» — папы римского — расширила сферу своего влияния и на Литву, вопреки существующей демаркационной линии между этими государствами... Партия хадеков из оппозиции ко всему, что проводилось правительством Вольдемараса, была недовольна и конкордатом, но затем свою тактику по отношению к конкордату изменила и учла его выгоды для себя. Результатом заключения конкордата явилось усиление власти ксендза — этой верной опоры хадековской партии. Конкордат отдал в руки ксендза школу, и ныне он является, несмотря на либеральные потуги министерства просвещения, ее фактическим хозяином. Ксендзы уже не довольствуются одной школой для проведения своего политического влияния и используют церковный амвон, издадут газету, захватывают в свои руки организации молодежи и т. д. Политическое кредо ксендза направляется Католическим Центром — организацией, находящейся под влиянием хадеков. С открытым забралом ксендзу выступить еще неудобно, и борьба ведется под католическими лозунгами: правительственная партия и печать обвиняются в ереси, в масонстве (в Литве сохранились еще масонские ложи в Мемеле), и органу правительства «Легувос Айдас» прихо-

дится защищаться и доказывать свою верность церкви. В деревнях ксендзы агитируют за организацию «эухорестеников», которая будет проводить «апостольскую светскую деятельность католиков». Задачи этой апостольской деятельности позаимствованы из старых уставов филерской службы. Фашистская газета «Таутас Келяс» сообщила, что задачи апостолов суть следующие: сообщать, кто какие газеты читает и в каких партиях состоит, пропаганда, шпионаж, использование церкви как места для тайных совещаний и т. д. Имелось основание предполагать, что нити этой работы вели по ту сторону границы — в Польшу. Правительство в этой борьбе было бессильно благодаря связям хадеков с Ватиканом. Последнее письмо папы на имя организации молодежи «Павасарис», находящейся под влиянием хадеков, еще более усилило хадековскую позицию в католических слоях Литвы. В письме папы за подписью кардинала Гаспари говорилось: «Особыми средствами для действия является апостольство. Апостольство католического учения должно проводиться не только в молитвах, но проявиться в пропаганде, фактах, работе. Апостольство молодежи является обязательным для католической акции». Газета ляудининков «Летувос Жиниос» по поводу этого письма заявила: «Письмо Гаспари затрагивает важные интересы нашей государственной и общественной жизни и показывает, как трудно государству, связанному конкордату, охранить себя от политического влияния Ватикана».

Положение правительства Вольдемараса в борьбе с ксендзовско-хадековским весьма сложно.

Если раньше хадеки вели борьбу с правительством по линии внутренней политики и выражали платоническое сочувствие во внешней, то теперь и здесь положение изменилось. На последнем съезде хадековской партии ее лидер д-р Бистрас выступил с докладом, который носил ярко выраженный оппозиционный характер и подчеркивал расхождение идеологии с правительственной партией, резко критиковал политику Вольдемараса в литовском польском вопросе и осуждал «ориента-

цию на Берлин и на Москву». В условиях литовской политической действительности это выступление знаменательно: впервые за диктатуру Вольдемараса оппозиция смогла бросить правительству резкие обвинения.

Усиление оппозиции не замедлило сказаться и на положении правящей группы. В господствующей партии таутининков в последние месяцы наблюдались серьезные разногласия и в частности между премьер-министром Вольдемарасом и президентом республики Сметоной, при чем Вольдемарас является сторонником более последовательной фашистской политики, а Сметона — за соглашение с хадеками. Но так как на стороне Вольдемараса стоит все офицерство, являющееся хозяином в стране, то для устранения Вольдемараса необходима поддержка офицерства. Попытку заручиться этой поддержкой и решил осуществить начальник генерального штаба П्लехавичиус, который повел среди офицерства агитацию за устранение Вольдемараса, но не имел успеха и был Вольдемарасом устранен. С падением П्लехавичиуса ушел последний руководитель переворота, приведшего к власти Вольдемараса. Полковник Скорулский, генерал Даукантас и полковник Петруйтис вынуждены были уйти раньше — их попытки борьбы с Вольдемарасом оканчивались их падением и усилением власти Вольдемараса до нового накопления сил оппозиции, но ее победа сможет оказаться роковой для литовской независимости: польская церковь, проводящая империалистическую политику своего правительства, благодаря конкордату, тесно связана с литовским католицизмом, и было бы наивно полагать, что случай попытаться поглотить Литву не будет использован.

5

Из стран Прибалтики Латвия занимает центральное положение не только по географическим условиям, — лучшие порты на балтийском побережье — Либавя, Виндава и Рига — принадлежат ей, — но и по сохранившейся промышленности и потенциальным возможностям развития последней. Как составная часть Российской империи,

Латвия была очень сильна в индустриальном отношении (в 1914 г. было 810 предприятий с 113 тысячами рабочих), но война разрушила промышленность, и отрыв от своего естественного «хинтерлянда» — России — лишил Латвию единственно возможного рынка. Пришедшая в 1919 г. к власти буржуазия не только оказалась неспособной вернуть стране былое промышленное значение, но взяла по чисто политическим мотивам курс на аграризацию страны. Промышленность была раздроблена, производство последнего года достигло только 59 проц. довоенного, при чем производство это расплыено по 2732 предприятиям с сужением рабочей базы до 49 тыс. чел. В отношении сельского хозяйства в результате ликвидации крупного помещичьего землевладения Латвия достигла некоторого успеха, превысив довоенный уровень, но, несмотря на этот сельскохозяйственный «расцвет», именно деревня находится в тяжелом экономическом положении — хозяйства перекредитованы, и банкротства принимают стихийные размеры...

Политическая физиономия современной Латвии весьма пестра, и раздробленность буржуазных партий принимает анекдотические формы, но эта раздробленность не мешает ей вести единую классовую политику внутри страны.

Единственно, что связывает между собой, заставляя их друг друга держаться — это общая ненависть к рабочему классу, страх перед его растущей силой, — а этот рост отчетливо показали последние выборы в сейм, — и единение на почве необходимости разбить, сокрушить эту растущую силу. Экономические же показатели рисуют перспективу, что рабочий класс стоит под экономическим ударом безработицы, фактического сокращения зарплаты и... перед необходимостью защищаться. Сельское хозяйство постигла в этом году тяжелая катастрофа, торговля парализована, и перед тяжелым кризисом стоит и промышленность, на 80 проц. работающая на местный рынок. При падении покупательной способности населения произойдет неизбежное свертывание промышленности и огромное уве-

личение числа безработных, что уже используется буржуазией для снижения зарплаты и увеличения рабочего дня...

Реакционный курс, проводимый сейчас в стране, инспирируется и направляется кулацким крестьянским союзом — самой крупной и сильной правой буржуазной партией в Латвии.

Крестьянский союз, используя недовольство латышской буржуазии многочисленностью партий, частыми сменами правительства, необходимо уступок при парламентских комбинациях меньшинствам, ведет определенную линию в сторону фашизации страны. Его программа во внутренней политике есть по существу программа умеренного фашизма (расширение прав президента, независимость правительства от парламента, умаление роли последнего, создание на счет государства фашистских отрядов айзсаргов и т. д.), который временно должен мириться с парламентаризмом. Практические задачи крестьянского союза — окончательный разгром рабочего класса, ликвидация профсоюзов, что уже в отношении пятнадцати левых профсоюзов сделано, отмена 8-часового рабочего дня, квартирного закона, изъятия больничных касс из ведения рабочих, что уже начато, и весь тот политический режим, который хорошо известен читателям наших газет по телеграфным сообщениям о непрерывных арестах и судебных процессах с каторжными приговорами. На ряду с этим идет уничтожение предпосылок для роста пролетариата — такая экономическая политика, при которой вопросы промышленного развития уступали бы место политике аграризации страны.

Правей крестьянского союза стоят фашисты, которые сейчас блокируются с этой партией, вполне полагаясь на нее, что она своей работой расширяет путь для торжества фашизма. К этим двум группам политически тяготеет и демократический центр, партия, которая свою внутреннюю и внешнюю политическую ориентацию может продать и богу и дьяволу за министерский портфель.

Либеральный буржуазный центр раздроблен на ряд мелких групп и обла-

дает весьма расплывчатой политической физиономией, и его значение определяется тем выгодным положением, что он должен являться привеском к тому или иному парламентскому большинству, выторговывая у левых умеренности в социальной политике, а правых сдерживая от смешения понятий между казенным и собственным сундуком... Останавливаться на подробной характеристике этих групп, а также на политической физиономии меньшинственных группировок, тяготеющих в политических вопросах к той или иной латышской партии, значило бы расширить рамки настоящей главы.

Самая сильная по численности партия левого крыла и парламента — это социал-демократическая. В своей сути латвийская социал-демократия, имеющая славное прошлое, относящееся к временам 1905 — 1907 гг., в настоящее время представляет типическую оппортунистическую партию Отто Бауэровского толка, враждебно настроенную к революционным требованиям рабочего класса и вынужденную для сохранения еще идущей за ней, но с каждым годом уменьшающейся части рабочего класса защищаться левыми фразами. Необходимо отметить, что если социал-демократия имела в 1921 г. 10.000 членов, при численности латвийского рабочего класса 20.000, то теперь, при увеличении пролетариата почти втрое, число членов партии упало до 3½ тыс. Но и в сохранившихся партийных кадрах имеется сильное оппозиционное течение, недовольное правой политикой партии. Отсутствие легальной компартии позволяет социал-демократам сохранять еще некоторое влияние на рабочий класс.

Внешняя политика латвийской буржуазии, так же как и внутренняя, определяется крестьянским союзом, который стремится продолжать линию Мейеровица (б. мининдел), линию, взявшую исходным пунктом варшавское соглашение, пресловутый «ажкорд политик», завершающийся так называемым Балтийским блоком под польской гегемонией, т. е. политика барьера, создание того клина в Восточной Европе, о котором проболтался Голувок в своем ковенском интервью. Но крестьянский со-

юз, даже при наличии подобных установок во внешней политике, должен пока припрятать свои вождедения, ибо в данной международной ситуации такая политика явилась не только вызовом по адресу СССР, но и угрозой миру на востоке Европы вообще. Крестьянский союз стоит на некотором распутье: он извлекает реальные выгоды из торгового договора с СССР, но его отпугивает, страшит возможное развитие промышленности и связанное с этим развитием увеличение кадров пролетариата и перспективы, открывающиеся для безземельного батрачества, могущие сузить размер зависимости сельских рабочих от кулака.

Но курс на реакцию внутри страны не мог не отразиться и на внешней политике. Внешняя политика Латвии за последнее время определяется внутренней борьбой двух течений: левое крыло сейма — за сохранение независимости внешней политики и противодействия польским домогательствам, и правое крыло, имеющее опору в реакционном генералитете армии, — за польскую ориентацию.

Нужно со всей определенностью заявить, что второе течение во внешней политике Латвии начинает брать верх: ярко выражаемые полонофильские чувства правых газет, писавших недавно угрожающие статьи по адресу Польши, возмущения ее пропагандой в пограничных областях, претензии на часть волостей Иллуцкого уезда и требование возмещения польским помещикам — все это уступило место славословию по адресу вчерашнего покусителя на территорию Латвии. Иные ноты зазвучали у ответственных политиков, прятавших до того времени в карман свои симпатии к польской дипломатии.

Чем же определяется этот опасный сдвиг во внешней политике Латвии? Прежде всего во внутривнутриполитических обстоятельствах.

Перманентный экономический кризис, усугубляемый в настоящее время поразившим Латвию неурожаем, перекредитованная промышленность и торговля, начавшееся сокращение запасов иностранной валюты с перспективами роста этих сокращений в виду дефи-

цитности внешнеторгового расчетного баланса, вздорожание жизненных припасов на 30 проц. — все эти факторы влияют, конечно, известным образом на политическое настроение масс, не питающих никакого доверия к управлению страной правыми партиями. Средство для выхода из этого тяжелого экономического и угрожающего политического положения правая буржуазия видит во внешнем займе: реализовать его на частном денежном рынке трудно, и поэтому все чаще раздаются голоса прибегнуть по примеру Эстонии к Лиге Наций, что связано не только с горькой необходимостью пойти на многие годы в кабалу, отдать под контроль Лиги свои финансы, но для этого нужен еще ходатай в самой Лиге. Без благоволения Англии и Франции Лига Наций денег не даст, и Польша, если не реальную, то видимую услугу тут может оказать... Но и до идеи займа латвийская внешняя политика стала скатываться в фарватер внешней политики Польши. Выступление Латвии против Литвы по вопросу о Либаво-Роменской жел. дор. в Женеве тому яркое доказательство...

И последнее, небывалое по возмутительности поведение латвийских властей, выдавших польской охранке коммуниста Пашина, проезжавшего через Латвию в СССР, достаточно ярко рисует жалкое положение и холопскую угодливость латвийских властей перед Польшей. Тов. Пашин арестован проездом через Латвию, хотя он не совершил никакого преступления по отношению Латвии, и это гнусное преступление латвийских властей показало, что власти «независимой» Латвии весьма зависимы от польской дефензивы.

6

Эстония — меньшее из лимитрофных государств: миллион населения и территория в 500 раз меньше СССР. Как Латвия и Литва, она страна преимущественно аграрная, хотя ее промышленность не пострадала от войны. На территории современной Эстонии существовал ряд больших машиностроительных и металлообрабатывающих заводов, судостроительные верфи, бу-

мажные фабрики, одна из крупнейших текстильных фабрик в Европе — «Кренгольмская мануфактура» — и разработки горячего сланца. Отрыв Эстонии от русского «хинтерлянда» наиболее ощутительно сказался на эстонской промышленности — численность пролетариата сократилась вдвое по сравнению с довоенным, и он также подвергся процессу распыления по мелким предприятиям. Политика эстонской буржуазии, опасаясь роста пролетариата, держит курс на дальнейшую аграризацию страны, хотя по климатическим условиям интенсификация сельского хозяйства не может дать ожидаемого эффекта. Начавшийся пять лет тому назад экономический кризис продолжает тяготеть над эстонским народным хозяйством, и узко групповая политика буржуазии усугубляет тяжелое экономическое положение. Низкая заработная плата, с одной стороны, и экспорт подавляющей части эстонской промышленности в СССР, с другой, спасают страну от хозяйственной катастрофы.

Слепая политика эстонской дипломатии явно противоречила народно-хозяйственным интересам страны, и потребовалось длительное время, чтобы эстонские политики прониклись сознанием необходимости произвести ревизию союзно-эстонских экономических отношений. Результатом этой ревизии явилось подписание советско-эстонского торгового договора. Этот договор, можно надеяться, будет способствовать не только усилению экономической связи, но и укрепит добрососедские отношения.

Внутриполитическое положение страны имеет много общих черт с Латвией: та же торжествующая политическая реакция и политическая раздробленность буржуазии по принципу дележа экономических ресурсов страны...

За последние два года в Эстонии сменилось четыре правительства, и характеристики этих правительств лучше всего помогут уяснить внутреннее положение страны.

Все правительственные кризисы вызывались свалкой буржуазных партий при распределении должностей директоров банков и распределении денег,

полученных в виде займа от Лиги Наций...

Правительство Теманта, проводившее внутри страны режим правой реакции, террора, удущения рабочего класса, пренебрежения насущными нуждами мелких землевладельцев, а в вопросах внешней политики стоявшее на коленях перед Варшавой и Лондоном, опиравшееся на аграриев и христианскую партию, пало из-за дележа внешнего займа. Газета правых социалистов «Рахва Сэна» писала тогда о кризисе следующее: «Интересы государства и народа были отодвинуты назад, и их заменила политика клики. Жили под знаком дележки и так и скончались: окончательный разрыв вызвал вопрос о дележке внешнего займа, который пришлось заключить, по признанию самого министра финансов, вследствие израсходования золотого фонда. Правительство было слишком реакционным и далеким от народа, на нужды которого оно не обращало внимания. Часто пиروвали, раз'езжали по стране и раздавали обещания, а в парламенте все эти обещания проваливали при помощи коалиции».

Следующий кабинет — Теннисона — мало чем отличался от предшествовавшего. Программа нового кабинета не вызвала ни восторга у тех, кто добивался его падения, ни огорчения у оплакивавших его гибель... В кабинет вошли такие фигуры, как министр внутренних дел Гюнерсон, занимавшийся провоцированием разрыва между Эстонией и СССР, и министр торговли Гольберг, выступавший в парламенте с предложением разрешить вопросы промышленности и безработицы — «подожгите фабрики»...

Правительство пало из-за дележа мест директоров банков.

Внутреннее политическое положение к тому времени по словам правой газеты «Пявалехт» сложилось следующим образом: «Восемь или девять лет мы играем в парламентаризм, и хотя формально у нас строй демократический и парламентское правительство, но фактически у нас нет ни того, ни другого. Власть узурпирована маленькими и плохими партийными тиранами,

диктаторами в худшем смысле этого слова».

И четвертый по счету — «левый» кабинет, опирающийся на большинство буржуазных голосов... Социалистам разрешили формировать правительство при условии соблюдения умеренности: они создали программу, которая в итоге переговоров о создании парламентской базы превратилась в белый лист бумаги, на котором наиболее правые партии вписали свои требования, например, о вознаграждении церкви за отчужденную аграрной реформой землю: мера, которую не решались осуществить даже правые партии, в то время как пункты о 8-часовом рабочем дне, социальном страховании и коллективных договорах были под давлением правых партий из программы исключены.

Парламентские выборы в мае этого года не внесли существенных изменений в расстановке сил командующих политических партий Эстонии. Политическая раздробленность осталась попрежнему, и создание устойчивого большинства в парламенте попрежнему невозможно, некоторые передвижки внутри мелких партий еще более усложняют создание устойчивого правительства, и нынешний «левый» кабинет стал еще более, чем до выборов, подвержен угрозе кризиса, который может принять длительные формы.

Кризис этот имел место в начале июля. Причина кризиса — «классическая» для всех последних кабинетов в Эстонии: партия трудовиков отказалась поддерживать правительство из-за разногласий внутри кабинета по вопросу о назначении новых директоров земельного банка...

В своей внешней политике эстонские правительства придерживаются англо-польской ориентации, и влияние Польши в Эстонии особенно значительно. В прошлое лето была сделана попытка создать новую ориентацию: на Север, на Скандинавию. Поездка эстонского главы государства в Стокгольм должна была подготовить почву для перемены этой ориентации, создать новый блок против СССР. И в этом, по словам «Локаль Анцейгер», «играла известную роль Англия. Если английской дипло-

матни удастся подчинить своему влиянию Швецию, а затем и Норвегию, и ввести их в открытый или закрытый блок, то тогда стена, отделяющая Советскую Россию от Европы, будет протянута от Ледовитого океана до Черного моря. Но шведская заинтересованность в делах Прибалтики весьма невелика, выгода нейтралитета настолько очевидна, что Швеция не дала себя запутать в эту комбинацию.

Необходимо отметить, что в области внешней политики ушедший кабинет Рея делал крупное достижение, не удававшееся его предшественникам: он взял курс на развитие экономических отношений с СССР, на установление дружественной атмосферы в советско-эстонских отношениях. Эта перемена уже намечалась во времена кабинета Теннисона-Ребане, и то, что эта благотворная перемена одобряется всеми круп-

нейшими политическими партиями Эстонии, свидетельствуют ратификации последними в парламенте советско-эстонского торгового договора. Договор этот имеет не только большое экономическое значение, но и политическое: он подводит солидную базу под тот новый курс, о котором мы только что упомянули.

Настоящая статья не затрагивала вопроса о взаимоотношениях между лимитрофами, а также их экономические взаимоотношения с остальным миром, ибо это — тема самостоятельная и более специальная, и автор ограничился кратким очерком политического положения Прибалтики.

1929.

3. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

С. Гальперин

Подводные камни на пути Макдональда. — В Индии как при Болдуине. — «Ликвидация» мировой войны. — Европа и Соединенные Штаты Северной Америки. — СССР и Китай.

Подводные камни на пути Макдональда

Никто никогда не ждал от Макдональда каких-либо социалистических экспериментов. Правда, Винстон Черчилль в прениях о тронной речи счел нужным упомянуть о социалистических теориях рабочей партии, но и это упоминание было сделано им лишь в полемических целях, по существу же Черчилль правильно указал, что буржуазия лишь для того вручила власть Макдональду, чтобы он совершенствовал капиталистическую систему производства, и что лишь в этих пределах Макдональд может рассчитывать на то, что буржуазные партии не будут вставлять ему палки в колеса. Само собой разумеется, что с настоящей социалистической партией консервативный экс-министр не стал бы разговаривать в таком тоне.

Либеральная печать Англии, относя-

щаяся к правительству Макдональда в общем очень благожелательно, считает нужным, наоборот, подчеркнуть, что ни о каком протнвопоставлении «социалистической» рабочей партии буржуазным партиям не может быть и речи и что линия Макдональда в общем определяется вовсе не зависимостью его от либералов, а отсутствием новшеств принципиального характера в его правительственной программе. Практические же его мероприятия как в области внешней политики, так и внутренней, приходится рассматривать лишь с деловой точки зрения, и в этом отношении ему не придется натолкнуться на систематическую оппозицию не только со стороны либералов, но даже, пожалуй, и консерваторов.

Мы указывали уже в июльской книге «Нового Мира», что, несмотря на то, что Макдональду нехватает 19 голосов

до абсолютного большинства, парламентские позиции его очень прочны. Стремления свергнуть его кабинет у либералов нет, а так как для того, чтобы продержаться, ему достаточно просто воздержания со стороны либералов, то непосредственная опасность со стороны палаты общин ему не грозит.

Но именно то, что составляет парламентскую силу Макдональда, является источником его политической слабости. Макдональд — матерый волк парламентаризма и сумеет отлично лавировать между партиями во всех трудных вопросах законодательного характера. Стоящие на его пути трудности лежат вне парламента. С одной стороны, рабочие, которые в большинстве еще смотрят на кабинет Макдональда как на настоящее рабочее правительство, ждут от него реального улучшения своего положения, а с другой — предприниматели намеренно обостряют свои отношения с рабочими, чтобы поставить правительство рабочей партии в трудное положение.

И это вовсе не теоретическое предположение. Эти подводные камни на пути Макдональда дали себя заметить уже в первый месяц его нахождения у власти. Английский лево-либеральный еженедельник «New Statesman» (от 29 июня) в любопытной статье «Умеренность трэд-юнионизма» указывает, что ставка лидеров трэд-юнионизма на мир в промышленности с самого начала натолкнулась на разное отрицательное отношение со стороны большинства английских предпринимателей: не трэд-юнионы, а две предпринимательские организации отвергли предложения, принятые на конференции представителей рабочих организаций с лордом Мельшеттом (Мондом).

Тем же воинственным настроением предпринимателей ознаменовались и первые недели существования правительства Макдональда. «New Statesman» следующим образом определяет положение: «Шахтовладельцы уже сейчас дают понять, что ни на какое повышение зарплат в связи с окончанием заключенных после поражения 1926 г. невыгодных для рабочих договоров горняки рассчитывать не могут; ту же позицию занимают и владельцы машино-

строительных предприятий, хотя конструкция в ряде отраслей машиностроительной промышленности благоприятная, а ставки заработной платы не соответствуют нормальному уровню жизни квалифицированного рабочего; наконец, в текстильной промышленности, где низкий уровень заработной платы сочетается с наличием частичной безработицы (большинство текстильщиков занято неполную рабочую неделю), предприниматели решительно берут курс на еще большее снижение заработной платы, ссылаясь на то, что это необходимо для реорганизации текстильной промышленности и изжития безработицы».

Мы намеренно привели эту характеристику взаимоотношений между предпринимателями и рабочими не из коммунистической печати, а из лево-либерального журнала, чтобы показать, как остро стоят сейчас вопросы экономической классовой борьбы в Англии¹). Совершенно ясно, что эти экономические конфликты будут иметь и огромное политическое значение, ибо правительство будет вынуждено либо в законодательном порядке, либо в порядке правительственного посредничества так или иначе подойти к их разрешению. Балансировать тут между требованиями рабочих и непримиримостью капиталистов Макдональду будет трудно.

Необходимо отметить, что помимо этих отдельных конфликтов перед Макдональдом стоит еще проблема ликвидировать проведенные консерваторами законопроекты об ограничении прав трэд-юнионов и об удлинении рабочего дня шахтеров с 7 до 8 часов. Настоящее рабочее правительство, конечно, разрешило бы оба вопроса очень легко, восстановив немедленно то положение, которое существовало до издания этих законов, но для Макдональда дело обстоит не так просто. Макдональд, конечно, за возвращение трэд-юнионам права свободно устанавливать взносы на политические цели (они идут в избирательный фонд рабочей партии), но он против предоставления рабочим организациям права объявлять всеобщие стачки солидарности, которые неизбеж-

¹) Настоящие строки были написаны еще до начала локаута ланкаширских текстильщиков.

но принимают политический характер. Возможно, Макдональд не против восстановления 7-часового рабочего дня в шахтах, но он беспомощен против шахтовладельцев, которые заявляют, что в таком случае они соответственно понизят заработную плату.

Пока что Макдональд отделяется от обоих этих вопросов общими фразами о том, что его правительство «изучает положение». В этом отношении он встречает прямую поддержку со стороны профсоюзных лидеров, которые уговаривают рабочих не осложнять положения рабочего правительства и дать ему возможность сперва оздоровить общую экономику страны, а затем уже проводить соответствующие законодательные мероприятия по улучшению положения рабочих. Но, конечно, это лишь весть, по которому рано или поздно придется платить.

Любопытно отметить, что так называемые «левые» круги лейбористов (рабочей партии), группирующиеся вокруг независимой рабочей партии, ничем в данном случае не отличаются от правых. Вся их «левизна» носит чисто показной характер. Мэстон вносит в парламент поправку к тронной речи о необходимости предпринять шаги по социализации средств производства, прекрасно отдавая себе отчет в том, что никакого вреда Макдональду эта поправка не нанесет: Макдональду достаточно заявить, что тронная речь намечает лишь мероприятия на первую сессию, когда о социализации «пока не может быть речи», и поправка дружно отвергается всеми голосами, кроме пары десятков голосов соратников Мэстона. В области же практических вопросов (об отмене восьмичасового рабочего дня для шахтеров и болдуинского законопроекта о профсоюзах) мэстоновцы хранят полное молчание, ибо постановка этих вопросов действительно поставила бы Макдональда в трудное положение. А соратник Мэстона — «левый» Кук — уговаривает горняков не быть слишком требовательными и нетерпеливыми, чтобы не повредить рабочему правительству.

Когда коммунистическая партия Англии в своем органе «Workers Life» указала на этот фиктивный характер

мэстоновской оппозиции, подчеркнув, что «левые» лишь помогают макдональдовцам сдерживать нетерпение рабочих масс, орган независимой рабочей партии «New Leader» (от 28 июня) пытался высмеять предположение, что Мэстон и Кук критикуют Макдональда и Гендерсона по указке этих последних. Английские независимые горе-социалисты делают вид, что они не понимают, что дело не в субъективном сговоре Мэстона с Макдональдом, а в объективном значении его «оппозиции» — общими фразами квази-левого характера заслонять перед массами практические задачи борьбы против капиталистической эксплуатации рабочего класса.

В Индии как при Болдуине

Некоторую видимость оппозиции Макдональду мэстоновцы создают также в вопросе об английском терроре в Индии. Как известно, при участии Мэстона и Кука образован комитет защиты англо-индийских революционеров, обвиняемых в попытке низвержения королевского правительства в Индии. Процесс в Мируте уже стал в центре внимания передовых слоев рабочего класса Англии. Позиция мэстоновцев сводится, однако, лишь к подчеркиванию чисто юридической неправомочности тех судебных преследований, которым подверглись главным образом руководители революционного союза бомбейских текстильщиков «Гирни Камгар» («Красный Флаг»). Вопросы империалистической сущности «рабочего» правительства они не ставят. Что мирутский процесс является образцом шемякина суда, конечно, не подложит сомнению. Никаких данных, обосновывающих предъявленное арестованным обвинение, в распоряжении прокуратуры нет. Для любого беспристрастного наблюдателя совершенно ясно, что обвиняемые попали на скамью подсудимых лишь за свое революционное руководство бомбейской стачкой.

С решительным протестом против мирутского процесса выступили даже руководители индийского национального конгресса (овараджистская организация) и индийского конгресса трэд-юни-

онов. Выступление последних особенно характерно, ибо союз «Гирни Камгар» является конкурентом реформистского союза, примыкающего к индийскому конгрессу трэд-юнионов, и представители последнего менее всего могут быть заподозрены в сугубом пристрастии к обвиняемым.

Тем не менее, Джавахарлал Неру, председатель всеиндийского конгресса трэд-юнионов, счел необходимым обратиться к Ситрину, ген. секретарю генсовета британских трэд-юнионов, с телеграммой, в которой настаивал на необходимости принять меры к защите обвиняемых и в частности на изъятии дела из ведения провинциального мирутского суда, не дающего гарантии необходимой беспристрастности при прохождении процесса.

Вмешательство индийских реформистских вождей профсоюзов в пользу обвиняемых революционных борцов «Гирни Камгар» объясняется тем, что, по общему признанию как английской, так и индийской печати, преследования красного союза текстильщиков привели лишь к росту его популярности и ни в какой мере не ослабили его влияния на массы. Именно эта боязнь роста влияния революционных союзов, окруженных в глазах рабочих масс Индии ореолом революционного мученичества, и заставляет реформистских вождей протестовать против произвола администрации лорда Ирвина в Индии.

Революционное рабочее движение становится основным рычагом освободительного движения народов Индии — вот тот факт, из которого следует исходить при понимании разворачивающихся сейчас в Индии событий. Радикальная интеллигенция, группирующаяся сейчас вокруг партии свараджистов, чувствует, что гегемония в национально-освободительном движении переходит от них к революционным рабочим организациям.

Переход этот неизбежен. Индийские буржуазные национальные партии раздираются сейчас внутренними противоречиями. Их пугает рост классового рабочего движения в Индии, и они ищут защиты от него со стороны метрополии. Но в то же время они не могут притти и к полному соглашению с ан-

глийским империализмом, который не удовлетворяет экономических запросов индийской буржуазии и в целом ряде вопросов (особенно таможенной политики) рассматривает Индию как колонию, обслуживающую интересы Англии. А между тем со времени мировой войны, когда английская промышленность работала только на «оборону», в Индии выросла огромная промышленность, которая ищет своих рынков сбыта независимо от интересов ланкаширских фабрикантов.

Внутренне-противоречивая позиция индийской буржуазии сказалась особенно ярко на происходившем в конце прошлого года Национальном конгрессе. Конгресс принял компромиссную резолюцию с требованием предоставления Индии в ближайший же год прав самоуправляющегося доминиона. Если в течение года британский парламент не проведет соответствующего закона, то конгресс оставляет за собой право выдвинуть требование полной независимости Индии (требование это выдвигалось значительной частью конгресса и было отклонено под давлением Ганди, известного лидера индийского национализма).

Английская буржуазия усмотрела, однако, в этом решении конгресса не попытку притти к соглашению с английским империализмом, а дерзкое требование со стороны населения Индии, которое-де не должно забывать, что оно лишь объект английского управления.

Эта точка зрения полностью сказала при назначении комиссии Саймона для рассмотрения вопроса о будущей конституции Индии. Англия определяет судьбы Индии, а индусы могут лишь обращаться к назначенной английским правительством комиссии с ходатайствами о своих нуждах. Эта точка зрения, которую полностью поддержала в свое время и британская рабочая партия, делегировавшая в комиссию Саймона двух своих членов, вызвала, как известно, возмущение самых широких слоев населения Индии.

Та же «хозяйская» точка зрения английских империалистов по отношению к Индии сказалаась и в решении вице-короля отложить выборы в Индий-

ское Национальное Собрание. Сварджисты, несмотря на проявленное ими в последние годы стремление найти почву для соглашения с английским империализмом, оказались вынужденными выставить лозунг бойкота Индийского Законодательного Собрания. Председатель Национального Конгресса Пандит Мотилал Неру заявил в обоснование этого решения сварджистов, что отсрочка выборов является лишь первым шагом к проведению системы борьбы со всеми организованными силами индусского национального движения.

Буржуазия Англии, однако, не склонна проявлять какой-либо уступчивости по отношению к освободительному движению Индии. Даже либеральная печать не отстает в этом отношении от консерваторов. В «New Statesman» (от 15 июня) мы находим утверждение, что «повидимому, здравый смысл, который проявляли сварджисты в течение последних лет, покинул их».

Политика Макдональда в этом вопросе носит характер традиционного английского империализма. Веджвуд Бенн, получивший в кабинете Макдональда пост министра по делам Индии, отказался даже разговаривать с представителями рабочей партии, посетившими его по делу арестованного в Индии вице-председателя союза «Гирни Камгар» англичанина Гетчинсона. Повидимому, недаром и консервативная и либеральная печать с самого начала признали выбор Веджвуда Бенна на пост руководителя английской политики по отношению к Индии особенно удачным.

Нельзя не оценить справедливость оценки, данной кабинету Макдональда французским еженедельником, посвященным вопросам внешней политики, «Europe Nouvelle». «Если верно, что главная трудность нового правительства,—пишет «Europe Nouvelle». (от 22 июня),—будет состоять в согласовании его действий с прежде выдвигавшимися им принципами, то следует отметить, что есть один вопрос, по которому Макдональд не брал на себя никаких обязательств, даже находясь в оппозиции,—это вопрос об имперской политике. А это и есть центральная

жизненная проблема Англии и Британской Империи... Консерваторы напрасно ждут, что Макдональд споткнется на этом вопросе... Есть все основания думать, что лидер рабочей партии ни на шаг не отойдет в этом вопросе и от общей линии поведения его предшественников».

Это сказано, что называется, не в бровь, а в глаз. Макдональд является не менее верным блюстителем английского империализма по отношению к колониям, чем самые правоверные консерваторы. Достаточно указать, что он торжественно принимает у себя министра-президента Египта и готовится к приему египетского короля Фуада, прославившегося разгоном египетского парламента за проявленное последним нежелание подчиниться велениям английского империализма. Лидеры партии Вафд (партия независимости, имевшая большинство в разогнанном парламенте) послали Макдональду протест против того, что он готовится вести переговоры об англо-египетских отношениях с людьми, которые являются не представителями, а врагами египетского народа ¹⁾.

Разумеется, протест этот является гласом вопиющего в пустыне. И даже «New Leader», орган претендующей на оппозиционность независимой рабочей партии, ограничивается лишь несколькими строками о том, что для успеха переговоров необходимо иметь дело с законно выбранными представителями населения Египта. По существу же независимцы так же стремятся замазать сущность империалистической политики «рабочего» правительства Англии, как и правое крыло рабочей партии.

«Ликвидация» мировой войны

В цитированной выше статье «Europe Nouvelle» довольно метко указано также, что «трудности внутреннего порядка для нового правительства в Англии так велики, что оно, по всей вероятности, постарается укрепить свою популярность успехами в области внешней политики». И надо признать, что внешняя политика Макдональда в

¹⁾ Как известно, переговоры эти закончились установлением между Англией и Египтом «союза», который мало чем отличается от «протектората».

известной степени уже сказалась на взаимоотношениях империалистических стран. Прежде всего ощутила переменную в политике английского правительства Франция.

Но энергия Макдональда менее всего сказывается в вопросе о возобновлении англо-советских отношений. Мы не будем здесь останавливаться детально на политике Макдональда в этом вопросе, ибо эта политика нашла достаточно широко освещение на страницах ежедневной советской печати. Необходимо отметить только одно, — эта политика во всяком случае не соответствовала позиции, которую занимала рабочая партия на выборах. Если на выборах рабочая партия, считаясь с настроением широчайших рабочих масс, выставляла лозунг немедленного и безоговорочного возобновления сношений с СССР, то уже в прениях по тронной речи Макдональд и Гендерсон обусловили это возобновление согласием правительств британских доминионов и отказом от ведения представителями советского правительства коммунистической пропаганды в Англии. Требование само по себе ничемное, ибо взаимный отказ советского и британского правительств от ведения противоправительственной пропаганды на территориях договаривающихся стран фигурировал во всех договорах между Англией и СССР, а факты нарушения этого соглашения с советской стороны никогда никем не были доказаны, чего нельзя сказать о действиях английских агентов в СССР.

Другая характерная черта. Если в первый момент образования правительства Макдональда в официальных сообщениях говорилось о том, что для возобновления сношений с СССР не требуется никаких переговоров и посредников («почта и телеграф открыты для всех»), то уже через некоторое время английское министерство иностранных дел сообщило о том, что оно пригласило в Англию представителя советского правительства для предварительных переговоров по этому вопросу. Намеренно неясно было сказано, идет ли речь о выработке чисто внешних форм возобновления сношений, что является хотя и

затяжкой, но непредвзвешенной с принципиальной точки зрения, или же о выставлении тех или иных условий по существу для возобновления сношений, что является уже полным извращением лозунгов, выставлявшихся рабочей партией до того, как она пришла к власти.

В дальнейшем Гендерсон раскрыл карты и при свидании с нашим представителем тов. Довгалевским определенно указал, что о немедленном возобновлении сношений в настоящий момент не может быть и речи и что этому возобновлению должно предшествовать хотя бы неполное соглашение по вопросу о долгах и пропаганде. Когда в нашем официальном сообщении позиция Гендерсона характеризовалась как признак того, что правительство Макдональда «не хочет или не может возобновить с нами сношения», со стороны Гендерсона получилось официальное сообщение, что тов. Довгалевский его не понял.

«Непонятливость» тов. Довгалевского, однако, разделяется и консервативной и либеральной печатью Англии. Выступая на избирательном собрании в Престонне, Болдуин заявил, что Макдональд полностью продолжает в русском вопросе его политику. А либеральная «Манчестер Гардиан» в № от 2 августа прямо пишет, что из двух сообщений о срыве переговоров, лондонского и московского, «последнее безусловно более вразумительно». По существу, и консерваторы и либералы (а в глубине души и члены рабочей партии) считают, что тактика Гендерсона в вопросе о возобновлении англо-советских отношений является прямым отрицанием предвыборной платформы рабочей партии.

Резкий контраст с этой тактикой затяжки и политикой волокиты в деле урегулирования отношений с Советским Союзом представляет поспешность Макдональда в деле переговоров с Америкой по вопросу о морских вооружениях и проявленная там энергия в вопросе о методах так называемой ликвидации мировой войны.

Об англо-американских отношениях мы будем говорить ниже, а сейчас остановимся на деятельности Макдо-

нальда в области разрешения всех вопросов, связанных с репарационной проблемой. Как нам приходилось уже указывать в июльской книге «Нового Мира», репарационная проблема по плану Юнга была разрешена таким образом, что Америка оказалась верховным вершителем экономической жизни всего мира, а в наиболее выгодном положении с точки зрения получения репараций оказалась Франция. Для Англии план Юнга менее выгоден, ибо именно за ее счет сделаны уступки Германии. Именно учитывая это обстоятельство, Макдональд проявляет особые усилия к тому, чтобы по возможности ослабить невыгодные для Англии экономические последствия плана Юнга и во всяком случае возместить их выгодами политического порядка.

Английское наступление в этом вопросе идет по следующим линиям: прежде всего новый мин. финансов в кабинете Макдональда Сноуден заявил в палате общин в ответ на запрос полковника Веджвуда, что английское правительство отнюдь не намерено полностью и целиком принять все пункты, намеченные в плане Юнга. Так же решительно заявил он, что он будет поддерживать требование, выставленное еще Черчиллем, чтобы всякий платеж Франции Америке сопровождался одновременной пропорциональной выплатой в погашение французской задолженности Англии («Manchester Guardian» 10 июля).

Это стремление правительства Макдональда на предстоящей конференции по «ликвидации войны» решительно отстаивать экономические интересы Англии (при Чемберлене Англия обычно шла на экономические уступки Франции в обмен на поддержку Францией внешней политики Англии в других вопросах) нашло свое отражение в споре о месте будущей конференции. Выбор места конференции имеет то значение, что председателем конференции обычно считается глава правительства той страны, в которой происходит конференция, а председатель имеет некоторую возможность влиять на решения конференции. Макдональд же, заранее заявивший, что на конфе-

ренцию пойдет он, а не Гендерсон, твердо решил возглавлять эту конференцию.

В обоснование этого требования о созыве конференции в Лондоне было сделано указание, что английским министрам неудобно отлучаться из Лондона в самом начале своего управления государством. Французский офицер «Temps» иронически указал по этому поводу, что это соображение почему-то не было принято Макдональдом во внимание, когда он выразил намерение отправиться в августе в Америку для свидания с Гувером, ни тогда, когда он и Гендерсон объявили о своем намерении совместно присутствовать в Женеве в сентябре месяце на сессии Лиги Наций («Temps», 12 июля). Сопrotивление Франции в этом вопросе (французские дипломаты настаивали на том, чтобы конференция состоялась в одной из нейтральных стран: в Швейцарии или Голландии)¹⁾ было вызвано тем обстоятельством, что заявления Гендерсона в палате сделали совершенно очевидным столкновение на конференции между Францией и Англией по вопросу об эвакуации Рейнских областей Германии после утверждения плана Юнга.

Хотя Гендерсон и заявил в палате, что он постарается притти по этому вопросу к соглашению с Францией и Бельгией, но в то же время он подтвердил, что в интересах мира эвакуация должна быть произведена немедленно после утверждения конференцией плана Юнга, и при этом должна быть проведена сразу, а не по частям. В противовес утверждению Гендерсона, что «по справедливости Германия имеет право требовать освобождения своих областей после урегулирования всех обязательств, наложенных на нее во исполнение Версальского договора», «Temps» (от 7 июля) указывает, что Германия может считать себя выполнившей все обязательства по мирному договору лишь когда будет завершена коммерциализация так наз. безусловной части репараций (т. е. идущей не на

¹⁾ Как известно, победа в этой борьбе за место конференции осталась на стороне Франции, — конференция состоялась в Гааге. Анализ работ этой конференции будет помещен в следующей книге «Нового Мира».

погашение задолженности союзников Америке, а на возмещение союзникам Германией собственно - репарационных расходов). На ряду с этим Францих требует, чтобы после эвакуации Рейнских областей там все же функционировала бы контрольная союзническая комиссия для надзора за выполнением Германией обязательства о демилитаризации пограничных с Францией округов.

Боле уверенный тон Штреземана окончательно вывел из себя публицистов газеты «Temps». Передовица от 13 июля заканчивается следующим характерным заявлением: «Германия хотела бы окончательно устранить вопрос о создании контрольной комиссии. Это окажется делом менее легким, чем это думают по ту сторону Рейна, даже если германские министры получат международную (читай — английскую. С. Г.) поддержку в этом вопросе. Французское общественное мнение полагает, что в «ликвидации войны» посредством слишком поспешной эвакуации Рейнских провинций вопрос о безопасности Франции важнее репарационной проблемы».

Смысл этой тирады ясен: французский официоз угрожает отказом Франции ратифицировать выгодный для нее план Юнга, если не будут приняты во внимание ее требования насчет Рейнских провинций.

Европа и Соединенные Штаты Северной Америки

Значительное охлаждение отношений между Францией и Англией отразилось и на отношениях между ними и САСШ. Если в бытность консерваторов у власти, когда Англия ставила ставку на военный союз с Францией для борьбы с Америкой, Америка и на сессии подготовительной комиссии по созыву комиссии по разоружению и в комиссии экспертов заигрывала с Францией, чтобы ослабить ее сближение с Англией, то после образования кабинета Макдональда положение совершенно переменялось.

Макдональд немедленно по образовании правительства приступил к переговорам с Америкой по вопросу о прекращении соперничества на море. Во-

круг свидания его с новым послом САСШ в Англии Дауэсом был поднят большой шум. Есть, однако, основания полагать, что стремления Макдональда притти к соглашению с Америкой натолкнулись на ряд трудностей. По существу они сводятся к тому, что трудно найти коэффициент для признаваемого в принципе обеими сторонами равенства флотов при различии типов военных судов, в которых нуждаются обе стороны, а также к необходимости разрешить проблему «свободы морей» при противоречии общих интересов английского и американского империализма.

Не касаясь сейчас этой проблемы по существу (мы освещали ее в мартовской книге «Нового Мира»), укажем лишь, что в Вашингтоне инициатива Макдональда встретила, повидимому, довольно сдержанный прием. Американский еженедельник «Nation» (от 26 июня), являющийся горячим сторонником англо-американского сближения, констатирует, однако, что «позиция Гувера в этом вопросе пока не ясна» и что речь Гувера в день освобождения Америки хотя и заключала в себе фразы о желательности разоружения, но не давала никаких указаний насчет английского предложения и составлена была в таких выражениях, к которым прибегает вообще всякий американский политический деятель, говоря о необходимости мирной политики».

Объясняется ли это недоверием Гувера к тому, что Макдональду удастся действительно разрешить коренные противоречия между английскими и американскими претензиями на мировое господство или давлением магнатов судостроительной промышленности и связанных с ними сенаторов, сторонников «Большого Флота», отнюдь не склонных во имя дружбы с Англией отказываться от намеченной программы постройки новых 15 крейсеров, но факт тот, что Америка не спешит ухватиться за протянутую ей Макдональдом оливковую ветвь мира.

Надо указать, что некоторую роль в недоверии Америки сыграло интервью Макдональда с корреспонденткой «Petit Parisien» Виоллис, содержание которого мы излагали в июльской книге «Но-

вого Мира». В интервью этом Макдональд выразил надежду на тесное сотрудничество с Гувером в деле разоружения и разрешения проблемы межсоюзнических долгов. Американцы усмотрели в этих словах намек на то, что Англия будет помогать в обмен на соглашение по вопросу о морских вооружениях пересмотра англо-американского соглашения о погашении задолженности Англии Америке в льготную для Англии сторону. Этой ценой за соглашение о равенстве флотов американские банкиры платить не хотят.

Вопрос этот для САСШ важен потому, что на почве недовольства неуступчивостью Америки в вопросе о долгах возникают попытки создать единый общеевропейский фронт против Соединенных Штатов. Эти тенденции очень сильны в Германии и во Франции. Штресман в германском рейхстаге, говоря о плане Юнга, прямо скавал, что вместо того, чтобы выжимать из Германии последние соки ее, европейские кредиторы должны были бы лучше подумать о грозящей всей Европе опасности попасть в полную экономическую зависимость от Америки. Во Франции обсуждение в палате депутатов вопроса о ратификации франко-американского соглашения о долгах (так наз. соглашения Меллон-Беранжа) прошло под знаком определенной неприязни к Америке, которая требует от Франции денег в уплату за долги, сделанные для ведения общей войны.

«Великая схема Бриана» — под таким сенсационным заголовком поведал миру сотрудник газеты «Эвр», Бард, свою беседу с Брианом по поводу проекта создания европейской федерации. Как сообщил Бард, Бриан имеет уже ряд благоприятных отзывов относительно этого проекта со стороны ряда держав, представленных в Лиге Наций, и рассчитывает представить его в общих чертах на суждение сентябрьской сессии Лиги в Женеве. В основе проекта лежит, повидимому, отмена таможенных перегородок между всеми европейскими государствами и создание, таким образом, экономической европейской федерации.

Казалось бы, этот проект должен был

вызвать ожесточенное сопротивление всех националистических кругов французской буржуазии, ибо его практическое осуществление немислимо без полного отказа от политики систематического недоверия и ударов по адресу Германии, политики, за которую упорно держатся французские патриоты. Так именно и подошел к проекту Бриана известный французский журналист Пертинакс в газете «Echo de Paris», заявивший, что политика Бриана вообще сводится к «добровольному отказу от самых великих идеалов Франции». Но, странное дело, Пертинакс на этот раз не встретил сочувствия со стороны других своих коллег. Официоз «Temps», который считает нужным отстаивать идею контроля над демилитаризованными зонами Германии и выступает против успешной эвакуации Рейнских областей, считает возможным в то же время с сочувствием относиться к идее Бриана, как к продолжению традиций Локарно.

Уже одно это сочувственное отношение «Temps» и упоминание о Локарно позволяет нащупать, в чем состоит истинное значение «великой идеи» Бриана. Заранее можно сказать, что Бриан под маской широты взглядов и проповеди солидарности на самом деле пытается закрепить новую форму французской гегемонии в Европе. Германская печать, которая после Локарно и знаменитого свидания в Туари успела уже раскусить Бриана, рассматривает проект Бриана как ловкий маневр, который должен прикрывать те или иные скрытые цели французской дипломатии. В таком именно духе отзывались на «великую идею» Бриана «Deutsche Allgemeine Zeitung» и «Local Anzeiger». Демократический «Berliner Tageblatt» подчеркивает, что, пока между Францией и Германией будут существовать нынешние расхождения, трудно говорить о Соединенных Штатах Европы.

Французская коммунистическая газета «Humanité» прекрасно вскрывает истинные цели проекта Бриана. Бриан учитывает, что слабым местом американского империализма является отставание роста покупательной силы населения Соединенных Штатов от ги-

гантского роста американского народного хозяйства. Кризис американского сельского хозяйства, быющего в тисках недостатка рынков сбыта, общеизвестен. В то же время все острее встает проблема завоевания внешних рынков даже для такой отрасли, как металлопромышленность САСШ, которая ранее почти целиком поглощалась американским рынком. Гувер идет на встречу этим устремлениям. Закон о содействии внешней торговле фактически уничтожает законодательство о трестах именно потому, что для борьбы с европейским стальным трестом американская железодельная промышленность нуждается в максимальном синдицировании. Такого рода экспортный синдикат в стальной промышленности Америки уже создан. В то же время для защиты своего сельского хозяйства Америка создает почти непродоходимый таможенный барьер. Новые американские таможенные тарифы вызвали уже протест 38 стран. Отражая эти настроения, французский радикал Эррио заявил: «Европа должна или объединиться или погибнуть».

С этой точки зрения проект экономического объединения Европы имеет много шансов встретить сочувствие в ряде европейских стран. Он найдет отклик и среди рейнских промышленников Германии, давно являющихся сторонниками франко-германского сближения. Именно эти круги группируются вокруг стального треста, объединившего железодельную промышленность Франции и Германии. И отражая эти настроения, газета «Germania», орган католического центра, имеющего свою опорную базу в Рейнской Вестфалии, отзываясь на проект Бриана, считает, что дорога к осуществлению этого проекта лежит через создание картелей и экономических соглашений.

Но проект Бриана преследует и определенные политические цели. Надо иметь в виду, что Европа—лишь географическое понятие, а не единый организм, будь то в политическом или экономическом смысле. В Европу входит и Англия, являющаяся частью огромной Британской империи, разбросанной по всем частям света, и Советский Союз, который ни в каком смысле

не укладывается в схему Бриана. И, надо думать, что «Европа» Бриана—это только половина Европейского континента, не включающая в себя ни Англию, ни СССР. Некоторые комментаторы так и полагают, что наряду с Соединенными Штатами Европы и Соединенными Штатами С. Америки в мире будут существовать как самостоятельные организмы Британская империя и Советский Союз.

Но дело не идет о мирном сосуществовании. Соединенные Штаты Европы в понимании французских дипломатов—это организация сперва экономического, а потом и политического союза большинства европейских стран под главенством Франции против всех других международных группировок. В числе этих группировок Советский Союз является главной мишенью, против которой направлены орудия французского империализма. Закрывать на это глаза не приходится. Бриановская пан-Европа—это второе издание Ложарно в несколько видоизмененном виде, но с тем же антисоветским острием.

СССР и Китай

Июль месяц ознаменовался насильственным захватом китайской военной Восточно-Китайской железной дороги и решением советского правительства о разрыве дипломатических отношений с нанкинским правительством. На Дальнем Востоке создалась ситуация, чреватая самыми серьезными осложнениями.

Тот факт, что нанкинцы не попытались обычным путем дипломатических переговоров добиться изменения статута на КВЖД в желательную для них сторону, а прибегли к самому беззастенчивому нарушению советско-китайского соглашения 1924 г. и насильственному захвату дороги, сам по себе никого удивить не может. Гоминдановские генералы полностью унаследовали традиции хунхуза Чжан Цзо-лина и других китайских милитаристов, привыкших орудовать в условиях внутреннего беспорядка китайского народа и внешней зависимости Китая от иностранных государств, разговаривавших с Китаем языком пушек и пулеметов.

Протестуя на словах против неравноправных договоров и империалистических насилий, гоминдановцы все же привыкли относиться с уважением лишь к тем странам, которые оперируют аргументами пушечного характера. Именно в силу аргументов этого порядка гоминдановцы не отменили на практике ни одного неравноправного договора и в то же время полностью воспроизвели по отношению к СССР, отношения с которым регулировались на началах полного равноправия, те методы, к которым прибежала Япония в своих отношениях с Китаем.

Окрыленные своими внутренними успехами и благожелательным отношением империалистических государств и совершенно не учтя того обстоятельства, что миролюбие советского правительства имеет свои границы,—эти границы определяются защитой законных прав и интересов трудящихся Советского Союза,—нанкинские политики полагали, что беззаконный захват КВЖД пройдет безнаказанно и что советское правительство ограничится платоническими протестами.

Гоминдановцы ошиблись, и эта ошибка будет стоить им дорого. Разрыв дипломатических отношений с Китаем показал, что правительство СССР отнюдь не намерено отказываться от своих прав на дорогу во славу гоминдановских героев белого террора. А закрытие пролегающих по советской территории выходов КВЖД лишает ее значения международной транзитной дороги. Транзитные грузы и пассажирское сообщение с Японией отныне будут идти по нашей обходной жел. дороге, а вывоз хлеба из Манчжурии в Японию будет наполовину проходить по находящейся в руках Японии Южной Манчжурской жел. дороге. Материальный ущерб для Китая будет

огромный. Рано или поздно Китаю придется обратиться к СССР с предложением возобновить переговоры об использовании транзита по КВЖД, но эти будущие переговоры будут происходить в гораздо более невыгодных для Китая условиях, чем если бы они приступили к ним без самостоятельного захвата дороги.

Одним из обстоятельств, развязавших нанкинцам руки для своего враждебного выступления против СССР, была смена японского кабинета. Самобытные китайские Талейраны решили, что замена кабинета Танака, проводившего по отношению к Китаю политику железной руки, кабинетом Хадагуци, склонным применять по отношению к Китаю более мягкие методы воздействия, дает им возможность перейти в наступление на других—как они думали—более слабых фронтах. Расчет ошибочный и с этой точки зрения.

Настоящие строки пишутся непосредственно после разрыва дипломатических отношений с Китаем. Всякий такой разрыв чреват, конечно, возможностями военного столкновения. Принятые советским правительством меры должны сами по себе заставить Китай пойти на удовлетворение наших требований, а двойственное отношение держав к захвату КВЖД должно заставить нанкинцев воздержаться от попытки решить спор оружием, ибо даже при нейтралитете держав перспективы такой попытки могут быть только неблагоприятны для Китая. Нынешнее китайское правительство, располагающее только армией наемников, не может успешно бороться против правительства, сильного поддержкой трудящихся масс и имеющего в своем распоряжении такую политически сознательную и технически подготовленную силу, как наша Красная армия.

Литература и искусство

1. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. О читателе и теории „иммунитета“.— 2. А. ЛЕЖНЕВ. Критика „критиков“. Статья третья.— 3. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. Сестра моя мечта.— 4. Н. ЭЙШИСКИНА. Из американской литературы.— 5. Ф. РОГИНСКАЯ. Художественная жизнь Москвы.

О ЧИТАТЕЛЕ И ТЕОРИИ „ИММУНИТЕТА“

(заметки)

Вяч. Полонский

1

В шестой книге «Красной Нови» Л. Авербах резвится и играет около некоей теории «иммунитета», изобретенной будто бы автором этих строк. Напечатав свою статью сначала в распространеннейшей «Комсомольской Правде», и затем в достопочтенной «Красной Нови», Л. Авербах принуждает меня обратиться к этому вопросу. К тому же вопрос не лишен интереса. Предоставим для начала слово Л. Авербаху.

2

«Им (т. е. мною. Вяч. П.), — пишет он, — развивается теория иммунитета пролетариата по отношению к классово чуждым произведениям буржуазного искусства. Больше того, он заявляет, что «подлинныя революционеры, соприкасаясь с подлинным и высоким искусством, на практике испытывали как раз обратное: буржуазное искусство организовывало их психику именно в сторону целей и задач пролетариата» (курсив Полонского. Л. А.)¹⁾. Именно! — восклицает Л. Авербах, — в основе этого подлинного психологического наблюдения подлинного психолога Полонского лежит сложное построение:

дескать, «разные классы — разные вкусы», бытие определяет сознание, бытие у пролетариата пролетарское — и вкусы пролетарские, а буржуазное искусство — это буржуазное сознание, но ведь бытие-то определяет сознание, поэтому буржуазное сознание (искусство), воспринимаемое пролетариатом, не может его «заразить», ибо бытие определяет сознание.

Так изложив теорию «иммунитета», Л. Авербах замечает:

«Крупница верно пропадает совершенно в этой фаталистической, насквозь пассивистской белиберде».

Далее с апломбом, который отличает его даже от В. Ермилова, наш автор утверждает, что «более вульгарного механистического понимания соотношения между бытием и сознанием трудно найти» — и т. д.

Мы не станем пока умножать цитат. И приведенного достаточно, чтобы поговорить с Л. Авербахом.

Итак — «белиберда» да притом «пассивистская насквозь».

Присмотримся ж этой белиберде.

3

Пальма первенства в извращении того, что писал я по занимающему нас сейчас вопросу, принадлежит, однако, не Авербаху. В данном случае он идет по стопам печально-известного

¹⁾ Никакого курсива в этой цитате Л. А. не привел. Но читатель не должен смущаться. Сие не суть важно!

М. Лузгина, который года два назад, делая первые робкие шаги на скользком поприще критики, на этом самом месте пытался взвести на меня напраслину. М. Лузгин задолго до Л. Авербаха уверял читателей «На Лит. Посту», будто по моей «теории» классовым восприятием литературы «уничтожается» (так и писал: «уничтожается») классовое влияние. Коллекционируя перлы напостовской «критики», я посвятил Лузгину несколько листков из блокнота («Печать и Революция», книга первая, 1928) где убедительно, на мой взгляд, показал, что М. Лузгин, обладая, быть может, скрытыми талантами, не обладает ловкостью рук. Подмена понятий обнаружена была простейшим образом: я привел цитату, давшую Лузгину повод распространять на мой счет, как говорят газеты, заведомо ложные сведения.

Вот что писал я в 1925 г. в статье, посвященной полемике с Г. Лелевичем, тогдашним вождем напостовства.

4

«Искусство, конечно, «заразительно»; оно, разумеется, систематизирует и организует читательские эмоции. Но все дело в том, что т. Лелевич, раздумывая об этих «заразительных» и «организующих» свойствах искусства, забыл «пустячок», а именно: что все-таки бытие определяет сознание, а следовательно, бытие определяет и особенности восприятия «заразы» искусства. Окраска человеческих восприятий, — та именно «призма», о которой очень красноречиво говорит т. Лелевич, — также ведь социальное явление, обусловленное классовой природой воспринимающего субъекта. Приняв же во внимание этот основной принцип марксизма, мы без большого труда сможем внести необходимую поправку к «теории заражения».

«Искусство обладает свойством «заражать» читателя эмоциями, возбуждать в нем сквозь чувство ряды идей, настроений и переживаний. Но самая сущность и окраска идеи, настроений и переживаний, вызываемых в сознании читателя «заразительными» свойствами искусства, за-

висит не только от классового происхождения писателя, но еще от классового происхождения читателя. Только в читателе своего класса художник помощью «заразы» искусства способен вызвать тот самый ряд идей и настроений, к которым он стремился. Читатель же класса, враждебного писателю, зараженный образами его искусства, способен вложить в эти образы иное содержание, иные мысли, идеи и настроения, чем те, которые имел в виду вызывать в читателе писатель. Это объясняется теми различиями воспринимающей среды, которые отделяют одну классовую психологию от другой. Глубочайшая ошибка заключается в точке зрения, предполагающей читателя, в частности пролетариат, пассивным воспринимаемым художественных образов. Восприятие делается пассивным там, где налицо признаки разложения, распада, маразма. При наличности же духовного и физического здоровья, характерного для класса восходящего, восприятие активно, оно реагирует на впечатления, получаемые извне, либо сочувствием, либо несочувствием, либо одобряя, либо отвергая. Правда, бывают те или иные исключения, но я говорю об общих свойствах восприятия. Только вспомнив это, мы поймем, что история художественных произведений заключается в смене читательских восприятий. Можно представить себе критика, пассивно воспринимающего произведения искусства? Нельзя. В самом понятии «критик» лежит его отличительная черта. Он критикует, т. е. отвергает или принимает, взвешивая за и против, оценивая и анализируя. Но критик — это ведь и есть читатель, только более, квалифицированный, это — представитель или, если хотите, вождь и руководитель читательской массы, способный логически, доказательно и литературно выразить читательскую точку зрения. Вся история «критики» не что иное, как смена новых и новых толкований художественных произведений и методов их изучения. Искусство — алгебра жизни. Каждая эпоха говорит по-новому о старом. Каждая новая эпоха черпает в затрепанном, казалось бы,

созданиях, в разученных и переученных, скажем, трагедиях Шекспира новые идеи и настроения, точно так же, как в пределах одной эпохи представители разных общественных классов и слоев по-разному толкуют эти произведения. Ибо критик есть человек, обобщающий опыт породившей его социальной группы: подобно всякому другому представителю класса, он обладает классовым зрением, и в том преломлении, какое получает у него литература, отражается класс, его основные черты, духовные свойства, точка зрения на мир. Другими словами, познавая искусство, критик способствует классовому самосознанию, раскрывая смысл мировых произведений, — раскрывает психологию и философию своего класса. В чем смысл этой огромной литературно-критической работы, которую проделываем в наши дни мы, критики-коммунисты? Мы переоцениваем старую литературу с новой точки зрения. Что означает эта переоценка? Именно то, что мы по-новому видим эту литературу. Но видеть старое по-новому — это ведь и значит отразить в новом понимании социальное своеобразие того, кто «понимает», это значит, что «понимающий» субъект отражает себя в истории истолкования мировых произведений искусства. Другими словами, «новизна» понимания характеризует не только «познание», но и «самопознание». В этом смысле критика — то же искусство, но искусство, стоящее между читателем и писателем, ближе к читателю, чем к писателю, ибо смотрит на искусство читательскими глазами и говорит от имени читателя.

Критическое отношение к искусству, ко всем своим восприятиям, свойственно всякому читателю, — иначе критика теряет свой смысл; читатель, так же как и критик, не столько подчиняется образному воздействию писателя, сколько, наоборот, сопротивляется ему. Этим читательскими свойствами совершенно не учитывает г. Лелевич, предполагая читателя пассивно воспринимающей массой, безвольным объектом заражения, «серой скотинкой»¹⁾.

¹⁾ «Печать и революция», 1925 г. Книга четвертая. См. также сб. статей «На литературные темы», изд. «Круг», стр. 104.

Пусть читатель внимательно перечитает приведенный только что отрывок, послуживший М. Лузгину предлогом для фальсификата. Именно фальсификат Лузгина продвигает ныне «в массы» Л. Авербах. Приведенного отрывка достаточно, чтобы показать с какой смелостью, поистине инфантильной, Л. Авербах осмеливается выступать перед широкой аудиторией «Комсомольской Правды» и «Красной Нови». Это выступление обнаруживает либо его неспособность правильно понять «теорию», которую он критикует, либо нежелание понять ее, либо, наконец, некритическое, подобострастно-ученическое отношение к наивному изобретению М. Лузгина.

В чем смысл моей «теории», которая развита была в приведенной выше цитате? Изложим ее в тезисах.

Во-первых: нельзя говорить о том, что искусство производит впечатление на всех одинаковое. Если художник классовый, то и зритель, читатель — тоже классовый.

Или это не верно?

Во-вторых: нельзя поэтому говорить, что произведение искусства «заражает» читателя теми иными эмоциями и в том именно направлении, в каком, хочет художник. Если социальное «бытие» художника предопределяет характер и содержание художественного творчества, то с другой стороны, социальное «бытие» зрителя и читателя определяет особенности читательского восприятия.

Разве это не так?

В-третьих: нельзя правильно понять организующую роль искусства, если не будут приняты во внимание классовые свойства воспринимающей среды. Работа, которую производит произведение искусства в одной классовой среде, будет отличаться от работы, которую то же произведение искусства произведет в другой классовой среде. Необходимо всегда вносить эту «классовую» поправку к теории «заражения».

Быть может, это противоречит марксизму?

В-четвертых: сущность и окраска идей, настроений и переживаний, вызываемых в сознании читателя «заразительными» свойствами искусства, зависит не только от **классового происхождения писателя**, но еще от **классового происхождения читателя: только в читателе своего класса художник с помощью «заразы» искусства способен вызвать тот самый ряд идей и настроений**, к которым он стремился.

Разве это не соответствует истине?

В-пятых: необходимо помнить, что читатель не является пассивным воспринимателем произведений искусства.

Быть может, и этот тезис ложен?

6

Таковы тезисы, смысл которых сначала М. Лузгин, ныне Л. Авербах пытаются извратить. Я понял бы этих товарищей, если бы они попытались опровергнуть приведенные тезисы, обнаруживая их несостоятельность. Но такая работа, очевидно, превышает их умственные силы. Они ограничиваются тем, что, выдернув из нескольких мест моей статьи несколько отдельных фраз, при этом выдернув так, что смысл их оказывается изуродованным, они торжествующим перстом указывают на свое изобретение: «смотрите, люди добрые!».

Л. Авербах совсем не понял вопроса, о котором спорит. Точно ветерок, провевля мимо его головы теория «иммунитета», шевельнула два-три волоска, не коснувшись сознания. Обозвав эту теорию «белибердой», Авербах не замечает, что имеет дело с важнейшей и сложнейшей проблемой, только теперь продвигающейся к центру научного внимания, — проблемой читателя, читательской психологии, читательского восприятия. Для него эта проблема, занимающая умы не только в нашем Союзе, но и в Европе, — еще не существует. Ему ее еще никто не растолковал. Потому-то, прочитав мои мимо-

ходом посвященные этой проблеме строки, он понял их так, будто, по моему мнению, пролетариат вообще «застрахован» от «заразы» (буржуазного искусства, глух к его звукам и слеп к его краскам, «иммунизирован» от его воздействий. А ведь я писал о другом, совсем о другом. Вложив действительно «белиберду» в понимание проблемы читателя, Авербах с самодовольством хвастает: «смотрите, какая уродина!». Не напоминает ли он человека, увидевшего в зеркале свое изображение?

7

«Теория», которую развил я, не отрицает влияния буржуазного искусства на пролетарское сознание. Она утверждала лишь, что влияние это будет деформировано призмой пролетарского, классового восприятия. Пусть Л. Авербах наберется духу и попытается опровергнуть это основное положение моей «теории», положение безусловное с точки зрения диалектического материализма. А ведь это положение лежало в основе моих замечаний.

Буржуазное искусство, «заражая» пролетариат, будет «заражать» его не так, как читателя другого класса. Качество «заразы», получаемой пролетариатом от буржуазного искусства, будет иным.

Разве это не верно? Так пусть Л. Авербах нам это докажет. Он хочет по привычке отделаться бранным словом? Но брань никогда не была аргументом. К тому же пристрастие к бранному слову, да еще в научном споре — не несчастье, а позор.

Впрочем, может быть, то, что сказано выше, недостаточно убедительно? Продлим на этом вопросе наше внимание.

8

Л. Авербах не знает предмета, о котором спорит. Он не догадывается, что без серьезнейшего изучения проблемы читательского восприятия немислимо правильное и научное понимание художественных явлений. Существует не только научная литература,

специально посвященная изучению читателя, но даже специальные научные учреждения международного масштаба. Известна даже попытка создать особую научную дисциплину, центральной задачей которой является познание читателя и его восприятий. Я говорю о Н. А. Рубакине и библиологической психологии. Могу добавить, что в текущем как раз году Государственным издательством выпущена книга этого автора «Психология читателя и книги», «краткое введение в библиологическую психологию», которая может сослужить хорошую службу в деле постановки проблемы читателя. Правда, несмотря на обилие знаний в этой специальной области (Н. А. Рубакин работает в ней около 40 лет), несмотря на ценность отдельных его замечаний, несмотря на его несравненный личный библиотечный опыт,—автор этой книги плохой руководитель в деле построения этой науки. Он—прежде всего—эклектик. Он опирается и на Гумбольда-Потемню, и на Огюста Конта, и на Тэна, и на Сомона, и на Эннекена, пытается пользоваться и марксистской терминологией. Но он не марксист. Он релятивист. Его теория чужда мизизму, она плюралистична. Методология Н. А. Рубакина—наивно-социологическая. Но в его книге собран ценнейший материал, с которым обязан познакомиться всякий, кто хочет разобраться в важном вопросе психологии читателя. Эта книга неведома нашему «филозоффу» культурной революции, незабвенному Л. Авербаху. Иначе он серьезней отнесся бы и к теории иммунитета. На его «литературном посту», он полагает, все благополучно, и никакими книжками ему интересоваться не след. Он как будто стоит на такой точке зрения: книги надо не читать, а писать! Но это ошибочная точка зрения. Чтобы хорошо писать хорошие книги, надо хорошо читать хорошие книги.

9

Соображения, высказанные выше, бесспорны, ибо вытекают из основных положений марксизма. Я предлагаю

Авербаху, или кому угодно, доказать:

1) что классовая психология читателя не оказывает влияния на читательское восприятие;

2) что, следовательно, произведения искусства воспринимаются читателями разных классов одинаково;

3) что, следовательно, художник заражает читателя чужого класса теми именно эмоциями и в том именно направлении, в каком он хочет;

4) что для правильного понимания роли и влияния искусства нет необходимости изучать классовые свойства воспринимающей среды;

5) что, следовательно, «заразительные» свойства искусства зависят только от классового происхождения писателя;

6) что, следовательно, классовая психология читателя является ничтожной величиной, сбрасываемой с весов;

7) что, следовательно, читатель является пассивным воспринимателем произведений искусства.

Пусть найдется марксист, который попытается доказать эти положения,—я посмеюсь над ним. Да приглашу еще посмеяться Л. Авербаха. Ибо такая попытка будет противоречить марксизму. Ибо тезисы, защищаемые мною, являются неоспоримыми основами марксистской теории читательского восприятия, теории, к сожалению, еще не разработанной, но уже намечающейся. Вы хотите спорить об этих основах? Вам они представляются не убедительными? Давайте, поспорим. Но если вместо моих тезисов противники будут мне подсовывать «белиберду» с фабричной маркой «М. Лузгин, Л. Авербах и К-о»,—позвольте раскланяться с нами спорщиками. Покуда они не научатся уважительно относиться к слову—до той поры никакого проку из нашего спора не выйдет. А пора бы и им научиться относиться к слову честно. И Лузгин и Авербах вышли уже из детского возраста.

10

В настоящих «заметках» я не намереваюсь, разумеется, подробно рассматривать проблему читателя. Это я сделаю в другое время. Теперь же отмечу лишь, что без научного изучения этой проблемы не может быть правильно понята общественная роль искусства, а, следовательно, не может быть научно обоснована правильная литературная политика. Искусство живет не в безвоздушном пространстве, а в конкретной социальной среде. Искусство живет не само по себе, а именно в читательском сознании, в восприятии зрителя, слушателя. Когда книга стоит на полке или лежит на складе, она не производит никакой работы. Энергия ее потенциальна. Она начинает жить, превращается в работающее орудие культуры лишь с того момента, как попадает в руки читателя, когда между читателем и книгой возникает взаимодействие. Полезный эффект работы этого орудия будет различен в зависимости от того, с какой социальной средой оно будет иметь дело: будет ли то среда упавшей буржуазной интеллигенции или здоровая среда интеллигенции восходящего класса, среда мало квалифицированного крестьянского читателя или передовая рабочая среда, даже отдельные культурные прослойки рабочей или крестьянской среды. Характер эстетического воздействия меняется даже в зависимости от того, какой именно пролетарий перед нами: потомственный, выросший на заводе, с большим производственным стажем, член коммунистической партии, или рабочий, вчера пришедший на завод из деревни, поддерживающий крестьянское хозяйство; сельский ли пролетарий, бедняк или середняк; кулак или сезонный рабочий и т. п. Все это — разные читатели, с разной психологией, с разными характерами, с разными вкусами, требованиями, с разным, поэтому, пониманием одного и того же произведения искусства. Все многообразие читательских интересов и вкусов (о чем много верно сказал Л. Шюккинг в своей книге «Социология литературного вкуса») вырастает

на классовой основе (что осталось за пределами понимания Шюккинга). Незнание законов, управляющих формированием читательского восприятия обрекает нас на непонимание процессов, происходящих в читательской среде и в конце концов на неправильное понимание воздействий, оказываемых произведениями искусства. Здесь Н. А. Рубакин прав. Но он не прав, когда, поддаваясь давлению многообразных противоречий, приходит к такому утверждению:

«Мы знаем не книги и не чужие речи, и не их содержание, — мы знаем наши собственные проекции их, и только те содержания, какие мы в них сами вкладываем, а не то, какое вложил автор или оратор... Сколько у книги читателей, столько у нее и содержаний». Н. А. Рубакин, сверх различий, не исследовал сходства восприятий. При наличии индивидуальных отличий, сходство это тем не менее объединяет читателей в большие группы, соответствующие социально-экономическим классам. Он увлекся своей теорией «мнемы», изучающей индивидуального читателя. Это обстоятельство помешало ему найти в многообразии индивидуальных мнем, кроме индивидуальных различий, такие общие черты, которые дают возможность говорить о классовой «мнеме», интегрирующей множество читательских дифференциалов. Известная мысль Гумбольта о том, что всякое взаимное понимание есть непонимание, всякое взаимное согласие есть разногласие, позднее воспринятая А. Потебней, понимается Н. А. Рубакиным индивидуалистически, узко и буквально. При таком буквальном понимании этой действительно глубокой мысли уничтожается основная функция языка, — коммуникативная функция. Уничтожая эту функцию, Н. Рубакин уничтожает и самую литературу, которая не существует вне этой функции.

11

Подлинное бытие произведений искусства — в читательском сознании, во взаимодействии читателя и книги, зрителя и зрелища. Марксистское по-

нимание искусства настаивает на коллективной природе искусства не только потому, что слово, краска, звук, форма, идея являются плодом коллективного опыта; тогда-то индивид и силен, когда умеет собирать, умножать и пускать в оборот этот опыт. Коллективный характер искусства обнаруживается еще и в том, что «творческий» процесс, «творчество» не заканчивается с написанием картины, книги, оперы. Оно вступает в новый фазис своего именно момента, когда между произведением искусства и читателем, зрителем начинается взаимодействие. Чтение художественной книги, созерцание картины или спектакля, слушание музыкального произведения есть творчество. Не только на сцене, но также в зрительном зале происходит настоящий творческий процесс. Не в писателе, успевшем позабыть волнение, с каким писалась книга, но в читателе, погруженном в ее чтение, живут творческие зомбии. Подобно тому, как зритель по-своему понимает происходящее на сцене, читатель по-своему наполняет живым содержанием те образы и фигуры, которые закреплены типографскими знаками. Характер и смысл этого наполнения, глубина идей, качество эмоций — все это будет характеризовать не только писателя, но и читателя. Читателей разных общественных классов, разных прослоек одного класса, разных частей одной прослойки будет отличать разное понимание, то в существенном, основном, то в несущественных частностях, раскрываемых в произведениях искусства. Противоречит это марксизму или не противоречит?

Пусть на это ответит Л. Авербах.

12

Исказив мои высказывания, он хочет подsunуть мне утверждение, будто пролетариат вообще «застрахован» от влияния буржуазного искусства. Я утверждал лишь и продолжаю утверждать, что действие буржуазного искусства на пролетариат не тожде-

ственно с тем действием, какое оно оказывает на буржуазию. При этом я говорю об «искусстве», о таком виде деятельности, которое отличается «образностью», т. е. специфическими чертами, действующими на сознание не непосредственно, но сквозь чувственную, эмоциональную сферу человека. Поэтому недопустимым, поистине гомерическим по своей отваге является вывод, который пытается проташить Авербах: «Политический либерализм, свобода печати закономерно вытекает из теории Полонского — ведь заразить пролетариат враждебные нам органы печати не могут, ведь он обладает классовым иммунитетом по отношению к буржуазной идеологии».

Читатель, я полагаю, самостоятельно вскрыл позорную необычность махинаций Л. Авербаха. У меня речь идет о художественном творчестве, — я говорю об «образах», — Л. Авербах подменяет эти специфические явления «органами печати» вообще, «свободой печати», идеологией вообще. Но искусство тем-то и отличается от идеологии вообще, что в нем «идеология» подается с помощью «образов». А эта подача настолько качественно отлична от «идеологии», поданной без «образов», и столь бесспорно это качественное отличие, что игнорирование его обнаруживает лишь в Авербахе из ряда вон выходящую неразборчивость в средствах.

13

Авербах приводит мнение Ленина о буржуазном влиянии на пролетарское сознание. Ленин говорил даже «об опасности культурного перерождения». Действительно, Ленин это говорил. Но разве Ленин говорил об опасности «культурного перерождения» пролетариата под влиянием художественной литературы? Опять наш «философ» культурной революции с руками и ногами забрался не туда, куда хотел. Одно из двух: или Л. Авербах искренне не знает того, что писал Ленин об искусстве и культуре, или он обладает несчастной способностью в полемическом пылу терять голову. А по-

лемизировать без головы — занятие рискованное.

Вспомним, что писал Ленин об искусстве вообще, о классическом искусстве, об искусстве буржуазии. Отрицал он его? Нет, не отрицал. Что писал Ленин о Льве Толстом? Статьи эти у всех на памяти. Достаточно о них вспомнить, чтобы пожать плечами при виде Л. Авербаха, старающегося подменить вопрос о влиянии искусства на пролетарского читателя вопросом об опасностях культурного перерождения. Ленин полагал, что нужен социалистический переворот, чтобы сделать доступными трудящимся художественные произведения Толстого. Полагал ли Ленин, что эти художественные произведения «заразят» пролетариат вредными для него идеями и будут способствовать «культурному перерождению»? Если бы он думал так, он не советовал бы пролетариату «взять» лучшее из наследия Толстого. А что он считал лучшим? Художественные произведения, т. е. те, в которых Толстой работал с помощью «образов». Эти произведения Ленин отличал от религиозно-философских писаний его и тех рассказов, в которых Толстой-художник был подавлен Толстым-мыслителем. Почему это происходило? Да именно потому, что образное творчество, искусство Толстого совсем по-иному действует на читателя, чем его проповеди, потому что в творчестве Толстого, барина и помещика, имелись элементы, коренившиеся в образной природе искусства, которые, вопреки барскому и помещичьему происхождению Толстого, могли быть полезны пролетариату.

14

Л. Авербах, бросающий слова, не вникая в их смысл, определяет мое понимание читательской проблемы как крайнее проявление механистического понимания. Но ведь это именно слова, сказанные человеком, который, подобно Нуме Руместану, привык говорить, не думая. Именно в подчеркивании сложности читательского восприятия, в указании на классовую почву, выражающую многообразие противоречий, на классовую борьбу, в атмосфере

которой вырастает своеобразие читательской психики,—именно в подчеркивании этих обстоятельств обнаруживается не механистический, а диалектический подход к изучаемому явлению. Л. Авербах, очевидно, боится прослыть механистом. Это хорошо. Плохо лишь то, что он, желая «застраховать» себя от обвинений, направо и налево бросает упреки в механистическом уклоне. Авербах полагает, что это лучший способ «иммунизировать» себя от опасности. Но таково именно «механистическое» применение теории «иммунитета».

15

Когда я писал в своих «Очерках литературного движения» о том, что подлинными революционеры, соприкасаясь с подлинным искусством,—не революционным, не пролетарским, а буржуазным, и даже феодальным,—испытывали действие, к какому, казалось бы, это искусство не стремилось, а именно: «буржуазное искусство организовывало их психику именно в сторону целей и задач пролетариата»¹⁾, то ведь этим указанием я подчеркивал, что такая организация происходила вопреки классовому характеру буржуазного искусства. Но по каким причинам? Где они заложены? Они были заложены и в образной природе искусства и в психологии революционеров. Именно в революционности этой психологии коренились причины того факта, что из художественных произведений, не помышлявших о революции,—больше того, направленных иногда против революции,—делались революционные выводы.

Это и давало мне основание писать в «Очерках»: «Получается картина, обратная той, какую рисовал нам А. А. Богданов. Ясно почему: он забывал о воспринимающей среде. Он знал, что в искусстве можно наблюдать отражения классовой психологии. Но забывал, что среда, воспринимающая это искусство, также ведь является классовой средой, и восприятие ее, сле-

¹⁾ См. «Очерки литературного движения революционной эпохи». Гос. издат. Изд. второе, 1929, стр. 79—80.

довательно, может играть свою критическую роль. Богдановская эстетика, с точки зрения марксизма, плоха недостатком классового характера воспринимающей среды: это обстоятельство просто не замечено А. А. Богдановым, как не замечено и его невольными продолжателями—напостовцами. А ведь с точки зрения материалистической эстетики, которая строится на базисе «бытие определяет сознание», важно не только то, что хочет дать деятель искусства, но еще и то, что берет из искусства созерцатель. Не только в творчестве отражается классовая психология, но и в созерцании художественных произведений. Оттого-то выводы, которые делал Ленин при созерцании произведений искусства, были революционными. А выводы, которые сделал бы при созерцании тех же произведений какой-нибудь буржуазный сноб, были бы противоположными. В одно и то же понятие «красоты» буржуазный сноб и пролетарский революционер вложат разный смысл. Представители разных классов одни и те же произведения искусства воспринимают по-разному. Разные классы—разные вкусы. А разные вкусы—значит и разные реакции на одни и те же формы. **Другими словами: в социологическом изучении искусства значение получает на ряду с изучаемым произведением еще и воспринимающая среда.** Иначе ведь тезис о «бытии», которое определяет сознание, рушится. А он неизменно рушится, когда, говоря о классовом искусстве, забывают классовость среды, на которую искусство действует¹⁾.

16

Понятно, что здесь написано? Противоречит это марксизму? Нет, не противоречит. Понял ли Л. Авербах, что здесь написано? Не понял, иначе он не обозвал бы «белибердой» эти ясные мысли, вытекающие из марксистского понимания влияния художественного творчества на читателя. Но обозвать «белибердой» совершенно ясные и неоспоримые с точки зрения

марксизма мысли—это значит проявить свойство, которое может надолго, если не навсегда, скомпрометировать автора, берущего на себя смелость разрабатывать вопросы «культурной революции».

О. Брик в недавнем опоре о «социальном заказе» обозвал «пустозвонной беллетристикой» одно бесспорное положение Плеханова, умышленно употребленное мною без «кавычек». «Белиберда» недалеко уехала от «пустозвонной беллетристики». Авербах вполне угодил себя О. Брику. Несмотря на вражду, существующую ныне между Лефами (Рефами тож) и налитпостовцами, Авербах похож на Брика, как один сапог похож на другой сапог. Про них можно сказать с полным основанием: «два сапога—пара».

17

В свете такого непонимания предмета, о котором Авербах спорит, особенно забавны претенциозно-чванливые заявления нашего автора:

«А между тем мы (МЫ!—т. е., очевидно, они,—Л. Авербах, М. Лузгин и В. Ермилов) переделываем сознание не только мелкобуржуазных элементов, но и самого пролетариата». (Курсив мой.—Вяч. П.). Они—Авербах, Лузгин и Ермилов—переделывают сознание пролетариата! Бедный пролетариат! Дожил! Доехал! Дальше—некуда.

Мотив о «перевоспитании масс самих пролетариев» язвительно звучит в статье Л. Авербаха. Он даже посрамляет меня тем, что я-де преувеличиваю классовую сознательность пролетариата. «Вопреки теориям Полонского, в их (т. е. в пролетарском) сознании много буржуазного или мелкобуржуазного, много индивидуалистически-собственнического, много еще и от добуржуазной культуры». Наш пролетариат одержим мелкобуржуазной психологией, а вот они, Авербах со товарищи, стоцентные пролетарии, выдержанные, как старое вино, лишены мелкобуржуазных черт. Именно потому «они»—патентованные пролетарии из журнала «На Лит. Посту»—берут на себя обязанность «перевоспитывать» «массы самих пролетариев». Мы, в полном

¹⁾ Там же, стр. 80.

согласии с Лениным, полагали, что пролетариат при всем том, что он не однороден, что в нем есть мелкобуржуазные прослойки, что отдельные его слои не застрахованы от буржуазных тенденций, что есть в пролетариате отсталые и несознательные группки,—мы полагали, что рабочий класс, как самый прогрессивный и революционный класс, да еще совершивший величайший из переворотов, является как раз «местилцем» классового, пролетарского, революционного сознания. Что если кому у кого учиться, то именно молодым интеллигентам, выходцам из мелкобуржуазной среды, на губах которых, можно оказать, еще буржуазное молоко не обсохло,—именно этим интеллигентам, несмотря на их гимназические преимущества, есть чему поучиться у пролетариата. Но приходят «они» — великолепные сто процентные «напосты» — и заявляют, что они еще займутся перевоспитанием этих самых «пролетарских масс». Ну, что ж! Будем спать спокойно. Ен, Авербах, позаботится. Ен—перевоспитает, ён—вытравит из пролетариата мелкобуржуазные замашки!

Выражаясь фигурально, перед нами тот редкий случай, когда яйцо берется «перевоспитать» курицу. Само по себе это не плохо. Плохо лишь то, что яйцо—болтун.

18

Написав приведенные выше строки о нуждающихся в «перевоспитании» массах пролетариев, Л. Авербах тут же рядышком пишет о «классе-революционере, классе—строителе нового», который в своем диалектическом ходе вперед «не теряет и не оставляет позади себя ничего из человеческого опыта познания и изменения мира». Но почему он это делает, (будучи отсталым и нуждаясь даже в «перевоспитании»? О, единственно на том основании, что у него имеются няньки, в роде доблестного Л. Авербаха. Концепция Авербаха в том и заключается, что Авербахи «перевоспитают» массы пролетариев, освободят их от мелкобуржуазных, индвидуалистически-собственнических понятий и т. д. Они, эти самоновейшие «критически мыслящие личности» из

«Парка культуры и отдыха», помогут пролетариату подняться на высшую ступень классового самосознания! И уже тогда, с их помощью, пролетариат сумеет разобратся во всех сложных и тонких вещах.

Размазывая такую интеллигентскую, чванливую, мелкобуржуазную ахинею, наш теоретик «культурной революции» не хочет понять, что, несмотря на сложность своего состава и на отсталость отдельных своих слоев, и на мелкобуржуазные настроения отдельных частей своих,—пролетариат именно в силу своего положения в современной системе производства, именно в силу того, что он принужден вести классовую борьбу, — в **процессе этой классовой борьбы перевоспитывает сам себя**, а вместе с собой и тех мелкобуржуазных интеллигентов, которые, примостившись где-нибудь «на литературном посту», принимают кокетливо-горделивые позы «перевоспитателей» пролетарских масс, не сознавая горестного комизма своей учительской позы.

19

Проблема читателя, повторяем,—важнейшая проблема, стоящая перед нами. Написанные выше строки ни в малой степени не претендуют на то, чтобы осветить ее. Мы лишь упомянули ее имя. Разработка проблемы—впереди. Спросим себя: делается ли что-нибудь для ее разработки? Как-будто — ничего. Стыдно сказать: в нашем государстве, где впервые в мировой истории массы выступают не только как потребители продуктов искусства, но как активные участники творческого процесса, в нашем государстве ничего или почти ничего не сделано для изучения психологии этих масс. Не создано научного учреждения, которое имело бы своей специальной задачей это изучение. Я не знаю ни одной анкеты, кроме случайно разработанных, проведенных некоторыми библиотеками или отдельными инициаторами, которая была бы произведена с полным знанием дела, на основе научно разработанных приемов. Все это требует специальных средств и специальных работников,—но этих-то средств нет, и занимаемся

мы этим делом случайно, на случайном материале, по случайным поводам. Пора бы взять инициативу в этом деле хотя бы нашему Госиздату — единственному в мире по мощности издательству. Кому же заняться им, как не Гизу, вся деятельность которого будет идти вслепую, если он не будет знать точно, с какими читательскими массами имеет дело, на кого он работает, каковы потребности этих масс, их интересы, как реагируют они на литературу, какую сейчас Гиз производит.

20

Проблема читателя является одновременно теоретической, затрагивающей важнейшие вопросы искусствоведения, и глубочайше практической. Ей марксизм уделял мало внимания в прошлом, — он должен вплотную заняться ею в наше время. Но, не уделяв специального внимания этой проблеме, марксистская литература имеет, тем не менее, отдельные высказывания, которые помогут в проблеме разобраться. Меринг в своей блестящей книге «Мировая литература и пролетариат» бросает мимоходом превосходное замечание, подтверждающее наши соображения. «Пролетариат, — говорит он, — не может и никогда не будет восторгаться искусством, которое находится в резком противоречии со всем его мышлением и чувствами, со всем тем, что для него ценнее всего в жизни»¹). Раскройте смысл этого утверждения, сделайте из него логические выводы, — вы придете к той теории, которую Л. Авербах обозвал «белибердой» и которую я назову теорией «классового читательского восприятия».

Те же выводы можно извлечь из следующего замечания Ленина, брошенного вскользь в «Что делать». Говоря о выработке идеологии, В. И. Ленин замечает: рабочие участвуют в выработке идеологии «не в качестве рабочих, а в качестве теоретиков социализма, в качестве Прудонов и Вейтлингов, участвуют, другими словами, лишь тогда и постольку, поскольку им в боль-

шей или меньшей степени удается овладевать знанием своего века и выдвигать вперед это знание. А чтобы рабочим чаще удавалось это, для этого необходимо как можно больше заботиться о повышении уровня сознательности рабочих вообще, для этого необходимо, чтобы рабочие не замыкались в искусственно суженные рамки «литературы для рабочих», а учились бы овладевать все больше и больше общей литературой. Вернее даже было бы сказать вместо «замыкались» — были замыкаемы, потому что рабочие — сами читают и хотят читать все, что пишут и для интеллигенции, и только некоторые (плохие) интеллигенты думают, что «для рабочих» достаточно рассказать о фабричных порядках и пережевывать давно известные»¹).

Ленин, мы полагаем, не хуже Л. Авербах знал разношерстность состава пролетариата, мелкобуржуазные, индивидуалистические и другие настроения отдельных его слоев. Тем не менее Ленин не трепетал за пролетариат так, как трепещет наш «филозоф» культурной революции. Ленин допускал не только возможность, но и необходимость для пролетариата «учиться овладевать» все больше и больше общей литературой, можно думать не только художественной, которая вообще менее «опасна» для читателя, но даже политико-экономической. Почему же он допускает это? А вдруг «заразится» пролетариат! А вдруг «переродится»? Ведь «пролетариат» — это не Авербахи, которые, уже в силу того, что они обучались в гимназии, насквозь застрахованы от мелкобуржуазных влияний, которые, так сказать, по природе своей являются учителями, указчиками и «перевоспитателями» пролетариата. Ленин знал, что в сознании пролетариата, воспитываемом классовой борьбой, вырастающим в классовой борьбе, несмотря на отсталость, мелкобуржуазность и пр., есть элементы, которые помогут ему, разумеется, при рационально поставленной революционной классовой политике и не «переродиться» и не «зара-

¹) Собр. соч., т. V, стр. 148—149. Курсив Ленина.

¹) Гос. издат., 1925, стр. 20.

зиться», и вообще не пойти на «выучку» к «шлохим интеллигентам», которые, вместо того, чтобы скромненько и тихонько учиться у пролетариата, имеют дерзость лезть к нему с претензиями на учительство.

Много мыслей, подтверждающих «теорию классового восприятия», можно найти у Плеханова. Так, в статье о Н. И. Наумове (Соч., т. X, стр. 117), говоря о том, как понимала его сочинения тогдашняя интеллигенция, Плеханов замечает:

«Если бы увлекавшаяся сочинениями Наумова передовая народническая интеллигенция семидесятых годов когда-нибудь ясно представила себе те практические цели, которые он преследовал своими сочинениями, то она взглянула бы на него, как на человека крайне отсталого. Но она не доискивалась этих целей вовсе и не интересовалась ими. У нее была своя, твердо поставленная цель. Ей казалось, что сочинения Наумова являются новым и сильным доводом в пользу этой цели, и потому она зачитывалась ими, не справляясь ни об их художественном достоинстве, ни о практической «программе» их автора».

Анализ этого замечания приведет нас к показанным выше выводам. В статье «Судьбы русской критики», говоря об объективной картине нравов, царивших в аристократии и знаменовавших унижение третьего «состояния, какую мог бы нарисовать объективный критик, Плеханов пишет:

«Представьте себе... что это объективное «сказанье» критики читается человеком, принадлежащим к буржуазии. Если этот человек не совершенно беззаботен насчет исторических судеб своего класса, то он, наверное, почувствует в своей душе неприязнь к тому порядку вещей, при котором дворянство и духовенство могли культивировать «тонкое обращение», сидя на спине tiers-etat» (стр. 192).

И здесь мы видим указание на то, что читатель привносит в понимание даже «объективных» картин черты своего классового восприятия. Ту же самую мысль высказал Плеханов в статье «Н. А. Некрасов», когда приводил

отрицательные с эстетической точки зрения оценки поэзии Некрасова. Молодые разночинцы любили Некрасова. У Некрасова было много стихотворений, удачно выражавших их чувства. «Вот почему молодые разночинцы просто-напросто не поняли бы человека, который вздумал бы доказать им, что Некрасов не поэт! «Предоставьте нам судить об этом» — сказали бы они такому человеку и были бы совершенно правы» (курсив Плеханова, т. X, стр. 389).

22

«Теорию классового читательского восприятия» я развивал в своем ответе Г. Лелевичу в четвертой книге журнала «Печать и Революция» за 1925 год. До того я сделал это на одном из диспутов в клубе имени т. Сталина. Там один из оппонентов, — насколько мне помнится, это был чуть ли не тот же Л. Авербах, — бросил мне замечание: «Значит—свобода печати?». В нынешней статье своей Л. Авербах повторяет этот довод. Мне остается перепечатать здесь лишь то, что было мною напечатано в 1925 году в указанном выше ответе Лелевичу:

«Вздор! Нисколько не значит. Даже с помощью насилия нельзя из приведенных соображений сделать тот вывод, что в виду классовых особенностей пролетарского духовного зрения можно лечь спать: «ён» сам «досмотрит». Никакая-де нам литература не страшна, «шапками закидаем!» Такое толкование моих слов было бы новой вариацией на тему о комчванстве или пролетчванстве. «В огне, дескать, не сгорим. В воде не потонем».

«Прежде всего, нельзя забывать, что когда мы ведем разговоры о политике партии в искусстве, о том или ином воздействии искусства на сознание читателя, то имеем в виду не только пролетариат, но и огромные массы непролетарского читателя. Это — во-первых. А во-вторых, говоря о пролетариате, нельзя рассматривать его, как однородное целое. В рабочем классе есть передовые, сознательные слои и есть слои отсталые,

молодые, не прошедшие хорошей выучки, не достигшие большой высоты классового самосознания, которое иммунизирует передового рабочего читателя от идеологической «заразы». Говоря же о таком «иммунизированном» пролетарском читателе, я имел в виду передовой слой пролетариата, его авангард, т. е. тот именно слой, который является уже в наши дни главным потребителем художественной литературы. Существование такого читателя нисколько не устраняет возможности дурного влияния литературы на слой пролетариата, более отсталые. Следовательно, засунув руки в брюки, наблюдать, как контрреволюционные «организаторы» чувств и мыслей будут делать свое контрреволюционное дело, мы не можем ни в каком случае. Следовательно... следовательно, жестокая борьба с контрреволюционной художественной литературой. Здесь никаких споров нет. Разногласия возникают там, где устанавливается водораздел между литературой, с которой надо бороться оружием революционной цензуры, и литературой, с которой надо бороться оружием революционной критики. Эти два вида революционного оружия различны по своим методам, по глубине захвата, по характеру деятельности. И смешивать их не следует. Во всех рассуждениях моих революционная цензура предполагается выполняющей свое революционное дело. Если она делает его плохо, ее надо подтянуть, поднять на такую высоту, чтобы функции свои она выполняла безукоризненно. Это не значит, конечно, что литература, прошедшая «огонь и воду» цензуры, может почитаться литературой равноценной во всех своих частях с точки зрения интересов революции и пролетариата. Это значит только, что по эту сторону водораздела в права свои вступает революционно-марксистская критика. И поскольку литература, прошедшая сквозь цензуру, делается достоянием этого орудия, постольку отпадает вопрос о «свободе печати». По

сю сторону водораздела литература, конечно, свободна. Это ведь и есть та свобода печати, которую допускает пролетарская диктатура»¹⁾.

Вот что писал я в 1925 году в ответ на «довод», ныне повторяемый Л. Авербахом.

Имеются ли достаточные основания для такого довода?

Нет, конечно.

23

Л. Авербах обошел существо вопроса. «Слона»-то он и не заметил. Но, не заметив «слона», Л. Авербах вместе с тем прошел мимо тех моих действительно неудачных формулировок, которые могли бы дать ему повод для язвительных возражений. Я сам укажу эти мои неудачи. Я допустил, например, такое приводящее к ложным выводам утверждение: «Буржуазная печать опасна не для пролетариата, не для его сознательных слоев (а наш пролетариат в подавляющем большинстве своем обладает высоким классовым сознанием: организовать пролетариат против его собственных классовых интересов буржуазная печать даже под маской меньшевизма и эсеровщины бессильна)». Формулировка эта неправильна. Мысль, которую я имел в виду здесь, мною же самим искривлена. Речь у меня, как было указано выше, шла о передовом слое пролетариата, его организованном авангарде. Это, однако, осталось не подчеркнутым, неясным. Потому-то иной читатель, если забудет все, что было сказано выше, сделает вывод о бессилии буржуазной печати вообще — даже под маской «меньшевизма и эсеровщины». Но такой вывод будет и неверным и опасным. Опасность буржуазной печати заключается не только в том, что она может «явиться средством, организуемым... буржуазные и мелкобуржуазные слои населения против пролетарской диктатуры и революции». Печать эта может оказать разлагающее влияние и на некоторые отсталые, менее сознательные слои самого пролетариата, не только на отдельных его представителей.

¹⁾ «На литературные темы». Изд. «Круг», стр. 108.

24

Вернемся, однако, к художественной литературе и к «теории иммунитета». Чтобы еще раз в заключение показать, как далеко отстоит от моей «теории» это изобретение Л. Авербаха, приведу цитату все из той же моей статьи 1925 года:

«...Нет, разумеется, сомнений в том, что выходящая из печати художественная литература со стороны качественной весьма различна. Ее разнообразность соответствует разнообразности составляющих наше общество классовых образований. Все явно вредное, явно контрреволюционное осталось (должно остаться) в Кавдинских ущельях Главлита. Правда, могут мне возразить, литература не «явно» вредная еще опасней. Но что сделать для того,

чтобы тайный вред литературы сделался «явным»? Его надо разоблачить, раскрыть, нейтрализовать. Кто может делать это дело? Критика, конечно. Никогда, быть может, критика не приобретала такого большого значения, как теперь. Она не должна при этом остаться изолированной от читательской массы. Напротив: сама масса должна быть вовлечена в критическую работу. Пробуждение критического сознания масс должно быть лозунгом нашей литературной борьбы¹⁾.

25

Похожа ли «теория», намеченная выше, на тот вздор, который приписал мне Л. Авербах дважды: в «Комсомольской Правде» и на страницах «Красной Нови»?

Пусть судит читатель.

2. КРИТИКА „КРИТИКОВ“

А. Лежнев

Статья третья¹⁾.

Мастерская штампов

...он, в ответ на теоретические доводы, становился в позу оратора и выкрикивал, совсем не на тему, звонкие фразы... «Ну, это уже пошел вигг» — выражались наши делегаты в таком случае. И «визг» не ловел А. до добра.

Ленин. Т. XIX, стр. 235.

И еще долго определено мне чудной властью итти об руку с моими странными героями.

Гоголь.

Блестяще показав ничтожество чиновного мира на майоре Поприщине, Гоголь загрузил рассказ излишними фантастическими похождениями носа и ввел в рассказ цирюльника, чтоб внешне свести все к «анекдоту».

Зонин. «Трагедия Гоголя».

1

Он примчался из Саратова. Он, нагруженный 25 авторскими экземплярами брошюры «Толстой и толстовщина

в свете марксистской критики». Он размахивал ими с таким внушительным видом, как будто эта маленькая, полуконспиративная брошюра должна была произвести переворот в науке. И пыльное предисловие к ней кончалось так: «Текст брошюры был мною зачитан, в виде доклада, на одной из очередных (20 апреля с. г.) пятниц саратовского общества воинствующих материалистов, и основные положения докладчика как будто не встретили в прениях серьезных принципиальных возражений. В заключение считаю себя обязанным выразить товарищескую признательность т.т. К. И. Панкову и Д. Шафранскому, которые читали мою рукопись и часть указаний которых я использовал при окончательной обработке текста, а также работникам и рабочим типографии № 2 Сарполиграфпрома (т.т. Серову, Лебедеву, Мартынову, Егорову и др.), которые немало стараний положили на то, чтобы при

¹⁾ Статья печатается в сокращенном виде. Полностью будет помещена в книге статей автора «На повороте».

¹⁾ Там же, стр. 110.

дать брошюре более или менее сносное полиграфическое оформление». Действительно, какое литературное событие! Какой научный труд! Человечеству страшно интересно знать, какого именно числа была съедена сия дыня, то бишь прочитан доклад Гельфанда (ибо таково имя нашего героя), и как зовут наборщиков, набравших его замечательное творение, умрет человечество от любопытства, если не сжалится над ним Гельфанд!

С подобной пышностью открывают дом культуры или новое здание телеграфа. Там это имеет оправдание. У Гельфанда оправдания нет. За великолепным порталом предисловия скрывается более чем скромная постройка (или пристройка?) самой статьи. Для того, чтобы доказать свою самостоятельность, Гельфанд вступает в ожесточенный бой с Плехановым. Ура! Он торжествует. Он поймал Плеханова на противоречии! Он самому Плеханову ущемил хвост!

Но он радуется преждевременно. Противоречие кажущееся. Плеханов уйдет из гельфандовского капкана, даже не заметив, что «попал» в него. Вот как этот капкан устроен.

Гельфанд недоумен плехановским утверждением: «Я считаю его (Толстого) гениальным художником и крайне слабым мыслителем». Во-первых, спрашивается, как смог «слабый мыслитель стать «властителем дум» сотен тысяч, если не миллионов людей»? Во-вторых, сам Плеханов согласен с тем, что «в ранних произведениях Толстого встречаются зародыши тех мыслей, из которых составилось впоследствии его нравственно-религиозное учение». В-третьих, Плеханов утверждал, что искусство выражало не только чувства, но и мысли людей. Таким образом, капкан готов: «Логически примирить все эти утверждения можно лишь зачеркнув одно из них: либо нужно отказаться от «квалификации» Толстого, как гениального художника, ибо, оставаясь на точке зрения Плеханова на искусство, нельзя представить себе, чтобы слабая, ничтожная мысль могла дать содержание гениальному художественному образу, либо отказаться от оценки Толстого, как «сла-

бого мыслителя». Капкан захлопнулся. Бедный Плеханов!

Не станем его оплакивать. Он за себя еще постоит. Почему так невероятно предположить, что слабый мыслитель может приобрести власть над умами современников? Разве история не знает подобных примеров? Разве не был «властителем дум» русской интеллигенции эклектик Лавров? Разве Бюхнер и Моллешотт, представители вулгарного, ограниченного материализма, которых пренебрежительно ретировал Маркс, не являлись учителями Писаревых и Базаровых? А влияние Бернштейна? А Бентам? Дело не всегда в силе мыслителя, а в его соответствии среде и времени. Это можно наблюдать и в других областях, например, в искусстве. Оперетты Легара были гораздо популярнее, чем симфонии Бетховена. В «18 брюмера» Маркс показывает, как диалектика истории вынесла на авансцену Наполеона III, который был всего лишь ничтожеством.

Дальше, Плеханов говорит только о зародышах религиозно-нравственных идей Толстого в его ранних произведениях. Зародыши идей еще не идеи. Но предположим даже, что этой оговорки у Плеханова бы не было и его утверждение звучало бы так, что в художественных вещах Толстого встречаются религиозно-нравственные идеи, составившие впоследствии у Толстого-старика законченную систему. Что бы это доказывало? Отнюдь не то, что требуется Гельфанду. Гельфанд явно, на глазах у читателя, передергивает. Плеханов говорит, что у Толстого-художника встречаются отдельные мысли (и даже не мысли, а «зародыши» мыслей), характерные для его моральной проповеди последнего периода. Гельфанд подсовывает Плеханову утверждение, будто эти мысли и есть то, что положено в основу толстовского художественного творчества—и потом ловит его на противоречии, им же, Гельфандом, выдуманном. Но в мнимый капкан, в капкан нарисованный, реальный зверь не попадает. Между «зародышем мысли» и стержневой идеей художественного творчества огромное расстояние и перепрыгнуть его можно только на бумаге.

2

Брошюрка о Толстом остается пока-
что единственным «трудом» нашего ли-
тературоведа и критика. Самые тща-
тельные поиски сумели обнаружить
всего только две статьи, которые
имеют, хотя бы формально, своим пред-
метом анализ литературного материа-
ла: о Всев. Иванове и о Шолохове. Все
остальное—бойкие и визгливые, но со-
вершенно голословные и бездоказ-
ательные рецензии, обзоры и разносы
(разносы в особенности!), в коих автор,
одержимый административным востор-
гом, усиленно старается брать такие
высокие нотки, каких до него еще
никто не брал, топает ногами, угро-
жает и всячески выходит из себя.

Гельфанд не был бы Гельфандом,
если бы не начал своего более чем
скромного литературного «экскурса»—
об Иванове—пышным и широкопеча-
тельным вступлением: «Возможна ли
действительная борьба с правой опас-
ностью в литературе, когда конкрет-
ный анализ правой эволюции такого
писателя, как Всев. Иванов, строится
на жонглировании «категориями» пси-
хиатрической клиники, вместо научно-
го применения категорий классового
бытия!».

Полемические стрелы здесь напра-
влены против Гроссмана-Роцина. Вы
естественно ожидаете, что, клеймя так
сурово своего противника, Гельфанд
берется за перо для того, чтобы пока-
зать на примере, как следует научно
применять к литературе «категории
классового бытия» для того, чтобы
дать образец научной критики. Как бы
не так!

Правда, вы видите, что Гельфанд
стремится придать своему разбору ха-
рактер наукообразности и в частно-
сти имитирует приемы переверзевской
школы.

Вид у него при этом самый торже-
ственный, как у жреца или у профес-
сора анатомии, объясняющего сгрудив-
шимся ученикам тайны человеческого
тела. Уверенный мастер, он играет
своим мастерством. Ему достаточно со-
поставить на убожество двух ге-
роев, чтобы вытянуть отсюда нить «со-
циологического эквивалента». Так он

поступает с Антоном Селезневым
(«Партизаны») и Каллистратом Ефимы-
чем («Цветные ветра»). Внешность же
их такая:

У Селезнева: «Высокий и стро-
гий мужик лет пятидесяти. На нем си-
ний пиджак и штаны, вправленные в
лаковые сапоги. Окладистая русая бо-
рода, гладко причесанные в скобку во-
лосы» и т. д.

У Каллистр. Ефим.: «Костля-
вый, впалый лоб, а тело широкое, тя-
желое, и длинная, тяжелая в проседь
борода».

«Поразительное несходство» — заме-
чает в экстазе Гельфанд. Но никакого
поразительного контраста нет. Оба—
пожилые крестьяне, высокие, грузные,
бородатые, тяжелые. То, что у одного
борода русая, а у другого—точнее, не
обозначенного цвета,—думаю, большой
разницы не составляет. А если бы и
составляло, то все равно: из цвета во-
лос социологического эквивалента не
вытянешь.

На подобные пустяки у Гельфанда
уходит значительная часть его «не-
большой статьи». По жочкарнику сомни-
тельных аргументов он допрыгивает
понемногу до социологической харак-
теристики Всев. Иванова. Он вкладыва-
ет в уста Каллистрата им же (Гель-
фандом) сочиненную примерную речь,
изящество которой выше всяких по-
хвал и вне всякой конкуренции: «Мы
живем и хотим жить только для себя,
только для своих желудков, только для
своих половых органов» и т. д.,—и
спрашивает: «Из бытия какой социаль-
ной группы может вырасти такая
«платформа»?». Ответ: она возникла
«как объективный результат резко-
скептического, переходящего в отрица-
ние отношения к социальным ценно-
стям революции». Но тогда не является
ли ее автором «новый буржуа, чума-
зый»?». Действительно, «в творчестве
таких ярко выраженных необуржуаз-
ных писателей, как И. Эренбург и Ал.
Толстой, можно отметить наличие двух
образов, аналогичных образам Всев.
Иванова, «натурального» человека и
коммуниста, схожего с Никитиным
(Ник. Курбов, Арт. Лыков). Но у них
есть два центральных образа, которых
нет у Всев. Иванова: образ скептика и

«образ сильного и естественного человека (инженер Гарин), властного фашистского типа повелителя, о котором мечтает Устрялов и др. идеологи буржуазии». Именно этот образ окончательно доказывает подлинно буржуазный характер творчества Эренбурга и Толстого».

Все это было бы очень хорошо, но беда в том, что такого образа у Эренбурга... попросту нет¹⁾. А так как наличие его есть главное основание, составляющее Гельфанда причислять Эренбурга к новобуржуазным писателям, то выходит, что Эренбург — не новобуржуазный писатель. С другой стороны, оказывается, что хотя у Всева Иванова отсутствует образ скептика, но «объективный смысл образа биологического, асоциального человека заключается в скептической и даже пессимистической оценке социальных ценностей революции». Т. е. образа скептика нет только формально, а по существу он имеется. В таком случае, согласно гельфандовскому тезису, социальная природа Эренбурга и Всева Иванова совпадают. Спрашивается, чем же тогда вызывается огромная, видная и «невооруженному» глазу, разница в их творчестве?

3

Но противоречия гельфандовского «анализа» этим не исчерпываются. Творчество Всева Иванова он выводит из «сознания деклассированного, отщепленного революцией от городской мелкобуржуазной России полунинтеллигентного мещанина». Оставим на совести Гельфанда детали этой формулы — например, ничем немотивированную квалификацию Иванова как полунинтеллигента. Отметим только, что в авторе «Тайное тайных» он еще не видит чумазого. Но дальше происходит чудесное превращение. «Социальное бытие натурального человека чересчур неустойчиво». Без «некоторого социального обзаведения» он обойтись не может: иначе и самые приятные желания не выполнить. Рассчитывать на «большой социалистиче-

ский дом», который строится? Но для этого нужно иметь терпение самому много работать и кое-чем жертвовать. «И вот некий С. Е. Чижов решил приобрести собственный особняк». Дело в шляпе. Не пытаясь проанализировать образ Чижова, выявить его «окраску», отношение к нему автора, Гельфанд безоговорочно отождествляет Чижова с субъектом-объектом ивановского творчества, т. е. с тем центральным образом, в котором раскрывается социальная природа этого творчества. Не деталь, а основное положение статьи дается без малейшего доказательства. Гельфанд не только подчеркивает «буржуазный характер нынешнего творческого этапа Вс. Иванова». Он прямо говорит, что у последнего «позиция биологического анархизма сменилась позицией не менее натурального стяжательства и первоначального накопления. Естественный человек, биологический нигилист, оказался на поверку заурядным буржуа, грязным рвачом, «чумазым» новой формации». Итак, еще в «Тайное тайных» и позднейших связанных с ним рассказах Всева Иванов не был чумазом. Достаточно было пройти всего несколькими месяцам, как социальная природа его резко изменилась. У нас нет никакой уверенности, что еще через каких-нибудь месяца два он под искусным пером Гельфанда не превратится, скажем, в идеолога середняцкого крестьянства. Он меняет свою природу с такой легкостью, как будто это не природа, а платье: снял, повесил на гвоздик, одел другое.

Производя эти чудесные овидиевские метаморфозы, наш «ученый» совершенно беззаботен насчет методологии. «Социологический эквивалент» отыскивается им очень легко: субъект творчества — тот, о ком говорится в произведении. Вс. Иванов рассказал о «чумазом» Чижове, — значит «чумазый» Чижов и есть подлинный «лик» Вс. Иванова. Продолжая этот способ рассуждения, надо будет признать, что, если Салтыков-Щедрин изобразил Иудушку Головлева, следовательно, он сам — Иудушка Головлев. К чему некаль, сопоставлять, аргументировать, когда все так просто и удобно, когда

¹⁾ Во всяком случае нет как центрального образа. А Гельфанд говорит именно о центральном образе.

разгадка — под рукой: пересказ — вот универсальный метод, которым единственно и надо пользоваться, — все остальное от лукавого! Пересказывайте же, не мудрствуя и не зная сомнений, пересказывайте в статьях и обзорах, в исследованиях и рецензиях, пересказывайте без усталости и без отдыха, как пересказывает Фриче и перевирает Рыльский — и победа вам обеспечена!

Гельфанд не хочет или не в состоянии понять, что каждый образ должен быть правильно «прочитан» в контексте с другими и что искусство такого чтения не столь уже элементарно, как это кажется иному развязному фельетонисту. У П. Павленко есть рассказ о коврах и о знатоке их, который умеет их читать, как связную рукопись.

Он определяет материал, назначение, эмоциональный «смысл» ковра, этой «шерстяной песни о днях урожая, покоя и плодородия», время его изготовления, характер и происхождение стилизаций. Он видит «почти то же самое», что видит его друг-дилетант, но в этом «почти» — гигантская разница. В ней — ключ к пониманию искусства. Его-то у Гельфанда нет. У него нет того, без чего не может быть критика: умения читать. До чего оно доходит, показывает следующий пример.

Конец ивановского особняка Гельфанд называет «настоящим апофеозом бывшего люмпена, обретшего, наконец, искомым вершок социальной опоры». Он подчеркивает выражения: «сняла росой и веселым солнцем» (вывеска), «великолепная дорога», «темная пыль была похожа на шелк, который так необходим для мебели и для счастья». Он патетически восклицает: «Как видите, читатель, природа, и та блаженствует, приветствуя вернувшиеся к Ефиму Сидоровичу Чижову счастливые дни».

Нельзя хуже ошибиться, нельзя откровеннее обнаружить свое полное неумение чувствовать и понимать интонации писателя, чем это сделано здесь Гельфандом! Весь ивановский апофеоз ироничен. Подбор пышных и ярких определений именно для того и сделан, чтобы подчеркнуть несоответ-

ствие между торжественностью обстановки и внутренним убожеством героя. В этом может убедить хотя бы одна из подчеркнутых Гельфандом деталей: «Пыль была похожа на шелк, который так необходим для мебели и для счастья». Сопоставление мебели и счастья, помещение их в один ряд достаточно определенно свидетельствуют об иронической интонации автора, о его насмешливом отношении к такому счастью.

Для Гельфанда Вс. Иванов не просто буржуа, но идеолог стяжательства. Надо быть уж очень «своеобразным» критиком и примитивным «марксистом», чтобы буржуазность писателя понимать в смысле: «норови в карман». Вряд ли требуется доказывать, что в области идеологии и особенно в области искусства классовая сущность проявляется гораздо более «тонкими» и окольными способами. Там, где умный скажет: «буржуазность», — Гельфанд говорит: «стяжательство».

Я так долго задержался на статье о Вс. Иванове потому, что это — наиболее наукообразная, развернутая, «солидная» гельфандовская статья, почти единственная, где он рассматривает или старается рассмотреть литературный материал по существу, где он максимально мобилизует свои ресурсы и дает возможность судить о своей методологии и о своих данных как критика. И если в ней непонимание искусства, дубоватость мышления, произвольность выводов, слабость аргументации проявляются с такой очевидностью, то это говорит о несостоятельности всей его работы. То, что есть в статье верного — описание эволюции Вс. Иванова от «Бронепоезда» к «Тайному тайных», — дано уже задолго до Гельфанда рядом критиков, и Гельфанд только повторил, только пересказал их. То, что внесено самим Гельфандом, неверно или сомнительно.

4

Такие люди, как Гельфанд, роняют достоинство марксистской критики. Она требует особенно тщательного изучения предмета, а благодаря Гельфандам начинают думать, что марксистская критика — синоним дилетантизма и

высокомерного. всезнайства. Да и можно ли осуждать людей, которые приходят к такому мнению, слыша постоянный скрип этих бойких перьев, читая эти неизменно пустые и недобросовестно-голословные статьи? Если в них попадает верная оценка, то это — такая же случайная удача, как выигрыш в лотерею. Вместо твердого метода — разгул нестесняющегося субъективизма. Но ошибки Гельфандов гораздо существеннее по своим последствиям, чем вкусовые пристрастия Гроссманов. Когда Гельфанд объявляет Вс. Иванова апологетом стяжательства, то это не только литературная оценка, но и общественное дискредитирование писателя. Споры нет, критика может и должна становиться общественным судом, — но какой же суд вынес бы решение, не имея в руках ни одной улики, ни одного доказательства? Но именно так поступает Гельфанд. К делу, требующему большой осторожности и величайшей добросовестности, он подходит с изумительнейшим и развязнейшим легкомыслием, с единственным желанием пустить такую высокую ноту, чтобы его сразу заметили¹⁾.

То, что сегодня сказано одним Гельфандом, завтра будет повторено десятком других. Ведь Гельфанды множественны и многообразны, как индуские боги: тут они называются Рыльскими, там Млечиными, Колесниковыми, Ворошилиными. Они размножаются почкованием. Они заполняют последние страницы ряда журналов и подвалы «Вечорки». Их приговоры, как бы мало обоснованы они не были, приобретают прочность предрассудка. Они ложатся клеймом на репутацию писателя. Не в силу своих талантов или знаний (какие там таланты! какие там знания!), но единственно в силу своего количества и своей развязности они

получают возможность в известной степени определять общественно-литературное мнение. В любой области считаются необходимыми доводы, факты, цифры, ни один общественный деятель не выступит с докладом, не имея в руках фактического и обоснованного материала. Над литературой же каждый волен мудрить, как ему вздумается, не утруждая себя и видимостью доказательств. Но ведь это — не безобидные упражнения в стилистике, за эти мудрствования приходится реально расплачиваться писателю. В одном из наших журналов введены даже «черные списки» книг, которых не следует читать. Эти списки составлены на основании бездоказательных отзывов все тех же многообразных Гельфандов. Другое дело, если бы они были убедительно мотивированы. Бойкот — такое оружие, которым надо пользоваться осмотрительно. Оно требует гарантии добросовестности и компетентности. Ведь, руководствуясь такими списками, библиотеки перестают приобретать определенных авторов, издательства расторгают с ними договоры и т. д. А какая может быть гарантия относительно Гельфандов, которые и недобросовестны и некомпетентны?

5

Всего лучше характеризуют Гельфанда его обзоры. Пожаловаться на недостаток места здесь он не может. Его журнальное зрение, помещенное в № 4 «Печати и Революции», занимает 16 страниц, в две колонки убористого петита. Было где развернуться! Как же использовано это обширное пространство? Прежде всего под грядки благоуханной полемики. Когда же Гельфанд касается непосредственно литературных фактов, он это делает в такой форме: сначала идет длинный пересказ сюжета, потом короткая, но до предела утрированная в своей резкости оценка. Между пересказом и оценкой остается маленькое место для мотивировки, которая и даётся в минимальнейших дозах. В этом — весь Гельфанд! Пересказ — в качестве метода, визг — в качестве стиля.

¹⁾ Для того, чтобы внести полную ясность и не дать Гельфандам лишний раз передернуть, кратко формулирую свой взгляд на социальную природу творчества Всев. Иванова, хотя это прямо и не относится к предмету статьи: я считаю нелепым утверждение Гельфанда о «стяжательском» характере последней фазы в развитии Иванова-художника, хотя (вернее, именно потому что) разделяю мнение о мелкобуржуазном характере его творчества и о непрерывной эволюции его вправо, — о чем я уже, впрочем, писал до Гельфанда.

Напостовцы правы, когда они говорят, что Гельфанды повторяют то, что они, напостовцы, утверждали несколько лет назад, что они имитируют их старые ошибки. У Гельфандов своеобразный рецидив первоначального, «левого», напостовства, — только с той разницей, что «левые» знали, чего они хотят, а Гельфанды не знают. Просмотрите первые номера «На Посту», — и вы увидите, как совпадают у Гельфандов с Вардинами самая манера письма, эта привычка работать оглоблей вместо пера, эта склонность к зашутливости, эта тенденция относиться к непролетарской литературе, как к почти сплошной реакционной массе. Гельфандовщина — это выветрившееся «левое» напостовство, от которого осталась одна только форма, одна только хлесткая фраза без содержания. Принцип работы Гельфандов ясен. Он никогда не «выдумывает» сам. Он берет то, что до него сказано другими, и повторяет, усиливая степень. Там, где положительная, он поставит превосходную. Слово, произнесенное обычным тоном, он доведет до крика, а крик — до визга. Он прочтет у Плеханова о толстовских противоречиях — и фраза готова: «Учение Толстого кишит и буквально раздирается на части противоречиями». Заметьте это прелестное «буквально»! Усиление у Гельфанда чисто словесное, звуковое, но важно, чтоб оно было. Он услышит кем-то оброненное замечание о буржуазности творчества Вс. Иванова, и вот под его легким пером Вс. Иванов превращается в аполлогета стяжательства. Он так привык кричать, что не может обойтись без крика даже и там, где это производит лишь комическое впечатление.

Гельфанд почти без остатка разлагается на то, что он вычитал у других. Он высокомерно объявляет Горбова, Полонского, Лежнева «компанией критиков, почему-то считающих себя марксистами», и тут же не задумывается их обобрать, «заимствуя» у них все, что попадется под руку — от характеристики «естественного» человека Вс. Иванова до квалификации киноских Матвеева и Безайса, как центральных образов пролетарской лите-

ратуры, или утверждения, что Андрей Бабичев — мир рационалистически составленных вещей, где нет героев, а есть колбасник». Но в особенности слабость позиции Гельфанда, отсутствие у него положительных литературных принципов сказывается тогда, когда он бывает вынужден что-нибудь похвалить. Тут дальше самых общих слов дело у него не идет. «Талантливейший «Севастополь» талантливейшего Малышкина», «мощное, хотя и несколько замедленное начало нового романа А. Фадеева», «прекрасный рассказ Макарова», в стихах Луговского «пафос делания «нужных вещей» отлился чеканными строчками», у Асеева «потрясающе прост и близок образ раздавленного самодержавием Чернышевского» — вот и все, что может сказать о поправившихся ему произведениях Гельфанд. Ничего не говорящие определения («талантливейший», «мощный», «чеканный», «прекрасный»), исключительно пошлые и бессодержательные эпитеты — так разрешается у Гельфанда вторая — по Плеханову — задача марксистской критики: эстетическая оценка.

Это и неудивительно. Легко ругать и наскакивать на автора: автор не отбрыкнется. Хвалить труднее: для этого надо иметь хоть какие-нибудь положительные принципы, какое-нибудь свое понимание того, что сейчас для литературы важно, что следует выдвигать и культивировать — и почему. Хорошо, — Горбовы, Полонские, Лежневы плохи и только прикидываются марксистами, но вы-то подлинный, премированный, симментальский марксист, — вы-то что предлагаете, вы-то какие пути указываете литературе? Тут Гельфанд молчит, молчит, как убитый, молчит потому, что ему нечего ответить, потому что за душой у него ничего нет. Это — не критик, это — механизм, это — усовершенствованный аппарат для недобросовестной полемики.

6

До какой степени его недобросовестность доходит, можно видеть из следующего примера. Между Гельфандом и напостовским Златоустом Гроссманом-Роциным возникла перебранка,

вначале по частному поводу (характеристика Вс. Иванова), но затем, как это часто бывает, перешедшая в генеральное сражение по всему фронту, а вернее, во «вселенскую смазь». Переранка эта велась очень звучно, в хорошем базарном стиле — и если б меня спросили, кто прав, я бы ответил словами Доньи Бланки из гейневского «Диспута», когда ей предложили рассудить, на чьей стороне правда: раввина или капуцина. Но интересна здесь не самая полемика — каждый дает, что может, — а «чудесное открытие», на которое «натолкнуло» Гельфанда «внимательное изучение» статьи Гроссмана-Рощина. Открытие заключается в том, что напостовец Роцин нагло и беззастенчиво объявляет себя идеалистом, в роде того, как в иных наивных старинных драмах злодей отрекомендовывался: я злодей. В доказательство Гельфанд приводит цитату: «Сократовское разумное начало оформляет мир логически, но мир делается малокровным, немощным, исчезает стихийная оргийность» и т. д. И Гельфанд патетически восклицает: «Какая полнокровная реакционная галиматья! Какая невыносимая «оргийная стихийность» философически словесного блуда! Какая «глубокая» ночь» идеалистического заскока! Какая отвратительная бергсонианская жвачка!»¹⁾. Крепко сказано! Поистине

jedes Wort
Ist ein Nachtopf und kein Leerer²⁾

Но «внимательный» Гельфанд скрыл от читателя сущую малость. В приведенной цитате Гроссман-Роцин излагал не свои взгляды, а взгляды Ницше. Это было оговорено словами «Ничто противопоставлял Диониса Сократу», за которыми и следовал так возмутивший Гельфанда отрывок. Я не собираюсь защищать Гроссмана-Рощина. Он многое получил по заслугам. Но как квалифицировать тот полемический прием, который позволил себе Гельфанд? В карточной игре он имеет определенное, не слишком лестное,

¹⁾ «Неизлечимый интеллектуализм», «Революция и Культура», 1929, № 4, стр. 79.

²⁾ Гельфанд так охотно цитирует Гейне, что, вероятно, не затруднится переводом этих строк.

название. Неужели литература требует меньшей честности, чем карты?

7

Гельфанд не одинок. У него есть учитель Зонин. Его приемы пользуются широкой популярностью. В том же № 4 «Революции и Культуры», в котором передернул Гельфанд, мы находим в статье Зонина следующие строки: «Правый критик Лежнев в последней книге своих статей «Литературные будни» утверждает, что ни один писатель, как Сейфуллина, не связан с актуальными общественными вопросами. Однако, как ему и полагается, Лежнев умалчивает о том, какую социальную группу представляет творчество Сейфуллиной». Уважаемый Зонин! Ведь я не Гоголь и не Леопарди, — к чему же меня так жестоко перевирать! В статье, на которую вы ссылаетесь, нет ни слова об исключительной («как ни один писатель») связи Сейфуллиной с актуальными вопросами, а о ее социальной природе там говорится, наоборот, достаточно ясно: «То, что лучшие произведения Сейфуллиной — о деревне, не случайно. В этом сказывается социальное родство писательницы с крестьянством¹⁾. Сейфуллина не только знает деревню, она близка к ней по своей внутренней сущности» и т. д. («Литературные будни», стр. 118). Можно с этим не соглашаться, но зачем говорить неправду об умолчании? Да, если перевирание чужих слов считать признаком «левизны», то вы, Зонин, вместе с Гельфандом несомненно самые «левые» критики!

Но на Зонине стоит несколько задержаться. Этот ближайший соратник Гельфанда, близкий к нему настолько, что часто даже небольшие статейки они пишут совместно, литературно гораздо старше своего саратовского друга. Он уже выпустил несколько книг. Он понаторел в кружковой политике и литературных схватках. Он почти ма-

¹⁾ Зонину нельзя будет даже укрыться за оговорку, что крестьянство, мол, недостаточно определенная социальная категория. Вся моя статья о Сейфуллиной построена на основном положении, что автор «Перегноя» является изобразителем и выразителем волюнтаризма и индивидуализма, а это уже достаточно суживает «неопределенность» понятия, отбрасывая буржуазные, эксплуататорские элементы.

стит, — правда, той дурной почти-маститостью, о которой с сожалением говорят: да, уже не начинающий. На суде Аполлона ему бы, пожалуй, грозил тот казус, который, по словам Пушкина, произошел с великовозрастным семинаристом, принесшим тетрадь диссертаций. Но его книги торжественно обозначены полными его инициалами: А. И. Зонин. А. И. Зонин — с невозмутимой почтительностью к собственным совершенствам, с золотообрезной солидностью академического издания классиков. А. И. Зонин гордо носит свое звание критика, свои неповторимые инициалы. Он застегнут на все золотые пуговицы. Он строго затянут в свой вицмундир. Тише! Входит столоначальник из литературного департамента.

Или, может быть, только коллежский регистратор, на минуту вообразивший себя столоначальником? Не все ли равно? Густой, невытравимый запах канцелярий и регистраторского уныния доносится к нам с девственной силой. Серые, как мыши, подвально-защитного цвета, выстроились казенные фразы «исходящих» статей, бесконечных, как версты проселочных дорог. «Выдающиеся пролетарские поэты, не избегая иногда уклонов, в целом развиваются положительно»¹⁾. «Когда я просматривал сборник «На подеме», я никаких опасных симптомов не обнаружил»²⁾. Столоначальник не «обнаружил». Это важно и утешительно. Но, читатель! как передать тебе тоску этих страниц, где не мелькнет ни зеленое деревцо, ни свежая мысль, но только шлагбаумы и полосатые версты, отмечающие пройденные расстояния, — как передать тебе тоску этих книг, которых ты, конечно, не читал и хорошо сделал, что не читал! Одни общие места сменяются другими, залежавшиеся открытия — столетними парадоксами, — и вы загнинотизированы этим однообразием, этим монотонным скрипом, и вас начинает одолевать тяжелый, свинцовый сон. И вам представляется все одно и то же: тянется, тянется проселочная дорога доморощенного любомудрия, и едет по ней в бричке, застревая в грязи и под-

прыгивая на ухабах, коллежский регистратор А. И. Зонин, и едете поневоле вместе с ним и вы. Но тут вас подбрасывает от толчка, вы протираете глаза, вы снова слышите скучный, как бы пропыленный голос педанта, нравоучительно продолжающий: «Если ошибки первого происходят главным образом вследствие нездорового раздувания физиологических проблем»... И вы смотрите с робкой надеждой на отметку: всего 89-я верста! Как далеко еще до конца! И вы думаете: хоть бы он ошибся интересно, хоть бы он вдохновенно симпровизировал, как Ермилов. Но статьи подчищены, и ни одна душа уже не узнает, как жестоко Зонин расправился с бедным безумным Поприциным, впутав его в скверный анекдот с отрезанным носом и возведя этого глубоко штатского человека в военный чин майора. Образцовая статья — о Гоголе — похерена, и так основательно, что призрак незаслуженно оскорбленного классика уже не будет по ночам тревожить спокойствие Зонина, требуя ответа и свидетельства об окончании семилетки.

8

Но так легко отделаться Зонину удастся только от призраков. Живые окажутся требовательнее. Они станут у него настоятельно допытываться, что означает загадочное выражение: «Мы задним числом не киваем», — не есть ли это новый цирковой номер и какая часть тела здесь имеется в виду? Они его спросят, какой рациональный смысл он вложил в иррациональную фразу о том, что Низовой «редко-редко попадает в тылы главного общественного ядра»? Они ему скажут, что нельзя «итти по дороге, должествующей дать темы», ибо дорога может лишь привести к темам. Они ему заявят, что только литературно неграмотный человек способен писать о «постепенном продвижении писателей путем творческих поисков на пути к коммунизму». Они ему укажут, что фразы, в роде «гнет и тяжесть жизни переместились в более утешительные сосуды», звучат нелепо, а такие как «волны здоровой жизни лижут последние мешанские островки» или

¹⁾ А. И. Зонин. «За пролет. реализм», стр. 90.

²⁾ Там же, стр. 49.

«влияние материала, под грудой которого лежал Фадеев» вызывают юмористическое настроение. Что только в плохих бульварных романах писали: «от матери струится в нем усталая кровь аристократии», что «структура романтической композиции» — чистейшая тавтология, потому что композиция и есть структура произведения, что упрек в «привычке к вульгарному пьянству» предполагает, очевидно, и какое-то другое невульгарное («устало - аристократическое», что ли?) пьянство, что «расцвет на дрожжах» немислим, как и «несколько натянутый, пружиненный (?) М. Иогансен», что, наконец, формулировки в таком стиле: «Над Низовым довлеет прием «Язычников», этой ловести, не нанесшей ущерба вследствие ее лиричности» или: «Для драмы в «Липатовых» недостаточно разработана драма положений, для драмы же в ней недостаточно выпячена драма характеров»¹⁾ — либо неуклюжая канцелярщина, либо — абракадабра, на которой можно сломать язык (дети делали это лучше: «на дворе трава, на траве дрова»). И еще много горестных вопросов готово у них вырваться. Но их уже подавляет самое количество, они видят, что список исчерпаем, что изобретательность Зонина не знает границ. И они начинают понимать, начинают догадываться. Да ведь это царство фантастики, департаментской, полосатой, вицмундирной фантастики, призрачнейшей из всех мыслимых. Реальные черты стерты. Реальные отношения опрокинуты. Скука обернулась знакомым призраком. В сумраке тоскливой, чиновничьей, гоголевской ночи бродит «майор» Поприцин, мстительно превратившийся в зонинскую музу. Это он нашептывает ему дикий вымысел, это он заставляет его логику выкидывать странные курбеты, это он, посоветовавшись с Акакием Акакиевичем, учит

¹⁾ Примеры взяты из книг А. И. Зонина «У истоков пролетарской литературы» и «За пролетарский реализм». Из первой заимствованы примеры — по порядку, в каком они у меня приводятся — 1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й (соответственные страницы в книге — 126, 128, 53, 92, 47, 71, 118, 120), из второй книги — примеры — 2-й, 6-й, 7-й, 8-й, 13-й, 14-й (соотв. стр. в книге — 178, 188, 115, 151, 183, 164).

нашего молодого «ученого» устоявшемуся канцелярскому слогу. И вы вчитываетесь в эту фантастическую «критику», и вы окончательно убеждаетесь, что у каждого петуха под хвостом Испания.

Но раз так, то вас уже не удивляет ни странность зонинских методов, ни своеобразие его открытий. Вы примиряетесь с тем, что романтизмом у него оказывается сначала нереалистическое, мироощущение, потом внесение в художественный образ чуждых ему черт, потом искусственность положений, потом недостаточность мотивировок и, наконец, фальшь и сентиментальность, — и все это на пространные в шесть страниц¹⁾. Вы остаетесь равнодушны, читая его чудовищные по своей путанности абзацы: «Самая структура романтической композиции требует гораздо большей выпуклости, яркости, красочности письма, чем реалистическое произведение. Ведь материал реалиста не требует сильных эмоций, чтобы вызвать переживания»²⁾ и т. д., хотя вы чувствуете, что волосы начинают произвольно шевелиться у вас на голове. Вас не потрясают даже изумительные его литературоведческие откровения насчет композиции: элементами ее оказывается ужас («основа композиции Бессалько — ужас» — «У истоков пролет. литературы», стр. 47) и расстояния, которые покрывают герои произведения («Тихий Дон» Шолохова лишен всех признаков композиции «Городов», за тем исключением, что и в нем герои покрывают огромные расстояния» — статья «О субъекте творчества К. Федина», «Печать и Революция», кн. 5, стр. 73). Вы даже не негодуете, что человек, утверждающий подобную чепуху, берется с важным видом и в той же статье, где эта чепуха черным по белому напечатана, изучать кого-то методологии, принципам литературного исследования и прочим хорошим вещам. Вы готовы приписать и это внушения злопаятного Поприцина, тем более, что самый характер изложения и дефиниций — эта величественность и

¹⁾ «У истоков пролет. литературы», стр. 30—37.

²⁾ Там же, стр. 47.

таинственные расстояния и ужас — приводит вам на память незабываемые: «Я — король испанский» и «матушка, пожалей своего бедного сына». Но тут вы замечаете Гельфанда, который, раскрыв рот, с обожанием смотрит на своего старшего собрата. Так значит эта фантастика имеет поклонников? Тогда давайте говорить на чистоту.

9

Если романтизм есть сентиментальность, фальшь, искусственность и проч., то значит — это просто плохая литература. Вряд ли следует доказывать очевидную истину, что подобные недостатки могут быть свойственны произведениям любой школы. И зачислять на их основании Бессалько или кого-нибудь другого по романтическому ведомству способен лишь гимназист второго класса, краем уха что-то такое слышавший о литературе. Кстати, не более убедительны категорические, но ровно ничем не подкрепленные утверждения о статичности романтизма («Круг идей романтика статичен», «романтик воспринимает явления статически». «У истоков пролет. литературы», стр. 31 и 38) и о том, что «черты романтического творчества характерны для художника класса, который еще не осознал себя вполне — класса, первые кадры которого только формируются» (там же, стр. 31). С такой же глубиной и основательностью мысли подходит Зонин и к реализму. «Изучали ли, — пишет он, — буржуазные реалисты весь жизненный процесс? Нет, они только частично и стихийно познавали его через изучение действий индивидов, живых людей своей эпохи. Они и не имели научного мировоззрения для глубокого изучения». Эта рифмованная безапелляционность прямо-таки обезоруживает. Мало-мальски интересующемуся литературой человеку должно быть известно, что именно одна из школ буржуазного реализма, натурализм конца прошлого столетия, ввела в практику систематическое, сознательное и планомерное, т. е. меньше всего стихийное, изучение действительно-сти, изучение по документам, судебным отчетам, статистическим данным, а не

только на основе наблюдений над отдельными «живыми людьми», т. е. такое изучение, какое у нас сейчас, к сожалению, редко кто умеет и хочет производить. Золя и Гонкур могут послужить в этом отношении примером не одному пролетарскому писателю, даже такому, как излюбленный Зониным Лузгин.

Дальше наш критик вовсе сбрасывает широким движением буржуазный реализм со счетов, объявляя его несуществующим, при чем гибель его, очевидно, произошла не сегодня и не вчера ¹⁾. Обратитесь к фактам, уважаемый! Ромен Роллан и Марсель Пруст, Дюамель и Жюль Ромэн, Генрих Манн и Келлерман, Теодор Драйзер и Синклер Льюис, — все это как-будто реалисты! Видите, как нехорошо бывает в иных случаях проявлять излишнюю бюрократическую ретивость! Добрую половину современной литературы вы одним росчерком пера обратили в небытие. Ну, что бы вам стоило быть немного осторожнее, написать, например, что буржуазный реализм измельчал, деградировал, стал анемичнее или потерял положение передовой школы, — так нет! Дай-ка я бухну: буржуазного реализма нет! Числа не было! Месяца тоже не было!

10

Не думайте, что путал Зонин только в прошлом, когда он еще не совсем отряс напостовский прах со своих ног. Вот пред нами свежее-выпеченный блин, новейшая статья его в «Печати и Революции»: «О субъекте творчества К. Федина», откуда мы заимствовали гениальное замечание о расстоянии, как элементе композиции. После великолепного вступления, способного соперничать по своей пышности с гель-

1) «Буржуазный реализм во весь период своего существования имел неразрешимое противоречие между мировоззрением художника и материалистическим методом творчества, что и привело его к гибели» («За пролет. реализм», стр. 53). Мировоззрение таких реалистов, как Золя, было материалистическим. — только ограниченным, «естественно-научным», в узком смысле слова, лишенным элементов общественной диалектики. С другой стороны, внутренние противоречия художественной системы не могут еще сами по себе привести ее к гибели.

фандовским, мы находим там следующие строки: «Уже композиционные особенности романа «Города и Годы» наводят на мысль о смятенном сознании автора. В перемещении планов, в смещении повествования с эпистолярной формой, речами и размышлениями, в следовании завязки событий за развязкой проявляется несомненно закономерность, свойственная писателям, отображающим городскую мещанскую стихию». Здесь любопытно наивное умозаключение: смятенное сознание — «смятенная» форма. В такой прямолинейно-догматической форме, априорное и поверхностное, оно звучит пустой фразой. Пойдем дальше. Ни одна из перечисленных Зониным композиционных особенностей не доказывает то, что нужно доказать Зонину. «Смещение повествования с эпистолярной формой, речами и размышлениями (!)» имеется, например, и в «Воине и Мире» Толстого: письма Билибина, дневник Пьера Безухова, военные диспозиции, выдержки из сочинений Тэна и других историков, «размышления» Андрея Болконского (кстати, какой это роман обходится без «размышлений»?). Но превратить Толстого в городского мещанина не удавалось даже переверианцам. Значит ничего специфического для городского мещанства в указанном Зониным смещении нет. «Следование завязки событий за развязкой» мы встречаем, как правило, в детективной литературе. С другой стороны, тот же прием применяет Бунин в «Деле корнета Елагина». Если Конан-Дойля или авторов бесчисленных Пинкертонов и позволительно зачислить по мещанскому ведомству, то у них отсутствует второе условие: смятенность сознания. Если можно предположить эту смятенность у Бунина, то его зато никак не назовешь представителем городского мещанства. Словом, ничего специфического для смятенной мелкой буржуазии города нет и здесь. Остается «перемещение планов». Но его можно увидеть у Федина разве только в смещении разных отрезков сюжетной линии во времени, — и тогда сюда относится все то, что сказано выше.

Таким образом, «научное» построение Зонина рассыпается при первом при-

косновении к нему. Вместо того, чтобы изучать объект по существу, он берет его с птичьего «дуазо». Верхогляд, он предпочитает говорить об общих категориях и в «общем» плане. Он рабски копирует Переверзева: не метод его, а частные выводы, не понимая, что на новом материале и выводы будут другие. «Мещанство» является, как и у Гельфанда, тем ключом, который открывает все двери. Это так удобно: мелкому буржуа свойственно колебаться, переходить с точки зрения одного класса на точку зрения другого. А так как колебания и зигзаги бывают у огромного большинства писателей, то всего проще «объяснить» их всех, как мелких буржуа. Если Гельфандам и Зониным не удалось превратить Толстого в мещанина, то это только потому, что Толстой был социологически раскрыт до них. А то хорошо еще доказать, что писатель — интеллигент. Во-первых, это — очевидно: раз писатель — значит интеллигент: тут никто и спорить не станет. Во-вторых, интеллигент и мелкий буржуа очень близки друг другу: одним ударом убиваешь двух зайцев. Правда, при этом социологический «эквивалент» превращается в социологическую отписку, и если все писатели — мелкие буржуа и интеллигенты, то становится непонятным, чем же вызываются такие огромные различия в их творчестве. Но это мало трогает Зониных и Гельфандов. Их дело — «разоблачить».

11

И могут ли их смутить противоречия? Смотрите, как привольно чувствует себя среди них Зонин. В статье о Ляшко он безапелляционно заявляет: «Приемы дневника, монологов, писем, рассказа от первого лица — это все признаки бессильно-стройно организовывать произведение» («У истоков пролет. литературы», стр. 111). В статье о Никифорове мы уже читаем: «...Задание эпистолярной части романа быть документом, натуральным показанием настроений социальных групп. Благодаря ей вырастает и общественная значимость романа и его реалистическая объективная

правда»¹⁾. («За пролет. реализм», стр. 131). Т. е. в первом случае эпистолярная форма («прием писем») квалифицируется, как признак писательской неумелости и даже бессилия; во втором оказывается, что она каким-то образом повышает и общественную и художественную ценность произведения. Какому же Зонину верить: 1925 или 1927 года? Ответ может быть только один: ни тому, ни другому. Оба они декларируют, не пытаясь обосновать свои утверждения. А голым декларациям—грош цена.

Предпочтение, отдаваемое Зониним декларативной манере, неудивительно. Каждый раз, как он пробует перейти к доказательству или даже к иллюстрированию своих тезисов, с ним происходит конфуз. Вот он хочет показать, как в творчестве Никифорова проявляется влияние мещанства, и приводит ряд примеров, в том числе два «портрета». Первый из них:

«Высокий, с непослушным ворохом кудрей, в поддевку, шохож он на древне-русского боярина, каких рисуют на игральных картах (?), — такой же стройный, с красивым, немного печальным и задумчивым лицом».

Второй:

«Фигурка у него маленькая, гибкая, как у циркового клоуна, и ходит он—будто бы по бревну через ручей перебирается — на носках, легкий и неслышный для земли. Шея немного вытянутая, голова чуть-чуть отброшена назад. Лицо Тулупова черной бородкой охвачено, — приятное».

И Зонин торжествующе восклицает: «В образах этих портретов²⁾ чувствуется характерный «замоскворецкий дух». Но побойтесь Переверзева, Зонин: что же тут типично замоскворецкого? В первом портрете можно еще найти такую деталь, как поддевка (хотя одной детали, да еще мало характерной, недостаточно). Но во втором? Разберем его черты: маленькая фигурка, гибкая, как у клоуна, легкая походка, вытянутая шея, отброшенная назад голова, черная борода. В чем здесь ви-

ден купеческий стиль? И кстати, почему это влияние мещанской, т. е. мелкобуржуазной, стихии должно доказываться наличием «замоскворецких», т. е. купеческих, буржуазных элементов?

12

Так же удачны экскурсы Зонина в область изучения Фадеевского стиля. «Сила фадеевского языка в... я бы сказал толстовской простоте, — пишет он.—Фадеев совершенно не стилизует. Его слово не преследует задачи языкового гурманства. Он...» «не поражает необычным определением». И тут же приводит несколько примеров, которые должны подтвердить его мысль:

«Небо расступилось, — безветренно-холодное. По мгlistым нехоженым тропам Млечного Пути в смятении бежали звезды».

«Обнимала их золотистая сухотравная тайга в осенней ждущей тишине. В желтом ветвистом кружеве линия седобородый изюбр, щели прохладные родники, роса держалась весь день, прозрачная и чистая и тоже желтая от листвы... Чувалось в таежном золотом увядании молниеносное дыхание какого-то огромного вечно живого тела»¹⁾.

Но «нехоженные тропы» Млечного Пути—это и есть установка на необычность определения. А как кажется Зонину, эпитет «золотистая» — не является ли он стилизованным? И не говорит ли он, поставленный рядом с другим составным эпитетом — «сухотравная» — об известном «языковом гурманстве»? А подбор, а упорное употребление таких определений, как «золотистая», «золотая», «желтая» (даже роса у Фадеева желтая!) не свидетельствует ли и об ином—красочном—«гурманстве»? И так ли уже «прост» образ: «в желтом ветвистом кружеве линия седобородый изюбр»? И что он заставляет вспомнить: простоту Толстого или изысканность Вс. Иванова?

Примеры, приводимые Зониним, доказывают диаметрально противоположное тому, что он хотел доказать. Это тем более поразительно, что у Фадеева

¹⁾ Подчеркнуто всюду мной. А. Л.

²⁾ Почему не просто «в этих портретах»? Зонин боится упустить случай продемонстрировать свое стилистическое изящество.

¹⁾ «За пролет. реализм», стр. 117. Разрядка всюду моя.

можно было бы без труда подобрать не один десяток образцов действительной стилистической простоты. Это говорит о совершенно неслыханном, скандальном отсутствии чуткости к литературе и понимания искусства.

13

Многое можно бы еще заимствовать из богатой сокровищницы зонинской мысли: и темные сивиллины изречения о «стихийном бунте слов и человекодействий», и удивительные выводы, что «раз пролетлитература заняла в библиотеках второе место, то это свидетельствует, что выработка формы уже началась»¹⁾, хотя между посылкой и заключением никакой связи нет; и иррациональные формулировки, неизяснимые и таинственные, как огненные слова на валтасаровом пире: «Когда художника заменяет рассказчик, — неизбежно следует неубедительная публицистика» (а рассказчик не может быть художником? и почему непременно публицистика?); и патетические возгласы («Каждое произведение **Бессалью** разрешается трагической драмой» (т. е. разрешается конфликтом, который сам должен как-то разрешаться? и что это за зверь: «трагическая драма»? И бывает ли более обывательское обращение с терминами?); и, наконец, короткие, но успешные набеги на историю: «Это время, когда в-философской мысли еще господствовало западное влияние младогегельянцев и Фейербах (Фейербаха?), когда марксизм только нащупывался Добролюбовым и Чернышевским, и взгляды марксистов (группа «Освобождение труда») были достоянием небольшой группы интеллигенции, когда народничество, уже разбитое, по инерции еще господствовало на поверхности общественной жизни». Вы возражаете, что время, когда Чернышевский и Добролюбов «нащупывали марксизм», и время, когда выступала группа «Освобождение труда», отнюдь не совпадают, что Зониным спутаю несколько разных эпох? На ваши вопросы и недоумения Зонин скажет, что он «пы-

тался лишь дать ответ на базе своих ощущений»¹⁾. А с ощущений что же спрашивать?

И вы вспоминаете, как он кивал задним числом и как расцветал па дрожжах, и перемещался в утешительные сосуды, и пропадал в тылы ядра, и двигался на пути к пути, и занимался прочими странными и волшебными занятиями. Но вас это уже не способно рассмешить. Вам не хочется больше рыться в зонинской «сокровищнице». Вам становится грустно. Вы снова перелистываете страницы этих статей, где литературный анализ сведен к пересказу, досужим домыслам и редким, но всегда некстати приводимым, примерам. Огромная департаментская сучка охватывает вас. Вы прочитали несколько сот страниц и не нашли ни одной свежей мысли, ни одного меткого замечания. И вы думаете: неужели это имеет право называться критикой? да еще марксистской? Неужели для того писали Маркс и Энгельс, Ленин и Плеханов, чтоб их имена были выставлены, как щит для прикрытия ленивой мысли и высокомерного всезнайства, чтоб глубокая теория и живой метод превратились под руками Зонинных в собрание прописных истин? Неужели рядом с живым марксизмом, который борется, строит новые отношения, новую жизнь, начинает реализовывать то, что недавно еще многим казалось «мечтой», мыслим этот канцелярский марксизм, бездарно повторяющий непонятные им зады? Что он дает литературе, науке, общественности — этот убудок дилетантизма и спеси?

14

И вы откладываете эти книги в сторону. Вы уходите из теоретической пустыни, где мелькает лишь вицмундир Зонина и бляха Рыльского. Вы знаете, что Гельфанды не одиноки. Отсутствие какой-либо положительной программы заставляет прибегать к форсированному звуку, к визгу, к шуму, которым стараются прикрыть собственную пустоту. Разбор литератур-

¹⁾ «За пролет. реализм», первая выдержка—стр. 119, вторая—стр. 90.

¹⁾ «У истоков пролет. литературы», первая выдержка—стр. 48, вторая—стр. 47, третья—стр. 10, четвертая—стр. 94. Разрядка моя. А. Л.

ных явлений заменяется разговорами «по поводу», очень громкими, но чрезвычайно бессодержательными. Люди, не умеющие дать оценку самому неслужному художественному «факту», становятся в позу каких-то суперарбитров. Они много говорят, против чего они борются, но никогда не говорят, за что же они борются. Одних общих лозунгов здесь недостаточно. Надо дать их специфическое преломление в сфере искусства. А этого они не могут. Им нечего дать, потому что у них ничего нет.

Но чем менее принципиальна позиция, тем охотнее пускаются в ход недобросовестные приемы борьбы, передергивание, выдумка. Бойкие самопишущие механизмы распространяются. Только-только примчался из Саратова Гельфанд, как откуда-то повалили Рыльские, Колесниковы, Млечины и прочие Катоны из «Вечорки», вооруженные тупыми перьями. «Вечорка» делает погоду — вот характерная черта литературной современности! Под этим угрожающим знаком надо рассматривать литературные бои сегодняшнего дня. Силой вещей «налитпостовцы» с «левого» фланга постепенно вытесняются на «правый»¹⁾. Против них не только своя собственная оппозиция, «левые» напостовцы, к которым они уже привыкли, но и «третья» литературная сила, типичным представителем которой является Гельфанд или Зонин. Меня трудно заподозрить в склонности к напостовству — и в первых частях настоящей статьи я старался показать, как его позиция шатка и неустойчива, как много в ней обывательщины. Но нельзя все-таки напостовцев ставить на одну доску с Гельфандом. ВАПП — большая литературная организация, и давление писательских «масс» заставляет руководство, несмотря на его шатания, все-таки искать — и иногда находить — правильный литературный путь. Валповцы все-таки вплотную подошли к художественным вопросам и — хорошо ли, плохо ли — начинают их разрешать. Среди них — не только Ермиловы, но

и Фадеевы. У Гельфандов же за душой ничего нет. Они играют в литературную игру ради самого процесса игры. Поэтому если есть еще смысл спорить с валповцами, то нет смысла спорить с Гельфандами.

15

Но не это — самая важная сторона вопроса. Недостатки Ермилова, Гельфанда, Зонина сигнализируют общее критическое состояние нашей марксистской критики. Конечно, и у нас есть подлинные критики, но их немного, их меньшинство. Средний же уровень невысок и не обнаруживает склонности к повышению. В то время как вся страна, как наука движется вперед, — наша критика топчется на одном месте. Она все больше теряет свой авторитет у писателя и все меньше интересует читателя. Она не стала хуже, но она не стала лучше. А она должна, она обязана становиться лучше. И так как она не может угнаться за шагающей вперед жизнью и литературой, то она вынуждена придерживаться общих фраз, штампованных оценок, застывших утверждений. Она забывает, что на нее, единственную — хотя бы в потенции — обладательницу научного метода, падает ответственнейшая задача развивать этот метод, пользоваться им не как суммой прописей, а как живым и гибким орудием, открывать, изобретать, думать; что марксизм требует такой обоснованности и точности в работе, как никакая другая критическая школа, и ни в коем случае не является ширмой, за которой можно прятать свое нежелание изучать и неумение мыслить. Они упускают из виду и другое: то, что работа критика непременно предполагает большую чуткость и любовь к искусству, и люди, которые лишены ее, сделали бы лучше, если бы занялись чем-нибудь иным. Невежество еще не самый большой порок. Безграмотного можно обучить. Труднее исправить визгуна. И уже совсем безнадежен чиновник.

Но тут я слышу резкий механический звук. Ну, конечно же, это Гельфанд. И притом Гельфанд, впавший

¹⁾ Конечно, эти термины надо здесь понимать крайне условно: ничего левого кроме фразы у Гельфандов нет.

в мечтательное настроение (задумавшийся Гельфанд! Это почти то же самое, что грамотный Ермилов). Он грезит, он доволен, он говорит сам с собой. Ему кажется, что вот прошло много лет, и Саратов, откуда он громил Толстого, становится таким же священным городом, как и Чита, где Чужак высиживал свои нескладные парадоксы, — Мекка и Медина нашей литературы. И приезжают толпы

экскурсантов из Москвы, и тт. Панков и Шафранский, и Лебедев, и Серов, и Егоров, совсем-совсем уже постаревшие, всхлипывают от нахлынувших чувств и воспоминаний и, дрожащей рукой поправляя очки, рассказывают молодежи: «А ведь здесь я читал его рукопись! А я ее правил! А я дал ей сносное полиграфическое оформление! А я слушал его доклад! Это случилось в пятницу, 20/IV 1928 г.»

3. СЕСТРА МОЯ МЕЧТА

О книге Оскара Эрдберга «Китайские новеллы»

С. Пакентрейгер

Мечта — сестра и подруга Оскара Эрдберга. Это признание самого автора. «Луна — та самая, что и над Красной площадью в Москве, — светила тусклым светом сквозь стволы прибрежных бамбуков и пальм, в полудремоте я терял ощущение времени и места, и сестра моя, моя извечная подруга — мечта опять гнала меня обратно по пройденным дорогам в знакомую вереницу прожитых дней».

Оскар Эрдберг говорит об извечной, т. е. исконной, испоконной сестре и подруге. Сам себя автор вряд ли признает исконным. Он — коммунист. Он — материалист. Он не скажет себе: я — извечен. • Разве в шутку. Разве насмешки ради.

Но мечта у Эрдберга действительно есть. И не извечная. Выражаясь словами одного горьковского персонажа, есть у него «мечта направляющая». Она пронизывает всю ткань его очерков. Она освещает эпизоды и события, людей и классы «оборванной страны» хуней.

В мире этой мечты иные детали и лица выплывают сгущенными тенями, как силуэты. Иное лирическое и политическое слово звучит в этом мире внятно и призывно, точно разрывая тишину. Оскар Эрдберг следует за мечтой своей потому, что она перерождает, «перевоплощает» людей, клас-

сы и народы, становится вождем смертной войны против расчеловечивания человека.

В политических очерках Эрдберга памфлетная едкость и остроумие сочетаются с газетной банальностью и беллетристическим штампом, правда, часто изысканным, лиризм выразительный — с лиризмом тусклым и беспомощным. Это понятно. Поднять политический очерк на лирическую высоту — дело сложное. Резко очертить профиль классов возмущенной страны — еще сложнее, хотя и заманчивее. Сочетать то и другое так, чтобы дыхание возмущенного Китая стало дыханием очерков — совсем сложная задача. Как тут не впасть в штамп вольно или невольно, особенно молодому политическому очеркисту?

Оскар Эрдберг начинает свою журналистскую работу культурно. Он учится не только у поэтов и писателей, правда, не совсем с марксизмом дружных, но и у политических очеркистов и памфлетистов марксистского толка, европейских и русских. Тем досаднее ошибки. В иных случаях они кажутся плодом случайной неряшливости. В других — неожиданно выпадают из плана элементарной грамотности.

Эрдберг очень бдителен насчет иронии, едкости и остроумия. Он поэтому во всяком случае должен быть осо-

бенино бдительным насчет грамоты. Иначе сам может стать объектом иронии. К этому мы еще возвратимся.

Поэт и агитатор, лирик и политический боец Эрлберг безбоязненно говорит о безоружности своей мечты перед «дыханием всесильного божества в деревянном ведре», перед дыханием риса. Пока «покорные и усталые люди» едят со своими хозяевами из одного ведра, пока оно «объединяет всех» «словно «идолопоклонников», мечта безоружна. Она не может быть материализована в жизни.

От ее имени он бросает собранную силу иронии в наемные лица подрядчиков и старост священного учения Лю-Баня, «покровителя многих цехов». Лю-Бань из века в век поучал маляров, каменщиков, лакировщиков бамбуковых изделий: «Если хозяин режет курицу, то внутренность должен дать рабочему; если рабочий поймал рыбу, то он должен пригласить хозяина и угостить его». Лю-Бань говорил: «Пусть во всех цехах царит братство между старшими и младшими, и в городе нашем будет довольство и мир. Боги городских стен позаботятся тогда о том, чтобы ничто враждебное нам не проникло в город: ни мятежники, ни чужеземные войска, ни болезни, ни голод...». «И если по сей день мы едим еще наш рис и имеем работу, то мы знаем, чему мы обязаны этим» — благочестиво поют ученики Лю-Баня.

Эрлберг обнажает беспомощность своей революционной мечты перед «старыми крестьянами с лицами, изрытыми оспой», пока они исполнены боязнью боязни перед своими грязными ногами со «вспухшими жилами, ссадинами и натянутыми мускулами», «искусанными москитами». Пока крестьяне исполнены страхом перед своими грязными ногами, недостойными ступить за порог священного Гоминдана, революционная мечта беспомощна. Она не может материализоваться. Но он иногда находит средства для воплощения ее умноженной силы, когда она исподволь или катастрофически перевооружает покорные умы дерзостью, загнанные сердца мщением, раздробленную, расколотую во-

лю множеств сплавляет кровью войны, материализуется в восстаниях. Они должны отбросить от ведра с рисом подрядчиков и старост, от власти — тучных арендаторов, содержателей ломбардов, компрадоров и дубаней, от богатств страны — генералов, владеющих текстильными фабриками, испражняющихся в салон-вагонах под охраной и при поддержке телохранителей.

Воплощение, материализация мечты как войны и восстаний, дано порой без всяких следов заимствований. Эрлберг тогда никому не платит даги или во всяком случае платит ее в самых мизерных размерах.

Ни зрение, ни слух его не прибегают к найденным звукам, к отраженным краскам и интонациям. Он сам находит их элементарные сочетания, непосредственные в своей ясности:

«Грузчики бегут вприпрыжку, подгоняя себя короткими криками:

— О-ох-ох.

— Э-хе-хе.

— А-хо-ли.

— И-хи-хи.

...У придорожных рвов сдвигаются обесившие после шестнадцатичасовой работы грузчики. Выжимая потные рубахи, они следят помутневшими взорами за потоком хлопка, плывущим мимо них в раскрытые настежь ворота фабрики. И однообразная песня, чередование высоких и низких воплей, вздохов и выдохов, гимн непосильного животного труда несется над дорогой:

— О-ох-ох.

— Э-хе-хе.

— А-хо-ли.

— И-хи-хи» (Тай-Анская симфония).

Возгласы животных воплей и полусумасшедшего смеха движущихся полуголых людей-лошадей, груженных восьмипудовыми кипами хлопка, даны как увертюра к «заурядной жизни» грузчика Цай Хе-сина, возмечтавшего стать машинистом. Затем начинается его заурядный рассказ:

«Отец нанял столик в портовом трактире, заказал хороший обед и пригласил земляка с фабрики. После двадцатой чашечки рисовой водки судьба моя была решена. Наш дальний родственник и однофамилец Цай Да-чао, фабричный машинист, согласился

устроить меня своим учеником.

Вскоре отец мой уехал обратно на своей джонке за хлопком. Перед отъездом он наставлял меня слушаться во всем Цай Да-чао, лучше работать и избегать всяких споров. Он свел меня к старшине нашего рода, господину Цай, и хотя богатый купец, занятый более важными делами, не принял нас, отец мой все же пожертвовал большую связку кешей в храм предков нашего рода и наказал мне в случае нужды обратиться за заступничеством к покровителю нашего рода господину Цай».

За вычетом локальных слов в конструкции рассказа Цай Хе-сина нет такой инструментовки фраз, акцентировки слов, такого подбора и сочетания их, которые выражали бы китайскую заурядность передачи этого рассказа. Между тем в том же очерке эта китайская заурядность не совсем заурядно выражена в передаче поведения господина Цая и его ответа делегации бастовавших рабочих:

«Господин Цай принял нас во дворе своего дома. Он сидел под тутовым деревом, под которым, как вам известно, родился Конфуций, и, раскуривая трубку, любовался фонтаном...

...Господин Цай ответил нам не сразу. Он долго думал, и, когда открыл рот, мы были уверены, что он придумал способ помочь нам. — Вы знаете притчу о Даосе Чи Сан-цзы? — спросил господин Цай. — Как-то во сне Чи Сан-цзы увидел себя бабочкой: он порхал над цветами, не зная, что в действительности он Чи Сан-цзы. Когда же он, наконец, проснулся, то никак не мог решить вопроса: видел ли Чи Сан-цзы во сне, что он бабочка, или бабочке теперь снится, что она Чи Сан-цзы? И не было ли тут просто двух превращений чего-то единственного? — Сказать вам по правде, — продолжал господин Цай, — я чувствовал себя в этом деле точно так же. Это верно, что как купец и как китаец я должен помочь вам... Но волею судьбы я также землевладелец, наниматель рабочих и компрадор...».

В очерке дано «перевоплощение Цай Хе-сина из китаец-лошади в

пролетария. На его глазах японец надсмотрщик выгнал ни в чем неповинного ткача с фабрики. Цай Хе-син молчал. Гордая мечта стать со временем машинистом парализовала его язык. Вместе со всеми рабочими он одним зимним утром увидел «молодого ткача висящим на перекладине фабричных ворот». На Цай Хе-сина стали смотреть как на «ручную собаку надсмотрщика». Но Цай Хе-син молчал. Гордая мечта стать машинистом парализовала его язык.

В прядильном отделении фабрики тоже на его глазах другой японец свалил ударом хлыста мальчишку, который стоял «у веретен, дремал, пошатываясь, и не следил за рвущимися нитками». Мальчик упал на пол, «закрыв лицо руками. Его подняли на руки, и, когда какая-то работница подолом своей кофты утерла кровь с его лица, мы увидели два вытекающих глаза».

Вспыхнул самосуд женщин над японцем. Вспыхнул и Цай Хе-син. Он больше не молчал. Гордая мечта стать машинистом уже не парализовала его. Он побежал в машинное отделение, оттолкнул живое воплощение своей гордой мечты, машиниста Цай Да-чао, повернул рукоятку сигнального гудка, опустил медные рычаги и остановил машину. «Было слышно, как по всей фабрике стал медленно спадать гул трансмиссии и станков. Вместо него нарастал шум сотен голосов». Голоса эти зазвучали призывом к иной мечте, карающей, яростной, драконной мечте пролетариев всех стран, научивших Цай-хе первому куплету «Интернационала»: пока еще бессильному покрыть Тай-Анскую симфонию собачьих воплей, лошадиных вздохов, полусумасшедшего смеха:

— О-ох-ох.

— Э-хе-хе.

— А-хо-ли.

— И-хи-хи».

В ряде очерков Эрдберг борется с Бабелем. Но обессиленный движется в заемном эстетическом мире. Это особенно явственно сказывается там, где автор работает над русским материалом. Приведем маленькую иллюстра-

цию из очерка «Рыцари». Зеленоглазый русский мужик в форме китайского солдата, бывший анненковец, поет под стилизованного бабелевского конармейца:

«И молодуха моя уже состарилась, и земля моя наверно пошла в раздел. И хата моя сгнила и схилилась. И сам я схилился и сгнию здесь на чужой стороне без креста и без памяти. Земля носит меня в насмешку, ни одна пуля не хочет убить меня. Всякий генерал дает мне работу, но никто не укажет мне дорогу до дома...».

Очень часто автор прибегает к изысканным штампам, заемным интонациям и эпитетам. Изысканные штампы атактичны и обильно наводняют некоторые очерки: «волшебное белое сияние луны принимало фантастические очертания», «нескончаемые вереницы столетий рабства лежат на их согнутых спинах», «навстречу нам плыли таинственные туманы», «серебряная лента Ян-цзи», «бездонный океан небес», «буря негодования».

Заемные интонации и эпитеты попадают сравнительно редко. Наиболее явственные подражания и заимствования в этой области у Бабеля:

...Спи, — ответил я,—спи, Пандо. Ты требуешь невозможного.

...Оборванная страна в ее унижительной и вдохновенной красоте...

...убогая нищета его безграничного могущества...

...в несказанной пустоте переполненного Лояна...

Почти весь очерк «Рыцари» построен на бабелизмах:

...Незабываемые дни боев...

...великое безмолвие ночи об'яло нас...

...Сладкая тоска вошла в мое сердце, и я задумался о благоухающих и терпких ночах далекой моей родины...

Тут и контрастные сопоставления физического и морального по Бабелю, и его идеологические, лирические и описательные интонации и даже непосредственное пользование эпитетами, как они внесены в литературу самим Бабелем.

В «Тай-Анской симфонии» Эрдберг правд, правда, с чрезвычайными усилиями, но рвет плен заемного искусства, снимает заслоны, освобождает

собственное зрение и слух. И сравнительно успешно находит выражение своим политическим образам.

Тай-анские звуки, краски, голоса и интонации, тай-анские грузчики, политический образ заурядного тай-анского раба, которого самосуд рабынь ищет от социального паралича,—все это вспыхивает самостоятельным эстетическим миром. Все приходит в движение. «Направляющая мечта» получает свое тай-анское выражение, материализуется без всякого насилия. Образ Цай Хе-сина вырастает во всю политическую величину, становится слышимым и зримым, осязаемым даже в своей заурядности, становится видимым в перспективе, в глубине тронувшегося социального тай-анского потока.

В очерке «Без трех» Эрдберг напрягает все силы, чтобы материализовать образ незаурядного рождения китайского комсомольца. Обесчещенная китайская мать завещала сыну своему найти «настоящих пиратов», насилующих Китай. Материал взят для работы рискованный и трудный. Но он весь влит в сырую газетную словесную массу.

Автор информирует, в лучшем случае пересказывает, о перевоплощении сына обесчещенной матери в китайского первенца Коминтерна. Логически все доказано и объяснено. А образа нет. Все немо, глухо, неосязаемо.

В самом начале очерка «Без трех» автор вводит нас в мир китайских пиратов. Здесь пахнет Кипплингом и Лондоном,—говорит он.—Это характерно не только для данного очерка. Очень часто и очень многое пахнет для него литературно, т. е. прежде чем сам он увидит краски, услышит звуки, учует запахи, — мир чужого искусства встает заслоном перед ним.

Эрдберг выходит из фазы заимствования. Он научается снимать заслоны, он медленно и с трудом высвобождается от чужого плена, он может стать самостоятельным, и он становится самостоятельным там, где «направляющая мечта» не вселяется насильно в действительность, а извлекается из нее. Тогда же она получает политическую убедительность, лирическую заражае-

мость и рождает свой эстетический мир. Все противоборствующие силы Эрдберг более успешно передает памфлетными характеристиками, чем политическими и лирическими образами. Памфлетные сплавы его сравнительно огнеупорны, требуют большого критического накала, чтобы распаять их на составные части и обнаружить, где Эрдберг пользуется чужим разящим металлом, где своим. Для иллюстрации приведем только одну характеристику, в которой тнев сравнительно искусно сочетается с расчетом на силу его воздействия.

«Раздвинув ветки кустарника, я увидел, что труппа стоит перед соседним домом. И, глядя на этот пышный букет вождей, я подумал: что, если бы, превратившись в бронзу, они застыли в этой позе? Трудно было придумать лучший памятник этим вождам гоминдановской революции.

На гранитном цоколе Лу Шаньских гор, высоко над страждущим Цзу-цзяном и гнойным потоком Ян-це группа рыгающих после сытного обеда, пропахших луком и пыльными томами средневековых классиков мандаирионов, под руку с удачливыми бандитами, трестовиками и героями Шанхайской биржи. Ницшеанцы и командующие корпусами, христианские епископы и инокровители буддизма перед объявлением о продаже дома сбежавшего англичанина. Сверкающий ореол из немеркнущих лучей конфуцианского холуйства, даоситского невежества, буддийской неподвижности и европейской упадочной философии исходил бы от этого памятника».

Совершенно верно было отмечено, что очерки Эрдберга при всех их недостатках опровергают теорию «фактографии», как теорию того предела, который можно и должно поставить искусству политического очерка в наши дни. Если иные теоретики этого предела цинично клеймят всякие пути, не связанные с их школой «...ложеством», то им неврдно познакомиться с очерками Эрдберга, резко обозначающими и роль революционной мечты, благодаря которой фактография не превращается в «фактоложество», во что она превращается у иных очерки-

стов, отбывающих лбом поклоны перед фактами, как перед болванами.

Однако, если очерки эти опровергают теорию голой фордовской, конвейерной фактографии, то из этого совершенно не следует, что пути Эрдберга надо возводить в универсальные пути искусства очерка, как и всякого искусства слова вообще и навязывать их каждому и всякому. Кто же ими не идет, тому, если не отсечь голову, то во всяком случае обложить ее критической хулой. Не следует воскуривать и критическую хвалу автору только потому, что он идет к искусству такими, а не иными путями.

В данном случае, как и в более сложных случаях, надо обнаружить понимание художественной индивидуальности автора, найти, вскрыть и показать ее пути к искусству. Это мы и сделали. К искусству Эрдберг подходит через свою мечту. В самом ли деле она—сестра и подруга? Ее политические облики в той мере, как они показаны в очерках, весьма мало схожи с обликом сестры. Очевидно, Эрдберг соблазнился пастернаковской «сестрой моей жизнью», когда давал своей мечте только одно название. Его шопутал лирический бес. В данном случае ввел в заимствование. Но тот же лирический бес в ряде очерков обнажил иные, правда, несколько декоративные облики мечты: кружащегося коршуна («Великие демократы»), солдат с кривыми мечами («Мы куем мечи»), лунных воинов, обливающих землю кровью («Восьмая»), яростного дракона («У ведра с рисом»).

Сестра моя—мечта Эрдберга—смертная гражданская война. После того, как обнажены все ее облики, нетрудно убедиться, что социологический эквивалент этой мечты мы дали совершенно точно, приступая к анализу очерков. Это социалистическая идея в ее пределе: смертная гражданская война против всех противоборствующих сил и систем, расчеловечивающих человека.

Эрдберг есть мечта. Эрдберг—материалист. Это не только его личное признание. Некоторые очерки его свидетельствуют, что он находит, правда, с большим трудом, но все же находит выражения для ее воплощений то от-

раженные, то самостоятельные, но самостоятельные в меньшей мере, чем отраженные. Если он воплотит, если он материализует эту мечту не отраженными, не заемными, не декоративными образами, он докажет, что является не только материалистом, но становится и художником. Отсюда, повторяем, не следует, что все молодые авторы должны идти его путями.

И уж во всяком случае не должны повторять его ошибок, по крайней мере грамматических. Думаем, что вместе с нами автор посмеется над некоторыми из них.

«Кто научит их выбросить из головы...». Выбросить можно из корзины, из коробки, если они открыты, а из головы, если она только не открытая коробка, ничего выбросить нельзя. Помимо того, можно научить выбрасывать. Многократный вид на своем месте должен иметь право на уважение у автора, безусловно уважающего грамоту.

«Вагоны охранялись парой десятков солдат»...

«Сторожка, которую всего парой десятков лет тому назад»...

«Небольшой зал был освещен парой десятков свечей»...

Троекратное повторение «пары десятков» подтверждает только то, что автор в данном случае «запарился».

Нельзя сказать, что автор «показывает себя неграмотным». Только потому, что пишет: китайцы «показывают

себя очень благородными», они «такают каштаны из огня». Воде «обладал животом в достаточной степени вздутым (чем?) от различных сортов английского виски», «он был в восторге провести вечер». Все эти не русские и, надо полагать, не китайские жемчужины восторга вызвать не могут, как не вызывает восторга характеристика консула.

«Он читает эту хартию, заставившую горячо биться сердца многих поколений борцов за свободу, как ресторанное меню, как биржевой бюллетень, как расписание поездов». Совершенно очевидно, что автор хотел сказать: он читает эту хартию, как читают ресторанное меню и т. д. А получилось, что сердца многих поколений, борцов за свободу бились, как ресторанное меню, как биржевой бюллетень, как расписание поездов. Ироническая стрела, пущенная в политического врага, попала в сердца политических друзей. Вот он, язык мой—враг мой.

«Для того, чтобы быть великим поэтом, недостаточно знать в совершенстве синтаксис и не делать ошибок в языке»—говорил бальзаковский гений Френхофер. Чтобы быть великим, действительно недостаточно. А чтобы не быть особенно великим, не совсем великим или совсем невеликим? Лучше все-таки знать и синтаксис и язык. Оно как-то порой даже необходимо, хотя и недостаточно.

4. ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

О новом романе Синклера Люиса «Додсворт»¹⁾.

Н. Эйшикина

Американские издатели, рекламируя новую книгу Синклера Люиса, постарались придать ей непосредственно практический интерес, — в аннотациях, сопровождающих объявление о «Додсворте», она превращена чуть ли не в настольную книгу уважающего себя американского бизнесмена: «Новый роман С. Люиса отвечает на два волнующих все группы американского общества во-

проса: действительно ли американский муж находится под башмаком у своей жены, и вторая, не менее важная проблема,—как богатый бизнесмен средних лет должен проводить свой досуг...». К этому прибавлено, что мистер Люис пишет здесь о людях, которые нравятся ему, которых он любит.

Эту же мысль с чувством явного облегчения и благодарности автору приводят и другие рецензенты, подчеркивая, что «Додсворт» — замечательный

¹⁾ Sinclair Lewis. «Dodsworth». Harcourt, Brace and Co, New York, March, 1929.

образец реалистического искусства: «не сатира, не юмореска, не преувеличение, а чудесная история и блестящее обобщение» (William Phelps).

«Мне нравится «Додсворт» больше, чем Эльмер Гантри, и я люблю мистера Додсворта больше, чем мистера Бэббита; он более убедителен, более человечен и, если я смею так выразиться, больше прочувствован автором. «Додсворт» поэма, а «Бэббит» нет...» (журнал «Bookman», апрель 1929 г. стр. 191).

Рецензенты и даже скромный автор аннотации прекрасно ощутили один из самых важных элементов новой книги Льюиса: они почувствовали в ней положительное начало, облегчающую определенность и оптимистичность в разрешении достаточно сложных психологических и общественно-исторических проблем, поставленных в ней автором.

«Додсворт» законно завершает путь исканий автора, пытающегося нащупать некий организующий элемент, социально-психологический, культурный фундамент современной Америки («Главная улица», «Бэббит», «Додсворт»).

На этом пути меняется, растет, рафинируется «носитель» американской культуры, соответственно снижая «радикальный» задор и сатиру автора, пока, наконец, он не превращается в Сэма Додсворта, которого, по справедливому и радостному заверению рецензентов, «автор любит».

Сам Льюис оговаривает на первых страницах своего романа, что Додсворт — не тот тип промышленника, который создан в воображении европейцев и некоторых американцев. Он не Бэббит, не член таких-то клубов, — он присутствовал всего на шести спортивных состязаниях; но тут же он характеризует его как настоящего видного американского промышленника, создателя и председателя автомобильной компании, верящего в республиканскую партию, высокие тарифы, сухой закон, епископальную церковь.

Да, он не Бэббит, он большего масштаба, чем Бэббит, он вырос вместе с ростом «цивилизации» страны, и сейчас именно это, а не Бэббита, Льюис делает носителем основных элементов американской психики, мировоззрения,

культуры.

Для большей остроты и яркости характеристики он ставит Додсворта в европейские условия (Додсворт отошел от дел и путешествует с женой по Европе); он сталкивает его с тем «европеизмом», который так легко усваивает его жена и от которого он сам после мучительной борьбы отталкивается. Сатира Льюиса направляется на этот европейский фон, представленный поверхностно в стандартных образах: английскому лицемерию, французскому «богемianству», формальной «культуре», богемничающему иностранцу противопоставляется зрелая, спокойная, деловая, творческая фигура Сэма Додсворта.

И даже те «бэббитовские» черты, которые автор находит еще в Сэме, мешанство и провинциализм, — некоторые традиции «Главной улицы» (саркастически названной когда-то автором «апофеозом американской цивилизации»), — эти черты даны в мягких полуюмористических, полулирических тонах. И на фоне пустопорожней, так наз. «европейской», словесности понятна и притворная тоска Сэма по кислой капусте, водевилю, автомобильным распродажам и политическим новостям города Зенита.

Льюис прекрасно понимает, что противопоставление промышленника, крупного администратора, капиталиста достаточно большого размаха парижской богеме, бездельничавшим или разорившимся потомкам английской аристократии, или немецким маленьким буржуа и дворянчикам — не совсем законно; вернее, оно не может быть противопоставлением двух культур — европейской и американской. Он пытается превратить это в личную драму Додсворта: его расхождение с женой, с жадностью окунувшейся в этот внешний европейский блеск. Фрэн (жена Сэма) как бы воплощает в себе это «европейское» начало. И эту-то ситуацию рецензенты, рекламирующие книгу, приняли за постановку большого вопроса: «находится ли американский муж под башмаком у своей жены». Но для каждого, прочитавшего книгу, совершенно ясно, что Сэм Додсворт — продукт и сам один из творцов величайшей материальной

культуры, «творец вещей» (как он сам не раз о себе говорит), человек практического и творческого мироощущения — уполномочен автором опровергнуть обычные обвинения Америки в отсутствии так называемой духовной культуры; и эта «духовная культура», «культура исторических традиций, «наследства» литературного, искусств и т. д., дана автором как пустая приверженность прошлому, словесному, именованному, внешнему. Из этой борьбы Сэм почти всегда и для себя и для автора выходит победителем.

Осматривая Нотр-Дам, «он чувствовал неясно и несвязно, что он тоже делал вещи своими руками; что создание автомобиля, его работа над ним была тоже далеко не ничтожна; что он был ближе к этим забытым, безыменным, веселым и простым строителям, чем все эти Аткипсы (мэтр парижской великосветской богемы), эклектистически выкрикивающие высокопарные словеса о перерождении готических мотивов в искусстве».

Сам Люис, достаточно изощренный и «испорченный» европейской культурой, не может все же обойти определенной ограниченности, утилитаризма Додсворта; возвратясь в Америку, он чувствует, что «надо узнать многое, на что у нас нехватает времени».

Однако, все это побеждается самым настоящим пафосом американского материального, «вещного» мировоззрения, еще более обостренного пустым и мишурным, так наз. «европейским», антуражем.

Люис сделал Додсворта миллионером, но, как он подчеркнул в начале книги, не мультимиллионером; он сделал его провинциалом, не захваченным мировой политикой, субъективно не участвующим в ней; он изъял его из бешеного темпа Нью-Йорка, который и ему и его другу, журналисту Айрланду Россу, не кажется Америкой. Нью-Йорк, говорят они оба, космополитичен; он начинает всасывать в себя внешние признаки европеизма. Он в быту, в улице отражает беспокойный темп экономической жизни страны... Но темп жизни среднего американца, консерватизм бытовых традиций резко расходится с этим темпом.

А Додсворт ведь должен воплощать в себе основной созидательный, но в то же время не исключительный, а «средний» элемент американской цивилизации.

Так, как он в основном характеризуется автором, этот тип и является прогрессивной силой её (цивилизации). А если принять всерьез тот европейский фон, на котором дана фигура Додсворта, — молодой прогрессивной силой, идущей на смену обветшалой Европе.

Орган Американской Торговой Палаты «Nation's Business» (июнь 1929 г.) посвящает заметку роману Люиса, с удовлетворением констатируя, что, во-первых, мистер Люис написал книгу насквозь американскую; книгу, которую не мог написать никто, кроме американца; во-вторых, столь острый критик нашел, оказывается, у себя на родине гораздо больше явлений, достойных восхищения, чем в Европе. Тут же рецензент цитирует монолог Додсворта, осуждающего страсть американцев к туризму ради самого туризма, и этой цитатой вполне оправдывает появление рецензии на роман в солидном экономическом журнале.

Почему же так облегченно вздохнули не любящие сомневаться американские рецензенты? Потому что мистер Люис любит своего героя и пишет не сатиру, а реалистическую вещь. Он разрешает сложность беспокойных понятий «духовной культуры», «цивилизации», «мироощущения», заявляя: Америка и ее культура созданы и создаются сейчас такими людьми, как Сэм Додсворт. Он воплощает в себе, может быть, и кажущееся порою наивным вечно, творческое, очищенное от условностей исторических традиций мировоззрение. Такова американская культура, в этом ее ценность, иной ей, пожалуй, и не следует быть. Честный промышленник — вот созидатель вещей и носитель этого мироощущения... Он, оказывается, даже не зависит, по его собственным утверждениям, от общественных групп.

А о ранних гринвич-вилладжских¹⁾ заблуждениях мистера Люиса, о пессимизме «Главной улицы» и неразрешенных сомнениях «Баббита» мы забудем...

¹⁾ Гринвич-Вилладж — район нью и ркской богемы.

5. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ

Выставки

Ф. Рогинская

Из книги станковой живописи в этом году выпала одна страница — группа ОСТ не показала своей продукции. Это ощущается, как значительный пробел. В прошлом году в ОСТ'е явственно обозначились две органически противоположные группы: группа бодрого жизнеощущения и группа болезненного надрыва. Приблизились ли они к расколу или достигли единства путем поглощения одной части другой, — это представляется существенным моментом в плане современного этапа развития живописи.

Кроме ОСТ'а, правда, не выставались и некоторые другие группы, например, «О-во реалистов». В спектре нашей живописи это отсутствие, однако, не вызвало сколько-нибудь заметных изменений. Одна из групп обывательского сектора, она была с лихвой замещена выступлением группы «Московские художники» и другим объединением, с быстротой и гибкостью камелеона меняющим свое наименование (ИСТР, ОБИС, «Жизнь—Творчество» и т. д.). Ее отсутствие так же мало заметно, как присутствие группы «О-во им. Репина», которое величаво прикрывается мощами своего учителя, не имея на это, право же, никаких оснований. Унылая пустота этих выставок нарушается только их участниками. Не будем же и мы своим обзором нарушать этот покой.

Конечно, совершенно отмахнуться от этих объединений нельзя. Все они — об'единения позднейшей формации. Хотя главный состав их — старые художники, бывшие и в годы своей творческой юности плотью от плоти и костью от кости обывательского, мелкобуржуазного потребителя искусства, однако, все же самый факт консолидации их сил говорит о том, что тот напор обывательской стихии, который ощущается на всех фронтах искусства, дает себя знать и в живописи. Надо, впрочем, сказать, что в точке приложения его в живописи сосредоточено меньше сил, чем в литературе, например, или те-

атре. Причины в том, что в отношении изо центра ширяжений обывательских тяготений не в сфере станковой живописи, а во всем комплексе дешевых украшательских изделий, которые с одинаковым усердием поставляются и мелким кустарным рынком и нашими госорганизациями (Гум). Здесь, действительно, можно говорить о всепоглощающей обывательской пошлости. Живопись же, которая в настоящее время ориентируется главным образом на организованного покупателя (клубы, учреждения и пр.), имеет поэтому больше возможностей противодействовать напору обывательщины.

Мало существенного внесла и выставка «Жар-Цвет». Живописная часть его представляет промежуточное образование. Наличие явственной «кровной» связи с обывательским сектором в ней бесспорно. Но в то же время «Жар-Цвет» с гордостью указывает на свое громкое происхождение от одной из наиболее изысканных и эстетствующих до-революционных групп — от «Мира искусства». Целый ряд художников начинал свой творческий путь в качестве младшего поколения этого объединения. Они могут даже похвалиться и такой «ценной» реликвией в своем составе, как настоящий мирискусник, один из его основоположников, — Богаевский. И действительно, когда в прошлом году на выставке «Жар-Цвет» были уделены специальные залы для последних работ Богаевского, — эта связь ощущалась довольно явственно. Замкнутая мистическая углубленность в таинственные — в представлении художника — прошлые судьбы Крыма, высокое звучание подлинно творческих струн в этом раз навсегда «завороженном» творчестве действительно заставляло вставать в памяти успешные образы «Мира Искусства». Но в этом году Богаевского нет. Нет и Захарова, с его «демоническими», под Врубеля, женщинами. И Харламов воздержался от столь заманчивого для него до сих пор стиля «рюс», от мас-

ляничных троек и «красных девиц» у колодца, которых с натяжкой можно было признать за вульгаризацию исканий национального стиля, присущего «Миру Искусства». Единственным напоминанием о прошлом остались декоративность, присущая некоторым членам этого объединения. Из них Куликов довольно широко известен у нас своими лубками. В том же плане работает Куклинский и др.

Так порываются последние связи «Жар-Цвета» с его «родовитыми предками», которых он был в сущности кривым зеркалом. Сейчас стало окончательно очевидным, что между «Жар-Цветом» и репинцами никакой разницы нет. Это — такая же мелкобуржуазная группировка, но только более поздней формации. Разница между ними — не разница социальных сред, а чисто хронологическая.

Графическая часть «Жар-Цвета» интересней. Оболенская (среднеазиатские зарисовки), Валягин (Амурский край) — наблюдательные и грамотные рисовальщики. Несколько хороших альварелей дал и Комаров («Калмычка» и др.) и гравюр на линолеуме — Староносков. В общем между живописной и графической частью «Жар-Цвета» органической связи не наблюдается.

2

Плавное кружение по узкому многограннику выставочного павильона ОМХ'а как нельзя более соответствует основному духу выставки — духу умиротворенного спокойствия и академической тишины. Этот дух воцарился в ОМХ'е еще в прошлом году и, повидимому, надолго. Разница только в том, что за истекший год ОМХ еще дальше, чем в прошлом году, отошел от прежней своей линии воинствующего формализма. Если тогда возможно было говорить о двух тенденциях его дальнейшего развития, в настоящий момент можно говорить только об одной. И даже не так о тенденции развития, а как об известной стабильности состояния объединения. Главный состав полотен нынешнего ОМХ'а — это лирические пейзажи, пейзажи на строениях. И поскольку этими же чертами характеризуются Древин,

Удальцова, Рождественский и даже Фальк — их отсутствие не нарушает данной характеристики. Трудно представить себе более парадоксальную эволюцию, чем та, которую проделала эта некогда считавшая себя бунтарской группа. Но так как эта эволюция протекала постепенно, с медленной последовательностью, она прошла почти незаметно для самих участников бывшего «Бубнового Валета». Еще несколько лет назад они почувствовали неуместность своего старого «эпатирующего» названия и, сменив его на солидное «Общество Московских Художников», стерли этим актом отречения последнюю память о своей бурно прожитой молодости.

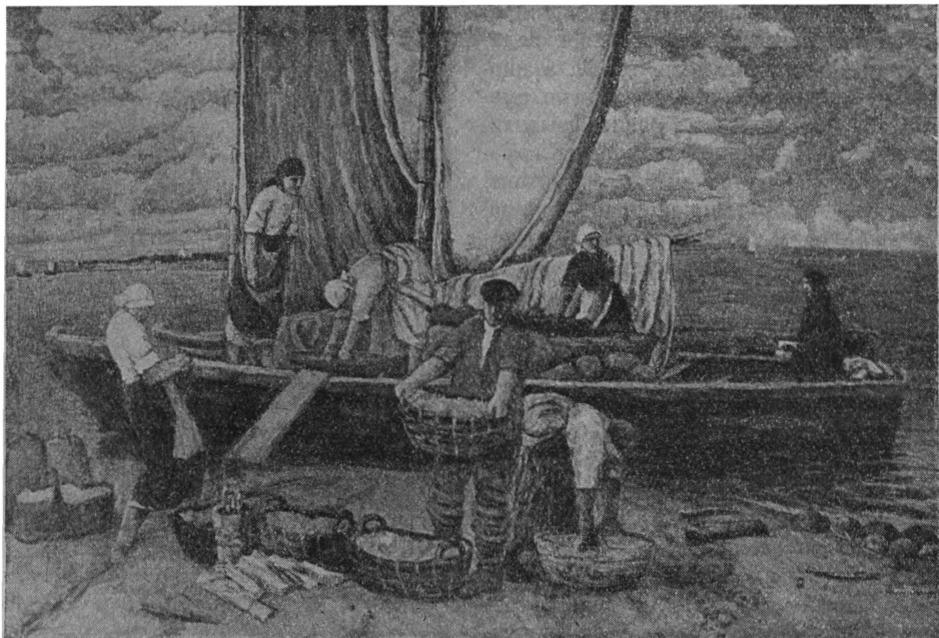
Самыми показательными в смысле этой эволюции можно считать пейзажи Куприна. Это один из немногих художников поколения, разломленного революцией надвое, который «нашел себя». Как известно, «пейзажизм» — это болезнь, которой в последние годы был у нас заражен целый ряд художественных объединений. Вряд ли из всей этой массы пишущих пейзажи художников были 1—2 проц. подлинных пейзажистов. Да и сами эти художники обычно мотивируют свою работу над пейзажем как переходной момент. Для Куприна же пейзаж — именно та сфера, где мягкий интимный его лиризм находит самое естественное выражение. В Крыму он увидел не здоровую плоть пляжных тел, как Машков, и не каменистую пустыню Киммерии, как Богаевский, а кривые восточные улочки и голубую луну, висящую среди совсем наивных цветущих деревьев. Характерен и Федоров. Его мужественные псковские пейзажи обладают несомненной индивидуальностью. Основная масса картин, однако, настолько однородна, хмурый тон их настолько канонизирован, что если бы не каталог, зритель мог бы легко принять большую часть их за порождение одной и той же кисти. За тематические задания омховцы берутся редко, да и немудрено: достаточно посмотреть только на «Стенку Разина» Лентулова. Это такой образ, который мог бы создаться, если бы единственным источником, питающим представление художника о Разине, были:

бы столь популярная у нас шесня «Иза острова на стрежень». Не спасает даже расплавленное солнце и прочие эффекты. Изображение остается не оперным даже, а опереточным. Насколько слабо ориентируется ОМХ в тематическом материале, видно хотя бы из того, что даже такой, в сущности, зрелый уже художник, как Машкевич, «ни мало не сумняшся» взял и использовал для своей картины «Делегатки» без всяких изменений (за исключением, разумеется, цвета и величины) фотозюд Петрова. У Лентулова — неумение подойти к историческому образу. У Машкевича — к современному. Это отсутствие «рефлекса на современность» — основная и, как все больше убеждаешься из года в год, неизлечимая болезнь ОМХ'а. Можно ли, например, придумать более неоправданно-гротескные образы, чем «Зрители» Моргунова? Только «Пополнение 19-го года» Осьмеркина с известным приближением подходит к своей задаче. Самое сильное место картины — фигура и лицо записывающегося рабочего. Весь облик его найден убедительно и остро, в остальной же части картины немало дефектов, — хромает композиция, очень темный, даже грязный тон, неудачный типаж и т. п. Сидящий впереди рабочий похож на дворника из барского двора, выключенная фигура за столом — бандитской окладки. Прислонившаяся к стене фигура в мягкой шляпе похожа разве только на художника 60-х годов и т. д. В целом, повторяю, эта работа все же самая сильная и для Осьмеркина и для ОМХ'а в его попытках подойти к раскрытию образов действительности.

Кроме «Бубнового Валета», в ядро ОМХ'а вплавилась и часть художников бывшего «Маковца». В этом году они не дают ничего существенного: Чернышев снова повторил очередную серию своих отроковиц, девочек-подростков 13-14 лет, томная святость которых насильственно облачена в костюмы школьниц и пионерок наших дней. Для Герасимова этот год тоже вряд ли может считаться плодотворным. Он остался верен крестьянству, но крестьяне его приобретают все более невразумительный облик.

До самого последнего времени влияние ОМХ'а на определенные круги художественной молодежи было еще довольно сильно, хотя еще в прошлом году приходилось указывать, что настоящей почвы для этого влияния уже нет, и если оно еще продолжает существовать, то лишь в силу овоеобразной инерции развития искусства. В настоящее время можно уже с уверенностью говорить, что это влияние идет резко на убыль. Можно даже назвать четко определенвшийся рубеж, когда этот перелом в отношении ОМХ'а стал совершенно очевидным. Это произошло непосредственно после выставки, которая показала в Москве искусство современной Франции. Хотя это искусство было дано далеко не в блестящих образцах, все же стало сразу безоговорочно ясным, что наши омховцы, которые до сих пор еще почитались в художественных кругах как носители правдивого французского живописного мастерства, могут считаться сейчас уже не только не сегодняшним, но даже не вчерашним днем французской живописи. Общественную актуальность ОМХ давно уже утерял. Сейчас было порвано последнее звено — вера в подлинность канонов их мастерства.

Объективным показателем потери влияния ОМХ'а может служить прежде всего тот факт, что группа «Бытие», — которая является вторым изданием ОМХ'а, но «не дополненным и исправленным», а рангом пониже, — отреклась от своего сродства с бубнововалетчиками. Она объявила в своем воззвании, что указание на это сродство — тягостное надоразумение, не рассеивающееся уже несколько лет. Чтобы доказать правильность своих утверждений, «Бытие» включило в свое число несколько художников явно экспрессионистского характера (Талдыкин и др.), но не изменило этим своей основной физиономии. «Бытие» прежнее так и осталось бледным подголоском ОМХ'а. Новая же подгруппа вклинилась в него как инородное тело и так и воспринимается зрителем. Основной массив полотен — пейзажи (Сретельская и целый ряд других). Трудно указать на какую-нибудь останавливающую вещь на этой



Сгеньшинский.

выставке. Сильнее других «Ильмень-озеро» Стеньшинского, передающее хмурость и простор северного озера, и несколько пейзажей Ражина, пламенеющих зреющим зерном и обладающих крепкой кряжистой силой.

Вторым показателем утери влияния ОМХ'а может служить эволюция, продланная группой РОСТ. Как известно, состав РОСТ'а—это главным образом «фальковцы», т. е. ученики Фалька. В прошлом году влияние учителя сказывалось на выставке РОСТ'а очень сильно, в настоящий же момент его приходится улавливать, и то с довольно большим трудом. История РОСТ'а за короткий промежуток его существования лишней раз доказывает, на какие мытарства обречены молодые художники, прошедшие формалистскую школу, если они пытаются отойти от своих учителей и ставить перед собой сколько-нибудь значимые задания. Прежде всего, РОСТ раскололся. Наименее активная часть его составила отдельное объединение — ОХО (Общество художников общественников). Оно показало свою продукцию в дворце имени Авиакима. И надо сказать, особого удовлетворения ни художники, ни ра-

Ильмень - озеро

бочий зритель от этого свидания не получили.

Очень любопытно отметить следующий факт: несмотря на большой разницей в смысле уровня развития зрителя, подавляющее большинство отзывов отмечало как отрицательные те работы, в которых ощущается формальное искажение как таковое, т. е. без смысловой целенаправленности (работа Рабиновича «Певцы» и ряд других). И по контрасту больше всего положительных отзывов собрало беспритязательное полотно Николадзе «Швей» — две молодые девушки за столом. Зрители так и отмечают «простоту и правдивость изображения». При всей своей суровости оценка выставки дана зрителем правильно. Основное впечатление, которое она оставляет,—это действительно хаотичность и беспринципность исканий, начиная от подражания Гогену до бесплодных попыток воскрешения кубизма.

Основное же ядро РОСТ'а открыло выставку в клубе КОР. Диспут, организованный на этой выставке, привел приблизительно к тем же результатам, как и книга записей ОХО. Зритель снова правильно отметил основную бо-

лезнь: формальные искания, не упирающиеся в какое-либо конкретное задание, не продиктованное темой, а иногда и противоречащее ей. Можно смело сказать, что работы Зевина, вызвавшие особенно большое количество нареканий, и «Собрание в ауле» Чуйкова, создающее впечатление ночного бдения, меньше всего приближаются к разрешению задач, поставленных темой. То же самое можно сказать и про всю группу работ Малеевой. Напрасно пытаются художница убедить своими надписями зрителя, что бледные тени, еле возникающие на поверхности ее полотен,—это действительно «Комсомольцы на субботнике» и т. п. моменты. Каждый из молодых художников бредет ощупью, а все вместе—вразброд. Но ни один—и это очень показательное—не следует по стопам своих прежних учителей. Можно ли не видеть в этом убедительного показателя резкого снижения влияния ОМХ¹⁾?

3

Конечно, потеря влияния со стороны формалистов—это большое завоевание истекшего года. Но взамен его подымается новая опасность. Еще в про-

¹⁾ Очень показательна в отношении все увеличивающегося критического подхода молодежи к ОМХу студенческая пресса. Но рассмотрение ее не входит в план настоящей статьи.



Николадзе.

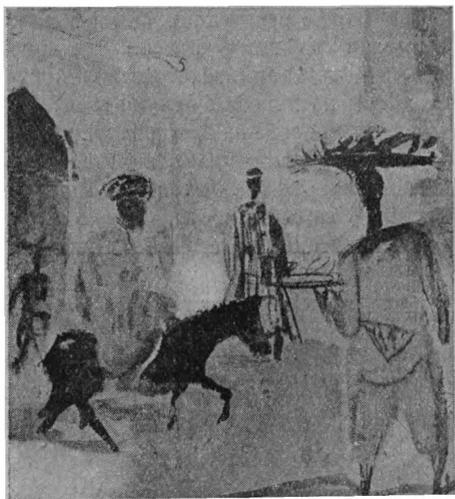
Швеи



Лентулов

Стеька Разин

шлом году на выставке ОСТ^а приходилось отметить следующую нарождающуюся тенденцию. Группа молодых художников в нем (Лабас, Гончаров и др.) отошла от заданий синтетического порядка. Их листы стремились передать только самые беглые ощущения и восприятия. Художника интересовали не столько сознательная реакция на данное явление и не столько самое явление, сколько именно физиологический, биологический, подсознательный рефлекс на него. Вот эта тенденция, уводящая с неизбежностью в круг узких индивидуалистических переживаний, ширится и захватывает все большие круги художников, в частности молодежь. Ею захвачен и РОСТ, в котором можно указать и несколько типичных представителей этой тенденции (Н. Кашина и др.). Имеются они и в ОХО. Но особенно характерен тот факт, что эти тенденции вышли уже из неоформленной стадии. Художники уже довольно отчетливо осознали их и даже сделали из этого соответствующие «организационные выводы». Таким организационным выводом может считаться выставка «Рисунков 13-ти». Участники ее были тщательно подобраны из нескольких художественных группировок. Большая часть из них несомненно очень одарена (Недбайло, Рыбченко, Милашевский,



Н. Кашина.

Туркменистан

Козлов, Лебедева и др.). Но в данном случае интересен не вопрос об их одаренности, а тот факт, что весь подбор проводился по принципу охвата выставкой именно тех художников, которые ставят своей задачей вскрыть первичную физиологическую сущность ощущения. Очень показательно при этом, что целый ряд рисунков, которые на первый взгляд кажутся мгновенной десятиминутной зарисовкой, импрессионистским наброском, — фактически оказываются результатом длительной работы. Художник нарочно подводит свой рисунок к иллюзии мгновенной зарисовки, ставя таким образом вполне сознательно своей задачей воссоздание первичности ощущений. С другой стороны, значительно выросло экспрессионистское влияние. Раньше экспрессионистские ноты звучали только в остовском оркестре. Сейчас же они пробиваются в нескольких местах. В частности они явственно сказались в современной графике, особенно в ее молодом крыле. Надо сказать, что последние годы — особенно текущий — связаны с все большим отходом от гравюры на дереве. Оно и понятно: расцвет гравюр на дереве (кустарного способа воспроизведения) был вызван в значительной степени замиранием массовых видов издательской деятельности (иллюстрированных журналов, книг и т. д.). В настоящее время она не

имеет уже почвы для дальнейшего роста. Это — одна из причин снижения ее влияния. Другая причина — в том условном архаизированном мастерстве, которое связано у нас последние годы с представлением о деревянной гравюре, связано главным образом благодаря влиянию высоко одаренного гравера Фаворского, составившего с плеядой своих учеников целую школу. В настоящий момент целый ряд молодых художников порывает с этой «деревянной» традицией, с этим связующим их каноническим и обращается к тем видам полиграфии, которые легко воспроизводятся современными массовыми способами репродуцирования, в частности просто к графике и рисунку. И вот у этих-то молодых художников-графиков — как только сдерживающие рамки деревянной гравюры перестали их стеснять — и пробилась явственней всего экспрессионистские ноты. Самыми характерными в этом отношении могут служить работы Аксельрода на выставке «4 Искусства». Серия его эскизов (главным образом лица) невольно вызывает в памяти Модильяни, а следовательно, и предположение: не является ли это очередное увлечение просто влиянием

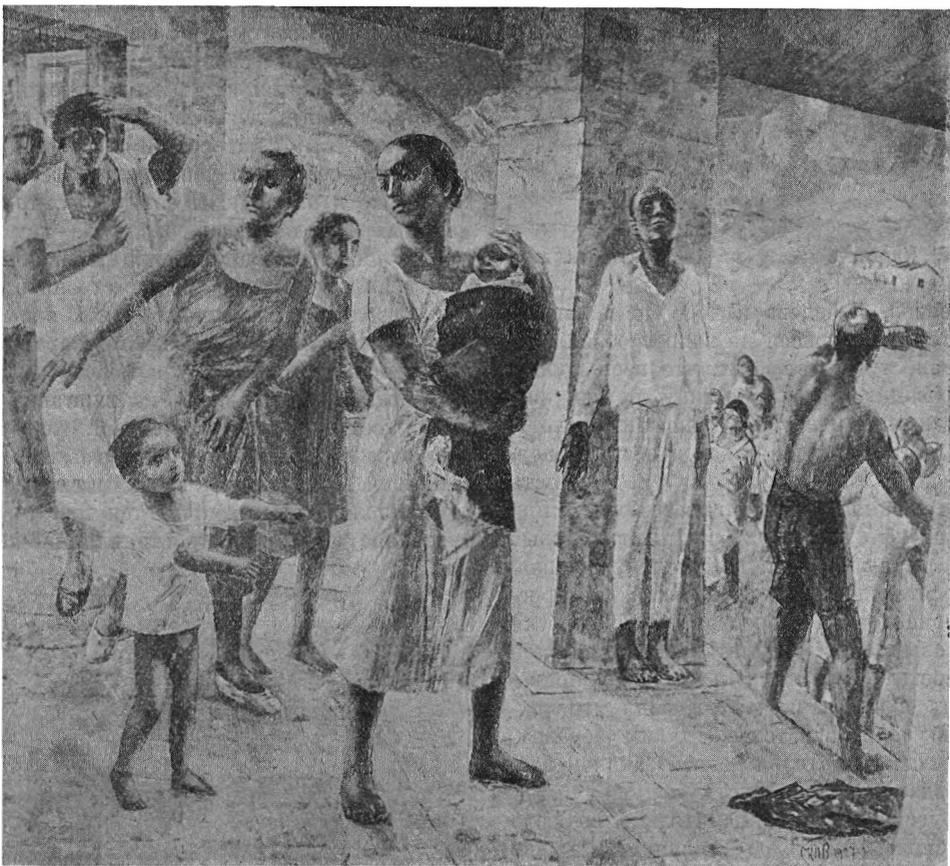


Козлов. Из пушкинской серии

столь модного сейчас за границей художника?

«4 Искусства»—это, по-своему, исключительная группа. С удивительной бережностью она донесла сосуды своего искусства через все годы революции, не расплеснув ни капли их содержимого. Если посмотреть на те работы, которые представляют руководители

ужасом перед роком или, быть может, их вызвал из дому просто какой-то тайный внутренний голос, велений которого они не дерзают послушаться? На эту мысль невольно наводят обращенные внутрь взгляды, загипнотизированные лица, лишенные бытовой и индивидуальной характеристики, доведенные до символической абстракции. Точно та-



Петров-Водкин.

«4 Искусств» на настоящей выставке, трудно найти в них сколько-нибудь заметные отличительные черты по сравнению с их же работами, скажем, лет 15 назад. Правда, картина Петрова-Водкина называется «Землетрясение в Крыму» и, повидимому, вызвана последним землетрясением, но, лишенная какого-либо локального тона, она с таким же успехом могла бы сойти и за «Последний день Помпеи». Да и вообще,—землетрясение ли это? Не охвачены ли участники просто стихийным

Землетрясение в Крыму

жестом, кие же работы Петров-Водкин давал и 15 лет назад. Даже палитра его осталась прежней. Не изменился и Павел Кузнецов. Если судить только по каталогу его выставки (почти все работы он показал на персональной выставке и только часть на выставке «4 Искусств»), может показаться, что художника интересует разработка либо трудовых процессов, либо социальный типаж («Табачницы», «Сбор винограда», «Делегатки», «Студентки» и т. д.). По существу же человек его интересует меньше все-



Рягина.

Жена

го. «Когда они (люди) появляются на его полотнах, — пишет П. Новицкий, — они ничем не отличаются от животных, от баранов, верблюдов, лошадей. Человек нигде не противопоставлен косной природе как хозяин, организатор и творец. Природа нигде не трактована как слепой деформированный материал, подвергающийся воздействию человеческой целополагающей воли». Он же указывает, что Кузнецов прислушивается в первую очередь к «брожению животных, исконно биологических сил и стихий». С теми или иными вариациями эта особенность присуща и ряду других участников «4 Искусств» (Бебутовой, Ульянову и др.)¹⁾ Она специфична не только для «4 Искусств», но, как видно из предыдущего обзора, она сродни и всем тем тенденциям, которые проявились за истекший год и о которых уже говорилось выше.

4

Истекший год характеризуется одной существенной особенностью: интенсивным ростом значимости художественного молодняка. Все художественные течения расцениваются под углом зрения их взаимоотношений с растущими

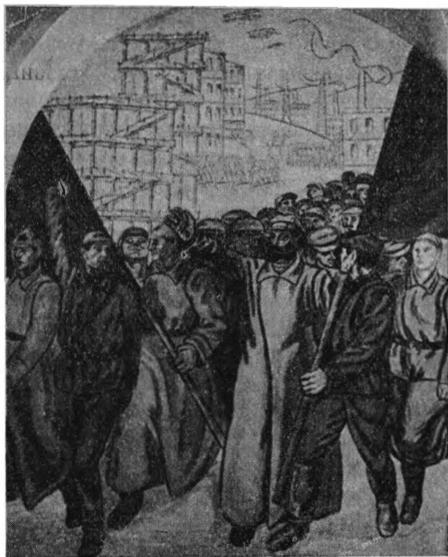
¹⁾ Только группа художников Армении (Аракельян, Гюрджан и др.) исходит от другого начала — от крепкой декоративной традиции Сарьяна, который тоже участвует на выставке

художественными силами. Неудивительно поэтому, что удельный вес АХР'а чрезвычайно возрос, когда в ахровское движение вовлекались большие кадры молодежи из первых выпусков пролетстуденчества Втухейна, именно они дают право на оценку АХР'а, как широкого общественно-художественного движения. Еще летом 1928 года, во время всесоюзного ахровского съезда, они оказали большое влияние на создание новой декларации АХР'а. Самый факт их включения изменил всю организационную структуру АХР'а, который представляет сейчас не объединение одних лишь художников станковой живописи, а комплексное объединение. Кроме станковой секции оно включает полиграфическую, текстильную, монументально-фресковую и театрально-декоративную. Эта молодежь, которая сделала, как и РОСТ, первые самостоятельные шаги только в прошлом году, и придает в настоящее время главную поступательную силу ахровскому движению. Молодежь завоевала уже право на такую высокую оценку. Самое значительное явление современной художественной жизни — роспись казармы имени Дзержинского — составляет именно ее



Павел Кузнецов.

Сбор винограда



Я. Цирельсон.

Дзержинский

победу. Надо сказать, что это первый, а потому и особенно ответственный опыт подлинной монументальной росписи в советский период (аналогичный опыт произведен и фрескистами Киева). Стенная живопись пред'являет к художникам особенно большие требования: она рассчитана на длительное существование, а потому не только злободневные вопросы, но даже бытовые коллизии более длительного порядка выпадают из ее поля зрения. Фресковая живопись естественно должна ставить большие проблемы, проблемы общего порядка, обладающие жизнеспособностью и действенностью в течение большого промежутка времени. С этими трудными задачами молодым фрескистам удалось справиться и притом в высшей степени убедительно. За прошедший год они проделали эволюцию диаметрально противоположную эволюции РОСТ'а. Им удалось в значительной степени преодолеть ряд школьных влияний, которые лишали их прежде самостоятельной физиономии. Печать «бесплотности и обреченности» — влияние Кузнецова — попадает сейчас только как исключение. В основном же художники находят совершенно своеобразные способы воздействия на зрителя. Здесь можно отметить работы Цирельсона и Малаева, разрушающие старые традиции подачи вождей. Вместо

традиций «генеральских» портретов, оставшихся от сытинских лубков, они пытаются дать образы, вскрывающие своей трактовкой связь вождей с массой, как выразителей воли этих масс. Аналогичные попытки самостоятельных вылазок в область «трудных» современных тем можно отметить и в других разделах («Интернационал», «Индустриализация» и др.). Макеты этой росписи фигурировали и на 11-й выставке АХР'а, но они дают очень слабое представление о подлинниках. Во-первых, потому, что очень миниатюрны. Во-вторых, потому, что даны вне архитектурного окружения, которое тоже было обработано художниками, так что и лестницы, вестибюль и площадки составляют сейчас цельный ансамбль, праздничный и торжественный. Совершенно очевидный шаг вперед сделала и станковая секция ОМАХР'а, которая в прошлом году переживала еще совсем ученическую стадию развития. Много в ней есть и сейчас еще незрелого и наивного, но четкая целеустремленность и исканий выгодно отличает ее от ОХО и РОСТ'а.

На ряду с фрескистами большой интерес представляет и текстильная секция ОМАХР'а. Ее работы — первый коллективный опыт создания нового тек-



Федор Малаев.

Тов. Фрунзе



Иогансон.

Рабфаковцы

стильного рисунка, отправляясь от современной тематики.

11-я выставка старых кадров АХР'а во многих отношениях показательней предшествовавших. 10-я выставка, к юбилею Красной армии, строилась на конкретном задании. Это задание—героическая тематика, связанная с гражданской войной, — было очень выигрышным для проявления романтического крыла, имеющегося в АХР'е, и для художников-баталистов. Но она оставляла мало места для художников-бытовиков. Поэтому картина современного состояния АХР'а получалась искаженная. Настоящая выставка свободна от этих искажений. Она не имеет конкретного задания, и потому художники могли исходить от той тематики, которая для них ближе. Положительным моментом выставки можно считать заметное снижение роли художников специфически-иллюстративного пошиба, тех самых, которые своими грандиозными полотнами заполняли первые выставки АХР'а и создали ему былую славу поверхностного бытописательства. Их на выставке очень мало. Те же, которые участвуют, делают это весьма скромно. Они оттеснены естественным развитием АХР'а в сторону. Мало представлено и героическое крыло. Самое заметное его выступление — это работы Скаля. Его

большая картина «Путь из Горок» (перенос гроба Ленина) написана под большим влиянием суриковских композиций и чрезмерной праздничностью своего колорита нарушает требующееся от нее впечатление. Не выдержан и ряд фигур, напоминающих фантастические облики раскольников. Соединение их с почти ярмарочной праздничностью красок создает двойственный эффект картины и делает ее мало отвечающей своей теме. Но неудача «Пути из Горок» не говорит об остановке роста художника. Такие срывы бывали с ним и прежде. Наоборот, за последний год Скаля заметно вырос. Об этом свидетельствует ряд его композиций в монументальном разделе АХР'а и несколько небольших станковых полотен. Все они подтверждают, что пафос подлинной романтики, всегда составлявший главное обаяние работ художника, остается в прежней силе и настойчиво ищет большого согласия с изобразительным языком художника. Как на образцы романтических полотен, можно указать и на две картины-плаката Костяницына—«Даешь урожай» и «Страж Донбасса».

Самым характерным для настоящей выставки и для настоящей стадии развития АХР'а является психологический его сектор. Проблема социального типажа занимает в нем особенно большое место. Правда, сейчас он представлен далеко не полно. Ряжский и Богородский, два самых характерных представителя этого жанра и его зачинатели — за границей. И потому первый показан только «Председательницей», работой, недостаточно завершенной, почти этюдной. Богородский же и совсем отсутствует. Зато



А. Чайков.

Мотоцикл

можно говорить об очень значительных успехах молодого художника Иогансона, о котором еще по работам прошлой выставки можно было судить лишь как о потенциальной величине. Он разрешает две темы — «Советский суд» и «Рабфаковец». «Советский суд», по существу, — сюжетная картина композиционного порядка. Но художника и здесь интересует в первую очередь современный типаж. Первый вариант, выпущен-

тором показателем той или иной социальной функции или классовой принадлежности служат атрибуты, костюмы и т. п.

К психологической ветви принадлежит и Рянгина — художница, обладающая несомненным и большим мастерством, в котором академичность приемов сочетается с очень острым и верным восприятием бытовой характеристики. Большие Лобощения художница



Иогансон.

Советский суд

ный ахровским издательством в качестве лубка, еще очень слабо разрешал эту задачу. Неоправданная гротескность ряда персонажей, бьющая мимо цели, не удовлетворила, повидимому, и самого художника и заставила его вторично проработать ту же тему. Второй вариант, фигурирующий на настоящей выставке, быть может, тяжеловесен по композиции и жестковат, но характеристика действующих лиц — судей, зрителей, кулака и батрачки — все это дано уже с значительно большим приближением к действительным типовым обликам и, во всяком случае, чрезвычайно далеко отстоит от того поверхностного изобразительства, при ко-

вряд ли может сделать. Но зато она обладает очень яркой и четкой реакцией на типичные сформившиеся бытовые образования и отношения. В этом плане работы художницы были всегда интересны. На настоящей выставке ей принадлежат две сильных работы: «Отбросы» (пьяницы) и «Жена». На этой последней картине с большим лаконизмом развернута современная бытовая коллизия: к мужу, «приобщившемуся к городской культуре» и успешному обзавестись новой семьей, приезжает из деревни первая жена с ребенком. Одна единственная сцена — сцена встречи — с большой концентрированной силой раскрывает всю слож-

ность и драматизм положения. По пути социальных портретов пытается идти и Кацман. Но его «Кружевницы» и его «Пионеры» не более, чем групповые портреты. С Рянгиной его соединяет то же стремление к максимальной иллюзорности, к осязаемой осязимости и объемности всего изображаемого. Эта изобразительная система неоднократно подвергалась нападкам. Думается все же, что для нашей эпохи, которая приобщает к культуре широчайшие массы, такие образы имеют место и право на существование. Подход массового зрителя в условиях современности к искусству всегда связан и с познавательными требованиями, а не только с требованиями общего эмоционального воздействия. Такие же образы имеют наиболее конкретный характер и легче всего могут выполнять эти познавательные функции.

В пределах этих основных тенденций расположился тот положительный баланс, который принадлежит АХР'у на настоящей выставке. Конечно, можно назвать еще ряд имен, вносящих те или иные оттенки в общую картину и обогащающих ее. Но цельность основного очерка они не нарушают.

5

Последние годы в отношении скульптуры давали картину непрерывного поступательного движения. Правда, в скульптуре еще не было до сих пор сколько-нибудь четкого деления на группы, не было того расслоения, которое характерно для других видов искусства. Она переживала собирательный период своего развития. И «Общество русских скульпторов» (ОРС) и скульптурная секция АХИ'а соединяли и соединяют до сих пор порой диаметрально противоположных по установке художников. Но у этой разнородной скульптурной массы замечалась до сих пор более или менее четко выраженная центральная линия развития. Она выражалась в ориентации на скульптуру общественного значения. Скульптура камерная изживалась. Проекты памятников, декоративных групп, монументальных фигур и барельефов приобретали доминирующее значение. В настоящее время можно говорить о рез-

ком снижении темпа развития скульптуры в этом направлении, главным образом у тех огрядов скульпторов, которых объединяет выставка ОРС. Они даже пропустили реальную возможность участвовать в оформлении клубов, которая представлялась, благодаря конкурсу заказов МГСПС. В этом конкурсе участвовал только скульпторный молодежь. Главная же масса скульпторов ОРС'а составлена из наиболее квалифицированных современных мастеров.

Большая часть экспонатов очередной выставки ОРС'а—так называемая станковая скульптура. Портретные бюсты, фигуры и серии небольших статуэток. Станковая скульптура, конечно, имеет тоже право на существование. Но такие крупные скульптурные изваяния, какие демонстрирует выставка, конечно, не могут быть сколько-нибудь жизненны в условиях нашего быта. Самый характер подачи этих крупных изваяний говорит об отходе от монументальной скульптуры с ее несколько обобщенными формами назад, к скульптуре лирической, интимной, камерной.

Наиболее крупное произведение выставки—«У гроба товарища» Фрих-хара—несколько тяжеловесная и все еще страдающая нарочитым примитивизмом, но впечатляющая группа. Интересен и проект Чайкова «Футболисты», остроумный по композиции. Его же барельеф «Евреи на земле» несколько топорен и традиционно стилизован под ставшее уже стандартным изображение специфичности еврейства. Три работы Шадра ни в какой мере не удовлетворяют. «Строитель» и «Отдыхающий» напоминают скверные слепки с античной скульптуры. «Освобожденный Восток»—до-нельзя претенциозная фигура в экзотической позе, она вызывает меньше всего ассоциаций с освобожденным Востоком. В лучшем случае—это европейская танцовщица, заgrimированная под гаремную.

Значительно ярче выражены искания монументальной скульптуры в ахровском крыле. Это относится главным образом к той группе молодых скульпторов, которая в течение последнего времени примкнула к скульптурной секции АХР'а (часть их перешла из

РОСТ»а). Тенета дает целую серию проектов памятников («Октябрята», «Колхоз» и др.). В них много творческого искания, но много и до крайности незрелого, смесь самых разнообразных стилей, неуравновешенных и не переработанных. Другой скульптор, Листопад, который дал в прошлом году очень значительный барельеф «Октябрьская революция», в своих исканиях увлекся архаизмом и лишился поэтому присущей ему раньше спокойной выразительности. Из крупных групп заслуживает внимания «Единый путь к социализму» Блюма. По замыслу автора он должен выражать генеральную линию партии. В этой группе хорошо выражена крепкая настойчивость и ритм стремительного поступательного движения, но вся композиция чересчур сжата. Символическая фигура революции тоже вряд ли увязана с темой композиции. Старший фланг ахровских скульпторов формально зрелое, но обладает такими дефектами, которые не искупаются, как это естественно в отношении молодежи, активным и творческим ростом. Такие скульпторы, как Менделевич с его группой «Буденный и Казбек», представляющей классический образец официально парадного портрета, или Манизер с его скучными телами атлетов, способными остановить внимание зрителя только в качестве анатомической модели, или Тавасиев со своими натуралистическими и наивными сюжетными композициями— все они могут считаться привеском. таким же тормозящим, как в отношении

живописи — иллюстративно-документальное крыло. Крупная группа Меркурова «Похороны вождя», хотя и представляет продукт серьезной, более чем двухлетней работы, все же не может считаться удачным разрешением задачи. Мешает прежде всего ее стилистический наряд. Явственный привкус античности сказывается и в обрисовке несущих фигур и в складках драпировок (в частности сходство с надгробными изваяниями). Композиция группы неудачна, затрудняет ее рассмотрение. Если она стоит на уровне пола, — не видна лежащая на верхней створке фигура Ленина. Если же предположить, как полагает сам автор, что ее следует поставить ниже уровня пола, — тогда зрителю будет видна только верхняя створка, а боковые фигуры пропадут. Наконец, у зрителя создается впечатление, что саркофагу грозит падение, так как передние фигуры очень заметно склоняются под тяжестью тела. Все эти моменты в целом разбивают эффе́ктивность группы и заставляют признать ее мало отвечающей своему замыслу.

Как можно судить по этому краткому обзору текущей скульптурной продукции, и в скульптуре начался процесс дифференциации. Намечаются два полюса тяготений. ОРС определяется как группа преимущественно академически-мастерская, общественно-«нейтральная». Скульптурная секция АХИ"а— группа формально незрелая и колеблющаяся, но с явственным биением общественного пульса.

Книжное обозрение

1. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ „Соленая купель“. Н. См. — 2. АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ „Укрывший могилу“. Н. Замошкина. — 3. АЛЕКСАНДР АЛЕШИН „Квартира номер последний“. Ник Смирнова. — 4. МИХАИЛ ВОЛКОВ „Т. Т.“ Арк Глаголева. — 5. ГЕОРГИЙ ВЕНУС „Последняя ночь Петера Герике“ К. Локса. — 6. Б. Е. ЕЛЛИНСКИЙ „Сахалин — черная жемчужина Дальнего Востока“. Льва Катанского. — 7. А. Н. БАХ „Записки народовольца“. Б. Козьмина. — 8. Д. В. ГРИГОРОВИЧ „Литературные воспоминания“ И. Сергиевского.

А. Новиков-Прибой.—«Соленая купель». Роман. ЗИФ. Стр. 232. 1929 г.

Новиков-Прибой—писатель с собственным творческим лицом, со своим стилем, с четко выраженным мироощущением. Этот писатель-бунтарь вошел в русскую литературу как представитель военно-матросской массы, закаленной в жестоких революционных боях

Отсюда огромная действенность его произведений и их многопланная, стремительная сюжетность.

В творчестве Новикова-Прибоя быт органически сочетается с романтичностью. Приключенческие элементы в повестях и рассказах писателя не являются элементами голей занимательности: они подчинены единой революционно-организующей идее.

Творчество Новикова-Прибоя исключает всякую, даже малейшую, застылость и окаменелость. Оно динамично. Человек и природа на страницах Новикова-Прибоя находятся в непрерывном движении.

Основная цель писателя—показать (и доказать) утверждение человеком своих прав на жизнь, добываемых в процессе великой и неумолимой борьбы. Мотив жизнеутверждения проходит через ряд повестей и рассказов Новикова-Прибоя.

Этот же мотив звучит и в его новом романе. Герой романа — ксендз Лутатини, случайно оказавшийся на корабле,—постепенно, под жестким воздействием окружающей среды, деформирует свою психику, становясь рабо-

тоспособным и бодрым матросом. Процесс перерождения человека, — труднейшая творческая задача,—показан в романе убедительно и ярко. Удалась Новикову-Прибою и «описательная» часть—мучительный путь корабля, потонувшего немецкой подводной лодкой.

Правда, роман частично повторяет прежние вещи писателя, — он напоминает «Ерлашный рейс» и «Подводников», — но, с другой стороны, «Соленая купель» отличается от этих вещей большей отработанностью и большей чистотой языка: каждое новое произведение Новикова-Прибоя остается в результате показателем его непрерывного творческого роста.

Н См.

Александр Дроздов. — «Укрывший могилу». Изд. «Моск. Т-во Писателей». 1929 г. Стр. 179. Ц. 1 р. 60 к.

А. Дроздов — писатель достаточно определившийся и «без поисков». Четкое, достаточно зоркое реалистическое зрение сочетается у него с декадентским пристрастием обязательно что-то подковырнуть и холодно пройти мимо жизни. Впрочем, это не столь характерно для него как самостоятельной литературной фигуры, сколько для известной части литературы предреволюционных годов. Так что настроенческое безразличие только унаследовано, а не создано им. Тем не менее книга рассказов его читается с интересом и дает пищу для определенных впечатлений. Архаический дух ее современен автором чисто внешне—

местом, временем и персонажами действия. Но иногда вправду начинаешь верить, что комсомольцы в деревне — «фонари в ночи» и что бывший «хромой барин» окончательно потерял способность передвигаться. Для писателей типа Дроздова это уже большое достижение. Впрочем, это лишь «штрихи», рисунок же напоминает копию с дореволюционного, несколько подновленного оригинала. Герои и героини «интеллигентски порывисто» бросают город, чтобы стать взыправдашними мужиками (читай: пейзажами); «идиотизм» крестьянской разобщенной жизни ими смакуется, и в этом чувстве они, потерпевшие крушение к любви, находят удовлетворение; они не способны на потрясения, а только лишь на горькие раздумья и ехидство. Толпа, слепота, скотство, деревенщина... Как все это знакомо и уже успело надоесть, — именно в этом, привычно-литературном показе. Правда, работа в деревне одну героиню даже исцелила от душевного потрясения, но ведь и это уже было, было... А разве тихие, прхорные, любвеобильные «дурочки» и Ванюши (одним им только автор и отдал свои скупые симпатии) на фоне всеобщей жадности и стяжательства деревенской жизни, — разве они, несмотря на всю живость их образов, так уж новы?

А. Дроздов не без любования и одностонно реставрирует черты былого в настоящем, чтобы можно было еще раз оглянуться в исчезающее. Как же он это делает? Прежде всего и ярче всего А. Дроздов подмечает мелочи, а потом уже видит целое, а иногда... и не видит его. Внимание к мелочам обусловило импрессионистичность его письма, свободную простоту владения им. Это и ставит его писательскую технику новеллиста на достаточную высоту. Только в одном, самом интересном, любопытном и смелом рассказе («Укравший могилу») он отходит от мелочей и сразу толкается в большую тему. Что важнее: незапятнанное в представлении людей величие гения и революционера или горькая предательская правда позорной биографии этого гения? Великий поэт после смерти разоблачается ученым - коммунистом

Сви́фтом в ... провокаторстве! Такой вертикальный разрез темы рассказа. А. Дроздов, к сожалению, мелодраматизировал этот сюжет и не поднял его на высоту трагического волнения. В целом же рассказ не поверхностен и не зауражен, хотя и тербит нездоровое любопытство, содержит в себе скрыто издевательские нотки (характерные, впрочем, для всей книги). Судя по некоторым, довольно существенным, местам рассказа, можно предположить, что при изображении поэта-провокатора А. Дроздов пользовался обстоятельствами жизни и смерти... Льва Толстого. Подобная трансформация материала, может быть и приемлемая с внешней стороны, вызывает в данном случае чувство досады и даже брезгливости. Разве нельзя было спрягать концы в воду методами художественной фантазии и строгого отношения к материалу?

Н. Замошкин.

Александр Алешин.—«Квартира номер последний». Рассказы. Московское Т-во Писателей. 1929 г. Стр. 156.

Книжка Александра Алешина, отличающаяся тематической и словесной свежестью, убедительно доказывает наличие у автора художественных данных. Ал. Алешин умеет «слышать и видеть» мир, умеет по-своему, без трафарета и штампа, подойти к событиям и людям: он довольно вдумчивый наблюдатель и неплохой рассказчик, непринужденно владеющий диалогом.

Центральная особенность рассказов Алешина — оптимистичность, светлый, здоровый и бодрый тон. Не чуждаясь трагических человеческих тем, хотя бы темы смерти («Гусар», «Лещ»), писатель постоянно остается спокойным и ясным: в его рассказах неизменно утверждается торжество жизни. Основа жизнеутверждающих начал алевинских рассказов — в кровном, органическом слиянии автора со своей энтузиастической эпохой. Алешин неизменно современен, — он чувствует современность в каждой, порой весьма незначительной, бытовой подробности, в каждом житейском явлении.

Большинство рассказов Алешина посвящено крестьянскому быту («Гусар»,

«Оттепель», «Иона Сарычев»), но крестьянский быт — не единственный источник творчества писателя: Алешин с такой же любовью обращается и к быту фабрики, давая выразительный портрет современного рабочего-организатора («Десятый снег»).

Весьма разнообразен писатель и в своих формальных приемах: он на ряду с жанром «зарисовки» охотно и пользуется, например, и труднейшую форму сказа («Маша»).

Но Алешин пока весь в поисках, — он еще совершенно не оформившийся писатель. Недостатки его огромны: у него много сырого, непроработанного материала, много стилистической безвкусицы и нарочитой манерности («Квартира номер последний»). Вредит ему также сентиментализм, рядом с ним — плакатность.

Алешин — в самом начале писательского пути. Неуспокоенность и настойчивая воля к творчеству — залог несомненных будущих успехов Алешина.

Ник. Смирнов.

Михаил Волков. — «Т. Т.». Повести. Изд. «Московское товарищество писателей». Год не ук. Стр. 222. Ц. 1 р. 50 к.

В наши дни решительной борьбы с остатками тяжелого бытового наследия рабского прошлого, с мещанством, с некультурностью всякого рода, художественная сатира, вскрывающая и бичующая язвы и изъяны современного быта и тем самым способствующая воспитанию нового человека, приобретает важное значение.

В беллетристике последних лет можно отметить довольно многочисленные попытки создания художественной сатиры. Однако, за немногими исключениями, наша сатирическая беллетристика носит пока еще неглубокий характер. Насмешка, юмор у наших беллетристов-сатириков далеко не всегда переходит в подлинную сатиру, насыщенную острой иронией и истинным гневом. Это в большинстве случаев объясняется тем, что объектом своей насмешки наши беллетристы, в отличие от публицистов, весьма часто избирают явления, общественно не всегда достаточно существенные и интересные, из-

бирают мишенью своего художественно-критического обстрела часто нечто совершенно «допотопное», «архивное», какие-нибудь заглохшие провинциальные уголки с давно заплесневевшими ископаемыми обитателями, представляющие собой явный анахронизм и могущие сейчас вызывать скорее только скуку, чем гнев и иронию. И в то же время бытовое зло гораздо более актуального характера, подлинные язвы нашего быта, подлинные вредители нередко остаются вне поля зрения беллетристов-сатириков.

В сатирических повестях Мих. Волкова также больше легкого юмора, чем глубокой, едкой сатиры. «Допотопное» присутствует и здесь, — таков, например, стереотипный образ старухи-прислужницы, бестолково путающейся по канцеляриям за «способным» («О дугах»), тип, зарисованный еще классиками — Щедриным, Чеховым и др.

Повести «О дугах» и «Т. Т.», написанные в 1922 г., дают в форме шаржа и гротеска изображение разбухшего чиновниками совпарата и напманов-врачей, собиравшихся «утилизировать» человеческие трупы. Очень многое в этих повестях сейчас уже не может особо сильно взволновать читателя: рвачи, спекулировавшие на «лимонах», пресловутые «совбарышни» — бесчисленные «Клавочки», «Ирочки», засорявшие советский аппарат, «межкопфкомхуды», плодившие анекдотические «документы», — все это сейчас уже сдано в архив. Все же эти повести Волкова в общем сохраняют известную значимость.

Повесть «Жилтоварищество № 1331» носит уже определенно действенный характер. Написанная в 1926 г., она дает ряд живых и ярких сцен домашнего быта обывательской массы со всеми его дрягями, склоками и т. п. Многие и из поныне существующих «жилтовариществ» недалеко ушли от изображенного Мих. Волковым.

Сборник повестей Мих. Волкова должен быть отнесен к той доброкачественной юмористической беллетристике, которая является «преддверием» истинной сатиры.

Арк. Глаголев.

Георгий Венус. — «**Последняя ночь Петра Герике**». Рассказы. Изд. «Прибой». Ленинград. 1928 г. Стр. 230. Ц. 1 р. 25 к.

Книга Георгия Венуса возбуждает досадные чувства именно потому, что ее автор умеет писать и наделен некоторым дарованием. Стилистически он стоит довольно высоко по сравнению с нашей рядовой беллетристической прозой. Фраза — отделанная, острая, звучная. Немного хуже обстоит дело в области композиции. В некоторых случаях автору хотелось быть манерным, капризным, быть может, утонченным («Валленштейн», «День за днем»).

Рассказы Венуса вообще отличаются странным свойством: их тема все время ускользает куда-то, и обстановочная часть занимает непропорционально большое место. В сущности, темы автору совершенно не нужны, — он любит детали и часто на следующей странице забывает о предыдущей. Вся книга посвящена гражданской войне на юге России, действие происходит главным образом в немецких колониях. Это дает повод переносить события в послевоенную Германию. Последнее, несмотря на трагические выверты, плохо удалось, — уже слишком хорошо знакомые немцы слишком часто мечтают о реванше. Несколько любопытнее мог выйти быт немецких колоний на юге России, если бы автор и здесь удержался от верхоглядства и серьезнее разработал намеченный материал. Сама же гражданская война, повидимому, понадобилась для остроты развязок и отдельных эпизодов.

В общем, книга могла бы быть интересной, кое в чем свежей, но рассказы — не та область, в которой нужно работать Венусу. Настоящее его призвание — фельетон, очерк, жанровая сценка.

К. Локс

Б. Е. Еллинский. — «**Сахалин — черная жемчужина Дальнего Востока**». Гиз. 1928. Стр. 157. Цена 1 р. 10 к.

Из книги видно, что автор многие годы пробыл на Сахалине, бродил с ружьем, заходил в юрты к туземцам, — одним словом, человек знает остров вдоль и поперек.

Постараемся убедиться в этом. Автор скромнее, он «не претендует на научную ценность своего труда или исчерпывающее описание». Тем не менее он признает важность «не только пробудить интерес к этому забытому краю, но и подвести под этот интерес научные, а кое-где хозяйственные обоснования».

Сахалин — это «остров сокровищ», топливная станция Тихого океана, на него точит свой зуб Америка. Японии там сдана советским правительством нефтяная концессия, там же наш трест «Сахалин — нефть» производит грандиозные постройки и эксплуатирует недра. Помимо промышленной, происходит и сел.-х. колонизация острова. Экспедицией Наркомзема установлена рентабельность земледелия. Аболтин пишет: «Противоположные мнения относятся к периоду каторги, когда условия земледелия, скотоводства да и вообще всякого труда являлись такими, что человеческое существование было действительно невозможно».

Переселенческим управлением в настоящее время производится прокладка дорог через дремучую тайгу, многие ходяки стремятся на остров, и вот, представьте, попадаетея книжка Еллинского, где доказывается, что земледелием на острове заниматься почти невозможно.

Автор обещал «подвести научные обоснования» под свои утверждения.. Он украшает свои строки цифрами. Посмотрим, что это за цифры. Автор указывает, что ороков (туземное племя) на Сахалине «только» 400 человек, тогда как тунгусская экспедиция 1928 г. установила, что их 120 человек. Я привел один пример, но их много, можно свободно утверждать, что ни одной цифре, приводимой в книге, верить нельзя. То, о чем он говорит, было, может быть, 25 лет тому назад.

Еллинский пишет, что в 130 печатных изданиях есть указания о Сахалине, затем он расхваливает (действительно прекрасные) труды проф. Штернберга и академика Шренка, но едва ли он знаком с содержанием этих трудов (иначе как можно утверждать, что гильяки между Хабаровском и Бла-

говещенском не живут?) Прочтя книгу, можно сомневаться в этнографических познаниях автора. Например, он указывает, что у гиляков богов «немного». В действительности же они чтут не только реку, море и горы, но имеют множество родовых богов.

Может быть, книжка написана прекрасным художественным языком? Вот образец: «Тушат и очищают от угля очаг. Больного кладут возле него и с громкими криками начинают бить его до полусмерти... Затем зажигают на очаге новый огонь и дело в шляпе (курсив мой. Л. К.). Злой дух изгнан» (стр. 83).

Стратегическое значение Сахалина велико, ведь это «ключ» ко всей Амурской области, нам надо его заселить, что вполне возможно (ведь научно доказана возможность занятия земледелием и скотоводством). Еллинский утверждает обратное. Разве такая книга не вредна?

Эта пустая ненужная книга раздута на 150 страниц. Гиз, издавший ее, видимо, был пленен многолетним обитанием автора на острове.

Читатель может купить книжку из-за прекрасных фотографий, но тексту верить нельзя, за исключением воспоминаний автора о каторги.

Лев Катачский.

А. Н. Бах. — «Записки народовольца». Предисловие П. Апатольева. Изд. «Молодая Гвардия». М.—Л. 1929 г. Стр. 255. Цена 1 р. 65 к.

В серии историко-революционных мемуаров, издающейся «Молодой Гвардией», вышли воспоминания А. Н. Баха. Автор этих воспоминаний, известный био-химик, недавно удостоенный за свои научные заслуги избрания в члены Академии Наук СССР, в молодости был активным революционером, игравшим значительную роль в народо-вольческом движении в определен- ный его период.

А. Н. Бах не принадлежал к числу народо-вольцев первого призыва, работа которых была тесно связана с подготовкой и выполнением царубийства 1 марта 1881 г. Первые годы существования и деятельности «Народной Воли» А. Н. Бах провел в ссылке, куда он по-

пал за участие в студенческом движении 1878 г. в Киевском университете. Только по возвращении из ссылки в начале 1882 г. А. Н. Бах вступил в ряды «Народной Воли» и работал в ней непрерывно в течение трех лет, до начала 1885 года, когда, убедившись в невозможности возродить разбитую правительственными преследованиями «Народную Волю», он эмигрировал за границу. За эти три года своей активной деятельности А. Н. Бах работал в ряде городов—Киеве, Ярославле, Казани, Ростове, Петербурге и Москве—и встречался почти со всеми крупными революционными деятелями народо-вольческого направления того времени. Он пережил страшный разгром народо-вольческой организации после ареста Германа Лопатина, у которого полиция удалось забрать массу партийных адресов, давших возможность ликвидировать народо-вольческие группы и кружки на пространстве почти всей России. Только после этого разгрома, убедившись в полной невозможности восстановить разрушенную организацию, А. Н. Бах решил покинуть Россию.

За исключением первой главы воспоминаний А. Н. Баха, описывающей студенческие волнения 1878 г. в Киеве и знаменитое охотничье побоище во время провоза киевских студентов через Москву, все остальные главы посвящены народо-вольческому периоду деятельности автора. В последней главе автор описывает свой отъезд за границу и бегло первые годы своего пребывания в эмиграции. В этой главе А. Н. Бах, между прочим, останавливается на вопросе о корнях ренегатства Льва Тихомирова. Вполне правильно он указывает на то, что это ренегатство нельзя, как делают некоторые, считать результатом помешательства, якобы, овладевшего Тихомировым.

Описывая свою революционную работу в различных городах России, А. Н. Бах знакомит читателей с состоянием, в котором находились в его время в этих городах народо-вольческие организации, характеризует людей, с которыми ему приходилось встречаться, и рассказывает о методах работы, которые в то время применялись. Ес-

ли принять во внимание, что 80-е годы, несмотря на ряд исторических материалов и исследований, появившихся за последнее время, остаются до сих пор одним из наименее изученных периодов нашего революционного прошлого, историческая ценность мемуаров такого видного участника движения 80-х годов, каким был Бах, станет вполне ясной. Ценность их повышается в том отношении, что автор хорошо знает неизбежную недостоверность всяких свидетельских показаний и потому всегда очень осторожен в своем рассказе и передает только то, что хорошо сохранилось в его памяти.

Конечно, субъективизм, свойственный всяким мемуарам, имеется и в воспоминаниях А. Н. Баха. Однако, в этом случае на помощь читателю приходят редакционные примечания, которыми снабжена рецензируемая книга. В качестве примера такой субъективности можно привести далеко не вполне заслуженную отрицательную оценку личности П. Якубовича, которую дает А. Н. Бах. Не надо, однако, забывать, что последний, как участник той борьбы, которую вели с Якубовичем правые народовольцы, является не вполне объективным свидетелем, а стороной, заинтересованною в деле.

Рисую фактическое состояние народовольческой организации в описываемый период, А. Н. Бах сравнительно мало останавливается на том идейном кризисе, который в те годы переживала «Народная Воля». В этом отношении хорошим дополнением к его воспоминаниям является предисловие П. Анзольева, вводящее читателя в курс идейного разброда и брожения, которые тогда наблюдались среди действовавших в России революционных групп. П. Анзольев правильно указывает, что с 1882 г. «Народная Воля» находилась в периоде переоценки старых ценностей и выработки новых методов революционной работы. В одном только П. Анзольев, по нашему мнению, не вполне прав, — в том, что он преувеличивает приближение народовольцев 80-х годов, и в частности молодой «Народной Воли», к марксизму. Если народовольцы в эту эпоху и вели большую пропагандистскую работу в рабочем

классе, то это еще не значит, что практика их была социал-демократической. Если они и принимали экономическую теорию Маркса, то ведь марксизм не ограничивается только одной экономической теорией. Самое основное в марксизме — идея диктатуры пролетариата, — оставалось попрежнему абсолютно чуждым народовольцам.

Записки А. Н. Баха частично печатались в 1907 г. в журнале «Былое». Теперь они появились в значительно расширенном виде. Автор восстановил те пропуски, которые в свое время сделала редакция «Былого», и дал новые дополнения. Вот почему его записки в новом издании приобретают большую, чем прежде, полноту и ценность.

Б. Козьмин.

Д. В. Григорович.—«Литературные воспоминания». С приложением полного текста воспоминаний П. М. Ковалевского. Вводная статья, редакция и примечания В. Л. Комаровича. Изд. «Academia». Л. 1928. Стр. XXXII + 515. Цена 2 р. 20 к. пер 40 к.

Среди прочих памятников русской мемуарной литературы XIX века «Воспоминания» Григоровича занимают несколько обособленное место. Это не столько исторический или биографический документ, в строгом смысле этого слова, не столько «первоисточник», способствующий наиболее полному и отчетливому уяснению литературно-бытовых отношений изображаемой эпохи, сколько своего рода ее художественная хроника. Уже в самой компановке материала сказывается эта установка на эстетический по преимуществу эффект. Цельное и исчерпывающее воспроизведение современной литературной обстановки, систематическое изложение общего хода литературной борьбы сороковых-пятидесятых годов, — такого рода задачи менее всего интересуют Григоровича. Гораздо более привлекает его анекдотическая сторона истории, факты и мелочи интимного быта той писательской и артистической среды, в окружении которой протекала его собственная работа. Еще сильнее ощутима эта эстетическая установка в той конкретной писательской манере, в кото-

рой написаны «Воспоминания»: в подчеркнутой литературности отдельных портретных характеристик, в пародийно-гротескной заостренности отдельных эпизодов и сцен.

Значит ли это, что «Воспоминания» лишены какой бы то ни было документальной ценности? Нельзя этого утверждать с полной категоричностью, но, во всяком случае, они требуют гораздо более осторожного и подозрительного отношения, чем мемуары обычного типа, хотя бы самые субъективные и пристрастные. Эти недостатки в какой-то степени присущи всем мемуаристам и при помощи элементарного критического анализа легко устранимы. Здесь дело приходится иметь не просто с субъективным подбором материала или пристрастной его интерпретацией, а с явлением гораздо более сложным: с художественной деформацией материала.

К сожалению, это обстоятельство, достаточное полно отмеченное во вступительной статье к тексту «Воспоминаний», осталось совершенно не учтенным в аппарате критических примечаний. Не говоря уже о том, что по сравнению с другими выпусками «Памятников литературного быта» комментарий здесь значительно свернут, он целиком выдержан в традиционной комментаторской манере, в применении к данному материалу — в силу вышеуказанных специфических его свойств —

явно неподходящей. Одно из двух: либо к «Воспоминаниям» Григоровича нужно было подойти исключительно как к факту эстетического порядка, и тогда можно было обойтись и без тех скудных пояснений, которые в издании имеются; либо попытаться с максимальной полнотой вскрыть их фактическое ядро, и тогда следовало бы строить эти пояснения на совершенно особых принципах.

Приведенные в качестве приложений отрывок из дневника Штакеншнейдера, отрывок из книги Дюма о его русском путешествии и один из фельетонов Панаева в «Современнике», вращающиеся вокруг пребывания французского романиста в России, касаются, в сущности говоря, только этого последнего эпизода и других темных мест григоровичских «Воспоминаний» не затрагивают.

Наконец, еще одно приложение — «Встречи на жизненном пути» Ковалевского, беллетриста, переводчика и критика пятидесятых годов, исключительно яркие и красочные сами по себе, оказавшие заметное влияние на современную историографию (легшие, между прочим, в основу выдвигаемой Чуковским схемы понимания Некрасова), присоединены к «Воспоминаниям» Григоровича чисто механически, по принципу единства описываемой эпохи и среды.

И. Сергиевский.

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ НА ОТЗЫВ

- ГОС. ИЗД.
- СЕРЕЖНИКОВ, Виктор.**—Очерки по истории философии. I. Стр. 267. Ц. 2 р. 25 к.
- БЮЧАЧЕР, М. Н.**—Газетное хозяйство. Опыт пособия по газетно-издательскому делу. Стр. 214. Ц. 1 р. 75 к.
- «СОВЕТСКАЯ СТРАНА».**—Литер.-худож. и публицистический альманах народов СССР № 3. Стр. 53. Ц. 50 к.
- АНТОКОЛЬСКИЙ, Павел.**—1920—1928. Стихотворения. Стр. 157. Ц. 1 р. 60 к.
- ВАЙАН-КУТЮРЬЕ, Поль.**—Бал слепых. Новеллы. Пер. с франц. Стр. 170. Ц. 85 к.
- ЭДШМИД, Казимир.**—Баски, Бьки. Арабы. Книга об Испании и Марокко. Пер. с нем. Стр. 235. Ц. 1 р. 25 к.
- КАРАБАЕВА, А.**—Калёная земля. Рассказы (сбор. соч. т. IV). Стр. 139. Ц. 1 р. 15 к.
- ТОЛСТОЙ, Ал.**—Собр. соч. том XIII. Любовь — книга золотая и др. пьесы. Стр. 495. Ц. 4 р. 25 к.
- СЕРАФИМОВИЧ, А. С.**—Советская страна (сбор. соч. том XI). Стр. 269. Цена 1 р. 25 к.
- ФИШ, Г.**—Контрольные цифры. Стихи. Стр. 62. Ц. 75 к.
- ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК. X.** (Инстит. Ленина при ЦК ВКП(б)). Стр. 367. Ц. 3 р. 25 к.
- ЛУРЬЕ, С. Я.**—История античной общественной мысли. Стр. 410. Ц. 3 р. 50 к.
- ЕЛИЧ, М. и НИКОЛАЕВ, В.**—Хрестоматия по польскому языку. Стр. 360. Ц. 2 р. 80 к.
- «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»**
- «ПУТИ КРЕСТЬЯНКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ».**—Сборник статей. Под ред. П. Замойского и др. (Всеросс. о-во крестьянских писателей). Стр. 159. Ц. 1 р. 25 к.
- ЗАМОЙСКИЙ, П.**—Лапти. Роман. Книга первая. Стр. 301. Ц. 2 р.
- КОПАТА, И.**—Сторож № 47. Перевод с чешского. Стр. 200. Ц. 1 р.
- ТОМ, А.**—Под красной звездой (на «Красине»). Пред. Б. Чухновского. Стр. 207. Ц. 1 р. 25 к.

- БЕРКОВА, К.** — Чудо. (Виб-ка воинствующ. атеиста). Стр. 173. Ц. 1 р. 25 к.
- АКУЛЬШИН, Р.** — Частушки. Изд. 4-е, дополненное. Стр. 98. Ц. 25 к.
- «ФЕДЕРАЦИЯ»
- ПЕКЛОВСКИЙ, Виктор.** — О теории прозы. Стр. 265. Ц. 3 р. (в перепл.).
- БЕЛЫЙ, Андрей.** — Ритм, как диалектика. Стр. 297. Ц. 3 р. (в перепл.).
- ЗЕЛИНСКИЙ, К.** — Поэзия, как смысл. Стр. 316. Ц. 3 р. 75 к. (в перепл.).
- ПЕРЦОВ, П.** — Литература завтрашнего дня. Стр. 173. Ц. 1 р. 75 к.
- УНАМУНО, М.** — Три повести о любви. Стр. 172. Ц. 1 р.
- МОСКВИН, Н.** — Жена. Стр. 153. Ц. 1 р.
- АКУЛЬШИН, Р.** — Следы. Стр. 189. Ц. 1 р. 60 к.
- АДАЛИС.** — Песчаный поход. Стр. 134. Ц. 1 р. 10 к.
- КАТАЕВ, Ив.** — Сердце (повесть). Стр. 96. Ц. 25 к. (Масловская библиотека).
- ФРАЕРМАН, Р.** — Буран (повесть). Стр. 154. Ц. 1 р.
- КОЧИН, Н.** — Девки (роман). Стр. 212. Ц. 1 р. 80 к.
- НОВИКОВ, Андрей.** — Причины происхождения туманностей. Стр. 230. Ц. 1 р. 80 к.
- ПЕТРОВСКИЙ, Дмитрий.** — Стр. 154. Ц. 1 р. 65 к.
- ЦКЛЯР, Н.** — Свет (новеллы и рассказы). Стр. 192. Ц. 1 р. 80 к.
- ЕЗЕРСКИЙ, М.** — Чудь белоглазая (роман). Стр. 317. Ц. 2 р. 80 к.
- РУДИН, И.** — Содружество (роман). Стр. 133. Ц. 2 р. 90 к.
- АШУКИН, Н.** — Валерий Брюсов. Стр. 400. Ц. 2 р. 80 к.
- НЕЗНАМОВ, П.** — Хорошо на улице. Стихи. Стр. 95. Ц. 1 р. 45 к.
- ЗАРЯ** (песенник). Стр. 188. Ц. 35 коп.
- «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
- БОГДАНОВ, Николай.** — Первая девушка. Романтическая история. С автобиографией. Стр. 192. Ц. 40 к.
- СЕМЕНОВ, Сергей.** — Наталья Тарпова. Роман. Книга 2-я. Стр. 350. Ц. 2 р. 50 к.
- «МОЛОДОСТЬ». — Литер.-худож. альманах группы писателей Молодая Гвардия». Книга 2-я. Стр. 334. Ц. 2 р. 75 к.
- ЖАРОВ, А.** — Гармонь. Поэма. 2-е изд. Стр. 30. Ц. 15 к.
- ИЗД. «ПРОЛЕТАРИЙ»
- ГЕХТ, С.** — Штрафная рота. Стр. 126. Ц. 80 к.
- СЫГИН, Александр.** — Пастух племен. Стр. 290. Ц. 2 р. 10 к.
- ИНБЕР, Вера.** — Так начинается жизнь. Стр. 162. Ц. 1 р. 50 к.
- ИНБЕР, Вера.** — Стихи. Стр. 203. Ц. 1 р. 90 к.
- ВЕСЕЛЫЙ, Артем.** — Пирующая весна. Стр. 543. Ц. 4 р. 25 к.
- ИЗД. «НЕДРА»
- ВЕРЕОАЕВ, В.** — В двух планах (статьи о Пушкине). Стр. 205. Ц. 1 р. 75 к.
- КОЛОКОЛОВ, Н.** — Шкура ласковая. Рассказы. Стр. 188. Ц. 1 р. 60 к.
- ГОФМАН, Э. Т. А.** — Собрание сочинений. Т. 1, 2 и 3 — «Серапионовы братья». Ц. 3 р. 30 к. + 3 р. + 3 р.